Герберт Уэллс

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ

том 15

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.

Необходима осторожность

Книга посвящается Кристоферу Марли,
поистине достойному этого.

ВВЕДЕНИЕ

ТОЛЬКО ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

— Что такое иде-еи? — спросил м-р Эдвард-Альберт Тьюлер.— Какой в них толк? Что толку от них тебе?

Молодой Тьюлер не мог ответить.

— Эти вот книги...— продолжал Тьюлер-старший.— Тебе незачем их читать. Ты только портишь себе глаза, особенно при теперешней экономии электричества и всего прочего. А что они тебе дают? — Он остановился, прежде чем самому презрительно ответить на этот вопрос.— Иде-еи...

— Во мне вот есть толк,— продолжал м-р Тьюлер, подавляя строптивое молчание своего детища.— А почему? Потому что я старался держаться подальше от всяких идей. Я шел своим путем. Чего жизнь требует от человека — так это характера. А какой может быть у него характер, если он вожжается с идеями? Понимаешь? Я спрашиваю: есть во мне толк?

— Ты получил Большой Крест,— ответил молодой Тьюлер.— Мы гордимся тобой.

— Очень хорошо,— заметил м-р Тьюлер, давая понять, что тема исчерпана.

Но на этом разговор не кончился.

— А все-таки...— произнес молодой Тьюлер.

— Да? — встрепенулся отец.

— Все-таки... Нельзя отставать от времени. Все меняется.

— Человеческая природа неизменна. Существуют вечные истины, Генри. Ты слышал о них?

— Да-а. Я знаю. Но все, о чем теперь толкуют... Насчет уничтожения расстояний, запрещения воздушной войны, устройства мира, так сказать, на федеральных началах. Если мы не прикончим войну, война прикончит нас. И все такое...

— Болтовня,— подхватил отец.— Фразы!

— Знаешь,— продолжал сын,— я читал книгу...

— Опять свое?

— Нет, он говорит, что пишет не об иде-е-ях. Его интересуют факты. Он сам это говорит. Все равно, как нас с тобой.

— Факты? Что же это за необыкновенные факты такие? В книге!

— Сейчас скажу. Он говорит, что после всех этих изобретений и открытий жизнь теперь непохожа на ту, что была прежде. От нас теперь куда угодно рукой подать. У нас мощь, какой никогда не было,— весь мир можно разнести в щепки. Вот, по его словам, мы и разносим мир в щепки. И еще он говорит, что как ни трудно, как ни неприятно, а по-старому жить нельзя. Нам придется похлопотать. Он говорит, что война будет длиться вечно, если мы не изменим многого...

— Послушай, Генри. Кто вбил тебе в голову все эти идеи? Потому что это ведь идеи, что ты там ни говори. Кто, я спрашиваю? Какой-то человек, написавший книгу? Так? Какой-то профессор, журналист или что-нибудь в этом роде? Какой-то умник-разумник, который на самом деле ничего не стоит? Обрадовался случаю заработать сотню фунтов, написав книгу, которая только смущает народ, и не желает думать о том, что из этого получится. А теперь давай-ка разберемся по существу. С одной стороны, у нас будет он. Скажем, вот здесь. А с другой стороны — люди дела, тысячи таких, которые *понимают*. Тут и наш великий Руководитель. Ведь он-то уж все понимает, Генри. И не тебе и твоим сочинителям критиковать его и рассуждать о нем. Тут все, кто обладает опытом управления, люди постарше тебя, поумней тебя, подготовленные к тому, чтобы разбираться во всех этих вещах. Тут деловые люди, ворочающие большими делами — такими делами, о которых ты никакого представле-

ния не имеешь. Они понимают что-нибудь? Как, по-твоему? Вот у тебя всякие идеи насчет Индии. Но разве ты был когда-нибудь в Индии, Генри? А они были. У тебя какие-то там соображения насчет Японии. Но что ты знаешь о Японии? А они все насквозь знают, у них самая полная информация, у них наука, они усвоили все, что преподают в университете, не говоря уже об их опыте. И вот появляется какой-то... какой-то безответственный писака со своими идеями... Я сказал: безответственный писака — и повторяю: безответственный, со своими грошовыми идейками, спорит, настаивает. Он, мол, один знает, что к чему, а все кругом неправы. И вскружил тебе голову.

— Но все-таки в мире не очень-то благополучно... Все идет вкривь и вкось... И не похоже, что само уладится. Разве не так?

— Все в порядке — насколько возможно. Разве ты знаешь, с какими трудностями им приходится иметь дело? Ты должен им доверять. Кто ты такой, чтобы вмешиваться?

— Но как же можно не думать?..

— Думать — да. Согласен. Нельзя не думать, но думать надо правильно. Думать, как думают все вокруг. А не метаться во все стороны, как собака, которой оса залетела в ухо,— не носиться со своими бессмысленными идеями. Все эти разговоры о новом мире! Славный получится мирок, нечего сказать! Как говорится, Прекрасный Новый Мир! Сиди да помалкивай, дружок. Незачем тебе дурака валять! Незачем повторять все эти глупости и делать из себя посмешище. Ну, допустим, допустим даже, что во всей этой ерунде, которую ты читаешь, можно найти что-нибудь путное. Но ведь на свете сотни книг, одни говорят одно, другие — другое. Кто скажет тебе, где правда? Я тебя спрашиваю. Объясни мне, Генри.

Лицо у Эдварда-Альберта Тьюлера было серьезное, озабоченное, полное родительской тревоги; голос его утратил легкий оттенок раздражения; в нем звучала теперь просто отцовская ласка.

— Все это у тебя пройдет с годами, Генри. Это что-то вроде умственной кори. Переболеешь, и все. У меня тоже это было. Не в такой тяжелой форме, правда, по-

тому что я не подвергал себя такой опасности. Я ведь, слава богу, никогда не был любителем чтения, а когда читал, то выбирал полезные книги. Но я знаю, как это бывает... К примеру, меня воспитывали в слишком узких понятиях. Моя мать — она была настоящим ангелом, но мыслила узко. Раньше с ней этого не было. Но по простоте души она слишком доверилась тем, кто сумел завладеть всеми ее помыслами. Когда дело дошло до Полного Погружения и всякого такого, до посещения собраний каждое воскресенье, у меня открылись глаза. Не то чтобы я утратил веру. Нет. Вера моя даже укрепилась. Она возросла, мой мальчик. Я говорю о простом и строгом христианстве — без всяких ваших учений, идей и мудрствований. Я — просто верующий христианин в христианской стране, вот что я такое. Господь умер ради нашего спасения, Генри,— ради меня и тебя, и нечего тут умствовать. Или рисковать простудиться насмерть, как они требовали от меня. Я верю в Бога и почитаю короля. Мне этого довольно. Да.

Он помолчал, снисходительно улыбаясь при воспоминании о прошлом.

— Кое-какие религиозные колебания у меня все-таки еще разок возникли. Я не принимал ничего на веру... Это мне несвойственно. Тут все вышло из-за ковчега. Забавно! Я тебе расскажу. Видишь ли, я был в зоопарке, и вдруг меня взяло сомнение: мог ли ковчег вместить всех этих животных? Я усомнился, Генри. От большого ума. А верней сказать, от глупости, мой мальчик. Дьявол внушил мне это, чтобы надо мной посмеяться. Как будто Всемогущий Господь Бог не может вместить все, что ему угодно, куда ему угодно! Да пожелай он только, он бы их и в ореховую скорлупу запихал — всех до одного. Ну хоть в кокосовую, например. Без труда... Я прозрел,— и ты прозреешь, Генри. Этот ихний Прекрасный Новый Мир! Дурацкий новый мир, говорю я. Господь смеется над ним. Забудь о нем... Ничего, это пройдет. У тебя здоровый дух, мой мальчик. И крепкая закалка. Уж если понадобится, ты выдержишь любое испытание, как я выдержал, и отыщешь правильный путь.

Юноша стоял с покорным видом, но ничего не отвечал.

Разговор на мгновение оборвался.

Потом Эдвард-Альберт Тьюлер подвел итог:

— Я рад, что поговорил с тобой. Ты уезжаешь. Я немножко беспокоился. Из-за того, что ты столько читаешь. Я хотел бы поговорить с тобой и о других вещах, как отец с сыном, но теперь все так много знают. Больше, чем я когда-то знал. Обо всем не переговоришь... Да. Ты уезжаешь, может быть, надолго, а времена теперь трудные. Я никогда не был большим любителем писать письма... Болезни вот тоже какие-то новые пошли. Говорят, это от воды. Врачи теперь не прежние. У меня по ночам боли в желудке. Крутит кишки, сверлит внутренности. Может быть, и вздор, но как не задуматься! Может, ты вернешься в один прекрасный день, мой мальчик, а меня уже не будет. Не хмурься, это не поможет... Во всяком случае, я свое сказал. С этими книгами необходима осторожность. Будь моя воля, я сжег бы их все, и не у одного меня такие мысли. Все, кроме Библии, конечно. Правда есть правда, а ложь есть ложь, и чем проще ты подходишь к этому, тем лучше. Я говорю с тобой, Генри, как если б это был наш последний разговор. Да, может, так оно и есть. Ты скоро отправишься в дорогу... А я все чаще думаю о старом хайгетском кладбище... Высоко, тихо. Там теперь стало тесновато, но, думаю, для меня найдется уголок. Не забывай меня, мой мальчик. И не допускай, чтобы другие меня забыли. Могила Неизвестного Гражданина. Так? Мне многого не нужно. Никаких громких фраз, сын мой. Нет. Просто поставь мое имя: Эдвард-Альберт Тьюлер, кавалер ордена Большого Креста — обыкновенными буквами на обыкновенной плите. И еще...

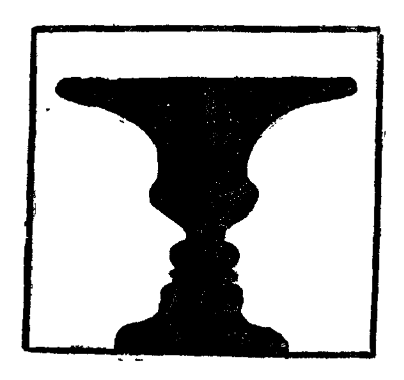
Голос его слегка дрогнул, словно он был взволнован красотой своих собственных слов.

— Еще поставь: «Не словами, а делом». Не словами, а делом... Это мой девиз, Генри.

Пусть будет так. Он предстанет перед вами без всяких прикрас; вы узнаете его таким, каким он был. В этой книге не будет никаких громких фраз. Это простая откровенная повесть о поступках и характерах людей. Что они делали, что говорили — в наши дни, вы знаете, ну-

жец здравый подход к изображению,— и никаких мыслей, никаких умозаключений. Ни рассуждения, ни споры и, главное, никакие проекты, призывы или пропаганда не *прервут поток нашего повествования;* в нем будет не больше идей, будь они неладны, чем мышей в Кошачьем Домике. На этот счет можете быть спокойны. Мы будем говорить только о деле. Получится ли у нас при этом в точности та самая биография, которая рисовалась воображению кавалера ордена Большого Креста Эдварда-Альберта Тьюлера, когда он придумывал себе эпитафию,— это другой вопрос. Он так же мало всматривался в себя, как и в окружающее. Как ни проста была его жизнь, он о многом в ней позабыл. Мы не можем вспомнить его прошлое: нам придется откапывать его по кусочкам.

Одно следует здесь отметить: в то время как он считал, будто воздействует на окружающий мир, в действительности мир воздействовал на него. Все, что он делал, от начала до конца было лишь реакцией на это воздействие. «Не словами, а делом»,— заявлял он. Но было ли им что-нибудь сделано в окружающем мире? Этот мир зачал и породил его, сформировал и выпестовал. Он еще жив, но окружающий мир определит тот срок, когда понадобится его эпитафия. Эта книга — рассказ обо всем



На этой картинке дано изображение современного романа. Вглядитесь в нее.Сперва вы увидите вазу, социальный сосуд и ничего больше, а потом социальный сосуд исчезнет и перед вами будут лица и ничего, кроме них.

том, что делал и говорил Эдвард-Альберт Тьюлер. С его точки зрения. Но, подобно тем занятным картинкам в книгах по оптике, на которых изображение меняется, когда на них смотришь пристально, это также рассказ о мире Эдварда-Альберта Тьюлера, а сам он — лишь абрис человеческого существа в центре этого мира — его равнодействующая, его создание.

Но тут мы касаемся глубочайшей тайны того, что называется жизнью. Тайны, которая занимала умы во все века. Может ли Эдвард-Альберт, будучи существом созданным, обладать свободной волей? Могло ли что-нибудь — какая бы то ни была реакция — не пассивная только, но Демоническая — заполнить собою этот абрис и им овладеть? Отрицательный ответ никогда не был вполне убедительным для человечества. Однако рассуждения на эту тему нам придется отложить до конца нашего повествования. Мы взяли на себя задачу рассказать о голых фактах, и, если, несмотря на это намерение, голые факты в конце концов приведут нас к неразрешимой двойственности, мы не отступим. Мы сохраняем за собой право сочетания или выбора.

Молодой Тьюлер больше не потревожит вас. Мы теперь простимся с ним и с его жалкими, запоздалыми духовными поисками. Не спрашивайте меня, что с ним сталось. Ответ на этот вопрос только причинит вам беспокойство. Позвольте мне рассказать вам историю Эдварда-Альберта Тьюлера, кавалера ордена Большого Креста, выросшего в период великого заката человеческой безопасности между 1918 и 1938 годами — до того, как наши войны возобновились с новой силой и люди за одну ночь превратились в героев.

КНИГА ПЕРВАЯ

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСКИЕ ГОДЫ ЭДВАРДА-АЛЬБЕРТА ТЬЮЛЕРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИЛЫЙ КРОШКА

Его матери, м-сс Ричард Тьюлер, понадобилось двадцать три часа, чтобы произвести своего единственного сына на свет. Он вступил в мир несмело, как робкий купальщик входит в воду — не головой, а ногами вперед, а такой дебют всегда связан с неприятностями. Вообще сомнительно, появился ли бы он когда-нибудь в этом жестоком мире, если бы не господствовавшая в конце викторианского периода крайняя неосведомленность относительно так называемых предохранительных средств. Никому неохота была родить детей — если только к этому не было сердечного влечения,— но их все-таки рожали. Было известно, что существуют какие-то средства, но, расспрашивая о них, приходилось помнить, что в таких делах необходима осторожность, и врачи тоже помнили об этом и намеренно не понимали робких намеков и наводящих вопросов пациента. В то время Англия в этом вопросе сильно отставала от Полинезии... Обходись, как знаешь,— и сколько бы вы ни старались, рано или поздно вы должны были влипнуть.

Но таково сердце женщины, что Эдвард-Альберт Тьюлер и суток не провел в этом полном опасностей мире, как мать уже страстно полюбила его. Ни она сама, ни ее супруг не хотели его прежде. Но теперь он стал

вдохновляющим средоточием их жизни. Природа сыграла с ними шутку: она застигла их врасплох — и вот совершилось чудо.

Если м-сс Тьюлер всю преисполняла любовь, ею до сих пор не испытанная, то м-ра Тьюлера в равной степени распирала гордость. Он был опытным реставратором и служил в фирме «Кольбрук и Махогэни» на Норс-Лонсдейл-стрит, куда выходил длинный ряд витрин, заставленных очаровательным китайским и копенгагенским фарфором, венецианским стеклом, произведениями Веджвуда и Спода, изделиями Челси, всякой старинной и современной английской посудой. Он приходил откуда-то снизу в зеленом суконном фартуке, внимательно осматривал вещь и давал осторожный совет; склеивал незаметно, заполнял трещины и в случае надобности скреплял осколки — необычайно искусно. Он привык иметь дело с нежными, хрупкими предметами. Но ни разу в жизни не случалось ему держать в руках такой хрупкий и нежный предмет, каким был Эдвард-Альберт в младенческом возрасте.

И это чудо создал он! Он сам! Он держал его на руках, дав честное слово, что ни в коем случае не уронит его, и дивился совершенству своего создания.

У создания были волосы, темные волосы, необычайно мягкие и тонкие. Зубов не было, и круглый рот выражал простодушное изумление, смешанное с досадой, но зато нос — переносица, ноздри — весь отличался тончайшей отделкой. И руки у него были, настоящие руки с ноготками — на каждом пальце аккуратный миниатюрный ноготок. Один, два, три, четыре, пять пальцев. Крошечные — но все пять. И на ногах — тоже. Все как полагается.

Он обратил внимание жены на это, и она разделила его торжество. Втайне оба сомневались, мог ли кто-нибудь еще создать столь совершенное произведение. При желании по этим рукам можно было предсказать судьбу малыша. Они вовсе не были плоские и гладкие: на них уже обозначались все линии и складки, известные хиромантии. Если бы присказка про сороку-воровку никому не пришла в голову до м-сс Тьюлер, я думаю, она выдумала бы что-нибудь в этом роде сама. Она как будто никак не могла освоиться с мыслью, что у Эдварда-

Альберта в возрасте одной недели столько же пальцев, сколько и у его отца. А позже, еще через несколько недель, когда она сделала вид, будто хочет откусить и съесть их, она была осчастливлена первой, не вызывающей никаких сомнений улыбкой Эдварда-Альберта Тьюлера. Он загугукал и улыбнулся.

Гордость Ричарда Тьюлера принимала разные формы и обличья — в зависимости от того, с кем он имел дело. Управляющий Кольбрука и Махогэни, Джим Уиттэкер — он был женат на Джен Махогэни,— узнал о великом событии.

— Как здоровье мамаши Тьюлер? — спросил он.

— Все слава богу, сэр,— ответил м-р Ричард Тьюлер.— Мне сказали, он весит девять фунтов.

— Недурно для начала,— заметил м-р Уиттэкер.— Потом он немножко сбавит, но это не должно вас тревожить. Фирма подумывает о серебряной кружке. Если у вас нет других крестных отцов на примете. А?

— Такая ч-ч-честь! — произнес м-р Тьюлер, потрясенный.

Среди складских служащих и приказчиков он держался со скромным достоинством. Они пробовали балагурить.

— Значит, двойни не получилось, как вы рассчитывали, мистер Тьюлер? — спросил старый Маттерлок.

— Первый образчик,— ответил м-р Тьюлер.

— Не скоро раскачались,— продолжал Маттерлок.

— Лучше поздно, чем никогда, папаша.

— Вот то-то и оно, сынок. Теперь ты знаешь, как это делается, так будь осторожен, не переусердствуй. Главное, не превращай это в привычку.

— Надо же, чтобы род продолжался,— ответил м-р Тьюлер.

М-р Маттерлок прервал упаковку, которой был занят, чтобы сразить м-ра Тьюлера одним взглядом. Он произвел оценку возможностей м-ра Тьюлера, выразил сомнение в его здоровье и красоте, изумился его самонадеянности...

Счастливый отец был неуязвим.

— Ладно, ладно, старый Мафусаил. Поглядел бы ты на моего малыша.

Шэкль, которого прозвали Сопуном за дурную привычку, от которой он никак не мог освободиться, многозначительно подмигнул Маттерлоку и утерся рукавом.

— Знаешь, что ты должен сделать, Тьюлер? Пошли об этом объявление в «Таймс» — в отдел рождений, браков и смертей. Именно в «Таймс», никуда больше. «У м-сс Тьюлер родился сын,— цветов просьба не присылать». Только всего. И адрес... Уж я знаю, что говорю. Один сделал так. Тиснул две строчки в «Таймсе», и сейчас же со всех концов страны посыпались к его половине образцы продуктов, и напитков, и лекарств, и всякой всячины — для малыша и для нее самой. Укрепляющие средства и всякое такое. Помнится, была там даже бутылка особенно питательного портера. Подумай только! И всего этого — не на один фунт.

М-р Тьюлер задумался было над этой возможностью. Но тотчас отверг ее.

— Миссис Уиттэкер может увидеть,— сказал он.— Сам-то, может быть, только посмеялся бы, а она не из таких — сочтет вольностью.

Но, возвращаясь в тот вечер к себе домой в Кэмден-таун, он поймал себя на том, что напевает: «У миссис Ричард Тьюлер родился сын, у миссис Ричард Тьюлер родился сын». Он перебрал в памяти все подробности разговора и решил, что ему удалось одержать верх над старым Маттерлоком. Хотя, конечно, правильно, что превращать это в привычку нельзя.

Но все-таки когда-нибудь может понадобиться, чтобы было кому донашивать одежду Эдварда-Альберта. Дети растут так быстро, что вырастают из своей одежды, не успев и наполовину износить ее. Он слышал об этом. Одевать двоих не дороже, чем одного,— двоих, а в крайнем случае даже и троих. Но не больше. «У м-сс Ричард Тьюлер родился сын». Что сказал бы на это старый Маттерлок? Еще одного — в пику ему. Эта мысль воодушевила м-ра Тьюлера, вызвала в нем прилив семейных чувств, и, когда он пришел домой, м-сс Тьюлер отметила, что никогда еще он не был так нежен.

— Нет, нет, повремени немного, мой Воробышек,— заметила она.

Она не называла его своим Воробышком уже много лет.

Эта мысль приходила им в голову и впоследствии, особенно после того, как в результате случайной инфекции температура у Эдварда-Альберта поднялась до 104,2 по Фаренгейту.

— Подумать только, что эта кроватка могла опустеть! — сказала м-сс Тьюлер.— Что это было бы?

Но необходима осторожность, и вопрос надо обсудить со всех сторон. К тому же спешить незачем. Нельзя действовать очертя голову. Не обязательно сегодня, успеется и через неделю или через месяц. «Сам» очень мило отнесся к Эдварду-Альберту, но разве можно предвидеть, как будет истолкован твой поступок.

— Безусловно, это можно понять так, что мы выманиваем у них еще одну серебряную кружку,—говорил м-р Ричард Тьюлер.— Об этом тоже надо подумать.

В конце концов Эдвард-Альберт Тьюлер так и остался единственным ребенком. Самая возможность иметь маленького брата или сестру исчезла для него с внезапной смертью отца, когда мальчику было четыре года. М-р Ричард Тьюлер переходил улицу возле станции метро в Кэмден-тауне, и только прошел позади автобуса, как увидел перед собой другой автобус, шедший навстречу, прямо на него. М-р Тьюлер мог бы проскочить, но остановился как вкопанный. Не благоразумней ли податься назад? Необходима осторожность. И в то же мгновение — пока он колебался, как лучше поступить,— огромная машина, стараясь обойти его сторонкой, забуксовала и сбила его с ног.

К счастью, он так хорошо застраховал свою жизнь, взяв после рождения Эдварда-Альберта новый полис, что в общем жена и сын оказались даже в лучшем положении, чем когда он был жив. Он был членом одного похоронного общества, так что его похоронили в высшей степени пристойно — печально и торжественно. Кольбрук и Махогэни закрыли все свои витрины траурными ставнями (обычно употреблявшимися в дни погребения царственных особ); шестеро складских служащих, в том числе Маттерлок и Шэкль-Сопун, были отпущены для участия в похоронах, а Джим Уиттэкер, знавший, что Тьюлер незаменим и уже много лет тому назад должен был бы получить прибавку, прислал самый большой венок белоснежных лилий, какой только можно было до-

стать за деньги. Приказчики тоже прислали венок, и, к удивлению м-сс Тьюлер, то же самое сделал ее шотландский дядя; правда, его венок был довольно жалкий — из иммортелей — и выглядел как-то странно, точно подержанный.

Это ее заинтриговало. Почему он вдруг прислал этот венок? Откуда он его взял, она никак не могла догадаться. А дело было так: дядя сделал это ценное приобретение за несколько месяцев перед тем, когда распродавал за долги имущество одной из своих жилиц, вдовы владельца похоронного бюро. Он взял его себе потому, что больше нечего было взять, но возненавидел его, как только повесил на стену в столовой. При виде его ему лезли всякие мысли в голову. Он боялся, что этот предмет украсит его собственные похороны. Вдова гробовщика была смуглая уроженка шотландских гор, ясновидящая. И она прокляла его. Прокляла, хотя он только взял то, что ему следовало получить. Может быть, и венок ее заклятый? Как-то раз он кинул его в мусорный ящик, но на другой день мусорщик принес его обратно, да еще — подумать только! — потребовал целый полпенни в награду. Он не знал, куда его запрятать, у него началось несварение желудка и тягостное предчувствие все усиливалось. Смерть племянника указала выход из положения. Отсылая венок, он не чувствовал, что теряет что-то; нет, он освобождался от угрозы. Он сбывал страшную вещь туда, откуда она уже не могла вернуться.

Но м-сс Тьюлер вообразила, что в глубине души он, наверно, испытал проблеск какого-то чувства долга по отношению к единственной оставшейся у него в живых родственнице. Эта мысль послужила ей пищей для мечтаний, и через некоторое время она написала длинное-длинное благодарственное письмо, в котором рассказала о том, какой Эдвард-Альберт замечательный, как она безраздельно предана этому маленькому существу, какие трудности ожидают ее впереди и так далее. Старик не нашел достаточных оснований тратить почтовую марку на ответ.

На похоронах, которые происходили при сырой и ветреной погоде, м-сс Тьюлер была увешана таким количеством крепа, что казалось удивительным, как столь слабое существо выдерживает все это на себе. Длинные

ленты развевались вокруг нее, похожие на щупальца, и производили внезапные, почти кокетливые наскоки на совершающих церемонию церковнослужителей, трепля их по щекам и даже обвиваясь вокруг их ног. На Эдварде-Альберте был черный бархатный костюмчик с кружевным воротничком а-ля лорд Фаунтлерой. Он впервые надел штаны. С неподдельной радостью предвкушал он свое освобождение от девчачьих платьев в клеточку, как ни печален был повод, с которым была связана эта перемена. Но оказалось, что штаны скроены довольно непродуманно и при каждом движении угрожают разрезать его пополам. Жизнь неожиданно превратилась в долгую безрадостную перспективу быть рассеченным надвое, и он горько плакал от обиды и боли — к умилению всех присутствующих.

Мать его была глубоко тронута этим проявлением рано пробудившейся чувствительности: она боялась, что он станет глазеть по сторонам, задавать неуместные вопросы и всюду показывать пальцем.

— Теперь ты у меня один на свете,— рыдала она, сжимая его в объятиях и увлажняя его лицо страстными поцелуями.— Ты — вся моя жизнь. Теперь, когда его нет, ты будешь моим Воробышком.

Сперва она думала совсем не расставаться с трауром, подобно обожаемой королеве Виктории, но потом кто-то заметил ей, что это может произвести мрачное впечатление на юную душу Эдварда-Альберта. И она уступила, ограничившись на те недолгие годы, которые ей еще оставалось прожить, черным, белым и розовато-лиловым.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МИССИС ХЭМБЛЭЙ ИЗУМЛЯЕТСЯ

Итак, Эдвард-Альберт Тьюлер начал свое земное странствие — с весом, несколько превышающим норму, и с серебряной кружкой у рта — в столь благоприятный момент, что, когда разразилась мировая война 1914—1918 годов, ему не хватало четырех лет, чтобы принять в ней активное участие. Мало кто из нас мог мечтать

о столь счастливом начале. Однако он был лишен отцовского руководства, а в 1914 году мать его тоже перешла в лучший мир, где нет необходимости страховаться, где все наши милые улетевшие Воробышки ждут нашего прибытия, а что касается усталых,— усталые обретают покой.

Я плохо исполнил свои обязанности повествователя, если не дал почувствовать, что единственный недостаток этой нежнейшей и лучшей из матерей — если у нее вообще были недостатки — заключался в некоторой преувеличенной заботливости и связанной с этим свойством неизбежной мнительности. Я не стану касаться вопроса, были ли эти черты врожденными или навязанными ей поколением, к которому она принадлежала, так как это явилось бы нарушением обязательства, которое я взял на себя в предисловии. За себя она ничуть не боялась, но ее материнский защитный инстинкт простирался на всех и на все, с ней связанное. И он концентрировался вокруг юного Эдварда-Альберта, всегдашнего средоточия ее мыслей, мечтаний, планов и разговоров. Не надо думать, что она была несчастна. Жизнь ее наполняло напряженное, беспокойное счастье. Каждую минуту какая-нибудь новая опасность волновала ее.

Надо было ограждать свое сокровище от всякого вреда. Охранять его и учить уклоняться от всевозможных опасностей. Оберегание его составляло единственную тему ее бесед. Она радовалась всякой новой беде, грозившей ее кумиру, так как нуждалась в поводе для новых мер предосторожности. Она спрашивала совета у самых необщительных собеседников и, замирая, ждала, в то время как они изо всех сил стремились уложить свой ответ в узкие рамки приличий, еще господствовавших в начале царствования короля Эдуарда. Подлинные свои соображения относительно того, как надо поступать с Эдвардом-Альбертом, они ворчали себе под нос, когда она уже не могла их услышать. Но один старый грубиян заявил:

— Пускай его разок переедут. Пускай. Бьюсь об заклад, он не захочет повторения. И это послужит ему уроком.

Конечно, говоривший не мог знать, как погиб дорогой Ричард. Но все же это было бессердечно.

Она превратила свою заботливость в повод для беспощадного преследования учителей, врачей, священников.

— Ничто вредное не коснется его,— говорила она.— Только скажите мне...

Почтенные проповедники прятались в ризницу и потихоньку выглядывали оттуда, дожидаясь ее ухода; специалисты по гигиене, прочитав в высшей степени поучительную лекцию и осторожно коснувшись наиболее щекотливых пунктов, не брезговали самыми неподобающими и антисанитарными путями к выходу, чтобы ускользнуть от настойчивых домогательств вдовы. Она была подписчицей целого ряда журналов, в которых «Тетя Джен» и «Мудрая Доротея» давали советы и отвечали на вопросы читателей—при условии вложения купонов. Она запрашивала все сведения, какие только поддавались опубликованию в печати, и вновь и вновь получала их.

Но есть немало тайн и опасностей, связанных с воспитанием единственного ребенка мужского пола, которые не могут быть освещены публично, в печати, и тут м-сс Тьюлер извлекала пользу из интимных, конфузных, но чрезвычайно интересных разговоров с разными людьми, обладавшими богатым запасом предрассудков и неточных, но волнующих сведений; эти люди беседовали с ней вполголоса, обиняками, намеками и жестами, причем разговор доставлял очевидное удовольствие обоим участникам. Была, например, некая м-сс Хэмблэй, имевшая доступ на вечерние беседы баптистов. Она приходила к м-сс Тьюлер пить чай или принимала ее у себя, в своей скромной, но тесно заставленной мебелью квартире. На беседах она говорила мало, но слушала с сочувственным вниманием и была очень полезна, так как приносила кое-какие лакомства и поджаривала гренки с маслом.

Эти беседы стали приобретать в жизни м-сс Тьюлер все большее значение. Теперь, когда уже не было Воробышка, с которым она могла бы делиться по вечерам своими тревогами, она более решительно примкнула к маленькой сплоченной общине баптистов. Там она могла говорить о своей преданности Ненаглядному и о своих недомоганиях, встречая сочувственный отклик. И главное — там бывала м-сс Хэмблэй.

М-сс Хэмблэй всегда была превосходной женщиной, и все, что ее окружало, было превосходно и обладало крупными масштабами, особенно вещи; только квартира у нее была маленькая да голос еле слышный — по большей части это был шепот и невнятный хрип, на помощь которому приходила мимика. Но мимика ее не отличалась разнообразием: она сводилась к выражению изумления перед собственными высказываниями.

М-сс Хэмблэй окончила деревенскую школу в состоянии простодушной невинности и поступила младшей горничной к мисс Путер-Бэйтон, которая жила тогда на содержании в доме шестого герцога Доуса, пользовавшегося скандальной славой. Предполагалось, что у мисс Путер-Бэйтон где-то есть муж и что отношения ее с герцогом — платонические. Но когда новая горничная спрашивала, что значит «платонический», она получала несколько насмешливые и сбивающие с толку ответы. В конце концов она пришла в изумление, и с тех пор широко раскрытые глаза и затаенное дыхание стали постоянной ее реакцией на все жизненные явления. Судьба решила, что она должна увидеть всю непристойную изнанку того, что принято было называть Fin de Siècle [1]. Это было молодое, простодушное, довольно хорошенькое, покорное существо — и с ней случались всякие происшествия. Она никогда особенно не смущалась. Ни от чего не плакала; ничто не вызывало у нее смеха. Судьба играла ею, и она изумлялась.

— Чего только не проделывают! — говорила она.

Чего только не проделывали с ней!

Это нехорошо, она знала, но, видно, на свете ничего хорошего и не бывает. Вокруг каждый лгал о своих поступках, приукрашивая или искажая истину, как ему вздумается. Благодаря этому у нее возникло влечение к условной благопристойности. Управляющий герцога влюбился в ее широко открытые, доверчивые глаза и неожиданно женился на ней. Это было как будто излишним после всего, что с ней произошло, но у него была своя цель.

— Мы будем держать отель в Корнуэлле для герцога и его друзей,— объяснил он,— и дела у нас пойдут на славу.

---

[1] Конец века *(франц.)*.

Таким путем она получила богатый ассортимент солидной мебели, остатки которой еще сохранились у нее. Кроме картин. От этого хлама она отделалась. Славное время скоро кончилось. Муж изменился к ней. В Лондоне произошел большой скандал с Fin de Sièclʼем, и он стал дурно к ней относиться. Однажды он заявил ей, что она невыносимо растолстела и что лучше заниматься любовью с коровой, чем с ней.

— Я стараюсь как могу,— ответила она.— Если ты мне скажешь, что я должна делать...

Потом весь Fin de Siècle снялся с места и, словно стая скворцов, улетел за границу.

— Веди дело сама, дорогая, пока все не уляжется и я не вернусь. И, главное, откладывай для меня деньги,— сказал муж.

И она, по-прежнему изумляясь, осталась без всяких средств в большом мрачном отеле, который приобрел после этих событий такую сомнительную репутацию, что все боялись подходить к нему. Она выпуталась как сумела и переехала в Лондон; произведения искусства она продала тайным скупщикам и частным коллекционерам, а сама, удовлетворяя свою давнишнюю затаенную склонность к приличию и добродетели, вступила в небольшую баптистскую общину на Кэмден-хилле, принадлежащую частным баптистам. Она не любила курильщиков, ненавидела пьющих и среди баптистов чувствовала себя как рыба в воде. Она старалась похудеть, воздерживалась почти от всякой пищи, кроме кексов и гренков в масле за чаем да легкой закуски между завтраком, обедом и ужином. Но с каждым днем она все больше толстела и все тяжелей дышала, и слегка озадаченное выражение ее лица еще усилилось. Как вы сами понимаете, она испытывала огромную потребность делиться с кем-нибудь фантастическим запасом непристойных наблюдений, которые ей довелось накопить за свою жизнь. И нетрудно представить себе, какой находкой она была для м-сс Тьюлер и какой находкой м-сс Тьюлер была для нее.

Но при всем том, если бы у нее не было этой манеры затихать под конец фразы так, что только губы шевелились, а голоса не было слышно, и при этом фиксировать собеседника невинным, серьезным, вопрошающим

взглядом своих голубых глаз, у м-сс Тьюлер в голове было бы ясней.

— Иногда я не могу взять в толк, где у нее начало, где конец,— жаловалась м-сс Тьюлер; впрочем, в действительности от нее ускользал именно конец. Ей хотелось узнать ради своего Ненаглядного, в чем заключаются страшные опасности, подстерегающие беззащитного юношу, высмотреть это в широко раскрытых глазах под приподнятыми бровями. Она жаждала подробностей, а слышала следующее:

— Я иногда думаю, что не было бы хороших, так не было бы и плохих. Потому что в конце концов понимаете...

— Сами-то они не так уж много могут сделать...

— Знаете, милая, мы ведь не спруты, у которых кругом только руки да ноги...

— Герцог часто шутил: «Весь мир — театр...»

М-сс Тьюлер пошла в Публичную библиотеку и с помощью библиотекаря отыскала у Бартлетта в «Распространенных цитатах»:

Весь мир — театр,
И люди лишь актеры на подмостках.
В свой срок выходят и опять сойдут,
По нескольку ролей играя в пьесе,
Где действия — семь возрастов...[1]

Что же из этого следует? Ничего не поймешь.

— Им бы только выкинуть что-нибудь такое особенное. А какое это имело бы значение — хоть на голове ходи! — если бы порядочные люди не поднимали такой шум. Я никогда не находила ничего необыкновенного...

— Но порядочные люди говорят: «Это грех»,— вот что ужасно...

— Да что грех?

— Делать такие вещи. И вот порядочные люди издают законы, которые их запрещают, и это придает им, так сказать, вес, как будто они и в самом деле имеют какое-то значение! Какая беда, например, в том...

Опять проглотила конец.

— Людям нравится нарушать закон просто для того, чтобы показать, что он не для них писан. Не трогали

[1] Шекспир. Как вам это понравится. Действие 2-е, сцена 7-я.

бы их, так они бы покуролесили, покуролесили да и забыли об этом. С кем не бывает!

— Но ведь это в самом деле грех! — восклицала м-сс Тьюлер.— Мне кажется, это ужасно. И безнравственно.

— Может быть, вы и правы. Говорят: первородный грех. А по-моему, правильнее сказать: природный грех. Ведь если, например...

— Но кто-то ведь учит их этим ужасным вещам!

— Да ведь они встречаются. Или сидят одни. Скучают. И не успеешь оглянуться, оказывается...

— Но если держать своего мальчика подальше от скверных мальчишек и девчонок, следить за тем, что он читает, никогда не оставлять его одного, пока он крепко не заснет...

— А сны?— возражала мудрая женщина.— А всякие фантазии, которые приходят неизвестно откуда? Вы, верно, забыли о своих детских снах и фантазиях. Про них всегда забывают. В том-то и беда. А я не забыла. Например, задолго до того, как поступить на службу, я часто спала с помощником нашего священника, со своим старшим братом и с одним мальчиком, которого видела раз во время купания...

— Что вы, дорогая миссис Хэмблэй!

— Ну да — во сне. Неужели вы о себе ничего такого не помните? Я вот...

Тут голос падал.

— Я часто воображала, что я...

М-сс Тьюлер больше ничего не могла разобрать.

— Нет, нет! — восклицала она.— Мой мальчик не такой. Мой мальчик не может быть таким! Он спит, как невинный ягненочек...

— Может быть, он и не такой. Я вам просто рассказываю, с чем приходилось сталкиваться. Я ведь сама не знаю, как все это понимать... Приятно потолковать с такой умной женщиной, как вы. Я думала было попросту и откровенно рассказать обо всех моих злоключениях мистеру Бэрлапу. Обо всем, что мне пришлось испытать. Что я повидала на своем веку. Но он ведь не представляет себе, кем я была раньше. Он думает, я просто скромная, почтенная вдова. И я боюсь, как бы он не переменился ко мне.

— Пожалуй, ему не следует говорить...

— Я тоже так думаю. Но все-таки в чем же дело? Говорят, мы наделены всеми этими желаниями и влечениями, чтобы рожать детей. Может быть. Но ведь на деле-то дети оказываются ни при чем, миссис Тьюлер. На деле выходит совсем другое. Почему же, спрашиваю я вас, дорогая, природа толкает человека — ну, скажем, на...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИСТЕР МАЙЭМ СКОРБИТ О ГРЕХЕ

Эти разговоры заставляли м-сс Тьюлер задумываться. Слишком многое убеждало ее в том, что сатанинский порок вот-вот начнет расстилать свои сети, чтобы в них запутались невинные ножки ее бесценного сокровища. Она пошла к пастору своей маленькой церкви м-ру Бэрлапу. Он принял ее у себя в кабинете.

— Трудно матери,— начала она,— найти правильный подход к... Я даже не знаю, как мне выразиться... к половому воспитанию своего единственного и оставшегося без отца ребенка.

— Хм-м...— промычал м-р Бэрлап.

Он откинулся на спинку кресла и принял самый глубокомысленный вид, на какой только был способен, но уши и ноздри у него вдруг покраснели, а глаза, увеличенные очками, выразили настороженность и тревогу.

— Да-а-а,— произнес он.— Это трудная задача.

— Очень трудная.

— В самом деле, чрезвычайно трудная

— Я тоже так считаю.

Пока между собеседниками наблюдалось полное единодушие.

— Может быть, надо ему рассказать,— начала она после некоторого молчания.— Предостеречь его. Дать ему книг почитать. Устроить беседу с врачом.

— Хм-м,— опять промычал м-р Бэрлап так громко, что в комнате даже гул пошел.

— Совершенно верно,— подхватила она и замолчала в ожидании.

— Видите ли, дорогая миссис Тьюлер, задача эта в каждом отдельном случае, так сказать, изменяется в зависимости от обстоятельств. Мы созданы неодинаково. Что правильно в одном случае, то может оказаться совершенно непригодным в другом.

— Да?

— И, разумеется, наоборот.

— Я понимаю.

— Он читает?

— Очень много.

— Есть такая книжка. Называется, кажется, «Любовь цветов».

Лицо м-ра Бэрлапа покрылось стыдливым румянцем.

— Трудно придумать для него более удачное посвящение в... великую тайну.

— Я дам ему эту книгу.

— А затем, может быть, небольшая назидательная беседа.

— Назидательная беседа...

— Когда представится подходящий случай.

— Я буду просить вас об этом.

Указания были ясны и ценны. Но что-то оставалось еще недосказанным. Разговор вышел даже как будто немного поверхностным.

— Теперь кругом так много дурного,— сказала она.

— Дурные времена, миссис Тьюлер... «Мир погряз во зле: сроки исполнились». Никогда это не было так верно, как в наши дни. Берегите его. Добрые нравы портятся в дурном обществе. Не спускайте с него глаз. Вот.

Он, видимо, давал понять, что вопрос исчерпан.

— Я сама научила его читать и писать. Но теперь ему придется ходить в школу. Там он может набраться... бог знает чего.

— Хм-м,— снова промычал м-р Бэрлап. Но тут его, видимо, осенила какая-то идея.

— Мне говорили такие ужасные вещи о школах,— продолжала она.

М-р Бэрлап очнулся от своего раздумья.

— Вы имеете в виду закрытые школы?

— Закрытые.

— Закрытые школы — все до единой — вертепы разврата,— сказал м-р Бэрлап.— Особенно приготовитель-

ные и так называемые государственные. Знаю, знаю. Там творится такое... я даже и говорить о них не хочу.

— Именно об этом я и хотела побеседовать с вами,— сказала м-сс Тьюлер.

— Но...— продолжал достойный пастор.— Хм-м... Здесь у нас, в нашей маленькой общине, есть как раз один человек... Вы не обращали внимания? Мистер Майэм. Такой стройный, сдержанный, с пышной шевелюрой и большими черными бакенбардами. Уж, наверно, обратили внимание на голос. Невозможно не обратить. Это человек великой духовной силы, настоящий сын Грома, Воанэргес. У него небольшая, очень хорошо поставленная частная школа. Он принимает учеников с большим разбором. Жена у него, к несчастью, кажется, больна туберкулезом. Очень милая, ласковая женщина. У них нет детей, и в этом большое горе. Но школа для них — семья в лучшем смысле этого слова. Они внимательно изучают характеры своих питомцев. Неустанно обсуждают их. Под таким руководством и при вашем домашнем влиянии я не представляю себе, чтобы что-либо дурное могло коснуться вашего мальчика...

И м-сс Тьюлер отправилась к м-ру Майэму.

Было что-то в высшей степени обнадеживающее в серьезном и важном взгляде больших серых глаз м-ра Майэма и в пышной черной растительности, обрамлявшей его лицо. К тому же он не сидел церемонно поодаль, за письменным столом, а сразу поднялся, стал прямо перед ней и весь разговор вел, глядя на нее пристально, сверху вниз. После предварительного краткого обмена репликами она перешла к делу.

— Откровенно говоря,— начала она, опустив глаза,— меня тревожат некоторые вопросы... Мой бедный мальчик, вся моя надежда... лишен отцовского руководства... Пробуждение пола... Необходима осторожность...

— О да,— произнес м-р Майэм голосом, который как бы обволакивал ее всю.— Это величайший позор моей профессии. Гоняться только за экзаменационными баллами да успехами в так называемых играх. Зубрежка и крикет. Беспечность, равнодушие к чистоте, к подлинной мужественности...

— Я слышала,— сказала она и запнулась.—Я так плохо разбираюсь в этих вещах. Но мне говорили... Я узнала некоторые вещи. Ужасные вещи...

Понемножку, помогая друг другу, они пробрались в самые недра этого волнующего предмета.

— Никто их не предостерегает,— сказал м-р Майэм.— Никто не говорит им об опасности... Их же школьные товарищи становятся орудием дьявола.

— Да,— поддержала она и подняла глаза, пораженная страстной дрожью его голоса.

Во взгляде м-ра Майэма блеснул фанатический огонек.

— Будем говорить откровенно,— заявил он.— Недомолвкам не должно быть места.

Он не убоялся никаких подробностей. Это была очень назидательная беседа. Конфиденциально пониженный голос, которым он давал свои пояснения, напоминал гул поезда в отдаленном туннеле. Она чувствовала, что при других обстоятельствах ей было бы мучительно и очень неловко вдаваться в эту область, но ради своего дорогого мальчика она была готова на все. Поэтому она не только вдавалась в нее. Она устремлялась в самые потаенные ее углы. Не удостоенный доверительных признаний м-сс Хэмблэй, м-р Майэм был удивлен осведомленностью м-сс Тьюлер. Наверно, она постигла все это по вдохновению.

— Новая мамаша? — спросила м-ра Майэма жена после ухода м-сс Тьюлер.

— На полную оплату,— ответил он с заметным удовлетворением.

— Ты как будто взволнован,— заметила она.

— Фанни, я беседовал с самой чистой и святой матерью, какую только мне приходилось видеть. С женщиной, которая может коснуться дегтя и не загрязниться. Я много извлек из этой беседы. Это было поистине душеспасительно, и я надеюсь, что смогу выполнить свой долг перед ее мальчиком.

Он помолчал.

— Я просил ее прийти на собрание нашего кружка в пятницу. Она посещает нас, но над ней еще не было совершено таинство святого крещения. Колеблется, хотя имеет большую склонность. У нее такое же слабое здоровье, как у тебя. Боится заболеть, чтобы не разлучиться с сыном. Может быть, позже...

В жизни м-сс Тьюлер наступила полоса полного нравственного удовлетворения. Движимая одной лишь любовью и чувством долга, она попала в круг лиц, объединенных глубоким и возвышающим взаимопониманием, в некую тайную церковь, доступ куда она ревниво оберегала от м-сс Хэмблэй. М-сс Хэмблэй очень полезна и способна много дать в повседневных отношениях, но, нужно признать, лишена подлинной духовности и пригодна, самое большее, на роль не посвященной в таинства служительницы при храме. Кроме того, подсознательно м-сс Тьюлер желала сохранить м-сс Хэмблэй для себя. Это две разные вещи, и смешивать их не к чему.

Каждый член этой замкнутой группы был Возлюбленный Духовный Брат, Праведник, озаренный Внутренним светом, Избранная, Прекрасная Душа. Крещение м-сс Тьюлер отодвигалось в будущее, но она как бы предвкушала его благодетельное воздействие. Она преломляла хлеб с братьями во Христе. Она обменивалась с ними опытом, подлинным и вымышленным. Охваченная этим доверчивым предвкушением вечной славы, которая дана в удел истинным, правоверным баптистам, вся словно в отблесках благодатного внутреннего света, прокладывала она себе путь среди скопищ отверженных, наполнявших улицы Кэмден-тауна. И вела за руку свое единственное Сокровище.

Чувствуя себя в безопасности под ее охраной, Эдвард-Альберт высовывал язык или строил рожи детям вечной погибели, проходившим мимо него на страшный суд, либо тянул назад, чтобы поглазеть на витрины магазинов. Не обходилось и без короткой борьбы, когда взгляд его падал на афишу у входа в недавно открывшееся кино. Кроме того, в этом нежном возрасте он испытывал непонятное желание дергать девочек за волосы и уже дважды не устоял против соблазна.

Уличенный, он упорно отрицал свою вину. В обоих случаях произошла уличная сцена: жестокие нападки и дерзкие ответы.

Он утверждал, что девочки — дрянные лгуньи. Мать не верила обвинениям, да и сам он почти не верил, что мог сделать это.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЖИВОТНОСТЬ ЖИВОТНЫХ

М-сс Тьюлер не могла допустить, чтобы какая-нибудь нянька встала между ней и ее Сокровищем. Пока он был маленький, она сама, гордая и бдительная, катала его каждый день в колясочке по Кэмден-хиллу или Риджент-парку. Когда Эдвард-Альберт обнаружил признаки расположения к собакам и стал тянуться к ним, лепеча «гав-гав», она сразу же пресекла это.

— Никогда не трогай чужих собак,— заявила она ему.— Они кусаются. Укусят, заразят бешенством, и ты взбесишься и будешь бегать и кусать всех кругом. И те, кого ты укусишь, взбесятся.

В глазах ребенка мелькнуло выражение, говорившее о том, что эта перспектива показалась ему не лишенной привлекательности.

— И ты будешь кричать при виде воды и умрешь в ужасных мучениях,— продолжала она.

Проблеск интереса угас.

Кошек Эдвард-Альберт тоже приучен был бояться: у них колючки в лапах.

Иногда эти колючки бывают ядовитые. Очень часто люди заболевают от кошачьих царапин. Кошки заносят в дом корь. Они не любят человека, хоть и ласкаются к нему с мурлыканьем. А однажды она слышала страшную историю, которую необходимо было сейчас же рассказать обожаемому сыночку, о кошке, которая лежала, мурлыкая, на коленях у своей маленькой хозяйки и смотрела ей в глаза — не отрываясь, смотрела в глаза, а потом вдруг вцепилась в них когтями...

В конце концов у Эдварда-Альберта возникло отвращение к кошкам, и он объявил, что не может выносить их присутствия в комнате. У него появилась идиосинкразия к кошкам, как теперь принято выражаться — громко и неправильно. Но иногда он вовсе не замечал, как кошки подходили к нему, и это противоречило подобному утверждению. Лошадей он тоже боялся, понимая, что спереди и сзади они одинаково опасны для человеческой жизни. Овец он любил пугать и гоняться за ними, но в один ужасный день в Риджент-парке старый баран

повернулся к нему, затряс рогами и обратил его в бегство. Он с криком бросился к матери, и та, бледная, но решительная, вмешалась, пошла навстречу опасности и очень быстро устранила ее, несколько раз раскрыв и закрыв свой серый с белым зонтик. Теперь он мог без риска проявлять свою храбрость только перед недавно привезенными из Америки серыми белками. Иногда он кормил их орехами, но как-то раз, когда они слишком осмелели и попробовали взобраться по его ногам и побегать по нему, он стал отбиваться от них ударами. Случайный прохожий обратил на это внимание матери, но она взяла его под свою защиту.

— От них можно набраться чего угодно,— сказала она.— Они ведь полны блох, а он ребенок нежный, чувствительный.

Таковы были выработавшиеся у Эдварда-Альберта реакции на местную лондонскую фауну. Его сведения о более резких экстравагантностях, которые природа разрешила себе после грехопадения человека, были почерпнуты главным образом из книг. Он придумал для собственного удобства чудесное электрическое ружье, убивающее без промаха и не требующее перезаряжения, и постоянно держал его под рукой, когда в мечтах блуждал по серебряным просторам морей. В темных углах дома и у него под кроватью скрывались гориллы и медведи, и ничто на свете не заставило бы его покинуть свое убежище под одеялом после того, как его этим одеялом укрыли. Он знал, что четыре ангела-хранителя бдят над ним, но ни у одного из них не хватало смелости или сообразительности заглянуть под кровать. Если он ночью просыпался, их никогда не было на месте. Он лежал, слушая, как что-то ползает, и всматриваясь в какие-то смутные, неопределенные тени, но наконец не выдерживал и громко звал мать.

— Опять приходил этот скверный медведь?— спрашивала она, наслаждаясь своей ролью защитницы.

Она никогда не зажигала света и не убеждала его в неосновательности его страха. Так он научился ненавидеть животных всякого вида и любой породы. Это были его враги, и в зоопарке он делал гримасы и высовывал язык самым опасным зверям за решеткой. Но всех превзошел мандрилл.

После мандрилла м-сс Тьюлер и ее сын некоторое время шли молча.

Есть вещи, которых нельзя передать словами.

У обоих было такое ощущение, что животным — всем без исключения — вовсе не следовало бы существовать и что, приходя в зоопарк, люди только поощряют его обитателей быть тем, что они есть.

— Хочешь покататься на слоне, душенька? — спросила м-сс Тьюлер, чтобы нарушить неловкое молчание.— Или пойдем посмотрим хорошеньких рыбок в аквариуме.

Эдвард-Альберт стал было склоняться к катанию на слоне. Но он пожелал прежде получше рассмотреть его. Ему пришло в голову, что хорошо бы сесть рядом с вожатым и получить разрешение колотить слона по голове. Но когда он увидел, как слон берет у публики из рук программы и газеты, и поедает их, и самым доверчивым образом передает вожатому монеты, и когда вдруг к Эдварду-Альберту просительно протянулся влажный хобот, Эдвард-Альберт решил лучше уйти домой. И они ушли.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

Домашний очаг, где протекало духовное развитие Эдварда-Альберта в критический период, охвативший девять лет после смерти его отца, представлял собой меблированную квартиру на втором этаже. Эдвард-Альберт занимал в ней маленькую заднюю комнату. По счастливой случайности, квартира была без ванной, так что до самой смерти матери он совершал еженедельное полное омовение скромно: в переносной ванне, в которую выливался большой бидон теплой воды, причем вся операция происходила в материнской комнате под бдительным материнским взглядом. Комната по фасаду служила столовой и залой; там был балкон, откуда мальчик мог наблюдать проделки своих сверстников, свободно резвившихся внизу на улице. По этой улице он ходил с матерью в школу и обратно или за покупками. Он сторонился собак и никогда не отвечал на вопрос прохожего. А когда раз какой-то мальчик из простых крепко ударил его кулаком в спину, он пошел дальше, не оглядываясь, как

будто ничего не случилось. Но потом изобретал страшные способы мести. Только попадись этот мальчишка еще раз!..

Это спокойное, уединенное жилище сдавалось с обстановкой. М-сс Тьюлер никогда не имела ничего своего, хотя они с мужем часто толковали, что хорошо бы обзавестись своим домиком, купив мебель в рассрочку. Но, как мы видели, ни тот, ни другой не умели принимать быстрых решений.

Обивка кресел и дивана была скрыта от людских глаз, и увидеть ее можно было разве только украдкой. Мебель покрывали чехлы из линялого ситца или потертого кретона, дважды в год поочередно друг друга сменявшие... Двустворчатая дверь отделяла залу от спальни м-сс Тьюлер. В зале стоял буфет и книжный шкаф и висели картины: красивая гравюра с изображением оленя, преследуемого охотниками, вид Иерусалима, королева Виктория и принц-супруг с убитой ланью, егерями и т. д.— в pendant к оленю—и большое, внушительное изображение Валтасарова пира. Круглый стол, резная полка над камином и большое ведерко, куда входило угля на полшиллинга, дополняли убранство.

М-сс Тьюлер прибавила к этому множество сувениров, безделушек, фотографий в рамках и без рамок, изящных украшений, так что получилось очень мило и уютно. Она подумывала одно время, не купить ли пианино в рассрочку, но так как сама не играла, то побоялась, как бы не подумали, что она хочет пустить пыль в глаза.

В детстве Эдварда-Альберта совсем не было музыки, если не считать фисгармонии и бесконечных гимнов в церкви да шарманки за окном. Граммофон, пианола, радио еще не успели потревожить невозмутимый покой домашней жизни англичан, ее тишину, которую нарушали по временам только кашель, чиханье, шелест перевертываемой страницы, потрескивание дров да характерный храп газовых рожков, чей свет дополнялся затененным сиянием солидной керосиновой лампы, стоящей на суконной подстилке посредине обеденного стола. У лампы был стеклянный резервуар, и стоило до нее дотронуться, как руки начинали издавать слабый, но упорный запах керосина. По воскресеньям, когда наденешь чистое белье, вдруг пахнёт лавандой. И в эту пропитан-

ную ароматами тишину вдруг врезались «голоса лондонской улицы» — выкрики торговцев жареными каштанами, печеной картошкой и тому подобного.

На камине находилась рекламная открытка, которую м-сс Тьюлер раскопала в одном магазине среди объявлений, рекламировавших «Меблированные квартиры» и «Чай». На открытке стояли три слова, которым суждено было через много лет превратиться в национальный лозунг: «Безопасность прежде всего». Не представляю себе, какая вспышка ясновидения вдохновила авторов этого лозунга и какую именно опасность имел он целью предотвратить. Но он был дан и встретил живой отклик в сердце м-сс Ричард Тьюлер.

По сравнению с нашей современной бурной жизнью такое существование может показаться расслабляющим. Но в комнатке Эдварда-Альберта имелся более сильный призыв к его чувствам — на этот раз религиозным. Там висела раскрашенная картинка, изображавшая Спасителя среди детей, с надписью: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть царствие небесное».

Почему-то Эдварду-Альберту не удавалось отождествить себя ни с одним из этих розовых младенцев. Он их терпеть не мог, каждого в отдельности и всех вместе. Остальные украшавшие его комнату картины на религиозные темы оставляли его совершенно равнодушным. Он просто старался не смотреть на них. Но иные из пояснительных текстов тревожили его. Особенно «Око Твое на мне, Господи». Эта надпись ему не нравилась. Она не нравилась ему все сильней, по мере того как из прежнего малыша он превращался в большого мальчика.

Он находил, что это нечестно. Неужели от Него ничто не может укрыться? Он видит, скажем, сквозь одеяло и простыню? Видит все, что под ними делается? В этом упорном взгляде было что-то бесцеремонное.

Так произошла первая встреча Эдварда-Альберта с сомнением.

В душу его ни разу не проникал ни малейший луч любви к божеству — Отцу, Сыну или Духу Святому. Он считал, что этот страж и каратель таит безумные замыслы относительно мира и что он послал своего Единственного Сына только для того, чтобы еще больше уве-

личить вину своих беспомощных созданий. Таковы были мысли и чувства Эдварда-Альберта. Я не критикую: я только передаю факты. Раз Господь Бог всемогущ и беспощаден, надо его умилостивлять — безопасность прежде всего — и не допускать ни тени протеста даже в глубине своей маленькой темной души. Ему язык не высунешь. Нет, нет.

А протоколирующий Ангел все записывает!

Эдвард-Альберт сомневался, но ни в коем случае не отрицал. Подобно большинству верующих, он ухитрялся смягчать остроту вопроса. Он проявлял находчивость.

— Ну пусть ему все видно,—рассуждал он.—Но ведь нельзя же все время на каждого смотреть и все за каждым записывать.

Эта мысль не предназначалась для передачи окружающим. Эту мысль надо было тщательно беречь про себя. Если будешь слишком часто ее высказывать, Он может вдруг обратить на тебя внимание.

Молодой человек наш заслонился этой мыслью от Солнца Праведных, словно скромным маленьким зонтиком. И мало-помалу небо так заволоклось, что и самая нужда в зонтике отпала. Бог перестал быть огнем всепожирающим.

Мы здесь не дискутируем. Я просто передаю неоспоримые факты. Я рассказываю историю одного мальчика, который впоследствии, как вы узнаете, стал героем; не от меня зависит, что история эта на определенном этапе оказывается историей бесчисленного множества других маленьких существ.

Так христиане приспособляют свою веру к обстоятельствам и получают возможность жить, как живут — вопреки ее торжественным предписаниям.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЖЕРТВА РЕКЛАМЫ

Мать Эдварда-Альберта умерла, когда ему было тринадцать лет. Пожилой врач, лечивший ее во время последней болезни, определил, что она умерла от «бронхита». В то время принято было ссылаться в таких случаях на бронхит, не вдаваясь слишком глубоко в сущ-

ность дела. Врачи — народ умственно переутомленный, и в области диагностики у них бывают свои эпидемии и заразные болезни. На самом деле она умерла, подобно многим в то время, от неумеренного потребления разрекламированных патентованных средств.

Дело в том, что в тот золотой век свободы, безопасности и благоприятных возможностей, к которому относится начало нашего повествования, каждый пользовался среди прочих завидных преимуществ также полной свободой в области методов торговли. Некоторые предприимчивые дельцы учли, что бóльшая часть их собратьев по человечеству страдает болезнями и внутренними расстройствами, вызванными потреблением громко рекламируемых, но вредных для здоровья продуктов, антисанитарными условиями быта и работы, а также низким жизненным уровнем огромных масс населения, продолжавших жить, хотя им гораздо лучше было бы умереть. И вот эти дельцы посвятили себя эксплуатации названных братьев. Огромное страждущее большинство человечества, с точки зрения мастеров торговли, было массой потребителей, которых надо обслужить с целью извлечь прибыль, и предприниматели стали с величайшим рвением состязаться в этом.

Медицинское сословие в то время работало почти исключительно ради дохода и обосновывало свои профессиональные привилегии принципами тред-юнионизма. Крайне низкий уровень образования и квалификации сочетался у его представителей с достойным лучшего применения упорством в защите привилегий вольнопрактикующего врача.

Врачи старались выгораживать друг друга, не допуская критики, когда дело шло об установлении причин смерти, и в других подобных обстоятельствах, когда нарушение врачебного долга не бросалось в глаза. В диагностике они пользовались устарелыми методами; правильный диагноз был скорее результатом природных способностей, чем хорошей подготовки, и они в большинстве случаев предпочитали диагностировать определенную болезнь и лечить ее, не мудрствуя лукаво, либо излечивая, либо убивая больного, чем ломать голову над разными малоизвестными недомоганиями, которые не поддались бы традиционному лечению. От таких болезней

они отмахивались, объявляя их причудами. В результате между врачами и больными установились довольно неприязненные отношения; врач со своими устарелыми, мудреными предписаниями, авторитетным тоном, неумением воздействовать на психику больного — каковой бы она ни была — и тем помочь выздоровлению стал вызывать даже большее недоверие к себе, чем он заслуживал. И это обстоятельство широко открыло двери перед дельцами и предпринимателями, оспаривавшими его претензию на роль единственного оздоровителя общества.

Так наперекор ему возникло и стало быстро развиваться производство пилюль, послабляющих и тонизирующих лекарств, питательных концентратов, всевозможных болеутоляющих средств, всяких возбуждающих и слабительных. Может быть, поначалу эти новые коммерсанты работали грубовато, но в дальнейшем их методы совершенствовались и завоевывали им все большую клиентуру. Их реклама стала постепенно играть все более и более важную роль в бюджете газет. Начав с обращений к тем, кто уже страдает, они при помощи своих усовершенствованных методов стали наставлять людей относительно того, как, где и когда положено испытывать страдания. Врачи-профессионалы пробовали их разоблачать, публиковали анализы патентованных средств, доказывали, что они недействительны и вредны, но новая, гигантски разросшаяся отрасль человеческой предприимчивости успела захватить контроль над всеми каналами информации, врачи не имели возможности довести свои протесты до сведения широкой публики. Их брошюры исчезали из книжных киосков и замалчивались прессой, а их устные указания пациенты встречали с недоверием, так как были подавлены огромными размерами искусной агитации.

Эта книга — не описание нравов эдуардо-георгианской эпохи, но необходимо было выяснить здесь эти несложные обстоятельства, чтобы читатель, живущий в новом, полном захватывающих событий и катастроф мире, понял, каким образом м-сс Тьюлер довела себя до гибели.

В благословенное царствование Эдуарда VII газеты всерьез устремили свое внимание на м-сс Тьюлер. Именно в это время «постоянный читатель», по предсказанию

профессора Кру, переменил свой пол. Прежде, когда еще был жив Ричард, м-сс Тьюлер почти никогда не заглядывала в газету. Ее не интересовала политика и то, что мужчины называют новостями; и только узнав из таких изданий, как «Спутник матери», о существовании «Тети Джен» и «Мудрой Доротеи», она включила в круг своего чтения новые газеты, столь непохожие на скучные, серые простыни прежних.

Сперва она читала только отделы купли-продажи и косметических советов, потому что — хотя ни одна порядочная женщина и христианка не станет краситься или мазаться — можно все-таки узнать, как сохранить свою наружность, не прибегая к таким приемам. И незаметно внимание ее обратилось к более интимным смежным вопросам.

«Чувство усталости», например. Оно ей было знакомо. Но она не понимала, что это значит, пока коммерсанты не объяснили ей. Это признак анемии, которая грозит стать злокачественной. Против этого великолепно действует некий кровяной экстракт. Она запаслась им, но не успела проследить его действие, так как вскоре ее внимание было обращено на целую серию невралгических болей.

Они порхали по ней, преследуемые болеутоляющими панацеями, и наконец добрались до головы. У нее всегда бывали головные боли, но никогда голова не болела так мучительно, как после созерцания картинки, на которой был изображен могучий кулак, вбивающий в голову гвозди. Тут должны были помочь печоночные пилюли, и она включила их в свое лечебное меню.

Укрепляющие соли, против ожидания, не вернули ей беспечной жизнерадостности, а сделали то, что она лежала теперь всю ночь напролет не смыкая глаз и мучилась бессонницей. Против этого тоже было средство. Кроме того, в организме обнаружился избыток мочевой кислоты и взывал о дальнейшем лечении. Ассортимент пузырьков, облаток, пилюль и порошков на ее умывальнике все разрастался.

Но коммерсанты не отставали. Она вдруг обнаружила, что у нее боли в предсердии, и начинается артрит, и в нескольких местах рак и остеомиэлит. Она делала все возможное для предупреждения этих бедствий и

борьбы с ними. Она ничего не стала говорить своему врачу относительно рака, так как коммерсанты уверили ее, что тогда она обречет себя на самое страшное — на операцию. Об этом она не могла подумать без ужаса. Нет, нет, никакой операции. Только не это.

Она почувствовала слабость от недостаточного питания и вместо здоровой пищи стала выпивать чашку жидкого чая с мясным привкусом, в котором, по уверениям коммерсантов, подкрепленным яркими примерами, была заключена сила целого быка. И ни одна газета не смела опровергнуть эту злодейскую ложь. Она проглатывала этот напиток, полчаса чувствовала себя бодрей, а потом опять ослабевала. Она подкреплялась подмешанным вредными снадобьями красным вином, так как продавцы утверждали, будто доход от него идет на поддержку миссионерских организаций во всем мире. Реклама этого вина была скреплена подписями продажных священников всех вероисповеданий. Все религиозные организации — как напомнил нам Шоу в своем кинофильме «Майор Барбара» — нуждаются в средствах, а любую организацию, нуждающуюся в средствах, можно купить A.M.D.G.[1],— и, таким образом, в конечном счете божьи дела вершились за счет пустого желудка и немощной плоти м-сс Тьюлер.

Бедная мать наша Ева, во все века ты и все потомство твое были жертвами коммерсантов. Ведь именно так утратили мы рай — после того, как первый коммерсант продал тебе фрукты и белье. Он предложил бесплатный образчик, он гарантировал качество. И пока торговля не исчезнет с лица земли... (зачеркнуто цензурой).

Она томилась у себя в спальне, принимая лекарства, думая о том, как бы чего не забыть, и прислушиваясь к болезненным ощущениям внутри своего организма, которые становились с каждым днем все более зловещими. Вдруг она принималась ощупывать себя всю, ища уплотнений и опухолей. Иногда она обнаруживала явственные затвердения. Она рассказывала всем и каждому о своих страданиях, и м-р Майэм называл ее «наша дорогая мученица». Он говорил, что все это будет возвращено сторицей, хотя, по-видимому, хотел сказать

---

[1] Ad Majorem Dei Gloriam — Во славу божию (*лат.*).

не совсем то. Были другие члены избранного кружка, у которых дело тоже обстояло неплохо по части страданий, но никто из них ни по силе, ни по разнообразию испытываемого не мог конкурировать с ней. Как-то раз м-сс Хэмблэй описала ей мнимую грыжу, заметив при этом, что мы просто удивительно устроены, и м-сс Тьюлер сказала:

— Если до этого дойдет, дорогая, я, кажется, лучше согласна умереть...

Но от грыжи судьба ее избавила. До этого не дошло. Коммерсанты не умели извлекать выгоды из мнимой грыжи.

М-сс Тьюлер отчаянно цеплялась за жизнь; ведь если она умрет, что будет с ее Бесценным? Надо заметить кстати, что вся эта лекарственная стратегия на него почти не распространялась. Но это объяснялось тем, что за собственными болезненными симптомами м-сс Тьюлер имела возможность следить, тогда как после одного-единственного опыта с тонизирующими каплями ничто не могло заставить Эдварда-Альберта признать наличие у него каких бы то ни было симптомов. В следующий раз, стремясь доказать превосходное состояние своего здоровья, он даже попытался стать на голову, что увенчалось лишь относительным успехом и привело к гибели одной тарелки.

— Что ты, что ты,— закашляла м-сс Тьюлер из глубины своего кресла (в тот день она обнаружила у себя плеврит).— Это может вызвать прилив крови к голове и удар. Обещай мне никогда, никогда больше этого не делать. Необходима осторожность.

У нее начался приступ болей.

— Знаешь что, милый мой, мне так плохо, что, кажется, нужно позвать доктора Габбидаша, хоть толк от него невелик. Ты сходишь за ним? Он мне хоть морфий впрыснет.

Добрый доктор впрыснул морфий, а через неделю проводил ее из этой юдоли скорби и греха по всем правилам врачебного искусства. Дело в том, что у нее действительно был плеврит. Она до такой степени понизила сопротивляемость своего организма, что любой микроб мог легко справиться с ним. Микробный блицкриг был стремителен и победоносен.

На заключительном этапе своей болезни безнадежно залеченная м-сс Тьюлер сделала несколько вариантов завещания, по большей части облеченных в пышную благочестивую фразеологию. По последнему и окончательному варианту она отказала множество пустячков разным знакомым, в том числе Библию с надписью и фотографию в серебряной рамке дорогому другу м-сс Хэмблэй, и назначила м-ра Майэма единственным душеприказчиком, опекуном и попечителем своего сына до того момента, когда дорогое дитя достигнет двадцати одного года; при этом молодому человеку внушалось, что он должен верить своему попечителю и повиноваться ему, как родному отцу, и даже больше, чем отцу,— как руководителю и мудрому другу.

Эдвард выслушал все это без особых признаков волнения.

Он взглянул на юриста, взглянул на м-ра Майэма. Он сидел на кончике стула, съежившийся, тщедушный.

— Значит, так надо,— покорно произнес он.

Потом облизнул сухие губы.

— Кто этот мистер Уиттэкер, который прислал такой большой венок?— спросил он.— Это наш родственник?

Ни тот, ни другой не могли дать ему точного ответа.

Он заговорил, ни к кому не обращаясь:

— ...Я не знал, что мама так больна. Мне и в голову не приходило... Значит, так надо... Это... это (глоток воздуха)... это очень красивый венок. Ей бы понравился.

И вдруг его бледное маленькое лицо сморщилось, и он заплакал.

— Ты потерял достойнейшую и лучшую из матерей,— произнес м-р Майэм.— Это была святая женщина...

У Эдварда-Альберта вошло в привычку никогда не слушать того, что говорит м-р Майэм. Сопя, он вытер свое заплаканное лицо тыльной стороной грязной маленькой руки. Только теперь начал он понимать, что все это значит для него. Ее уже больше не будет здесь ни днем, ни ночью. Никогда. Он уже не побежит, вернувшись домой, прямо к ней, чтобы рассказать ей что-нибудь лестное о себе — правду или выдумку, как случится,— и не будет греться в лучах ее любви. Ее нет. Она ушла. Она не вернется.

КНИГА ВТОРАЯ

ОТРОЧЕСТВО ЭДВАРДА-АЛЬБЕРТА ТЬЮЛЕРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НЕВИДИМАЯ РУКА

В тринадцать лет наш юный англичанин был бледен и физически недоразвит. Как и его мать, он отличался некоторым пучеглазием, черты лица у него были смазанные, невыразительные, манеры неуверенные. Однако какой-то более сильный наследственный элемент вступил в борьбу с результатами заторможенного на первых порах развития: он вырос, нескладный и некрасивый, до нормальных пропорций, и профиль его к двадцати годам стал резче. В нем всю жизнь таилась подавленная энергия, как мы увидим. Чуть ли не до тридцати лет он продолжал расти.

Почему-то он так и не научился по-настоящему свистеть и как следует бросать мяч или камень. Может быть, оттого что мать не позволяла ему свистеть, когда он был мальчишкой, он выработал какой-то особенный полусвист-полушип сквозь стиснутые зубы. Что же касается бросания, то он был полулевша, то есть одинаково хорошо, или, точнее, одинаково плохо, владел обеими руками. Он подкидывал мяч вверх левой рукой, а кидать правой научился очень поздно. И никогда не мог кинуть особенно высоко или далеко. Впрочем, необнаруженный астигматизм все равно не позволил бы ему точно направить удар. В то время зрение школьников не проверялось; надо было обходиться такими глазами, ка-

кие бог послал. Так что и прыгал он тоже неуверенно и всеми силами старался избегать прыжков.

Жизнь его так тщательно ограждалась от всяких духовных и физических травм, что до одиннадцати с половиной лет, когда он впервые отправился в школу м-ра Майэма, у него совсем не было товарищей. Но в школе он встретил сверстников, и некоторым из них даже позволяли звать его на чашку чая. Ему приходилось всякий раз убеждать свою мать, что это хорошие мальчики, прежде чем она соглашалась пустить его. У них были братья, сестры, родственники — и круг его знакомств расширился.

Из приходящих учеников Коммерческой академии м-ра Майэма он после смерти матери перешел в живущие и некоторое время помещался вместе с другими шестью мальчиками в большом мрачном дортуаре под названием «Джозеф Харт», через который в любое время ночи мог неслышно проследовать в своих мягких туфлях бдительный м-р Майэм.

И так как у Эдварда-Альберта не было родного дома, куда он мог бы поехать, он провел свои первые летние вакации у зятя м-ра Майэма на Уилтширской ферме, в угрожающей близости к вольной и не знающей стыда жизни животных.

Там были луга, на которых паслись большие коровы; они пучили глаза на прохожего, продолжая медленно жевать, словно замышляя его уничтожить, и от них некуда было укрыться. Были лошади, и как-то раз на закате три из них пустились вдруг в бешеную скачку по полю. Эдварду-Альберту потом приснился страшный сон об этом. Были собаки без намордников. Было множество кур, не имевших ни малейшего понятия о пристойности. Просто ужас! И невозможно было не смотреть, и было как будто понятно и как будто непонятно. И кроме того, не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил, что ты смотришь. Были утки, но эти держались приличнее. Были гуси, которые при твоем приближении угрожающе наступают на тебя, но не надо подходить к ним, и тогда они ведут себя вполне солидно. Кажется только, что они недовольны всеми, кого видят. И был юный Хорэс Бэдд, десяти лет, румяный крепыш, которому осенью предстояло ехать в Лондон, в пансион.

— Я обещал маме не бить тебя,— сказал Хорри.— И не буду. Но если ты хочешь — давай подеремся...

— Я не хочу драться,— ответил Эдвард-Альберт.— Я никогда не дерусь.

— А если немножко побоксировать?

— Нет, я не люблю драться.

— Я обещал маме... А почему ты не катаешься на старой лошади, как я?

— Не хочу.

— Я ведь не обещал, что не стану с тобой боксировать.

— Если ты меня только тронешь, я тебя убью,— заявил Эдвард-Альберт.— Возьму и убью. У меня есть особенный способ убивать людей. Понятно?

Хорри призадумался.

— Кто говорит об убийстве? — заметил он.

— Вот я говорю,— возразил Эдвард-Альберт.

— Рассказывай сказки,— ответил Хорри и, помолчав, прибавил: — У тебя что? Нож?

Эдвард-Альберт многозначительно посвистел. Потом произнес:

— Тут нож ни при чем. У меня свой способ.

У него действительно был свой способ — в воображении. Ибо за его невыразительной внешностью таился целый мир преступных грез. Ему нравилось быть загадочно молчаливым человеком, Тайным Убийцей, Мстителем, Рукой Провидения. Вместе со светловолосым болтливым Блоксхэмом и Нэтсом Мак-Брайдом — тем, что весь в бородавках,— он принадлежал к тайному обществу «Невидимой Руки Кэмден-тауна». У них были пароли и тайные знаки, и каждый вступающий проходил испытание: надо было пять секунд продержать палец над горящим газовым рожком. Это страшно больно, и потом палец болит много дней, а в тот момент слышишь запах собственного паленого мяса. Но да будет известно потомству: Эдвард-Альберт выдержал испытание. Он предварительно облизал было палец, но Берт Блоксхэм, сам не догадавшийся сделать это, заставил сперва вытереть его насухо.

Штаб-квартира кэмденской «Невидимой Руки» помещалась в комнате над пустой конюшней позади дома, принадлежавшего тете Берта Блоксхэма. Туда надо

было взбираться по почти отвесной лестнице. Тетя была женщина на редкость флегматичная, рыхлая, всегда молчавшая в церкви; с Бертом у нее не было ни малейшего семейного сходства, и она ни разу не рискнула подняться по этой лестнице. Так что «Невидимая Рука» в полной безопасности хранила там, наверху, великолепную библиотеку «кровавых историй», три черных маски, три потайных фонаря, от которых пахло краской, когда они горели, духовое ружье и кастет и мысленно терроризировала все население от Кинг-кросса до Примрозхилла. Жители этого района даже не подозревали, каким страшным опасностям они непрерывно подвергались.

Зимними вечерами члены «Невидимой Руки» крались иной раз в течение целого часа по темным улицам, крепко прижав фонари за пазухой и надев маски, пока вблизи не показывался полицейский. А тогда — «Внимание!» — и врассыпную».

Так лихо развлекались эти молодые головорезы. Они бранились, употребляли недозволенные слова — у Нэтса каждое третье слово было проклятием, ему ничего не стоило помянуть даже нечистую силу,— у них была колода настоящих карт, «дьявольских картинок», и они резались в девятку, в очко и другие отчаянно азартные игры на непомерные ставки. Потом Нэтс научился у брата игре в железку. Неизвестно, почему играли они всегда на доллары и во время игры были в масках. Они ругались и плевали. Игра шла не на наличные: они выдавали друг другу расписки и вели счет. И был момент, когда Нэтс задолжал Эдварду-Альберту более пяти тысяч долларов и еще половину этой суммы Берту — довольно солидный размах для мальчиков, которым еще не было тринадцати. Курить они не курили, боясь, как бы дома не заметили, что от них пахнет табаком. Нэтс попробовал было жевать табак, пустив для этого в ход подобранную где-то недокуренную папиросу, но последствия были столь быстры и столь неприятны для всех заинтересованных лиц, что опыт больше не повторялся.

Вот какова была невидимая жизнь Эдварда-Альберта, протекавшая втайне, под пристойным прикрытием его уклончивой сдержанности.

Его мать, видя, как часто он ходит пить чай к Берту Блоксхэму и Мак-Брайдам — хотя на самом деле он и не

думал ходить к Мак-Брайдам,— предложила ему позвать этих мальчиков к себе.

Сперва он не захотел. Он опасался: что подумает мать о лексиконе Нэтса, если у того вдруг развяжется язык? А с другой стороны, как отнесутся прошедшие огонь, воду и медные трубы члены «Невидимой Руки» к его домашней обстановке? Мать стала настаивать.

— Это хорошие ребята,— сказал он.

Но тем больше оснований с ними познакомиться. Тогда он потребовал, чтобы был фруктовый торт и мороженое.

— Ну, конечно, милый,— ответила мать.

— На первый взгляд они могут показаться грубоватыми,— предупредил он.

— Все мальчики грубые,— польстила она.

Она приняла их ласково. Тот и другой явились подозрительно чистенькими; первое время оба были слишком заняты едой, чтобы показать себя с какой-либо другой стороны. Они производили шум, но это был хороший, здоровый шум — главным образом когда они прихлебывали.

— Спасибо, мэм,— отвечали они на все угощения м-сс Тьюлер и некоторое время почти не произносили ничего другого. Окончание пира было отмечено удовлетворенными вздохами.

— Как бы я хотела иметь такой аппетит, как у вас,— заметила м-сс Тьюлер.

Критический момент наступил, когда м-сс Тьюлер спросила:

— Ну, что мы теперь будем делать?

Но она хорошо знала, что они будут делать. И хотите верьте, хотите нет — эти воплощения дьявола, эти игроки, которым ничего не стоило поставить на карту разом сотню долларов, эти прожженные удальцы, вокруг которых воздух содрогался от проклятий, вдруг снова превратились в детей. Члены «Невидимой Руки» играли в жмурки и в мнения и говорили: «Спасибо за вкусный чай, мэм»,— как будто и в самом деле были теми хорошими мальчиками, какими их изображал Эдвард-Альберт.

Правда, Берт слегка икнул, произнося эти слова, но, кажется, мама не заметила.

ГЛАВА ВТОРАЯ

КРИКЕТНЫЙ МАТЧ

Количество учеников в школе м-ра Майэма колебалось от девятнадцати до двадцати четырех, и все же Эдвард-Альберт, не пробыв там и двух лет, попал в число одиннадцати лучших, составлявших крикетную команду, и в последний год своего пребывания в школе участвовал в ежегодном матче с колледжем Болтера. До матча он не особенно увлекался этой игрой, но после него стал тем энтузиастом крикета, каким полагается быть каждому молодому англичанину.

Ученики м-ра Майэма летом играли в крикет в Риджент-парке, но зимой они не играли ни в какие игры, так как при игре в футбол мальчики очень пачкаются, и родители возражали. Однако м-р Майэм был убежден, что разумные физические упражнения на воздухе полезны для нравственности. Ему была ненавистна мысль о «слоняющихся» учениках, и в программу его заведения были включены «обязательные игры». Мальчики должны ложиться спать усталыми. Шапочки, фланелевые костюмы, башмаки и необходимый инвентарь можно получать от фирм, поставляющих школьное обмундирование, и притом по выгодным оптовым ценам. И даже наименее светские родители будут вознаграждены, убедившись воочию, что их отпрыск умеет вполне прилично играть в обществе в крикет. Заведомо солидный характер заведения явствовал из подбора цветов школы: черного с белым.

Ввиду такого расширения программы и принимая во внимание недостаточность собственного атлетического развития, м-р Майэм ввел в штат «спортивного руководителя», м-ра Плиппа. Это был превосходный молодой человек, женатый, преподаватель начальной школы, свободный по средам после полудня и, кроме того, готовый считать бойскаутские вылазки и походы по Примрозхиллу «обязательными играми» на зимний сезон.

Чтобы довести организацию спортивного дела в школе до конца, оставалось только устроить несколько матчей, и тут м-ру Майэму посчастливилось столкнуться с директором колледжа Болтера в тот момент, когда тот

наблюдал за «тренировкой» своих учеников, ломая голову над тем же самым вопросом. Колледж Болтера в Хайбери был маленьким фешенебельным частным заведением, где воспитывались главным образом мальчики, действительные или предполагаемые отцы которых находились далеко в тропиках. На спортивных куртках у них красовался британский флаг, шапочки были красно-бело-синие, а качество игры как будто не так уж недостижимо возвышалось над уровнем школы Майэма. Так было заключено соглашение о матче — нет, о ежегодных матчах в крикет, и матчи эти устраивались уже несколько лет подряд до того, как Эдвард-Альберт поступил в школу. Выигрывал по большей части колледж Болтера благодаря тому, что выставлял в составе своей команды поджарых, гибких и загорелых «старичков» или же «новых преподавателей», которые никогда вторично не появлялись.

Против «старичков» никто не возражал. Отводить их было бы невеликодушно. Но школа Майэма была моложе и малочисленней и потому подобных резервов не имела. На счету болтеровцев было семь побед подряд. И притом с огромным преимуществом. Если они начинали, то забивали сотню или около того и объявляли. А когда начинала школа Майэма, то счет редко превышал пятьдесят. Один раз получилась ничья из-за драки с игравшими на соседнем поле, вызванной столкновением между одним фильдером, который старался поймать сильно пущенный мяч, и багсменом болтеровцев, перехватившим его.

Как ясно из предыдущего, Эдвард-Альберт вышел на это ежегодное состязание чрезвычайно неохотно, без всякой надежды на успех. Он делал все, чтобы его освободили от участия, но безрезультатно. Штаны ему дали слишком длинные; рукава не хотели держаться засученными. Он чувствовал себя самым жалким и ничтожным из божьих созданий. Крикетные мячи твердые, и что с ними ни делаешь, все получается не так. Его прозвали Размазней. Колледж выставил длинного, уже взрослого «старичка» — какую-то смесь Споффорта и Раньитсинджи, и еще более огромного «нового преподавателя». И никогда еще так не бросалась в глаза разница в росте между директором колледжа и м-ром

Майэмом. Что ж, во всяком случае, это не вечно будет длиться, говорил себе наш юный герой. А в глубине мрачной перспективы вырисовывался традиционный товарищеский чай.

Конечно, по жребию колледж вышел первым. Он открывал игру. Счастье было на его стороне. По крайней мере так казалось. М-р Плипп остановил свой взгляд на Эдварде-Альберте, как будто не зная, куда его поставить. Ах, он не принесет никакой пользы, куда бы м-р Плипп ни поставил его. За ворота? Прекрасно, он будет стоять за воротами...

М-р Плипп приготовился к подаче. У него сильная подача, и надо сдвинуть ноги, чтобы мяч не проскочил между ними. Его мячи очень больно бьют по рукам. Трудно решить, что лучше сделать. Чем дальше отойдешь, тем длинней получится полет мяча и легче будет взять его... Если как следует отойти, мяч в конце концов покатится по земле и остановится сам собой, но все они начнут орать, когда будешь стараться кинуть его.

Как быть? М-р Плипп подал сигнал, и м-р Майэм, стоявший вратарем, в больших перчатках и наголенниках, повернулся, чтобы повторить его. М-р Плипп как будто хочет, чтобы Эдвард-Альберт стоял поближе и правей. Разве никому не нужно быть за воротами? Но там, ближе, гораздо опаснее. На поле мяч может сбить и оглушить так, что опомниться не успеешь. Не притвориться ли больным и уйти домой? А потом получить нагоняй от м-ра Майэма? Вместо чая?

Эдвард-Альберт затрусил к назначенному месту.

Обряд игры начался. Середина? Нет, немножко левей. Вот так. Плэй!

«Старичок» с битой, ударив по воротам, послал мяч точно на черту. Мяч прошел в футе от Эдварда-Альберта. Шесть.

— Больше жизни, Тьюлер! — крикнул м-р Плипп не особенно ласково.

Эдвард-Альберт на мгновение отвлекся от игры, чтобы обменяться угрожающей гримасой с Нэтсом. Тут в него попал мяч.

Удар был такой сильный, что на мгновение ему показалось, будто он видит два мяча: один — у своих ног, другой — убегающий прочь. Батсмены колледжа побежали.

— Играем, сэр? — крикнул дьявол «старичок».— Скорей, сэр!

Они делали уже вторую перебежку.

— Да ну же, Тьюлер! — крикнул м-р Майэм.— Жизни, жизни!

Эдвард-Альберт с трудом поднялся на ноги, схватил мяч и, собрав все свои духовные и телесные силы, кинул его во вратаря. Мяч пролетел примерно в полутора ярдах от последнего и сбил с ворот верхнюю перекладину. Бита черного дылды скользнула по его полоскам с пятисекундным запозданием. Эдвард-Альберт не сразу понял, до чего ему повезло.

— Ну как, сэр? — спросил м-р Майэм, и судья ответил:

— Выбит.

— Хороший бросок, Тьюлер! — сказал м-р Плипп.— Отлично! Как раз то, что нужно.

Эдвард-Альберт вырос примерно на дюйм и позабыл о том, что у него, наверно, шишка на затылке.

— Я решил, что лучше бить прямо по воротам, сэр,— ответил он.

— Вот именно, вот именно.

— Ты поступил совершенно правильно,— подтвердил м-р Майэм.— Мы еще сделаем из тебя игрока, Тьюлер. Давно ты не был таким молодцом.

На минуту игра была прервана криками: «Благодарим, сэр! Благодарим!» К ним залетел мяч с соседнего поля, и в этой общепринятой для таких случаев форме их просили вернуть его. Вот он у самых ног судьи. (Значит, тогда действительно был второй мяч!) «Старичок» рассеянно поднял его и послал высоко вверх — обратно, после чего ушел с поля к запасным, чтобы предаться размышлениям о своей преждевременной отставке. Он рассчитывал роскошно провести весь день до самого вечера в вольном, беззаботном гонянии мяча. Но его заменили мальчиком, который, в свою очередь, был сражен третьим из ударов м-ра Плиппа, известных под названием «гугли» и представлявших собой любопытный способ замедленной подачи оверармом, производивший могучее гипнотическое действие на молодежь.

— О-оу-вер.

Тут произошло страшное событие. М-р Плипп велел Эдварду-Альберту баулировать. Он велел ему баулировать. Он держал мяч в руке. Посмотрел на него: хотел было подавать, потом остановился, видимо, под влиянием какой-то мысли, и приказал баулировать Эдварду-Альберту Тьюлеру.

М-р Плипп был известен как один из искуснейших крикетных стратегов, но то, что он велел Эдварду Тьюлеру взять на себя подачу, едва не поколебало доверие его поклонников. Он вполголоса тщательно проинструктировал своего ученика:

— У этого длинного парня сильный удар; он привык к обыкновенной хорошей подаче. А ты пошли ему понизу, чтоб захватить его врасплох, как ты умеешь. Понял? Чуть поддай, если хочешь. Не беда, если он разок-другой выбьет тебя за черту. Я знаю, что делаю.

И, еще раз вдумчиво поглядев на мяч, он передал его Эдварду-Альберту.

— Подавай в сторону стойки,—прибавил м-р Плипп.— И меняй темп. Пусть он отбивает.

Гордость и страх мешались в душе Эдварда-Альберта, когда он получил в руки мяч. Полоски мяча на ощупь производили какое-то странное, непривычное впечатление. Он какой-то стертый, подумал Эдвард-Альберт... Но надо баулировать. Если дать примерно на ярд правей, можно попасть в ворота. Так часто бывает. Так он и сделает. Сначала даст короткий и низкий удар. Мяч быстро коснулся земли и медленно покатился к воротам. Великан, теперь казавшийся чуть ли не десяти футов ростом и необыкновенно широким в плечах, ждал его приближения в какой-то нерешительности. Мяч был не из тех, с какими он привык иметь дело. Он не ожидал такого слабого удара. И попросту преградил ему путь.

— Славно баулировал, Тьюлер! — насмешливо крикнул ему Нэтс.

Смеется? Ладно. Зато в следующий раз...

Наш герой решил варьировать способ атаки. Он сделает несколько обыкновенных низких ударов в ноги великану. Один быстрый, а потом один медленный, срезанный. Вон туда. Может быть, не достанет. Сперва быстрый. Эдвард-Альберт вложил всю силу в удар. Увы! Мяч пошел вверх — настоящая свеча. Он запустил его

прямо в небо. Но великан, ожидавший опять короткого броска, выступил вперед, чтобы срезать его сильным ударом. Этот странный мяч, летящий высоко в воздухе, сбил его с толку. Он заколебался и упустил момент. Сообразил, что надо делать, на какие-нибудь полсекунды позднее. Вышел за черту ворот и ударил наотмашь. Что-то свистнуло, щелкнуло. С ворот упала перекладина. Хлоп!— и мяч в перчатках м-ра Майэма. К удивлению Голиафа, к удивлению Эдварда-Альберта, к удивлению всех присутствующих, мяч попал в стойку.

— Как, судья? — послышался удивленный голос м-ра Майэма, схватившего мяч.

— Выбит! — донесся приговор.

— Чер-р-т дер-р-р-р-ри! — заорал Нэтс, и никто не остановил его.

Размазня начисто выбил Голиафа. Выбил начисто, да-с!

Остальные подачи ничем не были замечательны. Двое из команды колледжа сделали две перебежки, был промах, и, как ни странно, Эдварду-Альберту больше не предлагали баулировать. Задняя линия защиты была прорвана. М-р Плипп возобновил свои знаменитые «гугли», м-р Майэм пробил три раза, и последний игрок сошел с поля.

Колледж вышел со счетом двадцать четыре, из них восемнадцать фактических перебежек, один промах, три игры в одиночку против двух и два низких мяча — вследствие того, что м-р Майэм пересек черту. Перед черно-белыми открылась наконец возможность победы. Теперь она была действительно близка. М-р Плипп обнаружил необычную для него склонность к резким ударам, забил шестнадцать и в конце концов был выбит Голиафом. М-р Майэм осторожно набрал пятерку и был чисто выбит тощим и длинным «старичком», который тоже сделал четыре одиночных игры во время своей подачи. Эдвард-Альберт, правда, не получил перебежки, но остался на поле до конца подачи и унес свою биту победоносно, «не выбитый из игры». Оставалось только кричать ура. Школа выиграла с превышением в шесть голов, и Эдвард-Альберт стал героем дня.

— Славный матч! — заметил директор колледжа, пожимая м-ру Майэму руку.

Берт хотел покидаться кое с кем из ребят, но оказалось, что м-р Плипп спрятал мяч в карман.

— Нет, нет, они увидят, как ты мажешь,— заявил он Берту с неожиданным раздражением.

Команда колледжа удалилась в полном порядке, обсуждая острые моменты игры, а победители построились в колонну, воодушевленные перспективой традиционного парадного чая (булочки с коринкой и варенье и приходящие ученики в качестве гостей).

У выхода из парка к м-ру Майэму подбежал запыхавшийся юноша во фланелевом костюме.

— Простите,— сказал он.— Вы, кажется, почти все время играли не тем мячом.

С этими словами он вынул хорошенький новый красный мяч и протянул его директору школы.

— Хм,—важно произнес м-р Майэм,—этот мяч действительно похож на наш, но...

Он оглянулся на удаляющихся студентов колледжа. Они были уже далеко и не могли слышать. Он обратил многозначительный смущенный взгляд на м-ра Плиппа:

— Странно!

М-р Плипп взял мяч, сейчас же спрятал его в карман и с величайшей поспешностью вынул оттуда другой.

— Вот ваш,— сказал он.

— Да, это наш,— подтвердил юноша.— Наш — Лиллиуайт. А ваш — Дьюк. Надеюсь, что это не отразится на ваших результатах. Мы сразу не заметили.

— Я два раза пробил за черту,— заявил м-р Плипп.— Может быть, тут и произошел обмен. В самом конце игры.

— Мне кажется, это случилось гораздо раньше,— возразил юноша.— Я, правда, не знаю, каковы на этот счет правила игры Мэрилебонского клуба.

— Я тоже,— ответил м-р Плипп.

М-р Майэм соображал. Несколько мгновений длилось молчание. Потом он кашлянул, и украшенное обильной растительностью лицо его приняло строгое выражение.

— Допустим,— заявил он,— что во время данной игры в какой-то момент имела место временная благоприятная замена одного мяча другим. В таком случае

возникает вопрос, была ли эта замена намеренной и злостной или же она явилась результатом какого-нибудь совершенно невинного недоразумения. В первом случае мы не имели бы права на звание победителей. Да, сэр. Никакого права. Мы должны были бы объявить данное состязание недействительным, как...— он поискал подходящее выражение,— как non sequitur[1]... Но поскольку, напротив, произведенная игроком замена не имела мотивов злонамеренных и бесчестных — а я знаю юношу Тьюлера как одного из самых серьезных, христиански настроенных своих воспитанников, настоящее дитя господне, не говоря уже о том, что он в тот момент испытывал довольно сильную боль от удара мячом,— я без малейших колебаний заявляю, что не только мы вправе считать свою победу действительной, но что так было суждено и предназначено свыше. Созвездия — если позволительно говорить об этом со всем смирением и страхом божиим — в течении своем соревновали нашему успеху, и было бы чистейшей неблагодарностью — неблагодарностью, говорю я,— проявлять суемудрие по поводу этой победы.

Юноша глядел на м-ра Майэма с почтительным восхищением.

— К этому нечего прибавить, сэр, решительно нечего,— промолвил он, подбросив свой мяч и снова поймав его.

— Я безусловно согласен,— заявил м-р Плипп.

М-р Майэм и м-р Плипп торопливо продолжали свой путь, чтобы догнать сдвоенную цепочку ликующих победителей. Оба шагали в глубокомысленном молчании. У них не было никаких оснований воздерживаться от беседы, но, как ни странно, ни тот, ни другой не мог придумать подходящей темы. Наконец у самого дома Плипп произнес одно только слово:

— Тьюлер...

— Об этом не может быть и речи,— оборвал м-р Майэм, прекращая разговор.

Мальчики, никогда прежде не находившие приветливого слова для Эдварда-Альберта Тьюлера, теперь, толпясь в темном коридоре и классной комнате, восхва-

[1] Необоснованное *(лат.)*.

ляли его достижения, подробно их разбирали и заискивали перед ним!..

Вот каким образом он сделался энтузиастом крикета, стал следить за результатами состязаний, собирать снимки выдающихся игроков и наблюдать игру всюду, где только к этому представлялась возможность. Теперь он мог наблюдать игру любого класса, сопровождая ее поощрительными замечаниями: «Хорошая перебежка, сэр!», «Выбивайте их, сэр!»

Сам он играл не особенно много: необходима осторожность, чтобы не испортить своего стиля игрой с более слабыми противниками. Но в мечтах, посвистывая на свой манер, он не раз отращивал огромную бороду или надевал фальшивую и превращал У. Дж. Прейса в простого предвестника его собственной, более эффективной и победоносной подачи. Или он возвращался в павильон сверх-Спофортом своего времени, а в аплодирующей толпе находились Берт и Нэтс, с изумлением убеждавшиеся, что этот дьявольский мастер биты — не что иное, как одно из бесчисленных обличий их закадычного и все же таинственного друга, молчаливого Тедди Тьюлера.

На этом основании слова «игра в крикет» стали у него тем употребительным выражением, которое до сих пор полно значения для каждого англичанина, хотя ни один англичанин не может объяснить, что именно оно значит.

В его манерах появилась какая-то особенная самоуверенность. До сих пор первенствующая роль принадлежала Берту, но теперь положение изменилось. А в один прекрасный день Хорри Бэдд, шутя боднув по привычке нашего героя в спину, нарвался на нечто совершенно неожиданное. Раньше Эдвард-Альберт не был склонен протестовать против этих маленьких знаков дружеской приязни. Но тут вдруг повернулся к нему и зарычал:

— А ну не лезь!

И совершенно не по правилам дал Хорри оплеуху и сейчас же изо всех сил вторую. Он взял Хорри на внезапность и на испуг. Хорри любил кулачный бой — пощечины не входили в ассортимент его приемов. Он никогда никому не давал оплеух. Он громко завыл. Несколько дней на лице его оставались красные следы.

— А будешь хамить, так я еще не так тебя отделаю,— заявил Эдвард-Альберт.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МЕТАМОРФОЗА ЧЕЛОВЕКА

Так Эдвард-Альберт из младенчества перешел в детский возраст, а затем приблизился к тому своеобразному периоду в жизненном цикле человека, который ознаменован радикальной переменой и носит название отрочества.

Определение «радикальный», как и все другие определения, встречающиеся в этом правдивом повествовании, употреблено здесь обдуманно. Речь идет о метаморфозе; правда, изменения в данном случае менее наглядны, чем при переходе от головастика к лягушке, но все же, как утверждают мои знакомые зоологи, у человека они резче, чем у большинства других сухопутных животных. Ваша кошка, например, не знает ни одного из тех явлений трансформации, которые происходят с ней. У нее не начинают вдруг расти волосы на неожиданных местах, ее мяуканье не переходит в львиный рык, она не теряет зубов и не получает серию новых взамен, не покрывается прыщами и не становится неуклюжей в результате неустойчивости, которая внезапно проявляется в обмене веществ и в нервной системе. Ваш котенок превращается в кошку, но совершает этот переход постепенно и изящно; это существо определенное и законченное с того момента, как у него открылись глаза на мир; никаким метаморфозам оно не подвержено. А то животное, которое называется человеком, переживает метаморфозу. И Эдвард-Альберт Тьюлер, согласно законам, которым подчиняется наш вид, тоже пережил ее.

Может быть, вам покажется неожиданной мысль, что метаморфоза, подобная метаморфозе лягушки, свойственна человеку в гораздо большей степени, чем большинству других сухопутных животных. Но не моя вина, что вы этого не знали. Я в меру своих слабых сил сделал все, чтобы помочь вам и всем нашим современникам выбраться из глухих дебрей устарелых, не-

правильных представлений, ложных понятий, самодовольной ограниченности и глубокого невежества, в которых мы так безнадежно запутались. Я боролся с классической школьной традицией, не жалея сил. Если мысль о метаморфозе представляет для вас нечто неожиданное, браните тех негодных шарлатанов, которые претендовали на роль ваших учителей. Если вам покажется необычным и ошеломляющим то, что здесь написано — здесь и дальше, в первой главе третьей книги,— это их вина. Некоторые из нас, кому посчастливилось хотя бы отчасти получить настоящее образование, старались восполнить пробелы в вашем. Мы составили и тщетно пробовали добиться введения в школьный обиход серии энциклопедических руководств, из которых самым важным для нашей темы является «Наука жизни» [1]. В последнем—однотомном—его издании обзор достижений в этой области доведен до 1938 года. Вам необходимо прочесть эту книгу от доски до доски, так как без этого нельзя понять того, что делается вокруг нас, и быть на высоте современных, гигантски возросших требований жизни.

Но для наших непосредственных задач достаточно будет познакомиться с диаграммой и текстом к ней, которые я заимствовал из одной статьи д-ра У. Дж. Грегори, помещенной в «Трудах Американского философского общества». Вы найдете все это в конце книги, в «Приложении». Если вы познакомитесь с этой диаграммой, а также с другой, которая помещена перед ней и представляет собой итог всех наших сведений об эволюции плацентарных млекопитающих, вам станет понятным все, что я говорю здесь о метаморфозе человека и что буду говорить дальше, в книге третьей, о крайне низкой ступени, занимаемой Hominid'ами на лестнице бытия. В противном случае вы не поймете, до какой степени низко помещается Эдвард-Альберт на этой лестнице. Вы можете сопоставить данные д-ра Грегори со статьями «Приматы» и «Полуобезьяны» в энциклопедии. Вы можете, если угодно, дополнить сообщаемые д-ром Грегори сведения, ознакомившись в любом зоопар-

[1] Популярная книга по биологии, написанная Г. Уэллсом совместно с Джулианом Хаксли и Джорджи Уэллсом, его сыном, профессором зоологии.

ке с маленьким существом из семейства лемуров, так называемым Tarsier Spectrum, или с его чучелом в зоомузее. Он — обитатель Малайи, и в его движениях и взгляде есть что-то напоминающее нашего Эдварда-Альберта; это маленький, хвостатый, ведущий ночной образ жизни, покрытый шерстью и очень пугливый Эдвард-Альберт. Между прочим, один из его ископаемых родственников эпохи эоцена, судя по костям, был так похож на человека, что его окрестили Tetonius homunculus — первичным человечком (Strubei). Он гораздо ближе к вашему непосредственному предку, чем эта страшная особа — великолепная черная горилла. Он был очень близок к нашему предку и к предкам всех простых и человекообразных обезьян; но в то время как они ответвились от нашего родословного древа, стали развиваться в особом направлении, без всякой возможности вернуться вспять, и сделались нашими родственниками в разной степени родства, подотряд полуобезьян стал развиваться прямо в сторону Hominid'ов и в нашу.

После всех этих объяснений, в которых не должно было быть никакой надобности, вы, возможно, поймете, почему я хочу настаивать на замене видового названия Homo sapiens более скромным Homo Тьюлер. Мне очень жаль, если для вас окажется не совсем легко воспринять ход моей мысли. Я не стану порицать вас за это, но посочувствую вам. Вы невинная жертва своего воспитания.

Все вышеизложенное — вовсе не отклонение от темы. Я дал обещание писать о Тьюлере и пишу о Тьюлере. Но я должен был указать место, занимаемое им в мироздании. Место, которое вместе с ним занимаем и мы. Я хочу рассказать вам все, что мне известно о Тьюлере, я буду анатомировать и доказывать на живом материале, но будь я проклят на все те немногие годы, которые мне еще осталось прожить, если я соглашусь написать хоть одну оппортунистическую или компромиссную строчку о нашем происхождении в угоду всем Тьюлерам в мире. Мы—низкая, отсталая порода. Трудно найти в зоопарке четвероногое, которое было бы столь же дурно организовано, слабо развито, незаконченно и неполноценно, как мы. Пойдите посмотрите, например, как грациозны и совершенны тигр, газель или тюлень.

По мере развития метаморфозы Эдварда-Альберта в его внутренний мир все глубже вторгались две группы вопросов. Перед ним все ясней вырисовывалась необходимость готовиться к тому, чтобы, как говорится, зарабатывать на жизнь, и в то же время над ним все сильней нависал и охватывал его комплекс влечений, страхов, запретов и торможений, связанных с тем напором пола и половым опытом, которого с такой тревогой ожидала его мать. Займемся сперва менее сложным из этих двух моментов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НАСЛЕДИЕ ФЕОДАЛИЗМА

«Зарабатывать на жизнь». Эта формула стала звучать для него неясной угрозой еще до того, как умерла его мать.

— Тебе ведь придется зарабатывать себе на жизнь, когда меня не будет,— говорила она ему всякий раз, когда он приставал к ней, заставляя ее решать за него задачи.

Мысль об уроках, достаточно неприятная сама по себе, даже когда имеешь мать, на которую можно свалить их, не становилась привлекательнее от того, что к ней примешивалась мысль о необходимости зарабатывать на жизнь, когда матери уже не будет. Он старался, пока возможно, не думать об этом.

Англичанин Джордж Оруэлл, троцкистский журналист с огромными ногами, очень храбро сражавшийся в Испании, произвел недавно обследование литературы, поглощаемой английскими и американскими юношами и девушками накануне их превращения из головастика в лягушку. На основе своего материала он сделал ряд обобщений, которые я уже отчасти позабыл,— так что, мне кажется, с моей стороны не будет нарушением обязательства не допускать в этой книге никаких идей, если я приведу одно его замечание, которое застряло у меня в памяти. Между тем оно сильно облегчит правильное представление о том фоне, на котором протекало отрочество Эдварда-Альберта.

Оруэлл утверждает, что, судя по этой литературе, как в вопросах пола, так и в вопросах выбора профес-

сии либо американская молодежь отличается преждевременным развитием, либо английская — известной отсталостью. Отсталость эта имеет свои преимущества. Благодаря более позднему пробуждению интересов зрелого возраста английские юноши и девушки могут отдавать больше душевных сил учению, а потому они более уравновешенны и больше успевают в школьных занятиях, чем их американские сверстники. Этого нельзя объяснить сколько-нибудь существенными расовыми различиями. У населения Англии кровь едва ли чище, чем у населения Америки. В чем же причина?

Я много думал над этим вопросом — вовсе не для того, чтобы распространяться на эту тему в данной книге, а просто для себя. И вдруг мне стало ясно, что, хотя Эдвард-Альберт родился в глухом переулке Кэмден-тауна, в той человеческой плавильне, которая называется Лондоном, отец и мать его, как и их предки, жили в феодальном мире, том феодальном мире, от чьих, пусть даже слабых, пут тринадцать колоний окончательно и бесповоротно избавились полтора столетия назад. Все, что американский читатель найдет странного в моем герое, объясняется именно этой разницей. Феодальный мир! Я нашел ключ. При этих словах все обобщения улетучиваются и факты вновь вступают в силу.

Мать м-сс Тьюлер была уроженкой одного из центральных графств; она родилась под сенью помещичьего дома и получила, так сказать, вполне феодальное воспитание. Баптистские связи объяснялись тем, что Воробышек происходил из баптистской семьи, принадлежавшей к местной общине Кэмден-тауна. Там был приобщен к тайнам религии его дед, но сам Воробышек так и не изведал благодати крещения, и супруги, вероятно, причалили бы опять к англиканской церкви, если бы не его явная неспособность находить нужное место в молитвеннике. Жена чувствовала неловкость за него. С баптистами было проще.

За вычетом этого маленького несходства, у Ричарда Тьюлера было столь же феодальное происхождение, как и у его жены. Он принадлежал к четвертому поколению искусных лондонских ремесленников и работал в фирме, имевшей королевский торговый патент с тех самых пор, как такие патенты стали выдаваться. Счета ее

были украшены королевским гербом и надписью: «Основана по указу Его Величества». Дед и отец его тоже всю жизнь проработали у Кольбрука и Махогэни, испытывая так же мало желания покинуть эту фирму, как фирма — уволить их. Само собой разумеется, Кольбрук и Махогэни обеспечивали их пенсией на старости лет, помогали им улаживать домашние затруднения, принимали участие в судьбе их детей.

Именно эти феодальные пережитки, до сих пор проникающие во все области общественной жизни Англии и придающие ее литературе, нравам и понятиям тот специфический тон показного благородства, который так озадачивает и раздражает американцев, были основной причиной того, что наш герой, вместо того чтобы, подобно молодому американцу, молодому еврею или молодому дикарю, бурно наслаждаться своей юностью, продвигался по ней осторожно, так сказать, задом наперед, стараясь уверить самого себя и весь окружающий мир, будто ее вовсе нет, а если б она и была, это не имело бы ровно никакого значения.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОТЧАЯННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Необузданные юноши только о том мечтают и разговаривают, как бы преуспеть в жизни. У юного Баффина Берлибэнка, поступившего в школу м-ра Майэма приходящим, на короткий срок, пока не освободится вакансия в Моттискомбе, дома царила атмосфера наживы и говорили только о деньгах, откровенно перед ними преклоняясь. Он слышал удивительные рассказы о «молодом Хармсуорте» и «старом Ньюнесе». Молодой Хармсуорт жил прежде в Кэмден-тауне, совсем близко, можно сказать — за углом; отец его был незадачливым кэмдентаунским адвокатом. А юноше удалось где-то занять денег; он стал выпускать листок под названием «Вопросы и ответы», потом еще один — под названием «Веселая смесь», и теперь у него ни много, ни мало—миллион. Совсем молодой — и уже миллион. А Ньюнес был никому не известным деревенским аптекарем, пока в один прекрасный день не прочел в газете какую-то утку. Тут

он сказал жене: «Вот это утка так утка!» И тут ему пришла мысль: почему бы не издавать журнал, набитый сплошь такими утками, всякой всячиной, набранной отовсюду понемножку? Он вложил в это дело небольшой капиталец и теперь страшно богат. Страшно богат. Подумайте! Ведь ему принадлежат чуть не все фуникулеры в мире.

— А что такое фуникулер? — спросил Эдвард-Альберт.

— По крайней мере так папа говорит,— продолжал Баффин, уклоняясь от ответа.— А я хочу заняться автомобилями... Да, автомобилями. Последний грош в это дело вложу. Очень выгодно. Производство их дорогое и всегда дорогим останется. Папа говорит, тут нужны искусные, квалифицированные рабочие, а таких не получишь задешево. Мало того, если спрос будет расти, так и цены будут подниматься. Понятно? Так что уж дешевле, чем сейчас, новый автомобиль стоить никогда не будет. И врачам, коммивояжерам и простой публике придется обходиться машинами подержанными или с брачком. Ну вот, чем тебе не заработок? Только загребай. Купил, отделал, как новенькую, и продал в рассрочку или сдал напрокат. Через несколько лет только графы, герцоги да миллионеры будут кататься в нарядных новых автомобилях. На десять машин одной новой не придется. Вот увидишь.

— А ты не думаешь, что как-нибудь научатся выпускать дешевые автомобили? — заметил Эдвард-Альберт Тьюлер.

— Уже пробовали. В Америке. Папа это все хорошо знает. Там есть один такой — Генри Форд. Дешевые выпускает. Так это просто смех. Дребезжат. Страшны, как смертный грех. Разваливаются на ходу. Он сам над ними смеется. А то еще есть газогенераторные. Котлы на колесах. Гаснут при сильном ветре. На днях папа сам видел, как один заглох. Нет! Автомобиль для человека среднего достатка — это подержанная машина из вторых, третьих, четвертых рук, высококачественная, заново отделанная, хорошо отремонтированная. Теперь ходит много автомобилей, которые и через двадцать пять лет ходить будут. И вот на этом-то Баффин Берлибэнк рассчитывает немножечко заработать. Тут-то мы и погреем

руки. Понимаешь? Покупайте автомобиль только у Баффина Берлибэнка. Послушайте его совета. У него огромный выбор. Автомобиль для всех. В этом деле есть любопытные особенности, неожиданные повороты. Папа говорит, например, что автомобили бывают разного урожая. Можешь себе представить?

— Как это разного урожая? — спросил Эдвард-Альберт.

— Папа говорит, что их расценивают, смотря по тому, в каком году они выпущены. Это очень важно. Надо следить за всем, смотреть в оба.

Воодушевленный верой в свои деловые способности, Баффин организовал в школе настоящее предприятие по покупке и продаже велосипедов, внушив этим уважение к себе даже м-ру Майэму. Приобретая один велосипед, вы являетесь розничным покупателем и должны уплатить полную цену: по договору с оптовиком, продавец не имеет права продавать вам велосипед по цене ниже установленной. Но предположим, вы уговорились с несколькими знакомыми и организовали фирму, с определенным адресом, с фирменными бланками—все как полагается. Тогда вы можете заказать полдюжины велосипедов по оптовой цене, так что они обойдутся вам — Баффин не называл точной цифры — на двадцать пять или тридцать пять процентов дешевле.

— *Иначе говоря,— продолжал он, быстро сделав под*счет в уме,— вы за те же деньги получите шесть машин вместо четырех.

— Почти,— прибавил он, заметив, что м-р Майэм медленно и серьезно проверяет его расчеты.

Дело в том, что он как-то после занятий поделился своей идеей с м-ром Майэмом, а тот заинтересовался и теперь глядел на него благосклонно и даже как будто с уважением.

Таким образом, в Кэмден-тауне появилась новая фирма под названием «Б. Берлибэнк и К^0». Официальной резиденцией служил ей газетный киоск. Необходимый капитал образовался из взносов м-ра Майэма и Нэтса Мак-Брайда, а также оплаченного авансом заказа, полученного от Берлибэнка-отца, который хотел дать сыну возможность испытать свои деловые способности, а заодно подарить ему ко дню рождения велосипед. В

конце концов в адрес фирмы были присланы и после некоторого препирательства помещены у киоскера в сарае шесть блестящих новеньких велосипедов.

— А теперь,— объявил наш юный предприниматель, выдав трем своим компаньонам три велосипеда по оптовой цене,— мне остается только продать остальные три по рыночной цене, и я заработаю...

Были некоторые осложнения с накладными расходами; пришлось заплатить за фирменные бланки и т. п. Возникли также непредвиденные затруднения при подыскании таких жителей Кэмден-тауна, которые желали бы в самом срочном порядке купить велосипед по рыночной цене. Баффин уговорил газетчика поставить одну из оставшихся машин в киоске и повесил на ней надпись: «Скидка — 10%. Легкий брак». Но через несколько дней газетчик потребовал, чтобы ее убрали, так как покупатели, приходившие за газетами или папиросами, ушибали ноги о педаль и ругались на чем свет стоит.

В расспросах Баффина стали слышаться нотки уныния.

— Не знаете ли вы случайно кого-нибудь, кто хотел бы приобрести новенький велосипед в прекрасном состоянии почти по оптовой цене?

Он бродил по улицам и всматривался в лица прохожих, надеясь прочесть в них желание обзавестись велосипедом. В разговоре он то и дело упоминал о случайных неудачах, об опыте, на котором учатся.

— Это не так выгодно, как я думал. У меня было слишком мало средств для начала. Если бы мне не надо было переходить в Моттискомб, я бы рискнул еще раз. Попросил бы отпустить мне двенадцать машин в кредит на три месяца,— заметьте, двенадцать. Снял бы витрину и устроил бум. А по истечении срока уплатил бы из прибыли и получил бы новый кредит. Потолковал бы, и мне бы дали. Я теперь в этом деле разобрался... Позвольте вам сказать, что придет день, когда все вы тут, трусливые зайцы, будете вспоминать, как Баффин заплатил за свой первый опыт сорок фунтов — очень может быть, что до этого дойдет,— заплатил сорок, а приобрел миллион.

— А что если он так и не продаст своих велосипедов? — заметил как-то Эдвард-Альберт, свистя на свой

«НЕОБХОДИМА ОСТОРОЖНОСТЬ»

«НЕОБХОДИМА ОСТОРОЖНОСТЬ»

манер.— Если ему не позволят там, в Моттискомбе? Славная получится история.

Так оно и было. Баффин уехал в Моттискомб, и звезда Берлибэнков никогда уже больше не всходила над горизонтом Эдварда-Альберта. Во всяком случае, успех не сопутствовал их начинаниям. Видимо, Берлибэнк и Сын слишком израсходовались на подержанные автомобили, прежде чем узнали о применении стандартов в массовом производстве.

Эдвард-Альберт наблюдал этот взрыв предприимчивости сперва с завистливым неодобрением, когда думал, что затея может увенчаться успехом, а потом с тем чувством злорадства («Я ведь говорил!»), которое представляет собой одно из утонченнейших наших наслаждений в этой юдоли печали и слез.

Но одобрение умственных способностей Баффина со стороны м-ра Майэма, хоть и недолго продолжавшееся, глубоко поразило нашего героя. В этом было что-то суетное. Казалось бы, м-р Майэм должен стоять выше всякой суеты. Во всяком случае, он прекрасно выпутался, так же, как и Нэтс... Тут было о чем подумать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ

Феодальная основа мышления Эдварда-Альберта совершенно исключала для него возможность участвовать в подобного рода коммерческих комбинациях. Его установка сводилась к тому, чтобы ничего не делать до тех пор, пока не прикажут. Да и тогда еще успеется.

«Зарабатывать на жизнь», по его понятиям, значило найти «место», занять «положение» — слова, вызывающие представление о чем-то неподвижном. Прекращаешь при первом удобном случае опасное плавание по жизненному потоку и пускаешь корни. Находишь такую службу, где можно поменьше работать и побольше получать — желательно с периодическими прибавками и пенсией в перспективе,— и обосновываешься на ней, доверяя вышестоящим, восхищаясь ими, но в то же время по возможности избегая принижающего общения с ними. Заводишь свой собственный уютненький домашний

очаг, но об этом позже. Придумываешь себе любимое развлечение, чтобы скрашивать часы досуга, посещаешь крикетные матчи, играешь в гольф и так понемногу пятишься к могиле, в которой тебя схоронят, какими бы ты ни обладал талантами. Почтительная, но тупая покорность, безоговорочное и благоговейное почитание высших, как сказано в добром старом катехизисе,—таков был феодальный идеал.

Еще до смерти матери Эдварду-Альберту пришлось задуматься над проблемой своего социального самоопределения и вот по какому случаю: ее знакомая как-то заметила, что, пожалуй, самое солидное положение, к которому может стремиться скромный, верующий юноша,— это положение клерка газовой компании. Чтобы оказаться достойным такого места, лучше всего, по словам этой дамы, два раза в неделю посещать вечерние занятия в Имперском колледже коммерческих наук и пройти там курс обучения конторскому делу. Окончившим выдаются удостоверения об их подготовке во всех отраслях конторского искусства — письмоводстве, простой и двойной бухгалтерии, торговом счетоводстве, калькуляции, стенографии и элементах французского языка — не французском языке, а элементах французского, что бы это ни значило. Этот курс специально рассчитан на то, чтобы из грубого и примитивного человеческого существа выработать клерка газовой компании, и ей доподлинно известно, что компания обращается в колледж и принимает окончивших курс без всяких сомнений. Согласно своей обширной программе, колледж готовит специалистов и для многих других видов деятельности — низших чиновников, канцеляристов и т. п. Но особенно поразил ее воображение один клерк газовой компании, с которым ей пришлось познакомиться. Такой милый молодой человек.

Сперва Эдвард-Альберт слушал рассеянно, но потом прислушался внимательнее и задумался. Колледж находился в Кэнтиш-тауне; забор его производил внушительное впечатление, но Эдварда-Альберта привлекала не столько перспектива застрять на должности клерка газовой компании, сколько возможность ходить вечером в колледж, без всякого наблюдения и надзора, по волшебно освещенным улицам. Можно будет уходить пораньше

и возвращаться попозже: он был уже искушен в таких незаметных уклонениях от контроля. В нем еще много было мальчишеского легкомыслия и неизрасходованного романтизма «Невидимой Руки».

А на обратном пути можно будет задерживаться у сверкающих соблазном фасадов кино. Можно будет останавливаться, рассматривать и читать все, что выставлено для обозрения и прочтения, и любоваться увлекательными фото. Глядеть на входящих. Сам он не будет входить. Это было бы нехорошо. Но спросить, сколько за вход, можно. Ведь при этом ничего не увидишь. А если в конце концов он когда-нибудь и войдет? Это будет грех, конечно, страшный грех — непослушание, обман и все такое... Вдруг тебя переедут на обратном пути и ты попадешь с этим грехом прямо в ад...

Ну а если не переедут! Красивые женщины, крупно, во весь экран. Поцелуи. Разбойники увозят красавиц на седле. Перестрелка. Кидание ножей. Что плохого в том, чтобы поглядеть на все это разок? Тогда блистали молодой Чарли Чаплин, Фатти Арбэкль, Мак-Сеннет. И очаровательная Мэри Пикфорд в «Маленьком друге» всходила над миром, который полюбил ее навсегда. Они были таинственно безмолвны и двигались под волнующий аккомпанемент рояля. За запертыми дверями слышалась музыка. Можно украдкой заглянуть на мгновение...

Конечно, потом перед сном его будут жестоко мучить угрызения совести. Необходима осторожность, и потому он станет молиться, чтобы бог спас его, и давать обещания, что никогда больше не будет. Бог все-таки довольно охотно прощает, если правильно взяться за дело. Семью семьдесят и все такое. «Боже, помилуй меня, грешного, помилуй меня. Я подвергся искушению. Я уступил соблазну».

Эдвард-Альберт решил, что в конце концов все уладится. Эти вечерние курсы будут для него широкой дверью, ведущей к неизведанным тайнам, к свободе. Можно будет приходить домой не раньше десяти.

Поэтому, когда проект был представлен на рассмотрение м-ра Майэма, осуществление его было отложено лишь после очень большой дискуссии.

— Я всецело за это,— заявил м-р Майэм.— В свое время. Когда он созреет. Но сейчас еще рано. Видите

ли, по некоторым предметам он иногда ленится. Мне приходилось отмечать это в его матрикуле. Способности, я утверждаю, у него неплохие, но пока он не добьется определенных успехов в элементарном курсе французского языка, в арифметике, в диктанте, в разборе и правописании... Взгляните на эти пальцы в чернилах, м-сс Тьюлер. Судите сами, готов он к поступлению в Коммерческий колледж?

Эдвард-Альберт почувствовал прилив ненависти к м-ру Майэму.

— Ведь в колледже, наверно, лучше учат,— промолвил он и, чтобы смягчить удар, прибавил: — Быстрее то есть.

— Легкого пути к знанию не существует,— возразил м-р Майэм.— Нет. Моим девизом всегда было: «Досконально». Как у знаменитого графа Страффорда. Поэтому займемся основами, элементами. Как будет по-французски определенный артикль, Тьюлер?

Это был легкий вопрос.

— Лё-ё, ла-а, лэ-э,— пропел Эдвард-Альберт.

— Элементарный курс,— продолжал м-р Майэм,— вот все, что ему надо пройти. В повышенном курсе много нежелательного. Я надеюсь, что ваш сын никогда не будет читать французских книг и не станет совершать поездок в Булонь и Париж, которые теперь так рекламируются. Даже лучшие произведения французских литераторов имеют какой-то континентальный привкус. Что-то в них есть неанглийское. Все сколько-нибудь значительное уже переведено и при переводе надлежащим образом очищено. Иначе многого у нас совсем нельзя было бы печатать. Но вернемся к нашей маленькой проверке. Скажи еще раз, Тьюлер, как будет по-французски определенный член в единственном числе.

— Мужской род — лё-ё, женский — ла-а.

— А средний, мой милый? — спросила м-сс Тьюлер ободряющим тоном.

На губах м-ра Майэма появилась снисходительная улыбка.

— К сожалению, во французском языке нет среднего рода. Нет совсем. Третье слово, которое вы слышали — лэ-э,— просто множественное число. Французский язык во все вносит половое различие,— продолжал он

свои объяснения.— Такова его природа. Любой предмет либо иль, либо эль. Иль — он, эль — она. По-французски нет ничего среднего, решительно ничего.

— Как странно! — воскликнула м-сс Тьюлер.

— Стол — ун табль — женского рода, как это ни дико. Ун шез, тоже женского,— будет стул. А вот нож — эн каниф — мужского. Заметьте: эн, а не ун. Вы слышите разницу между мужским и женским родом?

— Нож — мужчина. Стул — женщина. Мне как-то неловко,— заметила м-сс Тьюлер.— Зачем они так делают?

— Да так уж оно есть. А теперь, Тьюлер, как ты скажешь: отец и мать?

— Лё пер э ла мер.

— Хорошо. Очень хорошо. А во множественном?

Деликатно, но твердо м-р Майэм свел его с этой первой, безопасной ступени и заставил перейти к более трудным комбинациям. Память напрягалась, вызывая названия родства: тетя, дядя, племянник; потом разных предметов: яблоки, книги, сады, дома. Связь между ними осложнялась указаниями на принадлежность: мон, ма-а, нотр... Когда дело дошло до «книг тети садовника нашего дома», у Эдварда-Альберта голова окончательно пошла кругом. Он стал раздумывать, запинаться. М-р Майэм поправлял его и почти с нежностью все больше запутывал.

— Видите,— заявил он наконец,— он все-таки знает, но не вполне уверенно. Еще не досконально. Основа нетвердая, потому что до сих пор он не отдался этому всей душой. Пока он всего не усвоит как следует, так, что не вырубишь топором, посылать его в колледж будет пустой тратой денег.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МИСТЕРУ МАЙЭМУ СТАНОВИТСЯ НЕ ПО СЕБЕ

М-р Джим Уиттэкер прислал на гроб м-сс Тьюлер большой дорогой венок, согласно лучшим феодальным традициям фирмы Кольбрук и Махогэни. В то же время он вдруг сообразил, что ведь был, кажется, ребенок, сын,

о котором фирма ни разу не подумала и не побеспокоилась. Тот, кто унаследовал искусные руки и добросовестность Ричарда Тьюлера, не должен выходить из-под ее наблюдения. М-р Уиттэкер записал на клочке бумаги: «Узнать о мальчике Тьюлера», но записка затерялась где-то среди бумаг, и в хлопотах по поводу продажи коллекций знаменитого Боргмана он забыл про нее. Только через полгода этот клочок опять попался ему на глаза и призвал его к исполнению долга.

— Ах ты черт побери! — воскликнул м-р Джим.— Я совсем упустил это из виду.

И вот как-то утром м-р Майэм, немного потоптавшись вокруг Эдварда Тьюлера, произнес:

— Тьюлер, зайди ко мне в кабинет. Мне надо поговорить с тобой.

«Чего еще ему нужно от меня?» — подумал Эдвард-Альберт, предчувствуя что-то недоброе.

— Садись,— пригласил его м-р Майэм, ощетинившись всей своей обильной растительностью и вопросительно склонив голову набок с мрачным видом. Потрогав руками предметы на столе, он осторожно приступил к делу.

— У меня был сегодня утром один... гм... ну, скажем, посетитель. Он интересовался... Коротко говоря, он подробно расспрашивал меня о тебе. Спрашивал, сколько тебе лет, какие у тебя способности, какие виды на будущее, чем ты хочешь быть в жизни.

— Чудно́,— вырвалось у Эдварда Тьюлера.

— Между прочим, он спросил меня, кто платит за твое учение. Я ответил, что это делаю я, как твой опекун. И спросил его, от чьего имени он учиняет мне этот... этот допрос. Он ответил, что по поручению м-ра Джемса Уиттэкера, который занимается торговлей стеклянными изделиями и фарфором под маркой — или, так сказать, под псевдонимом — Кольбрука и Махогэни. Твой отец, по-видимому, работал у него... или у них, что ли. Ты знаешь что-нибудь об этом джентльмене?

— Ведь это он прислал тот большой венок на мамины похороны,— заметил Эдвард-Альберт.

— Помню. Действительно, был очень дорогой венок. Да. Это то самое лицо. Но почему ему вдруг понадобились все эти сведения?

— Это был он сам? — спросил Эдвард-Альберт.

— Нет. Какой-то его доверенный. Но дело не в том. Ты, может быть, что-нибудь писал этому Уиттэкеру?

— Я даже адреса его не знаю.

М-р Майэм поглядел на Эдварда-Альберта проницательным взглядом:

— А если бы знал, написал бы?

— Ну, может, поблагодарил бы за этот венок.

М-р Майэм отстранил от себя некое смутное подозрение.

— А он, видимо, считает себя вправе знать о тебе все подробности. Интересно, насколько он уже осведомлен? Твоя дорогая матушка назначила меня твоим опекуном. Она была кроткая, чистая, праведная душа, и самой главной ее заботой было твое религиозное и нравственное благополучие. Она боялась за тебя. Боялась, может быть, как раз этого самого м-ра Джемса Уиттэкера с его псевдонимами и всякими хитростями. Если он хотел установить с тобой определенные отношения, зачем ему было прибегать к услугам какой-то сыскной конторы? На каком основании ко мне является сыскной агент и начинает расспрашивать меня о том, что у меня делается в школе?

— Я иногда читал такие объявления: «Не тратьте время на розыски! Мы наводим справки о лицах. Находим отсутствующих родственников». Может, этот м-р Уиттэкер — какой-нибудь родственник? Может, он и не думал о школе? И ничего дурного у него нет на уме? А просто он потерял меня и хотел отыскать.

— Если он даже родственник, то, совершенно очевидно, твоя матушка не считала, что общение с ним может принести тебе пользу... Это все, о чем я хотел спросить тебя, Эдвард.

Но тут же настойчиво прибавил:

— Я верю, что ты не обращался к этому м-ру Уиттэкеру, но мне хотелось бы, чтобы ты дал мне честное слово, что и в дальнейшем не сделаешь этого. Во всяком случае, помимо меня и без моего согласия.

— Мне хотелось бы поблагодарить его за тот красивый венок, сэр. Маме он, наверно, понравился бы.

— Я в этом не уверен, Эдвард. В таких делах позволь мне быть твоим руководителем. Как того желала

твоя матушка. Я, может быть, пошлю ему письмо от твоего имени.

Эдвард-Альберт насторожился. Он ясно понимал, что чем меньше будет полагаться на м-ра Майэма и чем скорей узнает, что нужно м-ру Уиттэкеру, тем будет лучше.

— Вам видней, сэр,— произнес он.— Конечно, если он повсюду утверждает, будто бы он Кольбрук и Махогэни,— это действительно нехорошо...

М-р Майэм не поправил названия фирмы? Прекрасно.

— Я могу положиться на тебя, Эдвард?

— Конечно, сэр.

Тут Эдвард-Альберт удалился и тотчас записал фамилии «Кольбрук» и «Махогэни» на клочке бумаги.

Знакомство с Баффином Берлибэнком немало помогло Эдварду-Альберту расширить свои познания относительно всяких путей и выходов из жизненных затруднений. Он узнал, что на свете существуют такие вещи, как торговые справочники. Он видел один в киоске у газетчика, который их обслуживал. Справочник этот был старый, но ведь фирма «Кольбрук и Махогэни, королевские поставщики, Норс-Лонсдейл-стрит» была вдвое старше любого имеющегося справочника. И вот однажды Эдвард-Альберт, отправляясь на Оксфорд-стрит к Годберри, поставщикам школьного оборудования, с поручением узнать, торгуют ли они подержанными партами, и если да, то взять подробный список имеющихся предложений, сумел удачно заблудиться и впервые получил возможность созерцать красоту и роскошь великолепных витрин Кольбрука и Махогэни. Там были изумительные фарфоровые слоны, большие синие вазы, расписанные прекрасными пейзажами, белые фарфоровые статуэтки, огромные чаши, очаровательные полуобнаженные боги и богини из блестящего фарфора, королевские обеденные сервизы, не поддающиеся никакому описанию графины и стаканы.

Он дал волю своему воображению. Он — родственник тому человеку, который по каким-то таинственным причинам ведет это грандиозное прекрасное предприятие, прикрывшись вывеской «Кольбрук и Махогэни». Что старается скрыть этот человек? Родственную связь? Какова же окажется тайна этой родственной связи, если

все вдруг выяснится? Эдвард-Альберт мысленно пробежал огромное количество возможных комбинаций совершенно так же, как он глазами пробегал страницы, которые читал. Он остановился на том варианте, который, пожалуй, нравился ему больше всего: он — пропавший законный наследник, и этот человек из любви к нему, или движимый раскаянием, или просто так, без всякого повода, хочет восстановить его в правах.

Это заведение должно приносить тыщи фунтов — тыщи, и тыщи, и тыщи фунтов...

Он будет говорить направо и налево: я получил коекакие деньги. Я получил... сорок, пятьдесят тыщ? Ну, скажем, пятьдесят...

Он объявит об этом м-ру Майэму. Он войдет в класс в тот момент, когда все будут в сборе. Можно будет опоздать к молитве.

«Извините, что опоздал, но у меня важное сообщение, сэр. Боюсь, что мне придется покинуть вас. Видите ли, я получил пятьдесят тыщ фунтов и перевожусь в Итон, Харроу, Оксфорд, Кембридж, как только там где-нибудь откроется вакансия. Я загляну к вам на днях, когда пойду смотреть матч у Лорда. А может быть, я буду в нем участвовать. Тогда...»

Тут я оборачиваюсь к классу...

«...Я надеюсь, что сумею достать для вас всех билеты на трибуны, ребята...»

То-то все рты разинут. А Баффин Берлибэнк!..

«Откуда у тебя эта фуражка?» — спросит Баффин.

«Я ушел от старикашки Майэма и поступил в Итон,— ответит Эдвард-Альберт.— А в Моттискомбе хорошо учиться?»

Эдвард-Альберт неохотно оторвался от больших витрин и, еще погруженный в мечты, тихонько посвистывая себе под нос, продолжал свой путь к Годбери, а оттуда обратно в школу.

— Что-то ты долго ходил,— заметил м-р Майэм не без оттенка подозрительности в голосе.

— Я немного заблудился,— ответил Эдвард-Альберт.— Спросил у одного дорогу, а он неверно показал.

Но как же обмануть бдительность м-ра Майэма и добраться до богатого и таинственного друга, укрывшегося за тем блистательным фасадом?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СИЛКИ ДЛЯ МИСТЕРА МАЙЭМА

Письмо Эдварда-Альберта стилем своим напоминало образец из учебника коммерческой корреспонденции и отчасти «Домашнюю переписку», которую проходили у них в школе в конце учебного года. Оно гласило:

«Милостивый государь!

В ответ на Ваш уважаемый запрос имеем («имеем» зачеркнуто и поставлено «имею») честь сообщить Вам о своем местонахождении. Я нахожусь в настоящее время в Коммерческой Академии для Молодых Джентльменов, руководимой директором и моим глубокоуважаемым опекуном м-ром Абнером Майэмом, кандидатом-экстерном Лондонского университета и пр., который является моим попечителем и опекуном. Считаю своим приятным долгом выразить Вам свою признательность за Вашу доброту, выразившуюся в присылке на ее гроб («ее гроб» зачеркнуто и поставлено «на гроб моей матери») прекрасного венка. Я уверен, что он доставил бы ей большое удовольствие, если бы она могла узнать о нем,— что, к сожалению, не имело места. Мне очень хотелось бы увидеть Вас и о многом поговорить с Вами, но м-р Майэм держится другого взгляда. Мне необходим Ваш совет, сэр. Пожалуйста, напишите мне по указанному выше адресу, а не прямо на школу.

С искренней благодарностью за Ваше неоценимое внимание и заверением в моих постоянных усилиях заслужить Ваше уважение и покровительство остаюсь, сэр, Ваш покорный слуга

Э.-А. Тьюлер.

Не пишите на школу».

Перечитав это письмо в шестой раз, м-р Джим Уиттэкер передал его своему приятелю — сэру Рэмболду Хуперу, всеведущему ходатаю по делам, «Старому Пройдохе», всеобщему другу и угоднику, любезному, но умеющему молчать. Они сидели в уютном уголке курительной комнаты Реформ-клуба после плотного завтрака, потягивая превосходный, но вредный для здоровья портвейн,

и окружающее окрашивалось для них в теплые, золотистые тона. Обоим казалось бесспорным, что они — мудрые, почтенные люди.

— Документ номер один,— произнес м-р Джемс Уиттэкер.— А вот номер два... Картина яркая, ничего не скажешь... А это — донесение Кихоля и Следжа. У меня такое впечатление, что почтенный Майэм испуган и раздражен. Что его вывело из равновесия? Да вы прочтите...

Документ номер два гласил следующее:

«Милостивый государь!

Несколько дней тому назад я был неприятно поражен посещением частного сыскного агента — одного из тех орудий шантажа и запугивания, которые стали настоящим бедствием в наши дни. Он назвал Вас, и я не сразу понял, с каким поручением он явился. Он засыпал меня вопросами, часть которых, как я сообразил уже потом, он вовсе не имел права задавать. Если Вы желали обратиться ко мне, то, кажется, можно было прибегнуть к более подходящему посреднику. Из слов Вашего агента я мог заключить, что Вы желаете отыскать своего юного друга, а моего подопечного Эдварда-Альберта Тьюлера. Как я понял, письма, отправленные Вами по его прежнему адресу, не дошли по назначению и были возвращены Вам. Эдвард-Альберт в добром здоровье и делает достаточные успехи в науках, особенно во французском языке (элементарный курс), в коммерческой корреспонденции и в законе божием. Кроме того, он теперь гораздо лучше играет в крикет. Он просил меня передать Вам его благодарность за присылку венка на гроб его матери, почившей среди праведников божиих. Он тяжело пережил ее утрату, но я верю и молюсь о том, чтобы это испытание пошло ему на благо, направив его мысли к тем более глубоким жизненным проблемам, к которым он до сих пор не относился с достаточным вниманием. Не знаю, известно ли Вам, что он, как и его родители, принадлежит к частным баптистам и в настоящее время под руководством нашего мудрого пастора м-ра Бэрлапа готовится к тому, чтобы стать полноправным членом нашей маленькой общины. Он очень занят теперь этим вопросом, и мне представляется крайне нежелательным отвлекать его. Со своей стороны, я хо-

тел бы, чтобы в дальнейшем Вы обращались непосредственно ко мне, не прибегая к наемным осведомителям.

Готовый к услугам

Абнер Майэм,
кандидат-экстерн Лондонского университета».

— Видно, наемный осведомитель взял его на испуг, и, не сообразив как следует, он ответил на многие такие вопросы, на которые отвечать не следовало. А вот и донесение сыщика. Донесение толковое. Кихоль и Следж... Я знаю, что такое Кихоль и Следж. Ловить рыбу в чистой воде для них, должно быть,— новое дело... В общем, выходит, что Чэдбэнд—и душеприказчик, и опекун, и все на свете. Он занимает довольно сильные позиции.

— Чэдбэнд? А я думаю, мы имеем дело скорей со Сквирсом.

— Какая голова этот Диккенс!—воскликнул м-р Уиттэкер.— Как он знал англичан! «Холодный дом» — это самое полное и беспощадное изображение Англии, какое только можно себе представить. А его типы, характеры — все эти Титы Полипы[1] и прочее. Никто с ним не сравнится. Как он все это вывернул перед читателем! Пополам с грязью. С целым потоком грязи. Как Шекспир. Как настоящий англичанин. («Как Достоевский, например, или Бальзак»,— шепотом вставил Хупер, но это не дошло до внимания собеседника.) А публика, для которой он писал! Ведь ему приходилось указывать ей, когда надо смеяться, когда плакать. А он жить не мог без того, чтобы она кудахтала и фыркала вместе с ним. Он все-таки прекрасно знал нашу закваску. Как он ее знал! Не мудрено, что педанты ненавидят его. Микобер, Чэдбэнд, Гарольд Скимпол, миссис Джеллиби, Сквирс. Нет такого англичанина, в котором нельзя было бы узнать тот или другой из этих образцов или их сочетание. Решительно нет. Как он нанизывал их один к одному, начиная с Талкингхорна и кончая несчастным маленьким Джо! Изумительно!

Сэр Рэмболд заметил:

— Я никогда не испытывал такого восторга перед Диккенсом. Конечно, он создал большие полотна, это

---

[1] Персонаж романа Диккенса «Крошка Доррит».

верно. Когда вы последний раз перечитывали «Холодный дом», Уиттэкер?

— Я зачитывался им, когда был в Кембридже,— нет, в Винчестере.

— Больше никогда не читайте. Есть период в жизни юноши, когда он должен читать Диккенса, а потом приходит такой момент, когда надо перестать читать Диккенса.

— Я перечел бы сейчас «Пикквикский клуб» с тем же наслаждением.

— Не перечли бы...

— Говорю вам...

— Не говорите. Это будет неправда, Уиттэкер. Вам кажется, что это так, и вы раздражаетесь, когда я выражаю сомнение. Зачем такая несдержанность, Уиттэкер? Что у вас за страсть к неумеренным восторгам? Вы во всем хватаете через край, если только не проходите равнодушно мимо. У Шекспира не все удачно. Но вы скорей согласитесь умереть, чем признать это. Если бы вам пришлось выбрать две книги перед тем как ехать на необитаемый остров, вы выбрали бы Библию и Шекспира не задумываясь. Я никогда бы этого не сделал. Я их слишком хорошо знаю. А если бы позволили взять третью, вы назвали бы Диккенса...

— Эта литературная беседа, конечно, очень приятна,— прервал м-р Уиттэкер,— но куда она заведет нас?

— А кто начал?

— Ну, пусть будет по-вашему. Но меня занимает сейчас вопрос о Сквирсе-Чэдбэнде. Что нам с ним делать?

— Нам нужно подумать о бедняжке Джо из «Одинокого Тома»,— сказал Рэмболд.— Помните бедняжку Джо? Он умер прекрасно, хотя довольно неправдоподобно — повторяя «Отче наш».

— Я очень хорошо помню о бедняжке Джо. Но не знаю, что могу для него сделать. Его письмо — крик о помощи, но, по-видимому, Сквирс-Чэдбэнд завладел его душой и телом и готовится его пожрать.

— Вы думаете?

— Разве иначе я обратился бы к вам за советом?

— Еще стаканчик портвейна не повредит нам...

— Ведь как обстоит дело? Сбережения мамаши Тьюлер, все до последнего гроша, в его руках, пока мальчику не исполнится двадцать один год. И, как сказано в

донесении, ничто не помешает ему выплачивать самому себе не только из процентов, но и из основного капитала за учение и содержание, помещать средства куда вздумается, и так далее и тому подобное. Он, кажется, развертывает и расширяет свое заведение? Что помешает ему превратить нашего бедняжку в совладельца школы? Он может сделать его младшим компаньоном и чем-то вроде бесплатного помощника. В донесении сказано, что он проговорился как будто именно в этом смысле. И кто тут вправе вмешаться?

— Об этом мы еще поговорим. Но почему Чэдбэнд так перетрусил? Отчего он потерял самообладание?

— Этого я не могу понять.

— Совесть всех нас делает трусами, Уиттэкер. Наш агент высказал одно предположение. Между прочим, этому юноше место в Скотланд-ярде, а не в лавочке Кихоля и Следжа. Так вот, он предполагает, что вначале, месяц или немного больше, Чэдбэнд аккуратно вел отчетность, пока почему-то не почувствовал себя в безопасности; после этого он стал запускать руку в доверенные ему средства когда вздумается. Аппетит приходит во время еды. Но чего, собственно, он опасался и чего перестал опасаться потом? Подумаем. Ага — *вас!*

— Как меня?

— Да, вас, как ближайшего родственника мальчика,— может быть, даже отца его.

— То есть?..

— Когда он увидел, что за присылкой этого безусловно слишком заметного венка больше ничего с вашей стороны не последовало, он успокоился, а теперь вы заставили его снова вернуться к этой мысли.

— Но, дорогой мой Хупер! Черт возьми! Вы же не думаете...

— Я нет. Но Чэдбэнд, возможно, думает. Вы не знаете, какое у него существует представление о людях нашего круга. Не вижу, почему он не мог бы вообразить себе этого хоть на минуту. На мой взгляд, вы едва ли выиграли бы от такого положения, но он может думать иначе.

— Чудовищно!

— Придет время, когда вам придется отказаться от этого крепкого портвейна после завтрака. У вас от него

развивается подагра и портятся нервы. Мне это можно, а вам нет. У вас, должно быть, с гормонами не ладно... Но, во всяком случае, Чэдбэнд — человек не очень осведомленный. В такого рода делах всегда нужно учитывать слабые места противника. Он, возможно, думает, что существует какой-то предусмотренный законом контроль над опекунами. Такого контроля нет, хотя он необходим. Необходим какой-то общественный орган вроде опекунского совета. Когда-нибудь он будет создан. Но не об этом речь. Одно совершенно очевидно: любая проверка обнаружила бы, что его отчеты неудовлетворительны, и это-то его и пугает. Он попросту списывал с текущего счета своего подопечного, когда хотел, продавал его ценные бумаги и расширял дело: сегодня пристроит новый класс, потом крыло для третьего дортуара. И нам нужно только одно: добраться до его банковской счетной книжки.

— Это невозможно!

— Нет, возможно.

— Но как?

— И притом без малейшего ущерба для вашей высокой репутации.

— Нет, вы только подумайте. Жена доверенного служащего фирмы. Черт знает что! Пожалуйста, оставьте эти разговоры. Это очень неприятно. Возникнет вот такой слух, в котором нет ни слова правды, и пойдет гулять, не остановишь.

— Виноват. Больше не буду... Когда я выдвинул предложение относительно банковского счета, мне еще не был ясен способ, как его осуществить. А теперь я придумал.

— Ну?

— Вот как,— объявил сэр Рэмболд.— Вы должны мальчику солидную сумму.

— Что за ерунда?

— Да. Вы должны ему сто с лишним фунтов.

— Час от часу не легче. В первый раз слышу.

— Дело в том, что у вас введены в систему комиссионные отчисления в пользу штатных работников в виде премии, выплачиваемой при уходе с работы.

— Это для меня новость.

— Ну, ну. Вы ведь не можете знать все, что делает-

ся в вашей фирме. Этого и требовать нельзя. Слушайте, что я говорю. Не перебивайте. Я ведь для вас стараюсь. Пусть эта премия существует больше в мечтах, но факт, что она откроет нам доступ к счетной книжке Чэдбэнда, а нам только того и нужно.

— Он просто положит в карман лишнюю сотню фунтов. Как вы ему помешаете?

— Очень просто.

— Не понимаю, как.

— А вот слушайте. Вы должны удостовериться, что эти деньги помещены наиболее выгодно — в бумагах, акциях или еще как-нибудь. Предоставьте это мне. И вот тут-то мы и запустим свои любопытные лапки в опекунские дела почтенного Майэма. Мы навестим его. Поглядим на него пристально. Начнем спрашивать о разных незначительных подробностях. И тут, как-то совершенно не к месту и несправедливо, на сцену выползет словечко «растрата». Теперь ваш неповоротливый, но солидный ум охватил ситуацию?

— А если он станет отбиваться, когда увидит, что его приперли к стене?

— Чэдбэнд отбиваться не будет. Поверьте мне. Он моментально захнычет.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ, ГОСПОДИ!

— Если бы не Господь был со мной,—начал м-р Майэм,— когда восстали на меня люди, то живого они поглотили бы меня, когда возгорелась ярость их на меня. Воды потопили бы меня, поток прошел бы над душой моей.

Да. Но ты сохранил его, Господи. Плач его обратился в радость. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша, как птица, избавилась от сетей ловящих: сеть расторгнута, и мы избавились.

О, святые слова! Святые слова! Так поступил Ты с Давидом, слугою своим. Так поступаешь Ты со всяким раскаявшимся грешником. И неужели я взываю тщетно? Неужели эти святые слова не для меня? Из тьмы взываю к Тебе. Услышь голос мой.

Была поздняя ночь. М-р Майэм сидел у себя в кабинете, охваченный глубокой скорбью. Он боролся с Богом. Вот уже несколько месяцев жил он в полном душевном покое. И вдруг над ним нависла черная туча. Ощущение божественного промысла покинуло его. Он произнес эти давно лелеянные слова с глубоким чувством и остановился. Но не последовало никакого ответа в тишине — ни извне, ни внутри него.

— Не скрывай лица Твоего от меня,— продолжал он.— В день скорби моей приклони ко мне ухо Твое. В день, когда я воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне; я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами — от гнева Твоего и негодования Твоего. Ибо Ты вознес меня и низверг меня...

Желанное успокоение не приходило.

На столе перед ним лежала Единственная Хорошая Книга, и в своем унынии и жажде спасительного руководства м-р Майэм прибег к старинному средству: он зажмурился, открыл драгоценный фолиант, положил палец на раскрытую страницу и в том месте, куда палец опустился, прочел пророчество о своей судьбе. Это был стих 23-й главы X Книги бытия, гласящей: «Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш».

М-р Майэм погрузился в размышления, но текст ничего не объяснял, решительно ничего. Он повторил опыт и попал на стих 27-й главы XII Первой книги Паралипоменон: «И Иоддай, князь от племени Аарона, и с ним три тысячи семьсот...» Это было столь же туманно.

«Три тысячи семьсот...— раздумывал он.— Нет. Ничего похожего. Абсолютно ничего похожего. Никак».

Тогда он обратился за утешением к своей богатой памяти, но не нашел утешения — ни ветра, ни грома, ни самого слабого голоса. Он стоял понурившись, обессиленный, беспомощный, забытый Богом.

Покаяние и молитва. Он опустился на колени возле

кресла у камина и стал молиться. Он молил бога просветить его, чтобы он мог хоть узнать, отчего Святой дух оставил его. И, наконец, по-прежнему коленопреклоненный, покаялся:

— Я согрешил, о Господи! Я больше недостоин называться сыном твоим.

Огромная тяжесть, угнетавшая его, как будто стала легче.

— Я согрешил. Я проявил самонадеянность. Я взял на себя...

Он тщательно взвешивал свои слова:

— ...больше, чем следовало... Пусть будет не как я хочу, но как Ты... Я был слишком самонадеян, и Ты покарал меня. Но Тебе, читающему в сердцах, известно: в гордыне своей я считал, что Ты возложил на меня обязанность взять это злонравное и лукавое бедное дитя и привести его к свету истины, образовать его сердце и душу, превратить его в одного из Твоих праведников, сделать его своим компаньоном, а в конце концов и преемником в сей школе Твоей — ибо Тебе одному хвала. Сделать эту школу школой души, истинной подготовкой к служению Твоему, источником света в этом темном мире...

Святой дух по-прежнему не давал внятного ответа, но м-ру Майэму теперь казалось, что он слушает. Добряк продолжал нащупывать почву.

— Но не таков был путь, предусмотренный Тобой, Господи. Не такова была воля Твоя — и Ты покарал меня. Ты поселил змею на груди моей...

М-р Майэм медлил, не находя слов.

— Он изощрил язык свой, как змея. Яд аспида под устами. Яд аспида... Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть на дороге, тенета разложили для меня... Да падут на них горящие угли...

Он сделал паузу, чтобы последнее прозвучало достаточно ясно. Потом продолжал, обращаясь главным образом к Эдварду-Альберту:

— Что даст тебе и что прибавит язык лукавый? Изощренные стрелы сильного, с горящими углями дроковыми. Воистину так. С углями дроковыми. Горе мне, что я живу у шатров Кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир... Но ныне, о Господи, это мино-

вало. Я отвергаю его по воле Твоей. Воистину отвергаю его, и пусть идет во стан злых. Прости ему, Господи, ибо он молод и неразумен. Запомни прегрешения его, чтобы он в конце концов получил прощение. Карай меня, да, карай, ибо я оказался дурным пастырем для него, но покарай и его тоже. Покарай и его, Господи. Покарай и верни его в срок, Тебе ведомый, на путь спасения.

Он остановился и глубоко вздохнул. Он сознавал все свое благородство, которое Дух Святой не может не оценить. Бэньяново бремя на плечах его стало заметно легче, но не исчезло.

Он медленно поднялся с колен и остановился с унылым видом. В дальнейшие свои обращения к Предвечному он ввел некоторый элемент беседы с самим собой.

— Если воля Твоя в том, чтобы я унизился, да исполнится она. Но как мне выплатить эти деньги, о Господи? Ведь Тебе ведомо, как обстоят дела. Если б я смиренно попросил их... Если б Ты смягчил их сердца... Если б, скажем, часть этой суммы обратил в закладную, первую закладную...

Суждения человека о ближних очень часто бывают необдуманны и опрометчивы. М-р Майэм не был тем Чэдбэндом, которого с такой беспощадностью изобразил Диккенс. Он верил искренне и серьезно. Он первый отверг бы неограниченные права разума. Он не претендовал на большую ученость. Только самые наивные члены братства воображали, будто он может читать священное писание в греческом и древнееврейском оригиналах. Но, как очень многие в этой маленькой общине, он обладал в избытке даром божиим. Какое значение имеют разум и ученость для того, кто наделен этим сокровищем? При его наличии вы можете кого угодно наставлять во всем, что важно в этой жизни и в будущей. Такова была всегда сила веры — с тех самых пор, как существует религия.

Дары божии так изобильны, наследие христианства так обширно и многообразно, что в этой необозримой сокровищнице возвышающих душу, но противоречивых суждений и преданий можно разыскать любой вид верования, за исключением монизма и атеизма. Ортодоксальные и еретические взгляды в равной мере представляют собой лишь отдельные образчики этого ошеломляющего изобилия. Все официальные религии предпочи-

тали, в интересах самосохранения, не допускать слишком тесного знакомства верующих со Священным Писанием. Но изобретение бумаги и печатного набора привело к тому, что христианский мир был наводнен библиями,— и в результате появились анабаптисты, общие баптисты, частные баптисты и огромное множество других сектантских групп.

Между прочим, все изложенное вовсе не является рассуждением, отвлеченными выкладками, «идеями» или чем-нибудь в этом роде. Мы не нарушаем своих обязательств. Это только простое и ясное описание основных процессов, совершавшихся в бедной, путаной, понурой, волосатой голове м-ра Майэма. Он был верным сыном маленькой кэмдентаунской церкви и очень ревностно выполнял указания насчет тщательнейшего изучения Библии. Смысл этого изучения для группы верующих, к которой он принадлежал, сводился к следующему: они искали в Писании таких абзацев или фраз, а нередко даже обрывков фразы или поддающихся перетолкованию вставок, которые могли бы служить подтверждением их собственному, уже твердо установившемуся образу мыслей. Все это они отбирали, а остальное, непригодное для их целей богатство оставляли без внимания. Они были слепы к нему. Библия кишит всевозможными противоречиями, и хотя миллионы по обязанности читают и перечитывают Писание чуть не каждый год, яркий свет их веры не позволяет никому из них заметить ни одной несообразности.

М-р Майэм был до мозга костей приверженец учения библейских христиан-тринитариев и нисколько не сомневался, что Дух Святой, без видимых причин избрав его для вечного блаженства среди скопищ безнадежно погибших, теперь с помощью Всемогущего Провидения вступил с ним в назидательную борьбу вольного стиля— ради спасения его души. Светила небесные, водоворот времен, сложные чудеса Непознанного были лишь чрезвычайно внушительными, но сравнительно несущественными украшениями ризы, облекающей того Господа, который подвергал м-ра Майэма столь суровому испытанию в эту ночь. В этом великолепном матче не было ни грана притворства. М-р Майэм боролся с Богом совершенно добросовестно и всерьез.

Когда он поднялся наверх, борьба его с Духом все еще продолжалась.

Жена кашлянула и проснулась.

— Как ты поздно, Абнер,— сказала она.— Что-нибудь случилось?

— Десница господня отяготела на мне,— ответил он.— Бог... я не могу говорить об этом. Но великая тьма объяла душу мою.

Он молча скинул пиджак и жилет, надел длинную ночную рубашку из серо-зеленой фланели, потом со всей возможной скромностью снял ботинки и брюки. Это, между прочим, было самое откровенное дезабилье, в котором ей когда-нибудь случалось видеть его,— он же ее и в таком не видел.

— Я согрешил. Я был самонадеян, и Господь покарал меня за гордость. Этот Тьюлер...

Он остановился.

— Мне всегда казалось, что в нем есть что-то подлое. Молю Бога, чтобы он дал мне сил когда-нибудь простить его.

Как страшно произносить такие слова!

И всю ночь м-р Майэм ворочался, метался и говорил во сне. Иногда он молился. Он молился о том, чтоб Господь ниспослал ему смирение, смягчил горечь чаши, которую ему предстояло испить, дал ему сил и помог вернуть благоволение Свое. Иногда он как будто решал какие-то арифметические задачи. Или же как будто обращался к Эдварду-Альберту в выражениях, хотя и не нарушающих библейского стиля, но не слишком ласковых. Под утро он, видимо, пришел к какому-то решению. Он заговорил, словно наяву.

— Я должен покориться судьбе,— очень громко произнес он и затих.

После этого он сейчас же крепко уснул и стал издавать сильный храп.

— Господь ниспосылает сон возлюбленным чадам своим,— прошептала преданная супруга.

Она наблюдала все эти тревожные симптомы с сочувствием и вниманием. Видимо, ему пришлось выдержать сильную борьбу, из которой он вышел победителем. Она подавила приступ кашля, чтоб не разбудить его. Потом тоже погрузилась в сон.

Вот какой глубокий душевный конфликт пришлось пережить м-ру Майэму из-за того, что двое непосвященных сошлись в так называемом Реформ-клубе, и раскинули сети на его дороге, и злоумыслили против него, и, ничего не понимая в этом деле, обозвали его «Чэдбэндом». Разве Чэдбэнду, этому сознательному лицемеру, была бы доступна суровая самоотверженность, с которой м-р Майэм принялся теперь снова приводить в порядок дела Эдварда-Альберта? Это противоречит версии о Чэдбэнде. И разве жалкий эгоист Чэдбэнд обнаружил бы столько негодования по поводу предполагаемой низости поступков Эдварда-Альберта? Гнев м-ра Майэма не был гневом Чэдбэнда или Чэдбэнда-Сквирса: негодование и гнев его были негодованием и гневом Давида, царя Израильского,— в более скромной обстановке, конечно.

Единственные слова, которые мне приходят в голову, чтобы покончить с этим эпизодом (хотя точный смысл их мне не совсем ясен):

— Чэдбэнд! Вот уж действительно!

И на этом поставим точку.

Без всякого сомнения, м-р Майэм был из того самого теста, из которого делаются святые. Наше повествование должно быть прежде всего правдивым, и это правда — как о м-ре Майэме, так и о святых.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ВЕРА И НАДЕЖДА

И вот в конце концов Эдвард-Альберт Тьюлер предстал перед Джимом Уиттэкером. Его провели по длинным переходам, заставленным блестящими, сверкающими стеклянными и фарфоровыми предметами, в большую светлую контору, где м-р Джемс Уиттэкер диктовал письма молодой золотоволосой стенографистке.

— Вот и Тьюлер,— сказал он, обернувшись на мгновение.— Рад тебя видеть, мой мальчик. Садись вон там, на диван. Через две минутки я покончу с письмами, и мы поговорим.

Мечты о роли исчезнувшего наследника, потерянного сына или сводного брата безвозвратно исчезли. Эдвард-Альберт вновь занял свое место в феодальной системе.

Он четыре дня готовился к этой встрече, главным образом в Публичной библиотеке, с помощью библиотекаря, и его размышления и исследования не остались бесплодными.

— Пока все, мисс Скорсби,— сказал м-р Уиттэкер и быстро повернулся в кресле, в то время как золотоволосая секретарша стала собирать свои блокноты и карандаши.

Эдвард-Альберт никогда не видел вращающегося кресла.

— Дайте поглядеть на вас, молодой человек. Покажите, какие у вас руки.

Эдвард-Альберт поколебался, но, уступая настоянию, вытянул руки вперед.

— Совсем не похожи на отцовские. У него были шире. Ты случайно не чертишь, не рисуешь?

— Нет, сэр,— ответил Эдвард-Альберт.

— Хм-м. Не занимаешься резьбой или лепкой?

— Нет, сэр, ничего такого я не умею.

— Можешь опустить. Хм-м... Значит, в этом отношении вы не в отца. Жаль. Что же мне с вами делать, мистер Эдвард-Альберт Тьюлер? Даже не придумаю. Старый Майэм взорвался, как пороховой склад. Он, видимо, не слишком тебе симпатизирует. Чем-то ты его очень донял...

— Я вовсе не хотел обидеть мистера Майэма, сэр, вовсе не хотел. Он добрый. Он в самом деле добрый. Но мне казалось, что я имею право вас повидать. После того как вы прислали этот венок и вообще. Но он узкий человек, сэр. Вот в чем дело. Он забрал себе в голову, что вы дурной христианин и что знакомство с вами принесет мне один только вред. Так что уж он во все тяжкие пускался, только бы помешать мне увидеть вас. Как он только меня не обзывал, сэр, просто сказать страшно. И змеей, сэр, и ехидной. Говорил, что на мою голову должны посыпаться угли драконовы. Что это такое, угли драконовы, сэр? Объявил мне бойкот в школе. Никто из мальчиков не должен заговаривать со мной и отвечать мне. Видеть тебя не могу, говорит. Ты, говорит, семя дьявола. Запретил мне ходить на уроки, и мне пришлось просиживать целый день в Публичной библиотеке. Это несправедливо, сэр, несправедливо. Я вовсе не хотел обижать его.

Он сидел на диване, наклонившись вперед и положив руки на колени,— невзрачное, тщедушное существо, заморыш и недоучка, изо всех сил старающийся не погибнуть и как-нибудь найти свое место в жизни, о которой он, в сущности, знал лишь одно: необходима осторожность. Он больше чувствовал, чем понимал, какого рода феодальная связь вынуждает м-ра Джемса Уиттэкера позаботиться о нем.

— Значит, он запретил тебе иметь дело со мной?

— Откуда же мне было знать, сэр, что он так рассердится из-за этого?

— А до того, как он узнал об этом, он обращался с тобой хорошо?

— Он был строг, сэр. Но он вообще строгий. Такой уж это человек, сэр. Он терпеть не может непослушания.

— Точь-в-точь, как его хозяин,— заметил Джим Уиттэкер, но, к счастью, это кощунство было недоступно пониманию его собеседника.— А потом ты стал аспидом и прочее и прочее?

— Да, сэр.

— А что это за драконовы угли, о которых ты говорил? —спросил Джим Уиттэкер.— Я что-то никогда не слыхал о них.

— Я сам не знаю как следует, что это такое, сэр, но уж, наверно, что-нибудь очень плохое, сэр, раз он выискал их в Библии. Они сыплются человеку на голову, сэр, понимаете?

— Значит, это когда попадешь в ад?

— По-моему, раньше, сэр. Я думал, вы знаете, сэр.

— Нет. Надо будет посмотреть это место. Так, значит, ты не принадлежишь к числу верующих, Джо... то есть Эдвард. Рано же ты начал сомневаться.

— Нет, нет, сэр! — воскликнул Эдвард-Альберт в страшной тревоге.— Не думайте так. Я надеюсь, что тоже спасусь. Я верю, что мой Искупитель жив. Только мне кажется, сэр, что верующий человек вовсе не должен быть упрямым. Вот этим-то я, как видно, и обидел м-ра Майэма.

— Это интересно. Расскажи мне подробней про свою веру... Если тебе это не неприятно.

Эдвард-Альберт напряг все свои умственные способности.

— Христианская вера, сэр. Всякий англичанин знаёт, что это такое. Христос умер ради меня и так далее. Я думаю, он знал, что делал. Он пролил свою драгоценную кровь за нас, и я, конечно, искренне благодарен, сэр. Это в символе веры, сэр. Чего же тут выходить из себя и грубо обращаться с людьми, ругать их нехорошими словами из Библии и обходиться с ними так, словно это какие-то обманщики...

— Но ты ведь не думаешь, что все спасутся? Это, знаешь ли, была бы большая ересь, Тьюлер. Я забыл, какая... Перфекционизм или что-то в этом роде... Но безусловно — ересь.

— Совсем не думаю, сэр. Я слишком мало знаю. Я только считаю, что если Христос умер, чтобы спасти нас, грешников, он не стал бы потом сам поднимать шум и лишать большинство из нас спасения. Так мне кажется, сэр. А вы как думаете, сэр? Если человек искренне раскаивается и верит?

— А ты веришь?

— Конечно, сэр. Не подумайте, сэр. Я молюсь каждый день и надеюсь получить прощение. Я всеми силами стараюсь быть хорошим. Я никогда в жизни не насмешничал. Никогда не сквернословил. Никогда. Слышал, как другие это делают, но чтобы сам — никогда! Нет, сэр.

— И чем меньше говорить об этом, тем лучше. Верно?

— Да, сэр!

Он произнес это с таким жаром и таким очевидным облегчением, что Джиму Уиттэкеру стало ясно: святой Инквизиции здесь делать нечего.

— Ну, перейдем к делу. У нас тут было нечто вроде дискуссии с твоим почтенным опекуном. Он по-прежнему...— Уиттэкер подобрал единственное подходящее выражение,— он в гневе на тебя. В страшном гневе.

Эдвард-Альберт выразил на своем лице подобающее обстоятельствам огорчение.

— Он объявил, что желает, чтобы ты оставил его... аристократическое заведение и нашел себе другое местожительство.

— Но где же мне жить?

— Я думаю, это можно будет устроить. Дело в том, что у тебя будут некоторые средства.

— Как? Мои собственные? И я смогу их тратить?

— Мы думаем, что их можно будет тебе доверить. Но ты должен быть осторожным.

— Осторожность необходима.

— Да, это — основное правило. Видишь ли, твоя мать оставила тебе некоторое состояние — на текущем счету в сберегательной кассе и в виде разных вложений. Сумма небольшая, но вполне достаточная для твоего существования. А мистер Майэм от твоего имени вложил почти все в свою школу. И мы теперь с ним договорились, что это будет оформлено в виде первой закладной на его собственность с приемлемым для обоих вас порядком выплаты...

— Я не очень хорошо знаю, что это такое — закладная,— заметил Эдвард-Альберт.

— Тебе и незачем знать. В конторе Хупера обо всем позаботятся. Ты — кредитор по закладной, а Майэм — твой должник. Это очень просто. Он закладывает тебе свою школу. Понимаешь? Закладывает. И в общем ты будешь получать что-то около двух с половиной гиней в неделю, из которых примерно пять шиллингов пойдут на восстановление основного капитала — тебе придется их откладывать, или контора Хупера может это делать за тебя; а на остальные ты будешь жить и, мне кажется, вполне можешь дотянуть, пока не станешь сам зарабатывать на жизнь. Таковы перспективы. Следующий вопрос заключается в том, куда ты хочешь поступить. В зависимости от этого и решим, где тебе жить, и все прочее. Как ты об этом мыслишь, Тьюлер?

— Что же, сэр. Я, можно сказать, наводил справки. Есть такой милый молодой джентльмен; он служит библиотекарем в Публичной библиотеке. Вот он мне помог разобраться. Не стану скрывать от вас, сэр, я не очень образован... Пока...

— Ничего, Эдвард, не падай духом.

— Я немного знаком с французским языком и со Священным Писанием, но все-таки, сэр, мистер Майэм меня не многому научил.

М-р Уиттэкер одобрительно кивнул.

— Например, хорошо бы стать банковским служащим. Очень почтенное занятие. Тут и неприсутственные дни. Тут и продвижение по службе. Тут и пенсия. Чув-

ствуешь почву под ногами. Но я недостаточно образован, чтобы стать банковским служащим. Даже если я поступлю в настоящий колледж и буду очень стараться, сомневаюсь, чтобы я успел подготовиться... Потом есть низшие государственные служащие. Там тоже твердое положение. Можно выйти на пенсию, если я буду стараться. Мне только тринадцать лет. Если я начну учиться как следует, чтобы добиться этого... Можно еще попытаться держать экзамен на аттестат зрелости. Это трудно. Но тот джентльмен в библиотеке говорит, что стоит постараться. Там всякие перспективы...

Джим Уиттэкер не мешал Эдварду-Альберту развивать свои скромные, но низменные планы. Ему пришло в голову, что за свою жизнь Эдвард-Альберт, наверно, очень многими будет презираем и ненавидим, так что нет оснований ненавидеть этого противного, жалкого звереныша уже сейчас. Все в свое время. Фирма всегда платила старику Тьюлеру меньше, чем он стоил, и теперь она должна возместить ущерб, оказав поддержку сыну — независимо от того, какие чувства он ей внушает.

И ущерб был возмещен. Фирма удовлетворила страстное желание Эдварда-Альберта вступить на путь разнообразного умственного усовершенствования, предлагаемого в Кентиштаунском Имперском Колледже Коммерческих Наук, и постаралась обеспечить ему стол и кров соответственно его положению.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПАНСИОН ДУБЕР

Уладить этот последний вопрос было поручено тридцатидвухлетнему конторщику фирмы Маттерлоку-младшему. Он получил указание подыскать пансион, где мальчику было бы обеспечено постоянное общество и возможность назидательной беседы. Оказалось, что в Кентиштауне такое заведение найти нелегко. Попадались все больше меблированные комнаты. Но к югу и к востоку от этого района Маттерлок нашел очень много пансионов, самых разнообразных по условиям, распорядку, обстановке и населению. Лондон был средоточием огромного количества учащихся всех разновидностей и оттенков,

и для каждой разновидности и оттенка там имелись свои специально приспособленные пансионы. Это был целый музей национальностей, пестрый калейдоскоп разрозненных образчиков самых различных общественных слоев. Главная трудность заключалась в том, чтобы отыскать такой пансион, который был бы просто пансионом.

Маттерлоку-младшему не показалось странным, что в этой огромной чаще домов и квартир нет ни одного помещения, которое было бы построено с тем, чтобы разместить в своих стенах меблированные комнаты или пансион. Каждое было рассчитано на то, чтобы служить приютом воображаемой, в действительности совершенно невозможной семье со значительными средствами и нездоровыми привычками, с низкооплачиваемой жалкой прислугой, затиснутой на чердак или в подвал; в каждом имелась столовая, зала, гостиная и так далее. Тогдашние домовладельцы, архитекторы и строители, видимо, и представить себе не могли чего-либо иного. Но даже десять процентов этих идиллических семейных резиденций никогда не использовались по назначению, поскольку такая семья в Англии уже сходила со сцены; большинство же их было с самого начала разделено на «этажи», и почти все, даже сохранившие свое семейное назначение, обставлены выцветшей и неудобной подержанной мебелью. Обнаруживая полное отсутствие воображения, Англия XIX столетия согласовывала свой образ жизни и свои представления о будущем с отжившим общественным идеалом.

Теккерей навеки мумифицировал эту своеобразную фазу нашего упадочного и перестроенного на коммерческий лад феодализма, дав тем самым ценный материал изучающим историю нравов. Но нас интересует исключительно Эдвард-Альберт, и теперь, когда Лондон и большая часть наших крупных городов превращены в развалины, нам незачем гадать о том, в какой мере Англия способна проявить дух творчества и созидания, в какой — останется консервативной, лишенной всякого воображения наседкой и в какой — осуждена на хаотический, бессмысленный и безобразный распад...

Пансион м-сс Дубер, которому в конце концов Маттерлок решил вверить Эдварда-Альберта, выходил до-

вольно красивым фасадом на Бендль-стрит, немного южней Юстон-роуд. Вдоль всего карниза тянулось выведенное крупными буквами официальное название «Скартмор-хауз». Маттерлок осмотрел помещение и заранее договорился обо всем необходимом. Потом он забрал из школы Эдварда-Альберта, с жестяной коробкой, крикетной битой, пальто, из которого тот вырос, и новым чемоданом, и в надежной, солидной пролетке перевез на новое местожительство.

— Я думаю, тебе там понравится,— говорил он, пока они ехали.— Хозяйка, миссис Дубер, видно по всему, добрая душа. Она познакомит тебя со всеми, и ты скоро привыкнешь. Будешь как дома. Если возникнут какие-нибудь затруднения,— ты знаешь мой адрес. Деньги тебе будет посылать каждую субботу контора Хупера, и ты сейчас же плати по счету. Остатка должно тебе хватать на одежду, на плату за учение и на текущие расходы. Будь осторожен в тратах, и ты сумеешь сводить концы с концами. Необходима осторожность.

В ответ на эту знакомую фразу Эдвард-Альберт издал неопределенный звук, выражающий понимание.

— Надо тебе сшить костюм по твоей мерке. А то в этих одежках, которые Майэм покупает по дешевке в магазине готового платья, ты кажешься еще хуже, чем есть. Миссис Дубер или кто-нибудь там укажет тебе какого-нибудь портного по соседству. Есть такие портные, которые шьют на заказ. Этот костюм тебе узок в плечах, и рукава коротки, так что руки вылезают. Руки у тебя не бог весть какой красоты, Тьюлер... Ну, приехали.

Им открыла м-сс Дубер. Она сияла, изо всех сил стараясь показать, что она и в самом деле добрая душа. За ней выпорхнула услужливая горничная, вызванная, чтобы взять багаж.

«Вестибюль» Скартмор-хауза — то есть передняя — говорил о том, что заведение м-сс Дубер укомплектовано полностью и притом разнообразной публикой. Здесь стоял какой-то неопределенный, но сытный запах. Линолеум на полу и обои под мрамор на стенах были приятного светло-коричневого тона. Цвет и запах сливались в нечто единое. Коллекция верхнего платья и головных уборов занимала длинный ряд крючков над столь

же длинным рядом зонтов и тростей. Тут же засиженное мухами зеркало с высоким подзеркальником и полки с отделениями для писем и газет.

Большую часть этого приятного фона закрывала собой фигура гостеприимной м-сс Дубер.

— А, это и есть наш юный джентльмен? — сказала она.— Студент. Мы сделаем все, чтобы вам было удобно. Вы будете не один, здесь есть еще студенты. Мистер Франкинсенз учится в университетском колледже. Такой умный молодой человек. Высшие награды! Потом замечательный преподаватель ораторского искусства, мистер Харольд Тэмп, и его супруга. Потом один молодой человек из Индии...

И, наклонившись к Маттерлоку, конфиденциально шепнула:

— Сын раджи. Прекрасно говорит по-английски.

Затем в сторону, служанке:

— Тринадцатый номер. Если тяжело, не берите все сразу... Ну, так попросите Гоупи помочь вам. Что же вы стали?

И, приняв любезный вид, тотчас же опять повернулась к прибывшим.

Ее слова смутно доходили до сознания Эдварда-Альберта. Он изо всех сил старался держать свои руки так, чтобы они ушли подальше в рукава; кроме того, он уже приобрел привычку слушать невнимательно, которая так и осталась у него на всю жизнь.

— У нас тут все молодежь,— говорила м-сс Дубер.— Есть только один действительно старый господин — но очаровательный. Такой прекрасный рассказчик!

Эдвард-Альберт почувствовал руку Маттерлока у себя на плече.

— Тебе будет хорошо. Сперва покажется немного не по себе в новой обстановке, но скоро привыкнешь.

— Бельгийцы. Семья беженцев из Антверпена. Так что если вы пожелаете учиться французскому языку...

— Ну, пока прощай и желаю успеха, Тьюлер.

Маттерлок пожал ему руку и ушел.

Эдвард-Альберт почувствовал отчаянное желание крикнуть: «Не уходите!» — и кинуться к своему покровителю, прежде чем за ним закроется дверь.

И вот он один на один с м-сс Дубер. К ее вкрадчиво-

му обращению примешался теперь оттенок хозяйской властности.

— Я покажу вам наши общие комнаты и познакомлю вас с некоторыми нашими правилами и требованиями: вы ведь понимаете, что без правил и требований нельзя. А потом отведу вас наверх, в вашу комнату. Милая, тихая комнатка...

И пояснила:

— На верхнем этаже. Номер тринадцать. Я думаю, для вас это не имеет значения? Я все собиралась дать ей номер 12-а, да так и не удосужилась. Надеюсь, вам у нас понравится. Мы тут все так дружно живем, как одна большая семья. Повесьте шляпу и пальто на этот крючок...

Таким-то образом Эдвард-Альберт вступил в новую фазу своего существования и потихоньку приспособился к новой, более широкой среде. Завтракали от половины восьмого до половины десятого. Затем предполагалось, что вы уходите и возвращаетесь к шести-семи. Но у камина в гостиной спал какой-то старый джентльмен. Он просыпался, глядел вокруг, что-то мычал и снова погружался в сон. Обедали от половины восьмого до половины десятого. Столовая была просторной темной комнатой с затененными газовыми лампами, большим буфетом и лифтом для подачи кушаний, который поднимался с треском и грохотом. Небольшим переходом она соединялась с маленькой гостиной. На втором этаже была большая гостиная с двумя каминами, в свое время переделанная из двух смежных комнат; там стояли мягкие кресла в уголках, которым придавали уют книга, вязанье, шаль или другой подобный предмет; был также отдельный уголок для игр, где стояли два ломберных столика, один шахматный и тут же большой диван.

Наконец Эдвард-Альберт оказался у себя наверху. Он разобрал свои вещи, спрятал их в комод и принялся рассматривать свои руки в маленькое зеркало, погруженный в размышления о возможности сшить костюм на заказ. Завести бы длинные манжеты. И воротничок, который можно ставить и откладывать, как у м-ра Маттерлока. И надо подтянуться — вот так... И носить темный пиджак с синей искрой и отутюженные брюки, как у м-ра Маттерлока. По мерке. Тогда другое дело...

Когда м-сс Дубер привела его в столовую — ей пришлось его привести,— все принялись его рассматривать. Разговаривали с ним не очень много, но все время глядели на него. (Завтра же у него будут манжеты.) Все входили и выходили с удивительной непринужденностью.

Потом, уже в гостиной, одна дама спросила его:

— Вы новый жилец?

Он ответил:

— Да, мэм.

— А как вас зовут? — продолжала она.

И он с большой готовностью ответил ей, а потом уселся в угол, взял очень интересную книжку под заглавием «Указатель европейских гостиниц» и, делая вид, что читает, стал поглядывать исподтишка на тех, с кем ему предстояло теперь проводить свою жизнь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

МИСТЕР ХАРОЛЬД ТЭМП

С некоторыми членами обитавшего в Скартмор-хаузе счастливого семейства Эдвард-Альберт очень быстро сошелся. Другие оставались для него чужими. Некоторое время в этом новом мире всех заслоняла особа м-ра Харольда Тэмпа. Как объяснила м-сс Дубер, он был «преподаватель ораторского искусства и чтец — и такой жизнерадостный человек». Большой, круглый и краснощекий, с густыми русыми волосами и водянисто-голубыми глазами навыкате, он любил потирать руки, всячески выражая свое довольство жизнью, когда думал о том, что на него смотрят. Но иногда забывался и впадал в полусонное состояние. Если его сознание бодрствовало, он гремел на весь пансион, как духовой оркестр. Он пел в ванной, словно ватага гуляк, возвращающихся домой с хорошей попойки. Здороваясь при встрече с каждым в отдельности, он называл всех просто по имени. И всегда приходил в хорошее настроение при появлении нового жильца.

— А, пополнение нашего избранного кружка! — воскликнул он, как только увидел Эдварда-Альберта, кото-

«НЕОБХОДИМА ОСТОРОЖНОСТЬ»

«НЕОБХОДИМА ОСТОРОЖНОСТЬ»

рый на другой день после приезда вышел к обеду пораньше, чтобы м-сс Дубер не вздумала сопровождать его.

И заворковал, когда тот еще спускался по лестнице:

— Я вижу, вы очень молоды, но это с годами пройдет. Как тебя зовут, мальчик?.. Скажи, дружок, не слыхал ты последний анекдот о зоопарке? О мартышке и сердитом дикобразе?

Вопрос был обращен к Эдварду-Альберту. Это Эдварда-Альберта спрашивали, слыхал ли он анекдот о мартышке и сердитом дикобразе!

— Нет, сэр,— радостно ответил он.

— Была такая ма-а-ленькая мартышка,— начал м-р Тэмп.

И шепотом добавил:

— Голубая. Ты видел таких — голубых?

— Да, сэр,— ответил Эдвард-Альберт.

Собственно, он таких не видел, но вполне мог себе представить.

Тут лицо м-ра Тэмпа изменилось. Оно приняло таинственное выражение. Он поднял руку с раскрытой ладонью, как бы желая сказать: «Погоди». Губы его сжались. Глаза сделались круглыми. Он стал озираться по сторонам, как бы стараясь обнаружить подслушивающего где-нибудь в углу недоброжелателя.

— Это такой неприличный анекдот,— конфиденциально сообщил он сценическим шепотом.

Любопытство Эдварда-Альберта дошло до предела. М-р Тэмп встал и заглянул на лампу. Чего он там ищет? Ведь там ничего не может быть. Эдвард-Альберт захихикал. М-р Тэмп, ободренный успехом, наклонился вперед и посмотрел, нет ли кого за дверью.

Потом вдруг сделал вид, будто услышал кого-то под столом. Полез туда, чтобы проверить. Эдвард-Альберт не мог удержаться от хохота. М-р Тэмп кинул на него встревоженный взгляд и снова полез под стол. Потом выглянул оттуда с другой стороны, так что видна была только верхняя половина лица, выражавшая недоумение, опаску и в то же время сознание важности и таинственности исполняемого дела.

— Тс! — произнес он и приложил палец к губам.

Было страшно занятно.

В этот момент в столовую вошла та дама, которая

накануне обратилась к Эдварду-Альберту с вопросом: «Вы новый жилец?»

Она села на свое место за столом. И при этом сделала вид, будто не замечает м-ра Тэмпа. Отсюда можно было заключить, что он ей несимпатичен.

Курьезно, что м-р Тэмп отплатил ей точь-в-точь той же монетой. Это было смешно.

— Потом,— сказал он.— Сейчас не могу.

Появились и другие; среди них м-сс Дубер и какая-то молодая блондинка неприступного вида. При входе каждого нового лица м-р Тэмп изображал все большее огорчение, к возрастающему удовольствию Эдварда-Альберта. Было ясно, что обещанный анекдот имеет все меньше шансов быть рассказанным. Каждый раз м-р Тэмп подскакивал на месте и тотчас поднимал глаза вверх с выражением комического отчаяния. Но при этом он выбирал моменты, когда на него не глядел никто, кроме Эдварда-Альберта. В конце концов неудержимый смех последнего привлек внимание присутствующих. Его веселье показалось подозрительным. Над чем это он смеется? Потом подозрение пало на м-ра Тэмпа и сосредоточилось на нем. Вечно он со своими проделками!

Он запротестовал, обращаясь к Эдварду-Альберту. Стал оправдываться тоненьким, жалобным голоском:

— Я ведь только сказал: «дикобразик», «ма-а-аленький дикобразик». Что же тут смешного?

Потом быстро сделал гримасу и придал лицу печальное выражение.

Эдвард-Альберт стал торопливо жевать хлеб и подавился.

— Просто дикобраз,— продолжал Тэмп унылым фальцетом.— Ах ты господи!

— Вы смешите мальчика,— сказала м-сс Дубер,— и не даете ему обедать. Гоупи, уведите его и успокойте. Как вам не стыдно, мистер Тэмп!

— Я не смешил его, миссис Дубер. Он сам стал смеяться надо мной. Я только спросил его, знает ли он анекдот о мартышке и дикобразе.

— Ну хорошо,— произнес пожилой джентльмен, который днем спал в гостиной.— Что же это за знаменитый анекдот о мартышке и дикобразе? Расскажите — если только это удобно рассказывать здесь.

— Откуда я знаю? — возразил м-р Тэмп, торжествуя победу.— Если бы я знал, разве я стал бы спрашивать такого малыша?

— Вы хотите сказать, что такого анекдота вовсе нет?

— Во всяком случае, я его не знаю. Никогда не слыхал. Может быть, есть, а может быть, и нет. Я вот уже много лет всех спрашиваю о нем. А мальчик так смеялся, что я подумал, он и в самом деле что-нибудь знает...

Старик недовольно заворчал.

— Всё ваши штучки, мистер Тэмп,— сказала м-сс Дубер.— Если вы не перестанете. я вас оштрафую...— И, желая переменить тему, заметила: — Наши бельгийцы сегодня что-то запоздали...

М-р Тэмп откашлялся, чтобы пропеть какую-то мелодию, но остановился, поймав взгляд жены.

— Хм-м...— промычал он и мгновенно стушевался.

Когда Эдвард-Альберт, с глазами, мокрыми от слез, еще не вполне успокоившись, вернулся в столовую, бельгийцы были уже там, застольная беседа перешла на другие предметы, и он так и не узнал, что знаменитый анекдот о мартышке и дикобразе был просто розыгрышем. Он сейчас же отыскал глазами м-ра Харольда Тэмпа и был вознагражден сочувственной гримасой.

Так между ним и м-ром Тэмпом установилась странная духовная связь. Они укрепляли друг в друге чувство уверенности в себе. Каждый из них воспринимал другого как доказательство своего собственного существования.

Когда м-р Тэмп входил в одну из гостиных и все давали ему понять, что хотя в сущности они ничего против него не имеют, но все же он им давным-давно надоел, он искал Эдварда-Альберта, зная наверняка, что встретит полный радостного ожидания взгляд. А Эдвард-Альберт, робко присоединяясь к обществу, где никто, кроме профессионально любезной м-сс Дубер, не считал нужным его замечать, неизменно встречал специально для него приготовленную гримасу Харольда Тэмпа и ту неуловимую лукавую усмешку, которая скрепляла их тайный союз против остальных обитателей пансиона.

«Их нет,— без слов говорили они друг другу.— А мы существуем».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ПЕРВОЕ ОЩУЩЕНИЕ МАСШТАБА ИМПЕРИИ

За колоритной фигурой м-ра Харольда Тэмпа время от времени возникали и вновь исчезали другие лица. Например, упомянутый уже второй студент — молодой Франкинсенз из университетского колледжа, имевший столько наград. Он был высокий и тонкий, и голова у него была похожа на грушу, обращенную широкой частью вверх. Он подошел к Эдварду-Альберту со словами:

— Вы, кажется, тоже принадлежите к ученому цеху?

— Не совсем к ученому,— ответил Эдвард-Альберт.— Я учусь в Кентиштаунском Имперском Колледже Коммерческих Наук. Готовлюсь на чиновника...

— О боже! — с нескрываемым презрением воскликнул м-р Франкинсенз, тотчас отошел и уже больше не подходил к нему.

После этого в душе Эдварда-Альберта зародилась глубокая ненависть к м-ру Франкинсензу, и он страшно огорчался, что никак не найдет способа отомстить ему. В мечтах он называл его «Редькой» и отбивал у него замечательно красивую, но несуществующую молодую даму, в которую тот был безумно влюблен. Большую роль в этом деле играл новый, сшитый у портного костюм Эдварда-Альберта. Но Франкинсенз обращал мало внимания на эти страшные оскорбления, поскольку ему о них не было известно.

Эдвард-Альберт смотрел, как он играет в шахматы в уголке гостиной — чаще всего с индийским молодым джентльменом, который был похож на «старичков» Больтеровского колледжа и говорил высоким голосом, звонко и отрывисто, вызывая этим в Эдварде-Альберте безотчетное чувство превосходства, особенно после того, как он узнал от старого м-ра Блэйка, что такая манера говорить свойственна существам низшей породы, населяющим Индостан. Этот юноша был частью Индийской империи Эдварда-Альберта. А что касается того, будто он представлял из себя персону, как сын раджи, то, как пояснил м-р Блэйк, «у этих раджей их целые дюжины».

— У них там гаремы, и чтобы их содержать, они

сдирают шкуру с населения, а потом обвиняют в этом нас. Пять жен, куча наложниц — и это еще тоже не все... В Индии он, может быть, и сын раджи, но здесь у нас — попросту скверный ублюдок. А послушать его, так выходит, что мы ограбили Индию, захватив в свои руки ее торговлю хлопком, и вообще завладели всеми ее богатствами. Гаремы — это их заводы, и сколько бы у них ни было богатств, они производят столько ртов, что те все пожирают. И когда я вижу, как он разговаривает с хорошенькой беленькой английской девушкой, вроде мисс Пулэй, и рисуется перед ней, во мне просто вся кровь кипит. Там у них она была бы Мэм Сахиб и он не смел бы глаз на нее поднять.

Эдвард-Альберт, как будущий гражданин метрополии, прислушивался издали к тому, что говорит его подданный, следил за возмутительными движениями его длинных пальцев и негодовал, когда он смеялся своим пронзительным смехом, одержав победу над «Редькой», который в конце концов все-таки англичанин и должен был бы понимать, что ему не пристало проигрывать в шахматы человеку, находящемуся под эгидой его власти. Необходима осторожность: только ослабить давление, и в любой момент может вспыхнуть новый мятеж.

И в мечтах он расправлялся с подчиненными народами очень круто; он сурово и беспощадно расстреливал их из пушек, потому что этого они боятся больше всего: это отнимает у них надежду на воскресение. Он вспомнил придуманное им в детстве электрическое ружье, не требующее перезаряжения, и с этим ружьем в руках стал прокладывать себе путь среди бесконечных орд мятежников в чалмах; он косил их тысячами, буквально тысячами, спеша на выручку глупому «Редьке» — и как раз вовремя.

Вот этот несчастный; он окружен, патроны у него на исходе, и его ожидает обычная участь тех, кто попадает в руки коварных туземцев, но надо отдать ему справедливость — он держится до последнего. И вдруг он слышит звук волынок. Тихонько, на свой особый манер, Эдвард-Альберт засвистал воодушевляющую мелодию: «Кэмбельцы шагают».

Эдвард-Альберт наступает вдоль высохшего русла реки,— раз дело происходит в Индии, то всегда насту-

паешь по высохшему руслу реки,— и стреляет направо и налево.

Тут вдруг оказывалось, что индийский мятежник сидит рядом с ним за столом.

Но Эдварду-Альберту безразлично, слышал тот или нет...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПО-ФРАНЦУЗСКИ ЛИ ГОВОРЯТ БЕЛЬГИЙЦЫ

Другим толчком к развитию патриотического самосознания Эдварда-Альберта послужило знакомство с недавно прибывшей из Антверпена семьей бельгийских беженцев, о которой уже шла речь. Они всегда сидели вместе, стайкой, тщательно следя за тем, как бы не сделать какой-нибудь неловкости, и весьма непринужденно посвящали в свои надежды и дела всякого, кто давал им малейший повод думать, что он понимает по-французски. Немцев очень скоро выгонят из Бельгии, и можно будет вернуться. Мисс Пулэй и вдова, которая первая заговорила с Эдвардом-Альбертом, в самом деле могли объясняться по-французски, так что им приходилось выслушивать и пересказывать другим то, что в те более гуманные времена называлось ужасами войны.

Тогда это действительно всем казалось чудовищным. Антверпен подвергся артиллерийскому обстрелу, и десятки мирных жителей были убиты. В одном из рассказов фигурировала человеческая рука, валяющаяся на улице за квартал от кучи одежды и лужи крови — того, что осталось от ее владельца. В другом говорилось о человеке, который на минуту вышел на балкон, чтобы посмотреть, что делается; жена позвала его пить кофе, но, не получив ответа, пошла за ним и увидела, что он без головы.

И все в таком роде. Странно было слушать, как люди, не умеющие двух слов связать по-английски, так свободно и быстро говорят на своем трудном языке.

Харольд Тэмп сразу отнесся к этим бельгийцам с предубеждением и попытался набросить на них некоторую, правда, совершенно неопределенную, тень. Они мешали ему быть центром внимания, с чем он не мог примириться. Он состроил смешную гримасу, и вдруг

оказалось, что Эдвард-Альберт не смотрит на него. Он попробовал снова привлечь его внимание, сделав вид, будто боится слишком энергичной жестикуляции м-сье Аркура и следит за ним с величайшей тревогой, в любую минуту готовый отскочить, как от бомбы, которая вот-вот взорвется. Отчасти это имело успех. Но лишь отчасти.

Дело в том, что Тьюлер почти все время прислушивался к бельгийцам, стараясь уловить что-нибудь из начального курса французского языка, в отчаянной надежде тоже вступить в разговор. Но слышалось одно только бесконечное бормотание, так что иногда его даже брало сомнение, французский ли это язык.

Ни разу в беседе не упоминались ни «ля мэр» и «лё пэр», ни неизменная «тант», ни садовник, ни книги моего дяди, ни дом, который принадлежит нам, ни собака, ни кошка, ни прочие удивительные существа, вылезающие на сцену, как только английский школьник принимается за изучение французского языка.

Да на хорошем ли французском языке говорят эти бельгийцы? В пансионе шли разговоры о том, что надо воспользоваться случаем и брать уроки французского. М-сс Дубер всячески поддерживала эту идею. Но необходима осторожность. Эдвард-Альберт, внимательно слушая, заметил, что мсье Аркур, всякий раз, как его перебивали, говорил: «Comment?» Очевидно, он хотел сказать «что?», но ведь это совсем не то слово! «Что» по-французски будет «quoi». А «comment» значит «как». По крайней мере так было сказано в словаре, приложенном к французскому учебнику. И во всяком случае, он не намерен учиться французскому иначе, как по-английски, а Аркуры не знают по-английски. Значит, и говорить не о чем.

Так получилось, что Эдвард-Альберт примкнул к подавляющему числу человечества, которое, пройдя соответствующие курсы, сдав экзамены, обзаведясь всякими свидетельствами и т. п., не в состоянии произнести, понять или хотя бы прочесть две фразы по-французски. Когда в конце концов будет написана история духовного развития человечества (если только это когда-нибудь осуществится, поскольку будущие судьбы цивилизации все еще очень неясны), там между прочим будет отмечено, что в течение столетий во всем мире биллионы лю-

дей (употребляя слово «биллионы» не в американском, а в английском значении[1]) «учились французскому языку, но так и не выучились». Поистине неисчислимы знания, которыми человечество стремилось овладеть, но так и не овладело! Побои, оставление без обеда, окрики и брань, принудительное соревнование, бутафорские экзамены, присуждение дутых степеней, мантии, шапочки, отличия — целый парад учености. А результат?

Человечество еще плохо отдает себе отчет в том, чем оно обязано своим учителям. Но начинает подозревать.

В тусклом и быстро окостеневшем уме Эдварда-Альберта по временам брезжила мысль, что ведь иные каким-то таинственным путем сумели «одолеть» французский. Тут не одно только очковтирательство.

Он стал внимательно следить за мисс Пулэй. Может быть, она только делает вид, что понимает, а потом сама все придумывает? Нет, она как будто понимала на самом деле и повторяла то, что поняла.

Впрочем, рассуждал Эдвард-Альберт, он и не собирается разговаривать по-французски. Так чего же беспокоиться? Если ему и нужен французский, то для того, чтобы сдать экзамен, и только. Но все же...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ТО, ЧЕГО ОН НЕ ЗНАЛ

Представления Эдварда-Альберта об окружающем были довольно смутны по вине укоренившейся в нем привычки оставлять без внимания то, что не относилось непосредственно к нему,— и этому еще способствовала тайна, которая окутывала дневное времяпрепровождение большинства жильцов м-сс Дубер. Эдварду-Альберту и в голову не приходило, что м-р Харольд Тэмп жил почти целиком на заработок жены. Версия о какой-то сложной литературной работе, которой она будто бы занималась, служила ширмой для ее истинной деятельности, протекавшей в одной дурно проветриваемой швейной мастерской на Шефтсбери-авеню, которой она довольно сурово, но успешно управляла. Харольд Тэмп в

[1] То есть в значении миллиона миллионов, а не тысячи миллионов.

хорошую погоду сидел в каком-нибудь парке, а в холод или дождь укрывался под гостеприимным кровом Сельфриджа на Оксфорд-стрит или созерцал человеческий поток на одном из вокзалов в расчете на случайный разговор, из которого воспоследует предложение дать несколько уроков дикции или выступить в концерте. А в период финансового процветания он подавался в сторону Ипподрома и там, угощая и угощаясь, обменивался воспоминаниями о прежних успехах с разными родственными душами, бойцами старой гвардии, стреляными воробьями. Тут ему иной раз случалось услышать о представляющихся возможностях, однако по большей части эти возможности исчезали прежде, чем он успевал ими воспользоваться. Но Эдвард-Альберт рисовал себе его времяпрепровождение за стенами пансиона совершенно иначе. Ему представлялась большая классная комната и посреди нее — Харольд, управляющий большим мощным хором.

Харольд: Ве-е-есь м-иррр те-а-трр.

Хор (громоподобно, в унисон): Ве-е-есь миррр те-а-а́-трр.

Эдвард Тьюлер не подозревал, что молодая особа, фамилия которой была мисс Пулэй, а имя составляло одну из ее личных тайн, вовсе не врач с обширной практикой, а регистраторша у одного окулиста, где она ведет запись больных и помогает во время приема, направляя свет и подавая разные зеркала и стекла. А старый мистер Блэйк, относившийся с такой острой ненавистью и презрением ко всем известным ученым на том основании, что они будто бы присваивают себе труд других, гораздо более талантливых работников,— всего лишь отставной лаборант Университетского колледжа.

Не догадывался наш герой и о том, что скромная изящная вдова, постоянно ссылавшаяся на «своего друга леди Твидмэн» — ту самую леди Твидмэн, которая всегда высказывает такие авторитетные и здравые суждения по поводу порчи нравов,— внезапно исчезла из пансиона оттого, что после многочисленных предупреждений попалась с поличным при совершении кражи в магазине. Мировой судья решил примерно наказать ее в назидание другим. Леди Твидмэн на него не подействовала.

— Если эта леди Твидлум... Ах, Твидмэн? Ну, Твид-

мэн... если она может поручиться за вашу честность, почему она не явилась и не сделала этого?

Эдвард-Альберт слышал, как м-сс Дубер в разговоре с мисс Пулэй употребила слово «клептомания», но это ничего ему не объяснило. Вдова внезапно исчезла, и имя дорогой леди Твидмэн больше не упоминалось. А он продолжал свое существование с тем же безразличием к окружающему, и ее отсутствие ничего для него не изменило. Просто еще одним, кого можно не слушать, стало меньше.

Ему понадобилось много времени даже на то, чтобы разобраться в персонале пансиона м-сс Дубер. Помощницей у нее была племянница м-ра Дубера. Сам м-р Дубер «занимал положение» в Сити, связанное с необходимостью каждое утро уходить в определенный час. Собственно говоря, он не был ни директором компании, ни биржевым маклером. Он был просто-напросто уборщиком и швейцаром и на работе носил зеленый суконный фартук. Но как только он снимал его и пускался в обратный путь, к нему тотчас же возвращалась солидность человека с положением, и Эдвард-Альберт так никогда и не проник в его тайну. Говорил он мало и все больше об акциях и фондах. Его советы по части выгодных спекуляций и надежного помещения капитала были всегда очень дельны. Старый м-р Блэйк потихоньку да полегоньку, в ожидании какой-нибудь крупной удачи, всецело доверялся его руководству.

Затем шла Гоупи. Гоупи была родственница, которая ссудила м-сс Дубер свои сбережения, получив право на одну половинную долю в предприятии, но так как м-сс Дубер не имела возможности вернуть ей долг, а ей некуда было деваться, она осталась в качестве домашнего фактотума и крепко держалась за место при собственных деньжатах, пока они еще не растаяли. Для Эдварда-Альберта и остальных обитателей пансиона она была просто Гоупи, нечто само собой разумеющееся, вроде молочницы или атмосферного давления. Ее принимали как должное. Трудно было представить себе жизнь без нее. Попроси ее о чем угодно, и она всегда — в большей или меньшей степени — исполнит просьбу.

Строптивые и ненадежные служанки то и дело менялись.

Одна из них, проходя мимо Эдварда-Альберта по лестнице, весело заговорила с ним в таких непристойных и бесстыдных выражениях, что он ушам своим не поверил. Потом она ухмыльнулась ему через плечо и дополнила свои слова еще более циничным жестом.

— Ухожу, миленький,— прибавила она.— Какая жалость!

Ошеломленный, он остановился на площадке. Потом медленно побрел к себе в комнату. Этого не может быть. Таких вещей не бывает. И все равно — она уходит.

После этого при виде служанок ему всегда становилось не по себе. Он следил за ними взглядом, колебался и, как только они подходили ближе, бежал в испуге.

Когда в пансионе освобождалась комната, в окне первого этажа приклеивали билетик и появлялись временные жильцы, из проезжих — на два-три дня, на неделю. Среди них попадались чудные, даже неприятные люди. Если это бывали одиночки, они коротали время за книгой. Если их оказывалось несколько, они сидели и шептались по углам. Иногда они играли в незнакомые карточные игры. С ними здоровались из вежливости, и потом никто не обращал на них внимания. Разве только Гоупи, которая болтала с ними о лондонских достопримечательностях, об автобусах, о метро. И о чем только им вздумается...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

МАЛЬЧИК ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МУЖЧИНУ

В такой обстановке начался для Эдварда-Альберта Тьюлера тот длинный путь наблюдений, опыта, усилий и исследований, который составил основное содержание его метаморфозы — осознания необходимости зарабатывать на жизнь и найти свое место в огромной неустойчивой системе, представляющей мир взрослых людей. Он был слишком молод, чтобы его могла серьезно затронуть мировая война 1914—1918 годов. После того как улеглось первое волнение, вызванное мыслью о том, что мы воюем, этот источник расширения кругозора иссяк. Эдвард-Альберт не приобрел привычки читать газеты. Он отпраздновал заключение перемирия как горделивое

доказательство того, что «мы», англичане, как всегда, победили, и после этого совершенно перестал интересоваться международными делами. Как мы увидим, он был очень удивлен, когда в 1939 году снова началась война.

С чувством большой ответственности приступил он к занятиям в Кентиштаунском колледже. У него был очень серьезный разговор с директором относительно будущего. Мысль о должности банковского клерка оказалась совершенно неосуществимой; что же касается экзамена на аттестат зрелости, то по этому поводу директор вовсе не разделял восторгов кэмденского библиотекаря.

— Требования, знаете, довольно жесткие. Три языка: латынь, французский и либо греческий, либо немецкий.

— Немецкий для меня то же, что и греческий,— признался Эдвард-Альберт.

— И само по себе это не очень интересно, если вы не собираетесь стать учителем. Но вот что я сделал бы на вашем месте,— продолжал директор.— Я прослушал бы у нас курс коммерческого делопроизводства и получил бы квалификационное свидетельство. Должен вам сказать, что есть несколько учреждений, например, «Норс-Лондон Лизхолдс», которые комплектуют почти весь свой служебный персонал из наших слушателей. Мы за это берем небольшие комиссионные, когда окончивший получит должность. Вот это дело верное. Жалованье, правда, небольшое, но рабочий день хорошо распределен: с девяти до часу и с двух до шести. И, кроме того, вы можете по вечерам повышать свою квалификацию у нас, а потом сдать экзамен на право занимать низшие должности в государственных учреждениях или что-нибудь в этом роде...

Эдвард-Альберт нашел совет солидным, дельным и последовал ему. При второй попытке он добился квалификационного свидетельства и сейчас же поступил в «Норс-Лондон Лизхолдс», после чего пробовал посещать еще с десяток разных вечерних курсов, но ни одних не кончил и так и не пошел дальше. Ни на шаг.

Определенной цели у него не было. Он превратился в вечного студента. Садился на одно из задних мест в аудитории и даже не старался следить за тем, о чем идет речь. Обычно в нем сразу возникал какой-то внутренний протест против лектора, мало-помалу, в ходе занятий,

превращавшийся чуть ли не в ненависть. «Откуда он все это знает? — спрашивал он себя.— И во всяком случае, нечего так задаваться. Уж, наверно, нашлись бы такие, которые сумели бы вывести его на свежую воду с его трепотней, если бы захотели. Не надо было связываться с этими курсами. Они еще хуже тех, последних». Если бы он умел незаметным образом высовывать лекторам язык, он бы непременно так и делал.

В числе прочего он посещал занятия по истории литературы елизаветинского периода, по ботанике, по теории сочинения, по латыни (элементарный курс), по политической экономии, сельскому хозяйству, геологии, черчению и истории греческого искусства. Но и ту небольшую способность сосредоточиваться, какая у него была, он быстро утратил под бременем напряженных забот, о которых мы узнаем в следующей главе.

Когда ему только что исполнился двадцать один год, с ним произошла удивительная вещь. Одна из его грез с избытком осуществилась: у него завелись деньги. Он получил в наследство недвижимость в виде жалкого домишки в трущобах Эдинбурга, при реализации которого в конце концов очистилась сумма в девять с лишним тысяч фунтов. Его дядя с материнской стороны умер, не оставив завещания, и он оказался единственным родственником покойного. На первых порах он даже не представлял себе размеров доставшегося ему сокровища. Это выяснилось постепенно. Он думал получить «какую-нибудь сотню фунтов». Он даже решил было, что все это шутка Харольда Тэмпа, но почтовый штемпель был настоящий, эдинбургский. Он посоветовался с м-сс Дубер, м-ром Дубером, Кольбруком и Махогэни, наконец, с преподавателем государственного права в колледже. Все отнеслись к этому делу серьезно и дали полезные советы.

Тогда он взял в «Норс-Лондон Лизхолдс» недельный отпуск в счет полагавшегося ему десятидневного и поехал в Шотландию выяснить, как и что. Все его советчики ждали чего-то большего, чем сотняжка.

— Что же — тысчонка? — отважился он.

— Может быть, и больше,— возразил м-р Дубер.— Гораздо больше.

Эдвард-Альберт стал смелей в своих ожиданиях. Упорные мечты подготовили его к крупной жизненной

удаче. Он был взволнован, но не потерял головы, когда узнал о размерах и форме привалившего ему наследства. Он обнаружил неожиданную деловитость.

— Я не могу управлять этой недвижимостью, как вы ее называете: для этого надо быть здесь, на месте. Так что, если кто-нибудь желает купить ее, я готов продать. Чего бы я хотел, так это иметь закладные, первые закладные и от разных лиц — необходима осторожность. Я немножко понимаю в закладных. И мне хотелось бы, если можно, поручить все дело фирме Хупер, Киршоу и Хупер... Знаете, сэр Рэмбольд Хупер.

После этого все в Эдинбурге стали с ним чрезвычайно почтительны, заложили его недвижимость очень продуманно и правильно, и Эдвард-Альберт вернулся в Лондон в настоящем вагоне первого класса с невероятно мягкими голубыми сиденьями, белыми кружевными подголовниками, кранами с горячей водой и прочими удобствами, тихонько посвистывая себе под нос и раздираясь между желанием рассказать каждому о своем наследстве и решением не рассказывать о нем лишнего.

Смутные и волнующие мечты владели им. Вы узнаете о них подробнее в следующей книге. Во время этого обратного путешествия он ничего не предвидел, но многое предвкушал. Ничто из предвкушаемого не сбылось. То неопределенное, что беспрестанно фигурирует в громоздких классических диссертациях о греческой трагедии под именем «anankе» [1], видимо, село в тот же поезд и на всех парах устремилось за ним в Скартмор-хауз.

С этого момента м-р Джемс Уиттэкер и м-р Майэм незаметно исчезают из жизни Эдварда-Альберта, а тем самым и из нашего повествования.

— Теперь с нас снимаются все обязанности относительно паршивца,— объявил м-р Джемс Уиттэкер и совершенно перестал думать о нем. Это его последние слова в нашей драме.

Официальное удаление со сцены м-ра Майэма произошло еще раньше.

Ликвидация его опекунства была произведена Хупером, Киршоу и Хупером с величайшей корректностью и пунктуальностью. Выплаты по закладной производи-

---

[1] Рок *(греч.)*.

лись аккуратно, и отчетность почтенного опекуна была в полном порядке. Переход совершился без сучка без задоринки. По обоюдному свободному согласию остаток в тысячу фунтов в течение нескольких лет оставался нетронутым.

Таково было официальное удаление м-ра Майэма со сцены. Но до конца жизни Эдварда-Альберта какая-то тень м-ра Майэма нет-нет да всплывала в его сознании.

М-р Майэм фигурировал в религиозных кошмарах, сопровождавших расстройство желудка и инфлюэнцу, которыми Эдвард-Альберт заболел после того, как чудесным образом, через посредство внезапного ливня, принужден был выслушать евангелическую проповедь.

— Тесны врата,— вещал евангелист,— и узок путь.

Это были первые слова, которые услышал Эдвард-Альберт, как только вошел. Сколько раз называл он м-ра Майэма узким! Узок путь. Необходима осторожность. По обе стороны — ад.

С быстрой изменчивостью сонной грезы м-р Майэм являлся ему то в своем собственном виде, то в виде самого господа бога, справедливого и грозного, который, согласно высшим христианским авторитетам, создал грешное человечество с целью безжалостно загнать его в ад, на вечные муки. Однажды это ласковое божество нависло над Эдвардом-Альбертом и стало осыпать его драконовыми углями из какого-то бездонного ведерка. Эдвард-Альберт беззвучно закричал, как кричат в стране снов.

Он проснулся, оцепенев от ужаса, и несколько дней жил с ощущением мертвящего страха в душе.

Он боялся ложиться спать, боялся этих часов одержимости Богом.

Но тут ничего нельзя было поделать. Только набраться мужества и терпеть. Как жить без сна? И со временем все это было вытеснено из его сознания, по мере того как шло выздоровление и вступал в силу другой важнейший для человеческой метаморфозы комплекс побуждений: натиск устремленных к единой цели потребностей пола. Мы расскажем об этом с той же беспристрастной правдивостью, какую мы соблюдали до сих пор,— не щадя ни запоздалых иллюзий, ни природной стыдливости читателей и автора.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЖЕНИТЬБА, РАЗВОД И ПЕРВЫЕ ЗРЕЛЫЕ ГОДЫ ЭДВАРДА-АЛЬБЕРТА ТЬЮЛЕРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВИД «НОМО ТЬЮЛЕР»

Я рассказываю несложную историю жизни одного лондонца и обещал не выходить из рамок простого объективного повествования; однако мне уже пришлось дополнять изложение событий и фактов замечаниями более общего характера, чтобы придать рассказу определенную историческую перспективу. Это все равно, как если даешь показания об убийстве, совершенном в открытом море: нужно по возможности упомянуть долготу и широту, на которых находилось судно. Оказалось, например, необходимым отметить роль феодальных и христианских традиций, без чего изложение осталось бы непонятным просвещенному американскому, русскому или китайскому читателю и не имело бы никакой цены для потомства, для которого оно, ввиду теперешнего недостатка бумаги, главным образом предназначается. А теперь мы должны посвятить краткую, но насыщенную содержанием главу новому отступлению, чтобы еще более расширить круг ассоциаций и определить положение Тьюлера не только с точки зрения земных координат, но и относительно всей звездной вселенной, относительно пространства, времени и идеалов.

Мы уже обращали внимание читателей на ту общую метаморфозу, которую Тьюлер пережил при выходе из

стадии головастика. Придется еще ненадолго остановиться на этом, так как это поможет нам уяснить, почему его любовная жизнь, если можно так назвать ее, имела по природе своей столь мало общего с тем простым, цельным, волнующим и даже прекрасным романтическим чувством, которое литература нашей сегодняшней общественной формации консервирует для вдохновения потомства.

В романах и пьесах той, теперь уже быстро исчезающей эпохи, из которой мы вышли оглушенные и растерянные, словно жители города, подвергшегося ожесточенной бомбежке,— в этой литературе, говорю я, действующие лица изображаются «влюбленными» друг в друга. Эта «влюбленность» представляет собой особую сосредоточенность желаний и симпатий на определенном «предмете», всегда другого пола, исключающую всякий другой интерес. Действующие лица впадают в это состояние помимо своей воли. Предполагается, что способность впадать в него и есть общее свойство всех представителей человеческого рода, достойных фигурировать в печати.

Распутник — человек, у которого это состояние менее устойчиво, но покуда оно длится, оно у него так же сильно и неподдельно, как и у порядочного человека. И многие негодяи становятся негодяями в результате отвергнутой и несчастной любви. Жизненные трагедии состоят в том, что А влюблен в Б, тогда как Б любит В или вообще не отвечает А взаимностью. Теневая сторона любви проявляется, когда Б из меркантильных соображений делает вид, будто любит А. Далее, может быть так, что Б любит В, не сознавая этого и искренне думая, будто любит А. Наконец возможен процесс, аналогичный религиозному обращению, в результате которого Б «приучится» любить А, либо постепенно разлюбит В и полюбит А. Вокруг этой основной системы любовных отношений группируются столь же прочные и непоколебимые чувства материнской, сыновней и дочерней любви.

Подобно тому, как почти никто в ту идеалистическую эпоху не верил в догматы исповедуемой религии (ибо религия эта была слишком сложной и искусственной для человеческого разумения), но все предпочитали ве-

рить, будто верят,—точно так же благородное поколение, к которому принадлежал Эдвард-Альберт, предпочитало верить, будто у него простая, ясная и в общем приятная «любовная жизнь». В обоих случаях истина подвергалась искажению. Наши родители рассказывали нам не о том, как они жили в самом деле. Они рассказывали лишь, как им нравилось представлять себе свою жизнь.

Но почему же все они, в том числе и Эдвард-Альберт, так извращали действительность?

Обыкновенное человеческое существо, как вы могли заметить, питает страсть к автобиографии. Страсть эта есть и у вас. Если вы с негодованием возражаете, это значит только, что у вас она имеет более пассивный характер. Вам не нравится то, что я говорю, потому что это не согласуется с тем представлением о своей личности, которое вы сами себе создали. Страсть эта проявляется в особенно назойливых формах, например, у пароходных попутчиков, язык которых развязывается при виде массы не занятых делом посторонних людей. Она бросается в глаза также в беседах, которые ведут у себя на родине американцы. В сущности, каждый американец восхищен благородством и глубиной своих душевных движений. Он старается сам верить в эти свои достоинства и убедить в том окружающих.

И это вполне естественно, этого надо было ожидать, поскольку поведение человека гораздо более загадочно, чем поведение остальных животных. Вся сложность общественной жизни с ее уловками и приспособлениями необычайно стремительно, за какие-нибудь несколько тысяч поколений, обрушилась на привычную к одиночеству обезьяну, которая до сих пор еще живет в каждом из нас, и обезьяна эта оказалась связанной со все возрастающим множеством себе подобных, которых она почти в равной мере и боится, и ненавидит, и хочет себе подчинить.

Это не пустое теоретизирование — в противном случае оно было бы здесь неуместно. Это просто обобщение в историческом плане того, что представляет собой Эдвард-Альберт Тьюлер и на что указывалось в предыдущих двух книгах — по большей части без подчеркивания, но в третьей главе второй книги — более пространно и подробно. Он образчик вида Homo Тьюлер, к ко-

торому мы все относимся, поскольку Homo sapiens существует пока только в стране мечтаний. Это жалкое, неприспособленное существо все время изо всех сил стремится придумать убедительное и связное оправдание своих поступков как для себя, так и для окружающего общества, и руководится этой выдумкой, чтобы избежать открытого разрыва со средой. Необходимость следить за собой и поддерживать более или менее благоприятное мнение о себе у окружающих держит нас в постоянном напряжении, и это напряжение находит выход в тех баснях о религиозном опыте и о верной любви, которые мы навязываем друг другу по всякому поводу.

Так повелось еще с того времени, когда наш предок — Тьюлер (Pithecanthropus Тьюлер),— покинув свое уютное и надежное гнездо на дереве, спустился на дышащую агорафобией землю и, напряжением всех сил подавляя свои первобытные инстинкты, зажил во все разрастающемся коллективе. Он страстно влечется к утверждению: «Можете быть уверены, что я поступлю именно так. Поступить иначе мне совершенно невозможно. Поскольку я магометанин, вы понимаете, что всякая возможность поступить иначе для меня совершенно исключена. Ни одному здравомыслящему англичанину не придет в голову...»

Он и слышать не хочет о каком бы то ни было поведении, кроме предначертанного этими формулами. Он не допускает мысли, что все мы глубоко и неизбежно непоследовательны. Он огораживается со всех сторон системой запретов, обычаев, верований, причем люди более энергичные, сами веря, всегда проявляли и проявляют чрезмерную готовность поддержать своих более слабых собратьев и укрепить их веру при помощи своего контроля и руководства. Это вот хорошо, прекрасно, а то — ах, того ты никогда не должен делать! Мудрец, учитель, жрец, гуру всегда, отворачиваясь от фактов, направляли свой указующий перст на идеал.

И до тех пор, пока жизненные обстоятельства Homo Тьюлера изменялись настолько медленно, что эти руководители поспевали приспосабливаться к новой обстановке, общественные формы сохранялись, цепляясь за тот или иной компромисс, обеспечивающий реальную воз-

можность жизни в коллективе. Может быть, коллектив получался и несовершенный, но так или иначе — жить было можно.

В течение столетий Homo Тьюлеру удавалось делать вид, будто его тайные влечения и наиболее непривлекательные действия фактически не имеют места, будто дурные поступки его ближних представляют собой «отклонения от нормы» и срывы, к которым сам он не имеет отношения — «Ах, какой ужас!» — или же которые вызваны совершенно исключительными обстоятельствами, вроде дьявольского наваждения.

Только после появления психоанализа на дневной — и, пожалуй, даже слишком резкий — свет был позорно извлечен в качестве его «подсознательного» тот сложный клубок влечений и грез, существование которого он до тех пор отрицал и таил. «Что это такое? Вы меня просто удивляете»,— произнес психоаналитик, словно фокусник, вытаскивающий кролика из шевелюры почтенного зрителя. «У каждого из нас есть подсознательное»,— объявил он. «Решительно у каждого. Да! Но...»

Мы стали вспоминать такие вещи, о которых привыкли не думать. Это было очень неприятно.

Фрейд и его последователи не были свободны от недостатков классического образования; исследуя душевные тайники своих пациентов, они обнаружили там примечательные остатки тех табу, с которыми были знакомы по звучным древнегреческим трагедиям.

Подавленный непостижимыми причудами враждебного случая и неспособный усвоить страшную истину, что природе, преследующей не разгаданные до сих пор цели, дела нет до отдельных своих созданий, Homo Тьюлер всегда направлял все усилия своего скудного ума против великого Безразличия, надеясь найти такие магические приемы, при помощи которых можно принудить Его к благоприятным или вредоносным действиям.

Магия была первобытной прикладной наукой, и приемом ее было табу. Табу и сейчас продолжают управлять нашим мышлением. Нарушив табу, мы считаем, что ничто не в силах предотвратить последствия. Тут — Рок. Нет такой силы, которая могла бы убедить нас, что Року решительно наплевать на это, что покой Безразличия

нерушим. По-прежнему мы суетимся из-за пустяков. Нельзя жениться на теще, даже если не знаешь, что она твоя теща, или, как Хам, смотреть на отца, когда у него одежда в беспорядке. О, если вы это сделаете, последствия будут просто ужасны. Если вы встретите черную кошку или трех сорок, перекреститесь или ступайте домой и не показывайтесь. Но ученые психиатры решили возвысить своих излюбленных греческих классиков, объявив их творчество чем-то вроде истории человеческих представлений, и изобрели (главным образом Юнг) знаменитый эдипов комплекс, менее важный комплекс Электры и всю остальную Вальпургиеву ночь фрейдизма, чтобы таким путем превратить наш духовный хаос в систему. К этим трагедиям Рока они припутали еврейскую идею о первородном грехе, также очевидным образом развившуюся из легенды о нарушенном табу и проклятии. (Необходима осторожность.) Как мы увидим дальше, Адлер со своим «комплексом неполноценности» подошел гораздо ближе к основному смыслу человеческих императивов.

Немножко меньше классики, чуть больше биологии — и психоаналитики поняли бы, что их пресловутое «чувство греховности» — не что иное, как естественное беспокойство животного, плохо приспособленного к своей среде. Оно имеет не больше отношения к какому-то всемирному сознанию вины, чем пальто, которое жмет под мышками, или неподходящие очки. Теперь, когда среда Homo Тьюлера начала изменяться таким темпом и в таких масштабах, которые пятьдесят лет тому назад показались бы просто невероятными, беспощадная необходимость понуждает его приспособить свою психику и образ жизни к огромным новым требованиям и стать действительно Homo sapiens'ом, пока его не постигла полная гибель. Сможет ли он? И захочет ли? Представляется гораздо более вероятным, что он подчинится грозной буре устрашающих табу, будет увечить и принижать себя, постарается умилостивить оскорбленных идолов свирепыми гонениями на инакомыслящих, восстановит инквизицию и охоту за ведьмами...

Тут вмешивается критик. Он говорит, что если так будет продолжаться, эта книга перестанет быть специ-

альной монографией об Эдварде-Альберте Тьюлере и превратится в трактат на общую тему о человеческой жизни, чего, по замечанию критика, я как раз хотел избежать. Я стал бы спорить, если бы не боялся, что читатель окажется на стороне критика. Во введении...

Но зачем пререкаться? Что сказано, то сказано. А теперь вернемся к нашему «образчику» Homo Тьюлер, разновидность Англиканус, и познакомимся с тем, как он пережил начальный период мировой катастрофы, что говорил и что делал в это время. В дальнейшем я приложу все усилия, чтобы еще реже выходить из рамок повествования о его личных чувствах и поступках.

Однако я должен здесь признать, что разделяю сожаления м-сс Ричард Тьюлер о невнятности речи м-сс Хэмблэй. Если б только нам удалось дослушать до конца все ее фразы, мы извлекли бы много пользы из огромного запаса ее тайной и порой, как сказали бы очень многие, непристойной житейской мудрости. Я мог бы цитировать ее, и уж это, бесспорно, было бы объективным повествованием.

Следует здесь отметить, что Эдвард-Альберт за всю свою жизнь никогда по-настоящему не любил и ни к одному человеческому существу не испытывал искреннего, самоотверженного чувства дружбы, как это требует кодекс литературных традиций. Для этого необходима большая обобщающая работа сознания, к которой он, по условиям своего учения и воспитания, был уже не способен. Мы рассказывали, как он выработал свою собственную систему подходящих для него религиозных понятий. Подобно большинству своих соотечественников, он стал умеренным христианином, иногда ходил в церковь — англиканскую церковь,— но редко, только в тех случаях, когда ему некуда было пойти или у него был какой-нибудь личный повод, а в общем старался думать о религии как можно реже. Она у него была как паспорт, спрятанный в надежном месте: пока в ней нет надобности, незачем о ней беспокоиться. А чуть только надобность возникнет, она извлекалась на свет: «Я христианин!» («Что? Съели, атеисты?»)

Его половое развитие было противоречивей и сложней, чем религиозное; оно переплелось с другими факто-

рами человеческой метаморфозы, совершенно независимыми от инстинкта продолжения рода, и к этому-то более важному комплексу нам предстоит теперь перейти.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЦЕЛОМУДРИЕ ИЗ СТРАХА

В числе фикций, составлявших ту идеальную жизнь, которую вели в своем воображении люди эпохи Эдуарда, было целомудрие. Предполагалось, что подавляющее большинство более или менее целомудренно, и особенно это относилось к людям, страдавшим автобиографической манией. Помню, как одна гордая и счастливая мать на другой день после нашего знакомства на пассажирском пароходе заявила о своем сыне, туповатом парне лет семнадцати-восемнадцати, который находился так близко, что вполне мог слышать наш разговор:

— Мой мальчик до сих пор чист, как первый снег. (Этому трудно было поверить: я видел его лицо.)

Но притворство было распространено так широко, что почти все верили, будто большинство окружающих, которые по видимости ведут целомудренный образ жизни, ведут его на самом деле. Вы видели, как старалась м-сс Тьюлер сохранить целомудрие нашего героя. Тут я опять вспоминаю бесценную м-с Хэмблэй и как она что-то сказала о позабытых снах и мечтаниях,— но, к несчастью, речь ее тут же сделалась неуловимой для слуха и мы так и не узнали эту ценную мысль до конца.

Те, кто еще стремится к целомудрию и проповедует его в нашем огрубевшем мире, вынуждены вести ожесточенную борьбу с воспоминаниями. Верно, что почти все животные очень быстро забывают свои половые эмоции. Это понятно, поскольку у животных ежегодно в определенное время наступает период течки, без чего они постоянно находились бы в ненужном возбуждении. Но человеку несвойственна подобная периодичность ощущений, и по природе своей он ничего не забывает целиком. Вспомните всех наших пасторов и учителей, вспомните, в частности, пример м-ра Майэма. Его требование целомудрия, полного подавления — у себя и у

других — всякой мысли о чем бы то ни было, имеющем отношение к половому акту, заключало в себе нечто бесспорно устрашающее.

Положение в странах английского языка за последнее время резко изменилось, и сейчас нам трудно поверить, что до мировой войны 1914—1918 годов «Таймс» сгорел бы со стыда, если бы допустил на свои несокрушимо-целомудренные страницы такие слова, как «венерическая болезнь» или «сифилис». А когда из Новой Зеландии явилась незабвенная героиня Этти Роут для раздачи профилактических пакетов солдатам АНЗАК'а[1] с наставлением, если можно, воздерживаться, а если нельзя, то пустить эти пакеты в ход,— стыдливые военные руководители, несомненно, люди святого образа жизни, полагавшие, что венерические болезни, все более редкие в нашем просветленном мире, представляют собой орудие божьей кары за нарушение целомудренного идеала, сделали все от них зависящее, чтобы помочь богу и устранить эту особу. И м-р Майэм, забывая со всей силой забвения, на какую он только был способен, или помня лишь смутно, как человек, преследуемый кошмаром, вел столь же мужественно ту же безнадежную борьбу с действительностью.

И вот, согласно желаниям покойной м-сс Тьюлер, после бесшумного бдения в дортуаре Джозефа Харта с последующим тщательным осмотром простынь Эдварда-Альберта, он вызвал молодого человека и вручил ему внушительного вида том. Это произошло всего за несколько дней до того, как Эдвард-Альберт превратился в аспида. М-р Майэм дал ему книгу и поставил ее стоимость ему в счет. Бесполезно гадать о том, сделал ли бы он это после рокового события.

— Я хочу, чтобы ты прочел ее очень внимательно, Тьюлер,— сказал он.— Там есть вещи... Тебе уже давно пора познакомиться с ними.

Он помолчал.

— Эта книга — только для тебя. Не оставляй ее на видном месте, чтобы она не попалась твоим младшим товарищам.

---

[1] АНЗАК — Австралийский и Ново-Зеландский армейский корпус, во время первой мировой войны принимавший участие в Дарданелльской операции Антанты.

Автором книги был д-р Скэйбер, и она носила заглавие: «Что должен знать молодой человек». В кратком предисловии сообщалось, что в ней нашли руководство и нравственную поддержку многие поколения мятущихся душ, так что написана она была самое позднее в конце Викторианского периода. Она откровенно и толково знакомила мятущиеся души с фактами, спасая их от страшных опасностей. Не было никаких указаний относительно того, доктором каких именно наук являлся д-р Скэйбер, и вообще никаких данных биографического характера. Эдвард-Альберт стал читать. Сперва он читал с любопытством, но скоро последнее сменилось страхом.

— Черт возьми! — шептал он себе под нос.— Действительно, необходима осторожность. Если б я только знал!

Книжка рассказывала об огромных опасностях и бедах, которые влечет за собой порок как в общественной, так и в личной сфере. Пороки личные бичевались даже с большей энергией, чем общественные. Тех, кто хоть на шаг отступил от абсолютного целомудрия, ожидают самые страшные болезни и немощи, гниение заживо отчаянные боли, ослабление организма, истощение, особое выражение лица, половое бессилие, слабоумие, идиотизм, сумасшествие. Холодный пот выступил на лбу у читающего.

Он совсем забыл, когда это у него началось. Это подкралось к нему между сном и бдением.

Дело в том, что в организме Эдварда-Альберта с возрастающей настойчивостью начала свою работу природа: по-своему, неловко она стала толкать его к действиям, способствующим воспроизведению рода. Как мы уже отмечали, жизненный цикл у Homo гораздо более примитивен, чем у остальных сухопутных животных; среди прочих следов родства с отдаленными предками, до сих пор заметных в его жизни, у него ежемесячно, а не ежегодно возникает потребность нереста — особенность, характерная для животных, населяющих теплые тропические моря. В таком учащенном ритме эти животные испытывают стремление облегчиться от накопившихся молок и икры. Природа — неряха: продвигаясь вперед, она никогда не очищает пройденного пространства до конца, и потому в нашем организме сохранилось множество

рудиментарных образований и нашему существу дают себя знать отголоски ритмов прошлого.

В Hominid'ах нашел новое воплощение отголосок лунного цикла. Солнечный половой цикл влечет нас к дню св. Валентина и веселому месяцу маю, но лунный тоже возродился и продолжает действовать на нас. Он периодически вызывает в нас беспокойство, заставляет нас терять самообладание и нервничать, расшатывает контроль сознания по ночам и порождает сны. Облегчение так или иначе наступает; оно должно наступить. Но человек — уже не тропическая амфибия, и эта потребность в «облегчении» редко соответствует этапам более сложного общественного существования.

— Это можно было бы назвать отдушиной,— рассуждала м-сс Хэмблэй.— Хотя в общем это, конечно, не то. Но зачем поднимать вокруг этого такой шум...

«Может быть, помолиться?» — подумал доведенный до отчаяния Эдвард-Альберт.

Но он уже начал терять веру в действительность молитвы. Ответы Его часто бывают так прихотливы, что необходима осторожность, когда обращаешься к нему. В возрасте от тринадцати до двадцати лет душу Эдварда-Альберта не переставали терзать грозные бури тревог. На нее легла тень д-ра Скэйбера. Ему казалось, что он совершил такой грех против Духа Святого, которому нет прощения. Д-р Скэйбер ставил вопрос именно так.

Поскольку большинство окружающих практиковало те же умолчания и утайки, как он сам, он считал, что вина его тяжкая, исключительная. Его грезы, его почти невольные нарушения долга казались ему его личной, особенной, преступной тайной. Только когда он уже достиг восемнадцати лет, участившееся воздействие случайных шуток и грубых замечаний со стороны породило в нем смутную догадку, что его собственная нечистота — явление вовсе не такое редкое и не такое ужасное, как он предполагал. Но до самого конца своего жизненного пути он стыдился ее, хотя этот стыд мало-помалу терял свою остроту.

Еще больше времени понадобилось ему, чтобы понять, что и самка вида Homo Тьюлер не всегда целомудренна вполне. Он доставил бы истинное удовольствие моей пароходной знакомой своим фантастическим неве-

жеством относительно женщин. Он был так же чист, как ее собственный сынок. Он и не представлял себе, что у девушек и женщин тоже есть желания и фантазии,— вплоть до катастрофы, которой закончился его первый брак, о чем будет рассказано в свое время. В ту смутную богобоязненную пору, лет тридцать—тридцать пять тому назад, бедные девочки оставались в еще более полном неведении о самих себе — до тех пор, пока с ними не приключались страшные вещи,— чем их братья. Они тоже любопытствовали, изумлялись и испытывали вполне понятные страхи.

И однако Эдвард-Альберт, под давлением неумолимой природы, скорее подстрекаемый, чем сдерживаемый сознанием преступности, внушенным ему добрым д-ром Скэйбером, все время силился, ловчился, изощрялся, чтобы узнать про Это. И притом так, чтобы никто не узнал, что он хочет узнать... Женщины сами по себе очень мало интересовали его, — он видел в них только средство для Этого. Его влекло к себе именно Это.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОДСМАТРИВАНИЕ И ПОДГЛЯДЫВАНИЕ

Любознательный юноша прилежно и усидчиво трудился в конторе «Норс-Лондон Лизхолдс». В свободные минуты, еще не ведая осложнений, связанных с расширением общественных связей, он более или менее сознательно подчинялся требованиям природы, не позволявшей ему успокоиться и заставлявшей интересоваться Этим. Он бродил по Лондону, и почти всегда в тех районах, где в окнах выставлены картинки, где стоят голые статуи, где с вызывающим видом расхаживают странные женщины и порой даже называют вас «душкой». Но д-р Скэйбер достаточно просветил его на этот счет. Можно схватить страшную болезнь от поцелуя, от трещинки на губе.

До получения наследства он не имел возможности часто ходить в кино, да и картины были тогда больше героические или приключенческие; в них было много, даже слишком много поцелуев, и можно было вместе с другими остроумными ребятами громко вторить этим поце-

луям, чмокая собственную руку. Но нельзя было увидеть ничего такого... действительно поучительного.

Мало-помалу он обнаружил существование Национальной галереи и Саут-Кенсингтонского музея. Они были открыты по воскресеньям. Там можно было бродить, тихонько посвистывая. Можно было посматривать искоса. Потом осмелеть и смотреть прямо. Множество народу смотрит открыто, не краснея. Удивительно, до чего статуя или картина может быть обнаженной и все же бесстрастно несообщительной...

Еще можно было подглядывать в окна. Против окна его спальни тянулась мансарда целого ряда домов на Юстон-роуд. Там каждый вечер ложились спать — в частности одна молодая женщина, совершенно равнодушная к тому, видят ее или нет, раздевалась догола перед маленьким зеркалом. Погасив у себя свет и стоя в темноте, он смотрел, как постепенно освобождается от одежд ее освещенное светло-розовое тело. Он видел ее руки и торс, когда она расчесывала волосы. Взобравшись на стул, он видел уже большую часть всей ее фигуры. Но никогда не мог увидеть всего. Она зевала. Еще мгновение — она надевала ночную рубашку — и свет гас.

Тайна оставалась неразгаданной.

В те годы роздыха женщины как будто старались показать себя побольше, никогда не показывая достаточно... Но иногда казалось, будто видишь их сквозь платье. Как-то вечером, сидя в гостиной, он изучал объявления бельевого магазина в каком-то иллюстрированном журнале и вдруг поднял глаза. За письменным столом, спиной к нему, сидела мисс Пулэй. Ее светлые волосы, подстриженные, как у мальчика, открывали полную круглую шею: в разрезе платья была видна светлая кожа до углубления между лопатками. И потом — линии ее тела, такие отчетливые, и голые локти, и одна нога, отставленная назад...

Он едва мог поверить своим глазам: вот край чулка и над ним — целых три дюйма голого гладкого и блестящего тела мисс Пулэй — до самого подола узкой юбки.

Реакция была необычайная. Ему захотелось убить мисс Пулэй. Захотелось кинуться на нее, повалить ее

на пол и убить. У него было мучительное ощущение, будто она в чем-то обманывает его. Случайные мелкие обстоятельства мешали ему встать, пока она не ушла. Тут он отшвырнул журнал и поспешил затвориться у себя в комнате.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ

Содержание переживаемой Homo Тьюлером метаморфозы отнюдь не исчерпывалось неистовыми требованиями нашей безумной матери-природы, вынуждающими нас искать «облегчения». В его перестраивающийся внутренний мир вторгалось немало и других явлений,— среди них были гораздо более существенные, чем эта жажда бессмысленного и бесплодного оргазма.

В стадии головастика Homo Тьюлер — жалкое, пугливое существо, ежеминутно готовое обратиться в бегство и скрыться; но после метаморфозы и превращения во взрослого представителя приматов в его окрепшей психике появляется целый ряд новых черт позднейшего происхождения. Человекообразные обезьяны, включая Hominid'ов, рано отделились от обыкновенных обезьян и лемуров и стали развиваться в особом направлении, превращаясь в эгоцентрические воинственные существа с характерной наклонностью присваивать себе все, что видит глаз. В короткий период одного миллиона лет или около этого Homo всех видов был против воли, насильственно поставлен в чуждые ему условия общественной жизни. Но природная основа его осталась прежней. Как и раньше, он хочет чувствовать себя победителем, хозяином, господином, владельцем всего окружающего и не *упускает ни одной возможности испытать* это чувство.

Это в нем гораздо более неистребимо, чем голод или похоть — влечения, которые можно на время насытить или подавить. Но он жаждет самовозвеличения и самоутверждения с момента, когда у него появляется первый пух на щеках, и до последнего издыхания. В этом выражается его инстинктивный протест против тех социальных рамок, в которые он неожиданно оказался поставленным и которые продолжают служить препоной

его анархическим наклонностям. Он никогда не в силах забыться, никогда не может безмятежно пастись, как овца, или щипать травку, как кролик.

Это противоречие неустранимо, и даже если порода Homo Тьюлера внезапно поднимется до того уровня, который действительно даст ей право называться именем Homo sapiens, столь преждевременно и неосновательно ею присвоенным, этот конфликт—именно конфликт нравственный, необходимость воспитания и подгонки к требованиям жизни и общества, источник всех религий — не потеряет своего значения. Его можно ввести в рамки, смягчить, затушевать, облагородить, но не уничтожить. Не будем увлекаться пророчествами и предсказаниями. В этой книге нас интересует не та возможная, но маловероятная разновидность под названием Homo sapiens, которая, может быть, действительно восстанет против древней матери-природы и попытается вырвать свою судьбу из ее рук. Речь идет о животном, стоящем гораздо ниже интеллектуального уровня, потребного для такого бунта Сатаны. Речь идет о нашем образчике Homo Тьюлера и его личном стремлении заявить о себе как можно громче в обществе, среди которого он оказался.

Уже упоминавшийся нами милый философ Адлер, интересуясь больше вопросами воспитания и общего поведения, чем половыми извращениями, сильно ограничил сферу применения фрейдистско-юнговской психологии, сведя ее к так называемому «комплексу неполноценности». Но он, видимо, мыслил себе этот комплекс как нечто в значительной мере излечимое, тогда как на самом деле у всех живущих обществом Hominid'ов, включая все живые особи Homo Тьюлера, крупные и мелкие, в неволе и на свободе, комплекс этот является неотъемлемой частью их организации.

«Я существую,— говорит этот врожденный комплекс,— но достаточно ли полноценно? Не имеют ли все окружающие меня существа преимущество передо мной, не затирают ли они меня? Этого я не должен и не могу допустить. Замечают ли они, что я существую?»

Этот мотив покрывает все другие мотивы. Он может слиться с половым комплексом и подчинить его себе. У других общественных животных — собак — комплекс неполноценности тоже обнаруживается, но в размерах,

не идущих ни в какое сравнение с тем, что имеет место у Homo. Ненависть Эдварда-Альберта к своим наставникам и преподавателям была одним из проявлений этого комплекса. Он терпеть не мог ходить в концерт, потому что там нужно сидеть и молчать, пока исполнители, по его выражению, «выставляют себя напоказ». Он терпеть не мог слушателей концертов, потому что они притворяются, будто способны утонченно наслаждаться музыкой, и таким образом выходят из положения. «Дрянные мошенники»,— называл он их, и боль его утолялась. Редкий дирижер симфонического оркестра догадывается, сколько мелких ненавистей к нему рассеяно в толпе, над которой он царит. Но особенно ненавистны были Эдварду-Альберту певцы. Если бы он посмел, он стал бы отвратительно пародировать звуки, которые они издают. Милая английская Би-би-си в первую, добродетельную пору своего существования попробовала давать английским Тьюлерам в разумных дозах классическую музыку. Миллионы Тьюлеров бурно протестовали. Что нужно было Эдварду-Альберту — это рабская музыка, которая прислуживала бы ему, которой он мог бы распоряжаться, барабаня пальцами, притопывая ногами, подпевая и пританцовывая, глуша ее, как вздумается. Это еще куда ни шло.

И в пансионе м-ес Дубер Эдвард-Альберт и родственные ему Тьюлеры, все до единого, каждый на свой лад, все время вели хоть и негласную, но неустанную борьбу за самоутверждение. Различие заключалось в тонкости приемов — и только. И мир в заведении с трудом поддерживался путем непрерывной смены напористых претензий и неискренних взаимных уступок.

У Теккерея была странная склонность говорить правду в глаза, а писал он для публики, которую приходилось и легко было подкупать бесстыдной лестью, приглашая ее участвовать в его насмешках над слабостями третьих лиц. Его «Книга снобов» в широком понимании охватывает и его доверчивых читателей, и его самого, и все человечество, изображая всеобщее стремление возвеличиться над окружающими.

(Но тут слышится возражение одной читательницы, очень симпатичной и вполне довольной своей судьбой.

— Это стремление не совсем всеобщее,— заявляет

она, блеснув глазами.— Есть воспитанные люди, которые ~~могут быть совершенно~~ свободны от всяких претензий. Я понимаю борьбу. В наше время она всюду. Когда происходит переоценка ценностей и никто толком не знает, где его место, конечно, можно наблюдать много саморекламы и всяких претензий. Иногда даже очень нелепых. Так что невозможно не смеяться. И я смеюсь про себя. Но что касается меня, мне все это совершенно чуждо. Уверяю вас. Я со всеми такая, какая есть.

На это возможен только один ответ:

— Вот именно, сударыня.)

Развитие в душе Эдварда-Альберта потребности самоутверждения в период от десяти до двадцати лет отнюдь не исчерпывалось такими чисто отрицательными реакциями, как ненависть к преподавателям, классической музыке и певцам. Он стал придавать все большее значение своему внешнему виду. Он тщательно обдумывал свой туалет — костюм лиловатого оттенка, рубашки, носовые платки и галстуки в тон.

«Хорошо бы еще золотые запонки,— думал он,— настоящего золота, и просто положить руку на стол... Вот бы тогда все увидели...»

Старый м-р Блэйк, ученый Франкинсенз, индийский юноша по-прежнему не обращали на него никакого внимания, но женщины — он чувствовал — замечали все эти подробности. Он открыл новый смысл в том, что на свете существуют женщины: они интересуются, как мужчина одет, и реагируют на это. Новый костюм, новый галстук — все это они замечают сразу, как только ты входишь в комнату. Они переглядываются. Он это видел. Что касается Тэмпа, тот относился к Эдварду-Альберту с симпатией, но не понимал его тайных стремлений.

Герой наш все глубже погружался в свой внутренний мир, значение собственной личности для него все возрастало. Теперь, гуляя, он находил новый интерес в рассматривании своего отражения в витринах магазинов. Сам он почти вовсе не смотрел на прохожих, но следил, кто из них смотрит на него. Иногда все обходилось благополучно, но случалось, что его охватывало сомнение, шаги его становились неуверенными и он не знал, куда деть руки. В такие минуты он испытывал желание вернуться домой и переодеться.

Несмотря на эти случайные срывы, он не переставал замышлять новые акты агрессии. Его воображению рисовалось, как он появляется в столовой ровно в половине восьмого, обедает с необычайной поспешностью и стремительно отбывает в безупречно сшитом фраке — по какому-то важному и таинственному назначению. Вот что заставит их призадуматься. Он чуть не заказал себе этот фрак — единственно ради того, чтобы придать своей мечте некоторый признак реальности.

Но, по правде говоря, жильцы м-сс Дубер были слишком заняты собственными агрессивными замыслами, чтобы замечать духовные порывы и метания нашего героя. Они видели в нем — в тех редких случаях, когда вообще на него смотрели,— просто нескладного подростка, который при неожиданном обращении к нему принимает растерянный, виноватый вид и отличается резким вульгарно-лондонским произношением да еще странным вкусом в одежде.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ТРАГЕДИЯ СЕМЕЙСТВА ТЭМП

Пока юноша мужал и созревал таким образом под укрепляющим воздействием Природы, в Скартмор-хаузе одно за другим исчезали знакомые лица и на их место появлялись новые, а сам он мало-помалу становился признанным членом счастливого семейства м-сс Дубер. Он с возрастающим интересом следил за впечатлением, которое производил на вновь прибывающих, и сам делал первый шаг навстречу им, вместо того чтобы ждать, когда они к нему обратятся.

Уехали беженцы. Они нашли себе какую-то работу в свободном государстве Конго. М-р Франкинсенз удостоился каких-то необычайных отличий в Лондонском университете и отбыл, покрытый славой, в Индию, чтобы стать там директором одного колледжа, в котором молодые индийские джентльмены подготовляются к экстернату в Лондонском университете. Пансион уже не оглашался мятежным смехом длинного тощего индийца, и старый м-р Блэйк, скопив достаточную сумму, чтобы обеспечить себя пожизненно рентой, переехал в малень-

кий пансион в Сауси, где погрузился в сочинение густоклеветнической книжки, которая должна была появиться под заглавием «Так называемые профессора и их проделки». Она имела назначением показать, какую важную роль в развитии физики за последние сорок лет играл автор, не получивший в награду за это никаких почестей. Отъезд его был ускорен трагической гибелью м-ра Харольда Тэмпа.

— Без него тут уж будет совсем не то,— сказал м-р Блэйк.— Мы, случалось, вздорили с ним по-приятельски, но без обиды. Такой был шутник.

Но надо рассказать об этой трагедии. Она произвела страшное впечатление на весь пансион.

М-р Харольд Тэмп, подвыпив на пирушке в ресторане, видимо, решил съехать по перилам лестницы, вместо того чтобы обычным, банальным способом сойти по ней. Перила, изящные и ветхие, на втором повороте обломились и скинули его вверх тормашками в открытую шахту лифта, и он, сжавшись в комок, пролетел ее всю до дна и свернул себе шею. Говорят, последние его слова были:

— Дорогу, ребята!

Через минуту все было кончено.

— Мы думали, он идет по лестнице сзади нас,— рассказывали упомянутые «ребята», испуганные и отрезвевшие.— Мы слышали, как он пропел какой-то мотив, и потом ему, видно, пришла в голову эта затея. Он прямо пулей пролетел мимо нас.

— Вполне в его духе,— заметила м-сс Тэмп, выслушав без единой слезы рассказ о подробностях.

Впечатление было ужасающее. Не только м-р Блэйк, все население Скартмор-хауза было глубоко потрясено и взволновано этим печальным событием. Исчезновение этого обычно столь шумного субъекта вызвало на время во всем доме неловкое ощущение звуковой пустоты. Очень многие жильцы как будто впервые обнаружили, что они тоже производят какие-то звуки, и словно испугались этого открытия. Они стали говорить шепотом или вполголоса, как будто гроб с телом стоял тут же в доме, а не в морге.

Уважение к покойнику не допускало никаких неуместных забав. Прекратились всякие игры, кроме шахмат,

да и в те играли молча. Шах и мат объявлялся движением губ. Свет и краски тоже стали приглушенными. Вдовушка в митенках, так сказать, заместившая приятельницу леди Твидмен, отложила яркую спортивную фуфайку, которую вязала, и принялась за черный шарф, а глубокомысленный тридцатипятилетний мужчина, поселившийся в комнате м-ра Франкинсенза, открыто читал Библию. Что касается Гоупи, она с особенным тщанием убирала в зале и во время завтрака держала шторы закрытыми, несмотря на излишний расход газа. Пансион м-сс Дубер не мог бы оказать больших почестей покойному, даже если б это был король.

Разговор за обедом, если не считать обязательных восхищений погодой и некоторого оживления и радости по поводу тюльпанов в Риджент-парке и Королевской Академии, которые хороши, как никогда, несмотря на войну, вертелся почти исключительно вокруг добродетелей и личного обаяния покойного.

Добро притворное тебя переживет,
А истина уйдет с тобой в могилу.

Иной из обедающих мрачно жевал, что-то обдумывая, а потом произносил:

— Он (его теперь никогда не называли по имени), он всегда бывал особенно в ударе на рождество. Рождество словно вдохновляло его. Как Диккенса. Помните, какие веселые он устроил «изюминки в спирту»? Как он хорошо обставил игру — свет потушил, зажег спирт, и сколько пролилось на ковер. Всюду голубое пламя. А он резвился, как большой ребенок.

— Огонь мы тут же затоптали,— вставляла м-сс Дубер.— И старому ковру ничего не сделалось. А сколько было смеху!

— Будь он немного серьезней, он стал бы большим актером, большим комедийным актером.

— Он напоминал мне Бирбома Три. Такая же яркая комическая индивидуальность. Если б ему так же повезло, у него мог бы быть собственный крупный театр.

— Он был чувствителен, как ребенок. Слишком легко приходил в отчаяние. Это было его слабое место. Он не любил вылезать вперед. А в нашем мире без этого нельзя жить. Но он не хотел ни с кем тягаться. И ничего не

жалел ради хорошей шутки. Можно сказать, не жалел себя.

— Да, в нем погиб большой человек. Но он как-то никогда не сетовал на свою судьбу. Он был такой жизнерадостный — до самого конца.

Обдумав свою партию, Эдвард-Альберт присоединялся к общему хору:

— Мне его страшно жаль. Он был такой ласковый, приветливый.

— Как приятно, наверно, было знакомство с ним, когда он был еще молод и полон надежд и обещаний.

Это замечание словно метило в м-сс Тэмп. Она, как обычно, давала намеренно бесцветные ответы:

— Да. Он много обещал тогда.

— Он был от природы проказник. Но никому не причинял вреда, кроме как самому себе.

— Вот и поплатился за это,— заметила м-сс Тэмп и больше не произнесла ни слова.

Хоровое пение возобновилось. Эдвард-Альберт повторял свою партию.

Единственным, кто как будто не участвовал в этой общей церемонии возложения венков, была м-сс Тэмп. Сперва это объясняли глубокой скорбью: она не в состоянии говорить о нем. Потом стали шептаться, что она хочет его кремировать, а не похоронить прилично в просторной могиле и что она уедет из Лондона.

Для Эдварда-Альберта мысль о кремации была чем-то новым. Она вызывала в его воображении страшные образы.

— А нехорошо это — быть кремированным,— заметил он.— Что ж от тебя останется ко дню воскресения из мертвых? Кувшин с пеплом — и все.

— Это нарушит всю вашу литературную работу,— сказал старый м-р Блэйк вдове, увидев однажды, что она сидит задумавшись, в одиночестве.

Она пристально посмотрела на него. Потом ответила совершенно спокойно, но с таким видом, будто освобождалась от чего-то давно ее тяготившего:

— Теперь я могу сказать вам, что вовсе не занимаюсь литературной работой. Это он выдумал. Он, видите ли, был честолюбив. И стыдился, что у него жена — простая портниха и трудится до изнеможения в мастер-

ской, полной всякими вертихвостками. Вот кто я. Он был щепетилен — в этом пункте. Теперь это уже прошлое, и ему не может быть обидно.

— Я думал...— начал было м-р Блэйк.

— Ну, вы, наверно, догадывались. А теперь я могу поехать в Торкэй и открыть какое-нибудь небольшое скромное предприятие. Меня всегда тянуло в Торкэй.

— Почему же вы не сделали этого раньше?

— Потому что это недостаточно выгодно, и потом он непременно стал бы лезть на женский пляж в пьяном виде, и были бы неприятности, и, кроме того, знаете. ему бы захотелось иметь сезонный билет, чтобы ездить в Лондон.

Она умолкла на мгновение, потом пожала плечами:

— Незачем говорить теперь об этом.

М-р Блэйк долго думал о том, что она ему сообщила, и через некоторое время сказал Эдварду-Альберту, поскольку в тот момент не было никого другого, с кем ему можно было бы поделиться своими соображениями:

— Эта миссис Тэмп — довольно черствая женщина. Довольно черствая. Видимо, он стал неудачником из-за того, что она расхолаживала его. Если б она больше верила в него и показывала ему, что верит...

— Мне кажется, она не должна кремировать его,— ответил Эдвард-Альберт.— Я обязательно скажу это...

Чем больше м-р Блэйк раздумывал о своем отношении к Харольду Тэмпу, тем больше оно из довольно откровенного недружелюбия превращалось в глубокое понимание и симпатию. Как добры мы бываем к мертвым! Как легко и незаметно становятся они нашими союзниками! Мы можем приписывать им лестные для нас отзывы, которых они никогда не произносили. Старый м-р Блэйк хорошо знал, что значит пережить крушение своих жизненных планов и оказаться устраненным от дел людьми недостойными. Вот и Харольд Тэмп при благоприятных обстоятельствах и соответствующей поддержке мог бы стать действительно великим человеком. Но эта черствая женщина сыграла в его жизни роковую роль.

К этому заключению, которое он впервые сообщил Эдварду-Альберту, а потом высказал и другим подходящим слушателям, его привело, разумеется, и свойственное старым холостякам женоненавистничество.

До самого своего отъезда м-сс Тэмп была окружена глухим недоброжелательством. Было ясно, что она оказалась не на высоте в смысле своих супружеских обязанностей и, быть может, даже сознательно тянула вниз замечательного человека, которого никогда как следует не понимала.

Известная, выражаясь мягко, бесчувственность, которая была ей свойственна, позволила ей оставить без внимания две-три попытки довести эту мысль до ее сведения.

После кремации Гоупи позволила всем в доме вздохнуть свободнее. Харольд Тэмп почти сразу стал исчерпанной темой. М-р Блэйк еще проявлял легкий оттенок неодобрения по адресу м-сс Тэмп до ее отъезда, за которым вскоре последовал и его собственный. После этого никто уже больше не говорил о Тэмпах, и постепенно пансион м-сс Дубер наполнился новым поколением жильцов, которые ничего не знали о Харольде. Послышались новые шутки, которые утвердились в доме и вошли в обиход. Новые голоса замычали в ванной.

Так вслед за м-ром Франкинсензом и прочими из поля зрения Эдварда-Альберта исчезли также супруги Тэмп и м-р Блэйк и на место их явились другие, с которыми он уже мог держаться солидней.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИСТЕР ЧЭМБЛ ПЬЮТЕР

М-р Чэмбл Пьютер, тот тридцатипятилетний господин, который занял комнату м-ра Франкинсенза, был усердным книгочеем. Он любил старые, солидные, добротные книги и говорил, что, услышав о новой книге, он всякий раз принимается за чтение какой-нибудь старой. Чтение и беседа о прочитанном были для него особой формой самоутверждения. Внешний мир мог жить своей жизнью — жизнь эта неизменно оказывалась ничтожной. И если Эдвард-Альберт мечтал потрясти весь пансион отбытием на таинственный званый вечер в «безупречно сшитом фраке», то м-р Чэмбл Пьютер достигал этого желан-

ного эффекта демонстрированием «основательно зачитанного» Горация.

Расцвет Блумсбери [1] еще не наступал, и м-ру Пьютеру еще только предстояло столкнуться с нахальным фактом существования движения, традиционного и модернистического в одно и то же время. Поэтому все его слова и поступки, связанные с м-ром Т. С. Элиотом и м-ром Олдосом Хаксли, к сожалению, выпадают из нашего повествования.

На Эдварда-Альберта эта страсть к книгам произвела именно то впечатление, на которое она была рассчитана, и наградой ему была готовность м-ра Чэмбла Пьютера беседовать с ним. М-ру Чэмблу Пьютеру было необходимо с кем-нибудь беседовать: он не мог говорить пространно и запальчиво, потому что это было бы вульгарно, а в лице Эдварда-Альберта он имел чрезвычайно покорного собеседника. Эдвард-Альберт не всегда улавливал смысл того, что говорит м-р Чэмбл Пьютер, но, поскольку беседа велась вполголоса, достаточно было сидеть и кивать, делая вид, будто понимаешь.

— Боюсь,— говорил м-р Чэмбл Пьютер, произнеся какое-нибудь особенно невразумительное изречение,— что я грешу избытком юмора. Но как бы мог я без него обойтись в этом нелепом мире?

Иногда Эдварду-Альберту казалось, что этот юмор сродни получившей всемирное распространение удобной скептической формуле «так ли это?», но, не будучи твердо в этом уверен, он все же не решался употреблять названную формулу в разговоре с м-ром Чэмблом Пьютером.

Излюбленной мишенью конфиденциальных реплик м-ра Чэмбла Пьютера был молодой светловолосый студент-американец, полный энтузиазма ко всему, что здоровым консервативным чутьем Эдварда-Альберта и м-ра Чэмбла Пьютера решительно осуждалось как порочные и зыбкие изобретения и открытия современной науки. Его формой самоутверждения была осведомленность, его лейтмотивом —«Вы не можете себе представить». Одно время в пансионе м-сс Дубер нельзя было раскрыть рта,

[1] Блумсбери — один из центральных районов Лондона, именем которого названа группа литераторов и художников, прокламировавших утверждение классического идеала в искусстве.

не услыхав в ответ: «Теперь все это изменилось». Заходил разговор о музыке — он заявлял, что только теперь удалось добиться чистого звучания, что скоро новые замечательные инструменты придут на смену обыкновенному оркестру. Не сегодня-завтра прежняя музыка станет казаться тусклой, жалкой и невыразительной. Мы будем слушать пластинки и удивляться. Придется полностью переоркестровать все, что в прежней музыке сколько-нибудь достойно внимания... Шла речь о кино, которое порядочные люди стали признавать хотя и довольно вульгарным, но все же развлечением благодаря Чарли Чаплину и Мэри Пикфорд, — наш юноша тотчас пускался в рассуждения о звуковых, цветных и объемных фильмах, которые вот-вот завоюют наши экраны.

— Чепуха,— шептал м-р Чэмбл Пьютер.— Ни в чем нет меры. Просто смешно.

Толковали об авиации — он рассказывал о самолетах, которые будут летать с грузом гигантских бомб через Атлантический океан на Берлин, подниматься к границе атмосферы, облетать земной шар меньше чем в сутки. А? Что вы на это скажете? Чэмбл Пьютер поймал взгляд Эдварда-Альберта.

— А на луну? — прошептал он.

Особенно нелепое впечатление производили разговоры молодого человека о таких новомодных бреднях, как психоанализ, теория относительности и новые промежуточные звенья между человеком и обезьяной.

— Какой-то горшок со старыми, сгнившими костями,— заметил Чэмбл Пьютер,— и уже господу богу — отставка?

Американский юноша, кажется, чувствовал глухую враждебность м-ра Чэмбла Пьютера и держался начеку. Наконец он кинулся в драку — и оказался побитым.

Следуя своей раздражающей привычке, он отравлял аппетит обедающим назойливыми рассказами о якобы найденном в Родезии новом «предке человека».

— Вы немножко отстали с этими разговорами о человеческих предках,— заметил м-р Чэмбл Пьютер своим ласковым, издевательским тоном.— В наше время это называлось дарвинизмом, если не ошибаюсь.

— Что ж из этого? — сказал молодой американец.

— Но ведь вы всегда так ультрасовременны. Простите, что я улыбаюсь — у меня некоторая склонность к юмору,— но ведь вы, конечно, знаете, что дарвинизм уже много лет тому назад был разгромлен.

— Первый раз слышу об этом,— ответил слегка ошеломленный американец.

— Никто из нас не всеведущ, даже молодежь,— продолжал м-р Чэмбл Пьютер.

— Но что вы понимаете под словом «разгромлен»?

— Да то, что все под этим понимают. Превратился в развалины. Так что ничего не осталось.

— И кто же его разгромил?

— Вам, конечно, следовало бы это знать. Но у каждого свои пробелы... Какой-то профессор из Монпелье— я забыл фамилию... что-то там насчет птиц и пресмыкающихся — установил полную несостоятельность. Вам стоит познакомиться. Меня, откровенно говоря, эти споры никогда особенно не интересовали. Но это факт.

— Что вы рассказываете! — воскликнул молодой человек.— Ни один серьезный зоолог не пытался оспорить эволюцию органического мира и выживание либо отмирание видов в результате естественного отбора — с тех самых пор, как Дарвин выдвинул эту идею. Конечно, отдельные частности в отношении вариаций, например...

М-р Чэмбл Пьютер глядел на него с откровенной насмешкой.

— С тех пор как я в первый раз услыхал про эволюцию, мне было всегда совершенно ясно, что это чистейший вздор. Так что к чему тут препираться о частностях?

— Вы знакомились с доказательствами?

— Нет,— ответил м-р Чэмбл Пьютер.

У молодого человека даже дух захватило.

— Может быть, я человек отсталый и все такое,— продолжал м-р Чэмбл Пьютер, помолчав,— но я предпочитаю библейскую легенду о сотворении мира этой странной выдумке мистера Дарвина, будто большая обезьяна слезла с дерева, вся облысела и стала бродить по земле, пока не встретила другую обезьяну, самку, которой, по странной случайности, пришло такое же желание — очень, очень любопытное совпадение, если вдуматься как следует,— и что они вместе дали начало человечеству. По-моему, это невероятно до абсурда.

— Разумеется. Потому что это карикатура. Но вы знакомились с теорией? Знаете, как вопрос стоит на самом деле?

— А зачем это мне? Как и все разумные люди, я верю, что мир был сотворен, что мужчина и женщина вышли прямо из рук божиих, были созданы богом по образу его и подобию. Как же иначе мир мог возникнуть? С чего он начался? У нас имеются многовековые предания — великое произведение под названием Библия. Отвечайте мне прямо: вы отрицаете сотворение мира? Иными словами, отрицаете Творца?

Молодой человек ясно почувствовал вокруг себя холод отчуждения.

— Я отрицаю сотворение мира,— ответил он.

— Значит, вы отрицаете Творца?

— Ну что ж, если хотите — да.

Среди присутствующих пробежал ропот негодования.

— Вы не должны говорить так,— воскликнула вдовушка в митенках.— Не должны!

— Да, вы не должны так говорить,—решительно поддержал ее Эдвард-Альберт.

М-сс Дубер пробормотала что-то неопределенное, как того требовало положение, и даже ее загнанная, не имеющая права голоса племянница присоединила к общему хору свой слабый протест.

— Простите, что я улыбаюсь,—сказал м-р Чэмбл Пьютер.— Все моя несносная склонность к юмору. Я думаю, в ней сказывается мое чувство пропорции. Но раз уж я заговорил, позвольте мне сказать вам прямо, что вы, ученые, были бы просто невыносимы, если бы ваши домыслы имели хоть малую долю того значения, которое вы им придаете. Ну подумайте только. Вспомните о церквах, о соборах, о бесчисленных добрых делах, о мучениках, о святых, о великом наследии искусства и красоты, о музыке, которая черпает свое вдохновение из божественного источника, потому что всякая музыка в истоках своих религиозна, о семейных устоях, целомудрии, любви, духе рыцарства, королевской власти, верности, крестовых походах, бенедиктине, шартрезе, французских винах, больницах, благотворительных учреждениях, обо всем многообразном содержании христианской культуры. Отнимите это у нас — и что же нам останется? Дрожать

от холода в пустоте? Да, сэр, в пустоте. В бездушном мире обезьян. Из-за того только, что несколько выживших из ума старых джентльменов нашли какие-то кости и принялись над ними фантазировать. И они между собой даже не могут сговориться! Возьмите этот странный журнал «Природа». Что вы там увидите? Хороша наука, которая на каждом шагу сама себе противоречит!

— Но...

Молодой американец неоднократно пытался остановить этот поток красноречия. Но всякий раз ему необычайно кротко и необычайно нагло мешала сделать это новая жилица в митенках.

— Пожалуйста, дайте ему кончить,— умоляла она.— Пожалуйста.

— Скажите мне, когда кончите,— объявил наконец слишком передовой юноша.

— Когда прикончу вас,— резко оборвал свою речь м-р Чэмбл Пьютер.

И дерзкий юноша не нашелся что ответить. Он слишком самонадеянно утверждал себя в пансионе Дубер, и теперь оказалось, что все жители пансиона сплотились против него. Ни одного слушателя не удалось ему завербовать в свой лагерь. Даже белокурая мисс Пулэй, которая иной раз как будто не без интереса слушала его, теперь не обнаружила ни малейшего признака сочувствия.

— Ну,— произнес он,— с таким невежеством я, признаться, встречаюсь впервые. Речь идет об идеях, которые революционизировали все мировоззрение человечества, а вы не только понятия о них не имеете, но даже и не желаете иметь.

М-р Чэмбл Пьютер пил кофе, насмешливо глядя на молодого американца, но тут поставил чашку на стол.

— Именно,— заявил он.— Не желаем.

— И не надо,— ответил юноша.

М-р Чэмбл Пьютер пожал плечами. Наступило глубокое молчание.

— Перед самым обедом ко мне на подоконник прыгнула такая миленькая черная кошечка,— начала вдовушка в митенках, чтобы разрядить атмосферу.

— Говорят, черные кошки приносят счастье,— поддержала м-сс Дубер.

Арсенал передовых идей медленно поднялся и в задумчивости покинул комнату. Прения не возобновлялись.

Через некоторое время м-сс Дубер услыхала, как он вышел, изо всех сил хлопнув дверью; на основании многолетнего опыта она поняла, что он отправился искать другой пансион.

И к чему только споры! Всегда этим кончается. А ведь он так аккуратно платил и был такой тихий, никого не беспокоил.

Эдвард-Альберт был восхищен. Им овладела жажда послушничества. Именно так он хотел бы говорить и действовать, если б потребовали обстоятельства. Он постарался тут же запомнить наиболее удачные выпады м-ра Чэмбла Пьютера, чтобы потом воспользоваться ими. Но он никогда не мог и в отдаленной степени достигнуть такого блеска. В дальнейшем вы увидите, что Эдвард-Альберт часто бросал скептические замечания, как, например: «Вздор», «Чушь», «Пустые бредни», «Это вам так кажется», «Откуда вы взяли?», «Не убедите» и т. п. Он даже доходил до формулы: «Простите, но мое чувство юмора не позволяет мне переварить такую белиберду».

Это были внешние средства защиты все более укоренявшегося в нем невежества. Он инстинктивно ненавидел всякую новую мысль, особенно такую, которая ставила его в тупик или брала под сомнение то, что им было принято на веру. Но прежде он этих идей пугался, а теперь стал их презирать, как нечто бессильное. Во всем этом он вел себя как настоящий англичанин. Торжества по случаю перемирия наполнили душу Homo Тьюлера Англикануса огромным чувством успокоения. Мандарины, руководившие в странах победоносных союзников делом народного просвещения, укрылись еще на четверть столетия за китайской стеной самодовольства, и стремительно растущая современная наука, не имея чувства юмора, роптала в тщетном негодовании. Мы только что видели, что из этого получилось. С этими новыми идеями и явлениями необходима осторожность. Лучше быть от них подальше. Как начнешь в них разбираться, непременно запутаешься, попадешь в ловушку — и пропал. Надо прятать их от своего сознания и свое сознание от них. Строго держаться простого здравого смысла. За-

втрашний день всегда будет более или менее похож на сегодняшний. По крайней мере до сих пор всегда был более или менее похож. Правда, в последнее время бывали толчки...

Надо стараться не замечать толчков.

«Не ищи беды — сама найдет».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРИХОДЯТ — УХОДЯТ

Так обстановка в пансионе м-сс Дубер беспрестанно менялась, оставаясь все время прежней, а для нашего Эдварда-Альберта между тем забрезжило пасмурное утро возмужалости. Пансион м-сс Дубер был для него центром мира — до тех пор, пока непредвиденные обстоятельства не вырвали его оттуда. Но за его стенами мимо Эдварда-Альберта плыл иной человеческий поток, искушая нашего героя и нарушая устойчивость его взглядов на жизнь. В «Норс-Лондон Лизхолдс» в его отделе работали одни мужчины, и в обращении с сослуживцами он держался позы человека, стоящего «несколько выше», скорее снизошедшего до работы по найму, чем вынужденного к ней обстоятельствами. Он видел, что одет лучше, чем они. Он старался облечь вопрос о своем местожительстве некоторой тайной. У него было больше денег на расходы. Сослуживцы в большинстве своем жили в семье и отдавали деньги домой. Но если его высокомерие и задевало их, они скрывали свою досаду, а ему было приятней ходить с ними вместе завтракать в ресторан, чем сидеть одному. И они там встречались с «девушками».

Девушки были еще более дешевым человеческим товаром, чем конторские служащие; они трудились в другом отделе, возясь с конвертами и всякого рода корреспонденцией. За завтраком они очень весело проводили время с молодыми людьми. Каждая имела определенную цель — «завести хорошего кавалера», и у юношей это желание находило естественный отклик. Возникала взаимная тяга, которая при тогдашней пониженной оплате женского труда выливалась в форму совместного посещения кафе, кино или даже мюзик-холла, причем

юноша платил за девушку. Только к концу первой мировой войны для молодых женщин начало обозначаться что-то вроде экономического равенства. Так что девушкам из «Норс-Лондон Лизхолдс» некоторая надменность манер Эдварда-Альберта не только не казалась обидной, но даже нравилась, а он довольно охотно отвечал на их заигрывания. Эти отношения были легче, проще и не такие длительные, как в пансионе Дубер. Он узнал о существовании «флирта» — этой взаимной игры двух самолюбий.

Для всей этой молодежи брак был чем-то далеким и невероятным, так что здесь «ухаживали» и выражали всякие любовные чувства с полной гарантией их неосуществимости. Это была игра в самоутверждение, далекая от всякой мысли об Этом — мысли, тревожившей его сны и тайные помыслы.

У него было несколько эфемерных романов — с Эффи, с Лаурой, с Молли Браун, единственной, которую он знал по фамилии, и еще с несколькими, чьи имена ускользнули у него из памяти. Отношения с Молли Браун приобрели даже некоторые черты реальности. В один солнечный воскресный день он повез ее в Рикмэнсуорс, погулять за городом. Они пили пиво и ели ветчину в какой-то гостинице. Потом пошли в лесок и сели в тени больших папоротников. Смотрели друг на друга с безотчетным желанием.

— Покурим,— предложила она.

— А если кто увидит? — возразил он.

— Никто не увидит.

И они закурили и продолжали смотреть друг на друга.

— Ну вот,— сказала она, кончив курить.

Они услыхали хихиканье и легкий визг в соседних кустах.

— Он ее щекочет,— сказала она.

Эдвард-Альберт не предпринимал никаких шагов. Она лениво вытянулась на земле и посмотрела на него.

— Поцелуй меня, Тэдди.

И поцеловала его! Поцелуй был приятный.

— Нравится?

Они поцеловались еще раз.

— Обними меня. Вот так... Прижмемся друг к другу покрепче.

Он нерешительно обнял ее.

— Ах, если б было темно! Вот тогда можно было бы обняться. Давай дождемся здесь темноты и потом будем обниматься.

— Ах, я н-не знаю. Может быть, мы нарушаем правила? Кто-нибудь пройдет и увидит.

— А что ж в этом такого? Здесь все обнимаются. Некоторые еще и не то делают.

Он что-то промямлил в ответ. Он весь дрожал. Ее поцелуи и объятия распалили его. Ему хотелось сжать ее изо всех сил и в то же время хотелось убежать. Он был в страшной тревоге, что его могут увидеть, и напряжение чувств привело к тому, что все тайные пружины его чувственности пришли в действие. Она поцеловала его в третий раз, и он окончательно потерял самообладание. Его руки сомкнулись вокруг нее; он подмял ее под себя и сжимал, сжимал изо всех сил, задыхаясь, пока вдруг не почувствовал удовлетворения. Тогда он сразу сел и оттолкнул ее от себя.

Она с самого начала сопротивлялась его натиску.

— Пусти,— твердила она яростным шепотом.— Перестань, слышишь?

Она откатилась от него и тоже села. У нее свалилась шляпа с головы, волосы растрепались, юбка завернулась до колен, глаза сверкали гневом. Оба были красные тяжело дышали, и у обоих был растерянный вид.

Щекотание, видимо, прекратилось: ничего не было слышно, кроме ветерка в папоротниках.

Она оглянулась по сторонам. Потом тихо сказала:

— Честное слово, ты меня всю изломал.

— Я... мне было приятно, Молли.

— А мне нет. Ты был груб. Посмотри, в каком виде мои волосы!

Она оправила свое измятое платье и отодвинулась еще дальше от него.

— Тебе придется помочь мне отыскать мои шпильки. Я подумала, ты просто спятил.

— Это ты виновата.

— Вот это мне нравится!

— Ты довела меня.

— Ну, уж постараюсь больше не доводить тебя, мой милый. Ты был так груб. Просто ужас.

— Но ведь это только так, Молли. Я не хотел ничего плохого.

Ярдах в двадцати от них зашелестел кустарник — еще одна парочка искала укромного уголка.

— Если б они появились как раз в ту минуту?..— сказала Молли, держа во рту три шпильки и приводя в порядок шляпу.

— Ведь они не появились,— ответил Эдвард-Альберт уже с раздражением.

— Если бы...

— Чего ж долбить одно и то же? — огрызнулся он.

Остаток дня был проведен в атмосфере молчаливых упреков. Они вернулись домой задолго до темноты. Она решила проститься с ним и идти с матерью в церковь.

— Пока,— произнес он вместо обычного нежного «доброй ночи».

И задумчиво побрел в Скартмор-хауз. Он думал о том, что путь настоящей любви всегда тернист.

Он считал, что влюблен в Молли: иначе почему бы он так желал ее и мог до такой степени потерять голову?

Ему уже опять хотелось обнять ее, и в то же время он боялся мысли об этом. Но при следующей встрече она как будто забыла свою прежнюю настойчивость, и он был сильно разочарован. Они сидели на скамейке у дороги на Хэмпстед-Хис, причем не было и речи об объятиях, и он распространялся на излюбленную тему — о своем таинственном незаконном происхождении.

— Я не знаю, ни кто был мой отец, ни чем он был. Понимаешь, меня похитили...

Трудность заключалась в том, чтобы, сочиняя эту историю, избегать всяких намеков на Большие Надежды. Потому что необходима осторожность. Она слушала как будто без особого интереса, а когда он попросил ее поцеловать его, чуть дотронулась губами до его щеки.

— Пойдем погуляем в тех кустах,— предложил он.

Она отрицательно покачала головой.

— Поласкаемся немножко,— настаивал он.

— Ты не знаешь меры. Я не люблю... как тогда. Помнишь? В воскресенье.

Следующая встреча была более обнадеживающей. Он повел ее в кино, и они сидели там рядышком, держась за руки — совсем по-старому. Потом он угощал ее лимонадом и сандвичами в новой маленькой закусочной, и они слегка повздорили по вопросу о чарах Рудольфа Валентино, но помирились после того, как она признала правильным замечание Эдварда-Альберта, что в Рудольфе есть что-то неанглийское, и заявила, что ей совершенно непонятно, как англичанка может испытывать «что-нибудь» к иностранцу.

— Для меня это все равно, что с китайцем. Но она, правда, была полумексиканка...

Таким образом, все уладилось. Они продолжали встречаться. Но она не допускала его к себе ближе, чем на расстояние протянутой руки, и оба они были слишком молчаливы, чтобы касаться сложного вопроса о том, что значит «переступать границу».

Пыл его физического влечения к ней угас.

Это был существенный эпизод в воспитании его чувств. Он сделал две-три попытки найти интерес в других девушках, но из этого ничего не вышло. Его отношение к ней прослоилось чувством оскорбленной гордости. Она сама его довела. Он со злобой думал об этом. Уступила, а потом оттолкнула. Некоторое время они еще появлялись вместе, чтобы не дать другим повода для разговоров, хотя сами не отдавали себе в этом отчета. Раз или два перед окончательным разрывом он ревниво попытался вернуть прежнее, узнав, что она встречается с другим молодым человеком. Она была по-прежнему «мила» с ним, но все более и более уклончива.

«Ладно,— рассуждал сам с собой разочарованный Эдвард-Альберт.— Он тоже многого не добьется».

В Имперском Колледже Коммерческих Наук у Эдварда-Альберта было очень мало знакомых. Там училось несколько молодых женщин, с которыми он был бы не прочь пофлиртовать, но он не мог придумать способа, как подойти к ним; и вторым, главным фактором в возмужании Эдварда-Альберта явилось общение с прежними школьными товарищами, продолжавшими жить в районе Кэмден-тауна.

Школа помещалась на прежнем месте. Раз или два он мельком видел на горизонте м-ра Майэма, но укло-

нился от созерцания его укоризненной волосатой физиономии, свернув за угол. Один из мальчиков, фамилию которого Эдвард-Альберт позабыл, встретив его как-то на улице, сообщил ему, что старик запретил ученикам с ним разговаривать.

— Он сказал, что ты дурной человек. В чем дело? Девочку испортил, что ли?

— И не спрашивай,— ответил Эдвард-Альберт, поддерживая это лестное подозрение.— Дело было серьезное.

Белобрысый Берт Блоксхэм со своей непохожей тетей жил на том же самом месте, поблизости от школы, а Нэтс Мак-Брайд, тот, что с бородавками, переехал в Клэпхэм. Наружностью Берт никогда не мог похвастаться, а теперь больше чем когда-либо стал похож на большую волосатую луковицу. Но он тоже переживал лихорадочный процесс пробуждения пола. Он терзался тем же противоречием: бессмысленная природа тянула в одну сторону, а бессмысленное общественное устройство — в другую.

Он сразу обратился к воспоминаниям о «Невидимой Руке».

— Сеновал по-прежнему в моем распоряжении,— сообщил он.— И там теперь еще безопасней, чем прежде. Старуха стала такая грузная, что, если б попробовала залезть, лестница обломилась бы. У меня там есть открытки — ух, хороши! Все как есть показано. Я купил их у одного человека на Стрэнде поздно ночью, когда ходил на охоту. Я покажу тебе.

Он помолчал.

— Ты уже знаешь женщин, Тьюлер?.. Я знаю.

(Следует описание.)

— А теперь могу сколько угодно, мне наплевать. Только с этими уличными необходима осторожность. Знаешь, они ведь не моются. Скверно пахнут. Прямо противно. (Следует краткое перечисление обязательных мер предосторожности.) Но это неважно. Это так, между прочим. Я задумал одну вещь. Хочу устроить себе гнездышко для любви, дружище,— свое собственное гнездышко для любви. Поднимаемся вверх по лестнице, понимаешь? Что за икры! Но ты покажешь мне и кое-что другое, моя прелесть. И мы начинаем играть там с ней в Адама и Еву. Ты когда-нибудь играл в Адама и Еву, Тьюлер?

— Так и сделаю, как только найду подходящую девочку,— продолжал Берт,— они ведь теперь не очень строги, не то что до войны. Теперь девушки стали другие. Да, все стало другое. А если тебе подвернется какая-нибудь... Мы ведь старые друзья. Я вас там тоже уютно устрою, дружище. Можешь рассчитывать.

Вот от какой перспективы отказалась непостоянная Молли. Чего ей, собственно, нужно было? А впрочем, нечего из-за нее огорчаться! Забыть ее — и все тут. Адам и Ева — как бы не так. Попробуй! Попробуй добейся от нее чего-нибудь с ее вечным «переста-а-ань»!

Вскоре Эдвард-Альберт обнаружил, что у него начался флирт в самом пансионе Дубер и что за него идет борьба между двумя интересными, энергичными молодыми дамами, которые всего на пять-шесть лет старше его. Это были перезрелые девственницы; они тоже страдали от мучительного лишения, на которое их обрекало общественное устройство. Природа требовала своего, а они не находили, не могли найти выхода, обреченные на вечное одиночество. На что можно было рассчитывать? Пожилые мужчины предпочитали шестнадцатилетних нахалок, а молодых людей почти совсем не осталось. Ведь их столько перебили. Остались одни педерасты. Но эти были по большей части противниками и войны и любви. Они словно совсем повернулись к жизни задом. А тут появилось существо мужского пола и в то же время явно безобидное, которое уберeглось от всех этих опасностей.

Кокетство этих молодых особ показалось ему гораздо более завлекательным и опасным, чем заигрывание девиц из конторы Лизхолдс, особенно после того, как Молли дала ему отставку. Разговаривая с ними, он не мог удержаться от прерывистого нервного смешка, словно намекающего на какие-то задние мысли. Он не смел и мечтать о поцелуе, объятии или о чем-нибудь подобном, не зная, как они к этому отнесутся, но говорил им самые рискованные вещи. Гораздо худшие, чем все, что ему случалось говорить девицам из «Норс-Лондон Лизхолдс», которые готовы были разобидеться по самому невинному поводу.

Начали они. Безусловно, они. Им хотелось пробудить его неопытную любовь, добиться его покорности, вызвать

его преклонение, превратить его в раба, услышать его робкие признания, заставить его быть на побегушках — словом, получить от него все, к чему предназначены подростки, с которыми не так интересно, как со взрослыми мужчинами, но зато не так опасно. И, конечно, любая из них могла добиться этого, но только не обе сразу.

Одна из них была эффектная молодая брюнетка; она провела несколько месяцев во Франции и благодаря этому обстоятельству слегка офранцузилась. Ее звали Эванджелина Биркенхэд; она, видимо, имела какое-то отношение к перчаточному делу, но какое именно, не было в точности известно. Ей суждено был сыграть гораздо более важную роль в жизни Эдварда-Альберта, чем он предполагал, и нам придется уделить ей много внимания. Она говорила по-французски, казалось, как настоящая француженка, во всяком случае, быстрей бельгийцев, но как-то вспышками, и мисс Пулэй, тоже говорившая по-французски, но не так лихо, слушала ее сперва недоверчиво и растерянно, а потом с плохо скрываемым наслаждением. Эдвард-Альберт отметил, что она всегда старается незаметно сесть так, чтобы слышать, что говорит Эванджелина.

Соперницей Эванджелины была мисс Блэйм, крашеная блондинка, не очень разговорчивая, но с чрезвычайно выразительными алчущими глазами. Она не отрываясь слушала Эдварда-Альберта и глядела на него. У нее была особая манера дотрагиваться до него, класть ему руку на плечо или даже на руку, лежащую на подлокотнике кресла. У нее были чрезвычайно мягкие ладони. Разговаривала она шепотом, склоняясь к нему и обдавая его щеку теплым дуновением. Она старалась выведать его подноготную, спрашивала, какие у него стремления.

— Прежде всего — всегда смотреть на вас,— галантно отвечал Эдвард-Альберт.

— Нет, вы расскажите мне о себе. Как вы находите мисс Биркенхэд? Она страшно умная, правда?

— Постольку поскольку,— уклончиво ответил Эдвард-Альберт.

— Вы немножо влюблены в нее?

— Как же это может быть?

Вопросительное мурлыканье...

— Ведь мои мечты принадлежат другой,— пояснил коварный сердцеед и, чтоб избежать дальнейших разговоров на эту тему, томно шепнул: — Вам.

А когда Эванджелина упрекала его за то, что он сидит все с этой Блэйм, и спрашивала, о чем он может говорить с ней, молодой хитрец отвечал:

— Я просто не замечаю, где сижу, когда вижу вас. Просто не замечаю. А разговор! Сами понимаете...

Чудная забава! Все это казалось ему безопасной, невинной игрой. Он и не подозревал, в каком беспомощном положении он скоро окажется.

Но, возвращаясь в роскошном вагоне первого класса из Эдинбурга в Лондон, он подумывал о женитьбе. Он понимал, что перед ним теперь открылась возможность облегчить угнетавшее его бремя страхов и желаний. Он поищет и найдет себе славную женку. При мысли об этом его охватывал радостный трепет. Конечно, необходима осторожность. Надо выбрать славную, здоровую, простодушную, сердечную девушку. Есть ведь много таких, на которых просто немыслимо жениться,— интриганок и потаскушек... распутниц, которые будут тебя надувать, только отвернись...

И Это будет всегда рядом, дома — в любой момент, когда ни вздумается. И не будет опасности запутаться. Не будет страха схватить какую-нибудь из тех ужасных болезней. Не будет мучительных минут неудовлетворенной похоти и стыда. Рядом — женушка, улыбающаяся, уступчивая. Желательно англиканского вероисповедания. Она должна быть религиозна, иначе нельзя быть уверенным... Он сидел, погруженный в мечтания, тихонько насвистывая на свой манер. Они не станут заводить кучу детей, от которых только одно беспокойство, да и фигура у нее может испортиться. Милый Берт просветил его на этот счет. И только представить себе! Вот он идет с женой, разодетой, как картинка, и встречается с тем же Бертом или Нэтсом. «Позволь познакомить тебя с миссис Тьюлер!» — говорит он товарищу. Он будет покупать ей подарки. Делать разные сюрпризы. А она будет радоваться. «Посмотри, что я тебе принес»,— будет он говорить ей всякий раз.

Юные грезы любви.

Все это он рисовал себе, не принимая в расчет Эванджелину Биркенхэд. Он и не помышлял о ней до того момента, когда сошел в этот день к обеду.

— Вы вернулись!—воскликнула она. И прибавила:— Садитесь поближе и рассказывайте.

Он поспешил повиноваться, полуиронически, полупочтительно. Он не станет никого посвящать в цели и результаты своей поездки. Он сохранит свой таинственный ореол и будет приятно проводить время с обеими молодыми особами.

Но м-сс Дубер уже успела рассказать. Дело в том, что прежде чем обратиться к м-ру Уиттэкеру, он сразу, как только пришло письмо из Эдинбурга, попросил совета у м-ра Дубера.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ЭВАНДЖЕЛИНА БИРКЕНХЭД

Пора теперь поговорить подробней о мисс Эванджелине Биркенхэд.

Есть во мне, должно быть, какая-то бухмановская черта: не знаю другого писателя, который испытывал бы такую потребность делиться с читателем своими трудностями и тревогами. Вот, например, сейчас я стою перед большим затруднением. Сомневаюсь, могу ли я, автор английского романа, рассчитывать, что я сам или мои читатели знаем французский язык, как его знают французы. Между тем мисс Биркенхэд на данном этапе своего жизненного пути отличалась своеобразной склонностью прибегать к французскому языку по самым неожиданным поводам, и мне кажется, что ни я, ни читатель не вправе судить о том, что это был за французский язык, и пытаться переводить то, что она говорила. Так что самое лучшее — передать ее слова как можно точнее, отметить те случаи, когда они произвели не тот эффект, на который она рассчитывала, и этим ограничиться. И если слова ее в большинстве случаев будут непонятны, то впечатление читателя, по существу, не будет ничем отличаться от впечатления Эдварда-Альберта, а ведь на нем-то, в конце концов, и сосредоточен интерес нашего повествования.

В момент вступления Эванджелины в дуберовский кружок особой формой ее самоутверждения служили восторженные разговоры о милом Пари. Она только что вернулась в Лондон после шестимесячного пребывания в Париже и всеми силами души стремилась обратно. Но она понимала, что это едва ли возможно до отпуска, и Лондон казался ей еще мрачнее по контрасту с сиянием облаков над материком, где витали ее мысли. В пансионе она появилась почти одновременно с мисс Блэйм, искавшей самоутверждения не столько в словах, сколько в действиях.

Эванджелина была брюнетка с желтоватым цветом лица, тонкими изогнутыми бровями и смелым, ищущим взглядом карих глаз, а костюм ее был отмечен тем *каше*, которое приобретается только в знаменитых заведениях Лувра и Больших Бульваров. Никогда за столом м-сс Дубер не появлялось ничего более французского.

Мисс Биркенхэд рассказывала о Великом Событии своей жизни маленькой группе на том конце стола, где она сидела: Эдварду-Альберту и мисс Блэйм, что-то сочувственно бормотавшим в ответ; молодому голландцу из комнаты напротив Эдварда-Альберта, который хотел выучиться английскому языку и слушал внимательно, с неопределенной любезной улыбкой, видимо, ничего не понимая; вдовушке в митенках, готовой слушать, одобрительно кивая, что угодно, лишь бы это не противоречило требованиям нравственности; мисс Пулэй, которая сперва была немножко рассеянна, но потом стала слушать чуть не с восторгом; Гоупи, в чьи обязанности входило интересоваться каждым, и м-сс Дубер, которая по большей части сидела так далеко, что слышать ничего не могла, но тем не менее слушала, если можно так выразиться, приветливым взглядом и улыбалась, когда видно было, что Эванджелина рассказывает что-то забавное.

Но м-р Чэмбл Пьютер не находил в Эванджелине ничего такого, что могло бы дать пищу его склонности к юмору, и осторожно проходил за спиной м-ра Дубера к своему месту за столом, чтобы там пожаловаться на распущенность нравов одному пожилому и глуховатому вегетарианцу, специалисту переплетного дела, высказывавшему довольно резкие суждения о консервах и ра-

ковых опухолях, но вообще державшемуся очень замкнуто...

— Меня всегда тянуло в Париж,— изливалась Эванджелина,— еще когда я была в школе. Я любила уроки французского. Мне пришлось заниматься им только год, под самый конец, но я получила награду. Это была книжка о милом П а р и с хорошенькими цветными картинками. Я всегда говорила, что если выйду замуж, то потребую, чтобы медовый месяц мы провели в П а р и. И вдруг, подумайте, совершенно неожиданно в начале этого года с изумлением узнаю, что меня хотят послать на полгода во Францию, совершенно даром и бесплатно — gratuitement [1]. Согласна ли я? Конечно. Que voulez-vous? [2].

— Кто бы отказался! — вставила Гоупи, явно разделяя энтузиазм рассказчицы.

— Laissez-faires sont laissez-faires [3],— продолжала Эванджелина.— Речь шла не об увеселительной поездке, разумеется, и не об усовершенствовании во французском языке. Просто война запутала все дела нашей фирмы, понадобился там еще человек — и выбрали меня. Сегодня предупредили, а через неделю — всего через какую-нибудь неделю! — я уже на борту парохода, прощаюсь с белыми скалами Альбиона. И не успела оглянуться — уже спускаюсь по трапу, а вокруг меня все кричат и тараторят по-французски. А я на первых порах забыла и то немногое, что знала.

Эдвард-Альберт сочувственно кивнул.

— Это такой веселый язык. В нем нет ни одного слова, которое не имело бы двойной entente [4]. Английская речь, тяжеловесная, насквозь мещанская, плетется шагом. А французская скачет, как настоящая pierreuse [5].

— Язык живой и немножко всегда непослушный.

---

[1] Бесплатно *(франц)*.

[2] Что поделаешь? *(франц.)*.

[3] Ехать так ехать — таков смысл того, что хочет сказать Эванджелина, но выражается она совершенно неправильно. В дальнейшем французская речь ее пестрит нелепыми искажениями и двусмысленностями.

[4] Entente — смысл *(франц.)*.

[5] Эванджелина хочет сказать: Pierrette (Пьеретта), а вместо этого по ошибке говорит pierreuse (каменистая).

В нем столько esprit и je ne sais quoi...[1] ах, как это у них говорится?.. Да, élan vital[2]. Все звучит так вежливо, так изящно! Говоришь обыкновенному шоферу такси: «Cocher! Pouvez-vous me prendre?» А он смеется и говорит: «May volontier mam'selle, toujours à votre service»[3]. Ну когда услышишь что-нибудь подобное от лондонских извозчиков?

— Там был один господин, с которым у фирмы дела. Он был очень внимателен ко мне и многому научил меня. Нет, нет, не подумайте чего! Он совсем старый и наполовину англичанин, но все равно ничуть не смущался, что его увидят с девушкой, которая ему во внучки годится. Comprenez? Pas de tout... Pas de deux...[4]. Как это? Позабыла. Мы отлично проводили время. Я называла его своим «faux pa»[5], и он просто был в восторге от этого. Повторял всем и каждому.

— У него была квартира au bordel riviera[6], на берегу Сены,— знаете? Прямо над пристанями mouche[7], где останавливаются пароходы. Там у него была и контора, где мы с ним работали, и он приглашал меня завтракать, и заставлял говорить по-французски, и очень хвалил. Всегда, бывало, смеялся и говорил: «Ничего, ничего. Единственный способ научиться французскому языку — это говорить на нем». Я его спрашивала: «А я говорю по-французски?» А он мне: «Не совсем еще по-французски, черри[8]». Он по большей части называл меня «черри», то есть «милочка»,— так это, по-отечески.

---

[1] Остроумия и чего-то неопределенного.

[2] Жизненного порыва.

[3] Точное значение этих двух реплик представляет собой двусмысленность: «Кучер, вы не возьмете меня?» «Как же, с удовольствием, мадемуазель, к вашим услугам».

[4] Понимаете? Ничуть.— Исковеркав французское выражение pas du tout (ничуть) и превратив его в бессмысленное pas de tout, Эванджелина смешивает его с названием танца pas-de-deux (па-де-де).

[5] Двусмысленность: Эванджелина коверкает выражение faux papa (подставной папаша) и заставляет его звучать как faux pas (ложный шаг).

[6] Опять двусмысленность: Эванджелина хочет сказать: au bord de la riviére (на берегу реки), но коверкает слова так, что получается au bordel Riviera (в борделе Риввера).

[7] Пристани для речных трамваев.

[8] Эванджелина хочет сказать «cherie» (дорогая), но путает французское *шерú* с английским *черри* (вишня).

«Не совсем еще по-французски, но это очень хорошая Entente Cordiale[1] — самая лучшая Entente Cordiale, какую мне приходилось встречать. Мне было бы жаль пропустить хоть слово». Он называл это Entente Cordiale, потому что уверял, что просто молодеет, слушая, как я говорю. Ах! Мы так веселились...

Таким образом, Эванджелина с первых дней показала себя во всей красе и при этом по достоинству оценила ту оценку, которую прочла в восхищенных глазах Эдварда-Альберта. Я уже говорил, что он больше всех в пансионе имел шансы котироваться как мужчина, ибо изучавший английский язык молодой голландец скоро пришел к убеждению, что понимать Эванджелину — задача совершенно непосильная. Она изо всех сил старалась вовлечь его в разговор, но что можно сделать, когда человек на самые остроумные ваши замечания отвечает с находчивостью глухого.

Как-то раз Эдвард-Альберт нашел на полу возле письменного стола в гостиной листок почтовой бумаги. Почерк был мисс Пулэй, но Эдвард-Альберт не знал этого и без всякой задней мысли подал бумагу Эванджелине со словами:

— Не ваше ли? Как будто по-французски.

Текст был озаглавлен «Menu Malaprop» и гласил следующее:

Potage Torture
Maquerau (Vent blank)
Agneau au sale bougre
Или на выбор: a Gigolo (vent rouge)
Petits pois sacrée,
Вкусный горячий chauffeur
Demitasse à l' Americaine
Champagne fin du monde
Fumier, s. v. p.[2].

---

[1] Сердечное согласие («Антанта» — союз Франции, Англии и Америки в период первой мировой войны). Тут намек на то, что французский язык Эванджелины представляет смесь французского с английским.

[2] Шуточный текст озаглавлен: «Menu malaprop (вместо mal-à-propos), что можно перевести: «Список блюд невпопад».

Примерный перевод названий:

Potage torture (вм. tortue) — суп-пытка (вм. черепаховый).

Maquerau Vent blank (вм. vin blanc) — макрель с пустым ветром (вм. с белым вином).

Agneau au sale bougre — барашек под негодяя.

Или на выбор:

Эванджелина прочла и густо покраснела.

— Гадина! — воскликнула она с резкостью, которой Эдвард-Альберт в ней и не подозревал.—Она изъясняется по-французски, как школьная грамматика. Так я ведь училась на слух, а она зубрила своей лобастой башкой... И, наверно, воображает, что остроумно.

Она помедлила минуту, потом скомкала листок в кулаке.

— Я не нахожу тут ничего остроумного,— верноподданнически заявил Эдвард-Альберт.— Правда, я не знаю языка... Бросить это в камин?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПОПАЛСЯ

— Вас не было целую неделю. Чем вы занимались в Шотландии? Тут все делают из этого страшную тайну.

Такими словами встретила она его в тот роковой вечер, когда он вернулся. Она произнесла их интимно, понизив голос. Мисс Блэйм уже пообедала и ушла наверх; мисс Пулэй не было дома. Голландец был поглощен раздумьем о сослагательном наклонении в английском языке и не обращал никакого внимания на разговор, который явно его не касался.

— Е-е-если б ты был,— вновь и вновь шепотом повторял он,— е-е-если бы он был... Да...

Она с нетерпением поджидала Эдварда-Альберта и вот теперь, в этом уголке, наконец завладела им.

— Да все дела,— ответил Эдвард-Альберт.— Штука, видите, в том, что... совершенно неожиданно... я получил наследство в Шотландии.

— Наследство?

Gigolo (вм. Gigot) vent rouge (вм. vin rouge) — молодчик (вм. бараньей ноги) с красным ветром (вм. вином).

Petits pois sacrée (вм. sucré) — проклятый (вм. сладкий) горошек.

Chauffeur (вм. chou-fleurs) — шофер (вм. цветная капуста).

Demitasse à l'Americaine — чашка кофе по-американски.

Champagne fin du monde (вм. Fine champagne) — шампанское конец света (вм. высшего сорта).

Fumier (вм. Fumez) s. v. p. — навоз (вм. курите), пожалуйста.

— Ну да, то есть в общем кое-какую недвижимость. Я и понятия не имел, что у меня там родственники. Просто с неба свалилось. Мне о самом себе многое неизвестно. Меня, знаете, в детстве похитили. Я давно об этом догадывался — чувствовал какую-то тайну. Ну, пришлось иметь дело с юристами, агентами и всякое такое.

— И большое наследство, Тэдди? Я надеюсь, оно не заставит вас уехать отсюда? Мне без вас будет очень скучно.

— Да, теперь я все-таки обеспечен. Конечно, я еще не знаю, как устроюсь. Все это так неожиданно. Но мне не хочется уезжать отсюда, от вас... от всех,— поправился он, испугавшись, что кто-нибудь может услышать.— Во всяком случае, пока мне некуда ехать.

Она кивнула.

— Сколько же это составляет?

Его осторожность отступила перед желанием произвести впечатление.

— Да несколько тысяч,— ответил он.

— Независимость обеспечена.

— Уж это конечно.

— Какой вы счастливый, Тэдди. Можете поехать куда угодно. Делать что угодно.

— Я хочу сперва немножко осмотреться. Знаете, я решил не бросать свою... свои занятия. Пока, во всяком случае. Буду продолжать, просто чтобы что-нибудь делать. А то скучно как-то. И потом — необходима осторожность. Эти деньги — просто как сон какой-то. Вдруг я завтра проснусь, и окажется, что это действительно сон?

— Да,— ответила она.— Мне это очень понятно. Но вы увидите, что это действительность. Увидите, что вам открыты все пути.

— Наверно, на моем месте вы сейчас же поехали бы в свой ненаглядный Париж.

— Не знаю, Тэдди. Может быть, и нет, потому что тогда мне это было бы доступно в любое время. Может быть, мне захотелось бы пожить здесь. Как вот вам. Может быть, я почувствовала бы, что мне трудно оторваться от чего-то... от чего-то такого, о чем я все время думаю и без чего не могу обойтись. Ведь у нас с вами очень много общего, Тэдди.

— Я никогда не замечал.

— Но это так, уверяю вас.

— Может быть, и так. Только вы немножко поумней...

Она так углубилась в выяснение интересовавшего их обоих вопроса, что забыла о своем увлечении французским. Она была прежней, допарижской Эванджелиной, и с ее губ не слетело ни одного слова на наречии Entente Cordiale.

Когда они встали, чтобы идти наверх, она взяла его под руку, чего прежде никогда не делала.

— Отойдем в уголок,— сказала она.— Я хочу еще потолковать с вами обо всем этом. Там, внизу, за столом, все следят и слушают, так что и не поговоришь как следует. А я должна, должна поговорить с вами, Тэдди, милый. Я так счастлива, что вы счастливы, и так боюсь за вас, боюсь, как бы с вами чего-нибудь не случилось. Как замечательно, что вы теперь можете отсюда уехать. Делать что вздумается. Устроить свою жизнь, как хочется. И это так страшно. Я завидую вам, мой мальчик, просто завидую. Я готова заплакать, так я волнуюсь.

Ее задушевная искренность вызвала в нем ответное доверие. Он заговорил с ней так откровенно, как редко был откровенен даже с самим собой. Они сидели рядом, совсем близко, так что их жаркое дыхание смешивалось. Она принарядилась, и сквозь легкую ткань платья он чувствовал плечом ее теплое плечо и видел ее руку, легко опиравшуюся на его колено.

— Я ведь, знаете, не особенно, что называется, образованный. Я часто думаю, как хорошо бы, если бы у меня был кто-нибудь, кто бы мне немножко помог... А теперь... особенно.

— Может быть, я могла бы... помочь вам?

— Вы — помочь мне?

— Я бы с радостью.

— Мне? Вы, которая были во Франции, и столько читали, и так хорошо говорите по-французски? Да рядом с вами я...

Она пристально посмотрела на него.

— Вы самый милый и скромный человек, какого я только встречала, мой дорогой. Женщина полна жертвен-

ности. Говорю вам, я готова для вас... на все. Готова посвятить вам всю себя. Хотите?

Он забыл всякую рисовку.

— Вы знаете, я всегда говорил, что люблю вас. Всегда. И я говорил правду.

— Вы любите меня?

Наступило многозначительное молчание. Она была так близка, что он слышал, как бьется ее сердце. Глаза ее горели. Он задрожал. Ему хотелось поцеловать ее. Но здесь было не место для поцелуев. Может, кто-нибудь подглядывает за ними, заслонясь газетой или укрывшись где-нибудь в углу. В этом пансионе никогда нельзя быть спокойным. Никогда.

— Я люблю вас,— прошептал он.

— Любимый,— ответила она.

Опять несколько мгновений напряженного молчания.

— Это правда?

— Клянусь жизнью.

Новая, еще более продолжительная пауза. Потом она взглянула на свои ручные часики.

— Мне давно пора спать. Завтра в девять снова на работу, мой милый. Тянуть обычную лямку.

— Ненадолго,— ответил он.— Теперь уж ненадолго.

И этим как будто было все сказано.

Она встала и улыбнулась.

Он встал и улыбнулся в ответ.

Он пошел за ней по лестнице, уже не думая о том, смотрят на них или нет. Потому что теперь она принадлежит ему. И на этот раз без всяких «переста-а-ань». Что же еще нужно? Мисс Блэйм сидела в дальнем конце комнаты и делала вид, что читает. Около своей двери Эванджелина резко остановилась и кинула взгляд вверх и вниз. Ни там, ни тут — ни души, и никто не слушает. Она взяла обе его руки в свои и подержала их, глядя на него взглядом собственницы. Потом выпустила и, медленно, осторожно притянув его голову к себе, поцеловала его. Это был долгий, жадный поцелуй, поцелуй неглупой молодой женщины, которая ждала этого момента не один день. Ее губы блуждали некоторое время, потом прижались к его губам, и после этого всякое воспоминание о поцелуях Молли исчезло из памяти Эдварда-Альберта.

— А теперь,— прошептала Эванджелина еле слышно,— покойной ночи, мой любимый. Je t'aime, je t'adore[1].

Он был в нерешительности.

— Покойной ночи,— ответил он тоном, в котором явственно звучал вопрос.

Он пошел наверх, к себе в комнату. По дороге оглянулся через перила, но она уже тихонько закрыла за собой дверь...

Он долго лежал, не в силах заснуть от страшного возбуждения. Мечты и желания плясали дикий танец в его голове. Он встал с постели и принялся в пижаме расхаживать по комнате. Подошел к двери и долго прислушивался, потом тихонько открыл ее и выглянул на лестницу.

— Эванджелина,— прошептал он почти беззвучно, но, услышав храп молодого голландца из-за двери напротив, юркнул к себе.

Там он разделся и стал внимательно рассматривать себя в каминное зеркало. Нашел, что впадины над ключицами не такие глубокие, как раньше.

Он задумался.

Кончилось тем, что он кинулся на постель и со страстной нежностью стиснул в объятиях подушку.

— Эванджелина,— шептал он ей.— Моя дорогая Эванджелина. Скажи, что ты меня любишь. Говори, говори, что ты любишь меня. Повтори еще раз.

Так наконец он получил возможность заснуть.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПОМОЛВЛЕН

— Но, дорогой, свадьба невозможна, пока мы живем в одном доме. Это просто немыслимо. Надо же считаться с окружающими. С моими родными, во всяком случае.

Сперва Эдвард-Альберт о таких вещах вовсе не думал. Все его желания были направлены на Эванджелину и Это, а посторонние обстоятельства, которые предшествуют осуществлению этих желаний, совершенно не

[1] Люблю тебя, обожаю *(франц.)*.

интересовали его — пока она не заставила его интересоваться ими. Он не мог понять, почему бы им не вкусить супружеских радостей, не дожидаясь свадьбы, еще здесь, в пансионе, и ему представлялось, что можно немедленно пойти в ближайшую регистратуру и оформить там брак. До своего возвращения из Эдинбурга он меньше всего задумывался об этом.

— Но когда люди влюблены, они друг друга желают. Я желаю тебя, Эванджелина. Страшно. Просто не могу передать как. Я не в силах сдерживаться.

— Сама жду не дождусь, милый. Может быть, даже больше, чем ты. Но нельзя допускать скандала. Нельзя. Ну подумай, как это будет выглядеть в брачной хронике «Таймса» — у жениха и невесты один и тот же адрес! Pas possible, cheri. Je m'en fiche de tout cela [1].

Она поглядела на него.

— Ну что ты губы надул, мой миленький? Будь паинькой, потерпи немного. Так бы тебя и расцеловала. И расцелую, погоди только.

— Ах, не мучай меня! — воскликнул Эдвард-Альберт и тихонько отодвинулся от нее.

Вот уже три дня, как они были помолвлены. Теперь они сидели в одном из прелестных уголков Риджент-парка. О помолвке было сообщено м-сс Дубер для тактичного оповещения жильцов, и если не считать полной юмора гримасы м-ра Чэмбла Пьютера да довольно едкого замечания мисс Блэйм, сделанного в беседе со вдовой в митенках и племянницей м-сс Дубер, насчет всяких интриганок и охотниц за женихами — замечания, которое, может быть, предназначалось, а может быть, и не предназначалось для ушей Эдварда-Альберта,— общество реагировало на эту новость довольно слабо.

М-сс Дубер проявила отменное великодушие, несмотря на то, что теряла двух постоянных и вполне платежеспособных жильцов; она по собственной инициативе дала Эдварду-Альберту превосходную характеристику:

— Такой тихий, благовоспитанный.

Гоупи объявила Эванджелине, что она страшно счастливая девушка, а Эдварду-Альберту — что он страш-

---

[1] Это невозможно, милый Плевать я хотела на все это. (Эванджелина хочет сказать: «Это невозможно, милый. Я не могу допустить этого»).

но счастливый мужчина, и призналась им, что сама все ждет, когда наконец явится ее рыцарь и похитит ее из очарованного замка.

После некоторого колебания Эдвард-Альберт ушел из конторы «Норс-Лондон Лизхолдс», но Эванджелина при попытке прервать свою деловую карьеру встретила лестные для себя затруднения.

— Без меня там просто не знают, где что лежит,— сообщила она.

С ней договорились, что она останется на половинном рабочем дне, пока не подготовит себе преемницу. Подготовка сильно затруднялась неутолимой жаждой Эванджелины делиться с последней своими мечтами о близком супружеском счастье.

С самого начала их новых отношений она обнаружила огромную уверенность в своих организаторских талантах. Неопытность Эдварда-Альберта в делах света и его крайняя рассеянность пробудили в ней скрытое чувство материнства. Все ее женские инстинкты ожили.

Она решила, что надо снять удобную квартиру на Блумсбери-сквер, по крайней мере один этаж («наше собственное гнездышко, мой любимый»).

— Мы начнем наши поиски послезавтра днем. Это будет так интересно!

— Да уж, верно, без этого не обойтись,— ответил он.

Она повела дело очень ловко. Говорила с управляющими и домохозяевами. Сама вела все переговоры. Он старался держаться солидно, с достоинством, но в душе чувствовал досаду на то, что она руководит им. Однако влечение к ней одерживало верх. Он испытывал нечто похожее на выжидательную покорность влюбленной собаки.

Они нашли, что ей было нужно, близ Торрингтон-сквер — не просто квартиру, а целый верх: две гостиные, две хорошие спальни и еще две комнаты, в которых можно было устроить спальни или что угодно, затем кухня-буфетная, кладовая, гардеробная и ванная! Он был втайне испуган перспективой занимать сразу такое множество комнат, но она пришла в восторг. Плата была очень умеренная, а она и не мечтала так шикарно устроиться.

Плата была небольшая, потому что милая, но непрактичная владелица дома, занимавшая нижнюю часть его,

долгое время сдавала верх без меблировки. Но вдруг ее одолел дух предприимчивости, и она решила обставить комнаты, приобретя мебель в рассрочку, и сдавать их с услугами. К ней въехал художник с женой, множеством очаровательных картин и купленным в рассрочку пианино. Несколько дней все как будто шло хорошо. А потом сразу разладилось. Пошли неприятности с прислугой из-за лишних людей, которых надо обслуживать,— пояснила домовладелица с выражением тихого негодования. Кухарка объявила, что уходит; глядя на нее, забастовала и горничная; кухарка и сейчас еще здесь, но ведет себя очень нахально, а художник звонил, звонил до тех пор, пока в батарее был ток, а потом уехал на такси с женой и картинами, оставив пианино и не заплатив по счетам.

— Уехал как ни в чем не бывало, такой здоровенный, длинный... Я его спрашиваю: что же мне теперь делать? А он заявил: «Можете требовать через суд»,— и поглядел на меня такими страшными глазами. И даже не подумал оставить адрес, куда уехал, так что как же я могу обратиться в суд?

Ввиду этих обстоятельств Эванджелина и решилась пустить в ход свою деловую сметку. Она еще раз осмотрела не слишком богато обставленные комнаты.

— Пианино нет,— заметила она.

— Вчера увезли. Оттого и штукатурка осыпалась на лестнице, видели? Если бы нам удалось договориться! Я была бы так рада. Но услуги взять на себя не могу, просто не могу. С теперешней прислугой... Все — война. Прислуга теперь не прежняя. Подавай ей выходные дни да воскресенья вторую половину. А так все тут очень удобно. Вы могли бы взять себе хорошую, солидную женщину для услуг. И не было бы никаких недоразумений.

Эванджелина быстро сообразила, какие преимущества сулит наличие служанки. Своей собственной, повинующейся твоим приказаниям. Настоящей служанки — в чепце и фартуке, которая будет открывать дверь гостям. И ей пришла в голову еще более блестящая идея: в случае званого обеда можно будет приглашать кухарку снизу и платить ей сколько-нибудь там дополнительно.

— Не слишком много,— добавила Эванджелина,— но столько, чтобы она была довольна. А если придется

немножко самой повозиться с готовкой, так мне не впервой faire la cuisine[1].

И еще прежде, чем она окончательно договорилась с непрактичной особой, комнаты были не то что сняты, а захвачены — и за более низкую плату, чем стоили все до сих пор виденные ими квартиры, даже без мебели.

— Мой муж...— сказала Эванджелина.— Через несколько недель он станет моим мужем... и тогда я перееду сюда совсем и буду вести хозяйство. Он заключит с вами контракт на обстановку, и мы привезем еще свои вещи — картины и всякое такое, так что будет уютно. В общем — устроимся неплохо.

Непрактичная особа залепетала какой-то вздор относительно сведений, но Эванджелина отклонила эту тему.

— Но что-то записать я ведь должна. Так уж водится, ничего не поделаешь. Ваши фамилии и все такое,— настаивала непрактичная особа.

Поискав вокруг перо и чернила, которых, по-видимому, никогда здесь и не было, она отправилась за ними в нижние апартаменты. Эванджелина, словно у себя дома, проводила ее на лестницу, посмотрела, как она спускается вниз, захлопнула дверь и проверила, плотно ли она закрыта, потом, совершенно преображенная, повернулась к своему возлюбленному.

Она скинула деловое выражение, словно маску, и теперь вся сияла от радости:

— Дорогой мой. Такой терпеливый. Ну разве здесь не мило? Не великолепно?

Она всплеснула руками, закружилась по направлению к нему и кончила тем, что крепко его поцеловала. Он судорожно сжал ее в объятиях.

— Погоди,— шепнула она, освобождаясь из его рук.— Она сейчас вернется.

Они стояли, не спуская друг с друга глаз.

— Ты ловко это устроила.

— Радуюсь одобрению своего повелителя.

Этот тон как раз подходил к обстоятельствам.

— Ты ловко умеешь устраивать такие дела,— повторил он.

---

[1] Стряпать *(франц.)*.

Непрактичная особа вернулась; она записала их фамилии, предполагаемый день въезда и то, что она называла «сведениями». Эванджелина указала два адреса, которые Эдварду-Альберту были незнакомы; в одном из них — если он не ослышался — упоминался Скотланд-ярд. Скотланд-ярд? Тут наступило молчание.

— Мы только еще раз немножко посмотрим,— сказала Эванджелина, давая понять хозяйке, что с ней разговор окончен.— Я хочу кое-что измерить.

Непрактичная особа отбыла, поскольку было совершенно очевидно, что ей здесь решительно больше нечего делать, и Эванджелина снова преобразилась.

— Мистер Эдвард-Альберт Тьюлер у себя дома,— произнесла она с поклоном.

— Чудеса, да и только,— ответил Эдвард-Альберт и кинул на нее пламенный взгляд.

Они помолчали.

— Если б я только мог хорошенько тебя обнять.

— А ты пока меня хорошенько поцелуй...

— А-ах!..

Она оттолкнула его.

— Ты делаешь успехи.

Эдвард-Альберт становился все смелей.

— Она ведь больше не придет сюда.

— А вдруг. Тсс... Что это?

Оба прислушались.

Его голос перешел в сдавленный шепот:

— Знаешь, для меня это настоящая пытка.

— Если б это от меня зависело, я бы ее прекратила.

— Давай просто придем сюда завтра.

— Тсс...

Снова молчание. Она предостерегающе положила ему руку на плечо.

— Послушай, милый. Ты ведь знаешь, что есть такие периоды... Знаешь?..

— Я что-то слышал...

— Ну, значит, тебе понятно.

— Тогда через неделю. Обещай мне, что через неделю.

— Обещаю это себе! — в упоении воскликнула Эванджелина и опять закружилась, на этот раз в сторону двери.

— Приходится верить, раз ты так говоришь,— недовольно проворчал Эдвард-Альберт и вышел за ней из квартиры.

В ожидании счастливого дня молодые люди под умелым руководством Эванджелины принялись изучать характеры друг друга. Эванджелина изучала внутренний облик Эдварда-Альберта очень подробно, а он, быстро подчинившись ей, видел ее только такой, какой она желала ему казаться.

Она поступила так, как часто поступают влюбленные: придумала себе особое имя — специально для него.

— Зови меня Эвадной. Эванджелина! Я это имя всегда терпеть не могла. Сразу напоминает викторианцев и лонгфелловское что-то. Оно ко мне не идет. А вот Эвадна... Милый, скажи: «Эвадна».

— Эвадна,— повторил Эдвард-Альберт.

— Дорогая Эвадна.

— Дорогая Эвадна,— опять послушно повторил он.

— Теперь насчет нашей свадьбы. У нас будет настоящая, хорошая свадьба. Не какая-то там дурацкая регистрация. Нет, и «голос господа бога, ходящего в раю», и все как надо. Ты будешь так хорош в цилиндре и светло-серых брюках. А на жилете, представь себе,— белые отвороты.

— Здорово! — воскликнул Эдвард-Альберт, заинтересованный и польщенный, но сильно испуганный.

— А у меня флердоранж.

— А во что это обойдется?

— Боюсь, ты сочтешь меня старомодной! Но у меня ведь столько родных, с которыми я должна считаться. Как это странно, что ты до сих пор ничего не знаешь о моих родных, ну ровно ничего. Ты даже ни разу не спросил. У меня есть отец, крестный и куча родственников.

— Я ведь не на них женюсь,— заметил будущий счастливый супруг.

— Я не позволю им обижать тебя, Тэдди. Но они существуют. Придется нам приноравливаться. Отец у меня полисмен — о, только не обыкновенный полисмен. Он из Скотланд-ярда. Работает в уголовном розыске. Инспектор Биркенхэд. У него еще ни разу не было крупного дела, но он всегда говорит, что придет и его день.

Он очень, очень проницательный. От него ничто не укроется. Он немножко жестковат, очень строгих правил. Дело в том, что моя мать его бросила и он никогда не мог с этим примириться. Если бы он узнал... если бы только вообразил, что мы решили не дожидаться...

— А зачем кому-нибудь знать об этом?

— Упаси боже, если он узнает... Так что видишь, все должно быть, как я говорю. Настоящая свадьба, и кто-то должен быть моим посаженым отцом, выдать меня...

— Кто же это будет тебя выдавать? Кто смеет тобой распоряжаться?

— Мне кажется, милый, нам бы следовало куда-нибудь пойти посмотреть настоящую свадьбу. Ты тогда будешь знать, как это делается. Нам необходим шафер, который похлопотал бы для нас и все устроил. Рис, и флердоранж, и все de Rigor[1]. Я уж об этом подумала. У меня есть родственники, Чезер по фамилии. Моя кузина Милли — мы с ней вместе ходили в школу. Она вышла замуж за молодого Чезера. Пипа Чезера. Это делец, как сказал бы Арнольд Беннет, настоящий делец. Ловкач. Он работает директором одного вест-эндского бюро похоронных процессий и может прислать кареты и лошадей за гроши — прямо из конюшни. Кареты, Тэдди! Но, конечно, ни черных перчаток, ни поминальных блюд нам не требуется. Старик Чезер — мой крестный. Он торгует шампанским — особым, без указания года: поставляет его для отелей, ночных клубов, свадеб и тому подобное. Это такое шампанское, которое делают специально для него. Оно дешевле, но тоже хорошее. Он считает — даже лучше. И он всегда говорил, что в торжественчый день моей свадьбы заботы о парадном завтраке он возьмет на себя.

Она задумалась.

— Я не хочу звать никого из сослуживцев. Нет, нет. С ними покончено. Правда, они хорошо ко мне относились. Но как только я там разделаюсь, так прости-прощай. Я не хочу никого обижать, но... в таких случаях надо рвать раз и навсегда.

---

[1] Эванджелина произносит де-Ригор; правильно было бы де-ригёр (de rigueur), что по-французски значит «по всей строгости».

И она снова задумалась.

— Да,— произнесла она наконец, словно дверь за собой захлопнула.— Теперь насчет Дуберов. Миссис Дубер. Милая Гоупи. И все. Эта дурочка-племянница может прийти в церковь.

Эдвард-Альберт созерцал картину того, что его ожидает, с торжествующим самодовольством. Ему бы очень хотелось, чтобы на свадьбе присутствовали Берт и Нэтс — смотрели бы и удивлялись! — да кое-какие молодые люди и девушки из «Норс-Лондон Лизхолдс» — смотрели бы и завидовали! И где-нибудь, как-нибудь он торжествующе шепнул бы Берту:

— Я уже имел ее. Черт возьми — она недурна.

«Hubris» [1] назвали бы это, вероятно, наши классики.

Свадебные грезы продолжались. Он узнал, как невеста потихоньку скроется и наденет дорожное платье. Он тоже переоденется. Им вдогонку будут кидать старые туфли — на счастье.

— И — в дорогу. Может быть, в веселый Париж? Я всегда мечтала. Когда-нибудь, когда ты тоже выучишься по-французски, мы устроим себе в Париже миленький маленький ventre à terre [2].

Эдвард-Альберт встрепенулся.

— Ну нет, в Париж мы не поедем. Ты там опять начнешь флиртовать с этим своим faux pa. Ни в коем случае.

— Ты ревнуешь? Как это приятно,—сказала Эвадна-Эванджелина.— Но если б ты его видел! Он совсем старый. Милый, правда, но уже развалина. Ну, если ты не хочешь туда, так перед нами — весь мир. Поедем в Булонь, а то в очаровательный Торкэй или Борнмаус — снимем там комнату... Это будет наша комнатка, и солнце будет освещать ее для нас. Только представь себе это!

Он представил.

Они делали покупки. Эвадна принадлежала к числу самых придирчивых покупательниц. Джентльмены в черных пиджаках подобострастно склонялись перед ней, угодливо потирая руки. А она обращалась к Эдварду

---

[1] Гордыня (*греч.*).

[2] Эванджелина хочет сказать «pied à terre», что значит «уголок», «квартирка»; «ventre à terre» — буквально «брюхом по земле» — говорится о мчащейся карьером лошади.

Тьюлеру и советовалась с ним. Они купили кое-что из мебели. Купили очаровательный мягкий коврик — «для наших босых ножек,— шепнула она,— а sauté lit»[1]. И картин — потому что ведь художник увез все свои картины.

— Enfant saoul![2] — воскликнула Эванджелина при виде картины, которую она специально искала.

Это была великолепная гравюра на стали, изображавшая высокого, стройного молодого человека, который держит в объятиях свою невесту и прижимает к губам ее руку в радостную первую минуту полного уединения.

— Ах, это такая прелестная картина! — сказала Эвадна-Эванджелина, восторженно любуясь своей находкой.

— Милый,— шепнула она, когда приказчик отошел так, что не мог ее слышать.— Я считаю дни и часы. Жду не дождусь этой минуты.

Таким-то образом Эдвард-Альберт водворился в своем новом жилище, и Эванджелина, улучив удобную минуту, пришла, как обещала ему и себе, чтобы ему отдаться.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЗАПАДНЯ ДЛЯ НЕВИННЫХ

Так, увлекаемые неодолимым страстным желанием, наши двое наследников Вековой Мудрости подошли к решительному моменту в своей половой жизни.

И тут, я вижу, мне придется, хотя бы в пределах короткой главы, настроить на несколько иной лад свое правдивое повествование.

До сих пор наш рассказ о словах и поступках Эдварда-Альберта был простым, бесстрастным изложением событий, и если кое-где невольно и сквозила мысль о внутренней нелепости всего его жизненного пути, то все же, мне кажется, дело ни разу не доходило до осмеяния. Но

---

[1] Смысл: «для вставания с постели» — (au saut du lit).

[2] Эванджелина хочет сказать: «Enfin seuls» — «Наконец одни»; вместо этого у нее получается «Enfant saoul» — «Пьяный ребенок».

то, о чем мне предстоит теперь рассказать, до такой степени прискорбно, что я вынужден даже взять сторону своих героев — против обстоятельств, которые довели их до этого.

Оба они — в особенности Эдвард-Альберт — были глубоко невежественны во всем, что касается основных вопросов пола. В то время благодетельные писания м-сс Мэри Стопс уже завоевали широкую популярность, но в тот общественный слой, к которому принадлежали наши герои, ее указания относительно условий супружеского счастья не успели проникнуть. Понадобилось еще несколько лет для того, чтобы они стали темой эстрадных юмористов.

Кое-что Эдварду-Альберту было известно. У него были даже некоторые преувеличенные понятия о венерических болезнях, о грубых «мерах предосторожности» и отталкивающих сторонах влечения к Этому. Но о девственности он имел весьма смутное и отдаленное представление.

Что же касается Эванджелины, то она полагала, что влюбленная девушка, отдаваясь, испытывает наслаждение. Что-то такое происходит — это она знала, но думала, что это что-то приятное.

Он даже не поцеловал ее. Была короткая борьба. Она почувствовала, что ее схватили с бешеной энергией, опрокинули.

— О-о-о! — стонала она все громче и громче.— Перестань! А-а-а-а! О-о-о-ой!

Наконец нестерпимое было позади. Она лежала в изнеможении.

Эдвард-Альберт сел с выражением ужаса на лице.

— Что это такое? — пролепетал он.— Ты чем-то больна? Кровь...

Он кинулся в ванную. Вернувшись, он увидел, что Эванджелина сидит и заливается слезами — от боли, обиды и страха.

— Свинья,— сказала она.— Дурак. Эгоист и дурак. Пентюх. Что ты сделал со мной?.. Смотри — вон лежит эта гадость. Твои «меры предосторожности».

Она указывала дрожащим пальцем, на котором было надето кольцо.

— Боже мой, я совсем про это забыл.

— Ты и про меня забыл. И про все на свете. Дурак. Противная свинья...

— Почем же я знал? И потом сам-то я... Что ты сделала со мной?

— Я бы еще и не то с тобой сделала. Если б я могла сейчас тебя убить, так убила бы. Убирайся прочь от меня.

— Куда ты? Что ты хочешь делать?

— Уйти. Одеться. Вымыться, насколько возможно. Убежать от тебя куда глаза глядят. Чтобы не стошнило.

Она металась по комнате, торопливо одеваясь и осыпая его оскорблениями. Он сидел на измятой, разоренной постели, обдумывая создавшееся положение.

— Подожди минутку,— сказал он наконец.— Ты не можешь уйти так.

— Если что-нибудь будет... О, если только что-нибудь будет... я тебя убью.

— Но ты же не оставишь меня здесь.

— Я убью тебя, а потом себя. Клянусь. Клянусь.

— Не можешь же ты меня тут так оставить.

Он вышел за ней в гостиную и попытался удержать ее. И тут произошла странная вещь: за двадцать минут до того она была совершенно беспомощна в его руках, но теперь, когда он попытался преградить ей путь к двери, она метнула на него взгляд, исполненный жгучей ненависти, гнева и презрения, который подействовал, как удар.

— Дурак! — крикнула она ему прямо в лицо.

Она сжала кулаки, поднесла их к вискам и вдруг ударила его прямо по лицу с такой силой, что он пошатнулся и упал.

Полетел кувырком и растянулся на полу.

Дверь за ней захлопнулась, и он очутился в своем новом гнездышке — голый, на полу, под опрокинутым стулом, у стены, на которой висела прекрасная, полная нежности картина «Enfin seuls».

Бедные зверёныши! Вот какую страшную шутку сыграла тьюлеровская цивилизация с двумя своими созданиями — и без всякого смысла. Вернее, потому, что она и не ищет тут смысла. Именно она затуманила им голову и привела их к этому...

Эванджелина добрела до площади вне себя, взбешенная, обезумевшая. После некоторого колебания она позвала такси и помчалась к своей родственнице Милли Чезер рассказать ей обо всем — так как ей казалось, что ее разорвет, если она не расскажет кому-нибудь. Потом она вернулась в Скартмор-хауз и, не ужиная, легла в постель. А Эдвард-Альберт медленно оделся и еще медленнее привел в порядок свои расстроенные чувства.

Он попытался облегчить положение, свести все к простой ненависти. Он стал выкрикивать по ее адресу ругательства. «Чертовка» было самым нежным из названий, которые он мог для нее найти.

— Ты вернешься, скверная сука. Только попадись мне тут, я тебе покажу.

Он распалял в себе гнев и в то же время уже снова желал ее. Это его возмущало, но он чувствовал, что успел только отведать ее.

У него остались два красных пятна на щеках от ее кулаков. Он с огорчением тщательно рассмотрел их в зеркале, висевшем в ванной. Будут синяки, если не смочить холодной водой. И в одном месте треснула кожа и сочится кровь.

«Она меня захватила врасплох... Это вот от ее кольца... Прямо осатанела... Так я, значит, свинья? Эгоист и свинья? И дурак, а? Что она — в самом деле это думает или просто так?.. Да, вот какая история... Я сделал глупость, что дал ей уйти... Но она перевернула бы весь дом... И куда это она пошла? В каком дурацком я буду положении, если она вернется на прежнюю службу. А ведь если все обойдется... она может это сделать».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

МИСТЕР ПИП ЧЕЗЕР

Несмотря на пережитое потрясение, Эдвард-Альберт проспал ночь спокойно и утром проснулся хотя еще растерянный, но уже отдохнув и чувствуя себя гораздо более способным отстаивать свои права в этом враждебном мире. Так как делать ему было нечего, он пошел гулять в Риджент-парк; там он сел поблизости от той

самой скамейки, на которой неделю назад они с Эванджелиной строили планы будущего. И несмотря на происшедшую накануне трагедию, он почувствовал, что сильно тоскует по ней.

Почти целых две недели она подвергала его энергичному моральному массажу, умащивала лестью и обожанием, а теперь он оказался грубо выброшенным в холодный, отрезвляющий мир. И вчерашние события предстали перед ним в новом свете. Как бы там ни было, он узнал, он испытал Это. Он стал мужчиной. Он больше уже не кидал украдкой робких взглядов на проходящих мимо девушек и женщин. Он овладел их тайной. Он смотрел на них критически. Но ни одна из них — это было ясно — не могла заменить Эванджелину. Самая его ненависть к ней, исступленная и неистовая, говорила ему о том, что с ней ни в коем случае не покончено.

Что же теперь делать? Надо немножко пройтись. Заглянуть в витрины на Риджент-стрит. Где-нибудь закусить. И подождать — как развернутся события.

Днем к нему явился неожиданный посетитель.

Открывая дверь, Эдвард-Альберт думал, что это звонит какой-нибудь торговец. Он увидел перед собой невысокого, но держащегося очень прямо молодого человека в весело сдвинутом набекрень котелке, в необыкновенно изящном черном пиджаке, светлых в елочку брюках и ярком, радужном галстуке, замечательно гармонирующем с голубой рубашкой и уголком носового платка, который высовывался из нагрудного кармана. Лицо у него было тоже, если можно так выразиться, прямое: чисто выбритое, с живыми темно-карими глазами, вздернутым носом и большим, чуть скошенным ртом, вот-вот готовым улыбнуться. Жизнерадостный вид подчеркивался розовой гвоздикой в петлице. По понятиям Эдварда-Альберта, костюм незнакомца представлял собой верх элегантности. Он шире открыл дверь.

Незнакомец заржал. Он громко, отчетливо и протяжно издал звук: «И-го-го». И только после этого заговорил.

— Мистер Тьюлер? — спросил он.

— Вы меня ищете? — в свою очередь, осведомился Эдвард-Альберт.

— Сразу догадались,— продолжал незнакомец.— Можно войти?

Эдвард-Альберт посторонился, чтобы пропустить его.

— Я не разобрал вашей фамилии,— сказал он.— Если вы по делу...— Он вспомнил о недавних наставлениях Эванджелины.— Может, у вас есть карточка?..

— Отчего же,— ответил незнакомец.— Полагаю — и-го-го,— что есть.

Он вынул изящный бумажник черной кожи с серебряной монограммой и достал оттуда визитную карточку.

— Не пугайтесь! — произнес он, вручая ее Эдварду-Альберту.

Текст в жирной черной рамке гласил:

М-Р ФИЛИПП ЧЕЗЕР
представитель фирмы «ПОНТИФЕКС, ЭРН И БЭРК,
БЮРО ПОХОРОННЫХ ПРОЦЕССИЙ»

Гость несколько мгновений следил за выражением лица хозяина, потом рассмеялся и поспешно объяснил:

— Я не по делу, Эдвард-Альберт, не по делу. Просто зашел познакомиться. У меня нет другой карточки при себе. Позвольте представиться: Пип Чезер — к вашим услугам. Пип. Пип Чезер. Я — и-го-го — муж двоюродной сестры Эванджелины. Они с моей женой закадычные подруги. Еще со школьной скамьи. Вы, может быть, слышали от нее о Милли, душеньке Милли. Она ее иначе не называет. А мой почтенный родитель — ее крестный. Приятный малый, только не вздумайте когда-нибудь назвать его «Шипучка». Он будет посаженым отцом. У него же — парадный завтрак и все прочее. А мне предстоит роль шафера. Понятно? Я и пришел обо всем условиться.

Он снял шляпу, обнажив торчащий на голове хохол. Некоторое время он как будто не знал, куда положить ее, и решил держать в руке, пока не найдется подходящего места.

— Вам надо завести вешалку, Эдвард-Альберт,— заявил он.— Для шляп и зонтиков. Вон туда поставить.

Он показал шляпой, куда именно.

— Непременно купите... Ну, давайте потолкуем. Как будто славная квартирка, светлая.

Эдвард-Альберт отворил дверь в гостиную.

— Хотите чаю? — спросил он.— Я могу приготовить.

— Лучше — и-го-го — виски,— ответил м-р Чезер.

— У меня сейчас нет виски.

— О, надо всегда держать бутылку виски в буфете, обязательно. И всякую ерунду для коктейля: джин, полынную, лимонный сок — и-го-го — все, что нужно. Нельзя, чтобы в доме не было чем согреться. Насчет чая не хлопочите. Покончим с делами и сходим куда-нибудь — пропустим по одной, как говорится. Я позвонил бы вам утром, да у вас еще нет телефона. Вы должны поставить себе телефон. Только послушайтесь моего совета — не ставьте его в передней, чтобы всем было слышно. Поставьте в уголке около письменного стола. И отводную трубку в спальне. Потом выберем подходящее место. Я — и-го-го — не мог зайти утром, потому что пришлось двух покойников в Уокинг доставлять. Надо было — и-го-го — скинуть траур.

Он осторожно, заботливо положил шляпу на самую середину стола и грациозно уселся на стул, закинув одну руку за спинку. Эдварду-Альберту гость показался великолепным. Он постарался принять столь же непринужденную позу, ожидая, пока гость начнет говорить.

М-р Чезер задумался. Потом, вместо того чтобы перейти к делу, пустился в длинные рассуждения.

— Похоронное дело — и-го-го — не такое уж мрачное занятие, Эдвард-Альберт. Не думайте. Оно — и-го-го — любопытное. Чувствуешь какую-то бодрость, когда зароешь покойника в землю, а сам пошел себе как ни в чем не бывало. Сколько вздору болтают о скорби, о тяжкой утрате и прочее в таком же духе. Если нет никакой ссоры из-за завещания или еще чего-нибудь, все — и-го-го — все делают постные мины. Делают, сэр. Потому что таких мин не было бы, если б их не делали. Ведь мы-то — и-го-го — остались в живых. Еще одного покойничка пережили. Мне всегда хочется обойти присутствующих, и похлопать их по спине, и посоветовать им — и-го-го — без стеснения засмеяться. Иногда они в самом деле смеются. Я раз видел, как целая процессия хихикала... Заметили какую-то собачку, не то еще что-то... Наша-то обязанность, понятно,— сохранять серьезное выражение лица. За это ведь нам, так сказать, и платят. За серьезное выражение. Понимаете?

— За серьезное выражение,— повторил Эдвард-Альберт.— Правильно. Это правильно.

М-р Пип помолчал, потом издал особенно протяжное «и-го-го» и уклонился в сторону.

— В Америке похоронное дело поставлено по-другому. У них там целая волынка с покойником, которой наши вест-эндские клиенты не выдержали бы. Просто не выдержали бы. Они его подкрашивают и принаряжают, а потом устраивают торжественное прощание. Являются знакомые, оставляют свои визитные карточки. Это не в нашем духе. В Лондоне этим занимаются иностранные фирмы, но не мы. Нет.

Он умолк, как будто исчерпав тему. Приятнейшим образом улыбнулся Эдварду-Альберту: он сам не знает, почему вдруг заговорил о похоронах. Он мог бы порассказать Эдварду-Альберту много любопытного, но сейчас им предстоит побеседовать кой о чем посерьезней. Если он когда-нибудь соберется написать книгу — а он частенько об этом подумывает,— то назовет ее «Серебряный катафалк». Но это может повредить предприятию...

— Да, пожалуй,— вдумчиво заметил Эдвард-Альберт.

— Ну, а теперь пора заняться делом,— объявил м-р Чезер.

О чем это он собирается говорить?

— Да-а-а,— неопределенно протянул Эдвард-Альберт и насторожился.

— Свадьба — и-го-го,— свадьба — вещь серьезная. Очень серьезная. С нее многое начинается, так же как похоронами кончается. Она чревата последствиями — и-го-го. Неисчислимыми последствиями. Моя дорогая родственница Эванджелина сказала, что вы, так сказать, круглый сирота. Вы еще нигде не успели побывать и ничем пока не занимаетесь по-настоящему. Весь мир открыт перед вами. Вы нуждаетесь в руководстве — и в серьезных делах и в мелочах. Тут-то и выступает на сцену шафер. Скажу без ложной скромности: вам повезло, что вы имеете шафером такого человека, как я. Я — и-го-го — один из лучших шаферов в Лондоне. Собаку на этом съел. Десятки пар — шесть, а то и семь — перевенчал. Объясню все, что вам надо знать и как действовать.

Но он как будто все еще что-то не договаривал. Он встал, засунул руки в карманы брюк и зашагал взад и вперед по комнате, искоса поглядывая на Эдварда-Альберта.

— Славная у вас квартирка. Просто прелесть. Как, уже сломан стул? Ах, эта мебель в рассрочку! Не успел выплатить, уже надо новую. И картину достали «Enfin seuls»! Это ведь Лейтон, правда?

— Вот насчет свадьбы...— начал Эдвард-Альберт.

Чезер круто повернулся к нему на каблуках и весь превратился во внимание.

— Что именно?

— Дело в том, мистер Филипп...

— Пип для вас, дорогой мой, просто Пип...

— Так вот насчет этого... Дело в том... Должен сказать вам, что у нас с ней произошла маленькая размолвка.

— Жена что-то говорила мне об этом, пока я скидывал свои печальные одежды и надевал вот эти — и-го-го — невинно-радостные... Буря в стакане воды. Бросьте думать об этом. Говорю вам — и-го-го — бросьте. У кого не бывает таких недоразумений. Перед свадьбой без этого не обходится. Дело обычное. «Помолвка откладывается» — это можно видеть в «Таймсе» постоянно. Вот в чем преимущество похоронного дела: у нас без отбоя. Сперва покажи удостоверение о смерти — без этого за тебя не примусь.

— Что вам говорила миссис Чезер?

— Да ничего особенного. Сказала, что вы немножко повздорили. Вы Эванджелину чем-то обидели, что ли?

— Мы с ней... (Он поискал выражения). Мы с ней немножко не столковались.

Взглянув на своего протеже, Пип заметил, что тот густо покраснел. Вид у него был еще наивней и глупей, чем обычно.

— Я ведь не младенец, дорогой мой,— заявил Пип Чезер.— Не будем говорить об этом. Бросьте об этом думать. Над тем, что вчера огорчало, завтра станете смеяться. Ведь вы будете рады, если она вернется? Верно? Надо признать за женщиной право иметь свой подход — и-го-го — к некоторым вопросам, в особенности на первых порах. Согласитесь на это, и она вер-

нется. Сейчас же. Согласны? Да? Ну и толковать не о чем. Все в порядке.

Вернувшись домой, он рассказал жене о положении дел.

— Я так и думал, что в этом все дело,— сказал он после того, как жена посвятила его в подробности ссоры.— Кажется, у нас с тобой таких недоразумений не было...

— Ты все знал от рождения,— ответила Милли Чезер.— А уж чем дальше, тем больше. Пойду скажу ей. Она ждет наверху...

— Он хочет, чтобы ты вернулась,— сказала Милли Эванджелине, поднявшись наверх.

Эванджелина была занята чтением «Похождений принцессы Присциллы». Она отложила книгу в сторону, делая вид, будто ей жаль оторваться.

— А он просит извинения? Он должен попросить извинения.

— Просит.

— Я хочу поставить все точки над и. Это просто опасный субъект. Я готова возненавидеть его и, если он не будет осторожен, в самом деле возненавижу. У меня должна быть отдельная комната. Я должна... должна иметь свой голос и право распоряжаться собой... Постоянно. После того, что было, это просто необходимо, Милли.

— Пип говорит, что он понял, что вел себя по-идиотски, и теперь кроток, как овечка.

— Овечка. Хм... Овечки тоже разные бывают. Если он хочет, чтобы мы жили вместе, так должен быть ягненком.

— Так ты поедешь и поговоришь с ним?

Когда Эванджелина вернулась, Эдварда-Альберта не было дома. Он пошел сказать, чтобы ему принесли виски и несколько сифонов содовой. Непрактичная особа впустила Эванджелину, ни слова не сказав. Таким образом, вернувшись, он снова нашел Эванджелину у руля.

Пока ее не было, он говорил себе, что, как только она вернется, он сделает с ней то-то и то-то. Но едва он столкнулся с ней лицом к лицу, оказалось, что все замыслы классической расправы совершенно неосуществимы.

— Ну? — промолвила она.

Он уловил в ее взгляде угрозу. Сделав шаг по направлению к ней, он сказал:

— Как я рад, что ты вернулась. Я так ждал тебя.

— Погоди,— остановила она его.— Погоди минуточку, Тэдди. Убери руку. И слушай. Если ты думаешь, что я позволю такому медведю, как ты, опять меня увечить...

На столе что-то блеснуло.

— Что это такое?

— Это хлебный нож, мой милый. Если ты затеешь драку, я не ручаюсь... А установить, кто из нас начал, будет трудно. Понимаешь? Я не шучу, Тэдди.

Она прочла на его лице страх и поняла, что одержала верх — по крайней мере на данном этапе. К ее презрению примешивался все еще значительный остаток нежности и чувства собственности. А в теле снова проснулось желание.

— Послушай,— продолжала она.— Имей в виду, что ты по сравнению со мной еще мальчик: я на шесть лет старше тебя. Мне неприятно говорить об этом, но это необходимо. Ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь. Тут нет ни твоей, ни моей вины, но это так. Лет через десять эта разница в годах не будет иметь значения, но теперь имеет. Тогда руководить будешь ты. В этом не может быть сомнения. Понимаешь? Но теперь делай то, что я говорю, и так будет лучше для нас обоих.

— А что это значит: делать то, что ты говоришь?

— Это значит — вести себя, как влюбленный, а не как осатанелый, взбесившийся звереныш. Вот что это значит.

— Но как?

— Если не знаешь, слушайся меня.

— Ну хорошо, пусть будет по-твоему. Но что я должен делать?

— Ты должен быть тем скромным влюбленным, каким был раньше.

— Что же мне, так всю жизнь простоять на коленях?

— Делай, как я тебе говорю. Если обещаешь, можешь лечь со мной сейчас.

— Как?!

— Я говорю серьезно.

И вдруг это удивительное создание, обойдя стол, подошло к нему, обняло его, прижало к себе и поцеловало. Он машинально ответил на поцелуй.

Она повела его в свою комнату.

— Пока еще не известно, стряслась ли над нами беда, так что будь осторожен, Тэдди...

После того как она ушла, он еще долго сидел, онемев от изумления перед странностями женской души.

«Какая изменчивая! — думал он.— Сейчас не знает, что сделает через десять минут. Любовь, поцелуи, только поспевай за ней, потом вдруг — убирайся прочь, так что можно подумать, никогда ничего и не было».

С неделю она почти не заговаривала о свадьбе, а потом вдруг заявила, что чем скорей они обвенчаются, тем лучше.

— Почему такая спешка? — спросил Эдвард-Альберт.

— Fate accompli[1]. Теперь я знаю, что мы д о л ж н ы обвенчаться, вот и все.

— Это значит — ребенок,— догадался Эдвард-Альберт.

Он много думал за последние дни. И чем больше думал, тем к более печальным выводам приходил.

— Значит — ребенок,— повторил он.

— Правильно: значит — ребенок.

— И ты... и все теперь испорчено. Сиделки, болезни. Весь дом вверх тормашками. А потом ребеночек — уа-уа-уа.

— А ты чего ждал?

— Я думал, мы еще поживем, как сейчас. По крайней мере хоть немножко.

— Знаю, что ты так думал... Да вот не вышло.

Она поглядела на его вытянувшуюся физиономию.

— И только из-за того, что ты раз был неосторожен, Тэдди. Это тебе хороший урок. Необходима осторожность.

Но Эдвард-Альберт не хотел брать вину на себя.

---

[1] Правильно — fait accompli — совершившийся факт; французское слово fait (факт) заменено английским fate (судьба).

— Ты меня завлекала,— сказал он.— Именно завлекала, самым настоящим образом. С тех самых пор, как я получил эти проклятые деньги. Глаза бы мои их не видели. И тебя тоже.

Она пожала плечами и не проронила ни слова. Да и что могла она на это сказать?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

СВАДЬБА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Отчего м-р Филипп Чезер издавал ржание наряду с обыкновенной человеческой речью? Его многочисленные друзья и знакомые потратили немало умственной энергии, пытаясь разрешить этот вопрос. Был ли у него этот недостаток врожденным, или благоприобретенным, или выработался в результате подражания? Даже его ненаглядная Милли хорошенько не знала этого. Когда она познакомилась с ним и вышла за него замуж, эта черта была уже характерной его особенностью.

Возможно, тут сыграло роль детское заиканье и прием, при помощи которого оно было излечено. Задержите дыханье, вдохните воздух и потом говорите — и вот заиканье прошло, но вместо него появилось ржанье. Наблюдательные люди утверждали, что речь м-ра Чезера всегда сопровождается этим призвуком. Он забывал произвести его, лишь когда был чем-нибудь заинтересован. Но прибегал к нему, чтобы привлечь внимание. На вечеринках громкое ржанье м-ра Чезера было равносильно возгласу распорядителя пира: «Слово принадлежит такому-то». Оно позволяло ему оправдать паузу, гарантировало, что его не перебьют, пока он собирается с мыслями, и в то же время предупреждало, что сейчас последует нечто очень существенное. М-р Чезер сохранял эту привычку, но никогда не говорил о ней. Он был очень скрытен.

У нас относительно нашей речи множество всяких иллюзий, в большинстве случаев вздорных. Мы воображаем, будто говорим ясно и понятно, что совершенно не соответствует действительности. Мы не слышим тех звуков, которые произносим. Мы думаем, будто мыслим и вы-

ражаем свои мысли. Это наше величайшее заблуждение. Речь Homo Тьюлера, Homo Subsapiens'а, еще непригодна к тому, чтобы выражать явления действительности, а его мышление даже в лучшем случае представляет собой лишь сплетение неудачных символов, аналогий и метафор, при помощи которых он рассчитывает приспособить истину к своим желаниям. Прислушайтесь внимательно к тому, что вокруг вас говорят, вчитайтесь в то, что пишут, и вы убедитесь, что у каждого есть свои излюбленные защитные приемы, каждый делает совершенно тщетные попытки достичь подлинной выразительности, но разменивается на уловки и хитрости, продиктованные чем-то,— и-го-го! — гораздо более ему свойственным,— именно жаждой самоутверждения.

Только в последние годы науки сигнифика и семантика открыли людям глаза на огромную неточность и произвол языка. Говорят о чистом английском, совершенном французском, идеальном немецком языке. Эта предполагаемая безупречность — академическая иллюзия. В нее может поверить разве только школьный учитель. Каждый язык что ни день, что ни час изменяется. Люди, более меня компетентные в такого рода вопросах, говорили мне, что условный французский язык Эванджелины, с самого начала далекий от совершенства, а в дальнейшем и вовсе ею позабытый, не качественно, а лишь количественно отличался от французского языка любого человека, в том числе и любого француза. Быть может, когда-нибудь изобретательные умы найдут способ приблизить язык, который является не только средством выражения, но и орудием мысли, к поддающимся опытной проверке реальным явлениям. Однако это будет не раньше, чем мы, Тьюлеры, выбьемся на уровень Sapiens'а. Пока этого еще нет.

Пока речь — это главным образом наше оружие в борьбе за самоутверждение, но с этой точки зрения среди образцов, приведенных в этой книге, нет ни одного, более отвечающего своему назначению, чем протяжное, агрессивное, повелительное и в то же время внешне столь безличное «и-го-го» Пипа Чезера. Каким бледным кажется рядом с ним «как бы сказать» Эдварда-Альберта, какими искусственными — бесконечные нагромождения ничего не значащих фраз, при помощи которых ора-

тор держит своих слушателей в состоянии пассивного безразличия, покуда ухватит потерянную нить своей аргументации.

Последнее, что способен заметить оратор или писатель,— это свою собственную ограниченность, и критически мыслящий слушатель или читатель должен это учитывать.

Наше повествование, тоже отмеченное этим недостатком, представляет собой упорную попытку воспроизвести жизненные явления — в частности описать одно характерное существование и одну характерную группу — как можно полнее: каждый индивидуум показан здесь со всей доступной искусству автора правдивостью. И вот каждый из них, кроме общей им всем ущербности, оказался также обладателем своей собственной, специфической манеры выражаться, собственных речевых ужимок и запасов словесного хлама. Как и каждый из тех, кого вы знаете.

Итак — и-го-го! Да здравствует веселый шафер!

Вечер накануне свадьбы он провел в усиленном натаскивании Эдварда-Альберта. Он отдавался этому делу с возрастающим увлечением. Он находил в нашем герое какую-то особую прелесть, очевидно, незаметную для прочего человечества. Кроме того, он любил руководить. Как выразилась его жена, он все знал от рожденья, ни разу не уклонился от столь блестяще начатого пути и обладал необычайными познаниями относительно того, где, когда и как в любом случае купить самую изящную вещь по самой низкой цене.

— У нас все до ниточки будет как надо, Тэдди. Перед церковью будут фотографы из отделов светской хроники. Есть у меня один человечек... Там-то ведь не знают, кто мы такие. О, вы будете выглядеть на славу, сумейте только выдержать марку. Будьте покойны — и-го-го — дело верное... Как в аптеке.

Он торжественно прошелся с Эдвардом-Альбертом взад и вперед по спальне. Потом взял его под руку и поставил перед зеркалом.

— Не угодно ли! Пип и Тьюлер, одетые к свадьбе. Ну скажите, разве это не лучше любых похорон?

— Я, знаете, как-то не ожидал всего этого.

— Вот именно. Поэтому-то я и нужен. Ну-ка, милая

сиротка, еще разок свою речь. «Леди и джентльмены!» Ну!

Он очень гордился речью, которую составил для своего ученика.

— Никаких там «я не привык выступать перед публикой» и прочей ерунды. Нет. Что-нибудь попроще — мило и непринужденно. Станьте поближе к столу. Теперь начинайте.

Эдвард-Альберт стал в позу возле стола.

— Леди и джентльмены,— произнес он. Потом, помолчав, прибавил: — И вы, моя дорогая Эванджелина...

— Хорошо!

— Я э-э... Я никогда в жизни не произносил речей. Возможно, не буду и в дальнейшем. А сейчас... сердце мое слишком полно! Да хранит вас всех Господь!

— Отлично! Исключительно трогательно! Потом вы садитесь. Мой высокочтимый папашка... он не обижается, когда его зовут «папашка», только «шипучка» выводит его из себя,— итак, мой папашка пускает пробку в потолок и слегка всех вас обрызгивает. В конце концов завтрак ведь устраивает он. Потом поцелуи. Милли вас целует. Разные женщины целуют вас, злодей. Но я вытаскиваю вас оттуда и на вокзал, а потом — дивный Торкэй.

— Вы нас проводите?

— Буду с вами до отхода поезда... А теперь помогите мне развесить вашу фрачную пару. Синий костюм будет ждать вас на квартире у папашки... Я ничего не забыл. Я-то уж не забуду. Что было бы с этой свадьбой, если бы не мое savoir faire[1], это превосходит всякое воображение, говорю вам, превосходит, просто превосходит.

Эдвард-Альберт чихнул.

— Где ваш халат? У каждого мужчины в вашем положении должен быть стеганый халат.

— Меня целый день знобит. Наверно, простудился.

— Вот на такой случай необходимо иметь виски, дорогой мой. Есть у вас лимон? Нет лимона! Надо всегда иметь лимон под рукой. Лягте в постель. Я вам приго-

---

[1] Уменье взяться за дело (*франц.*).

товлю грелку, а потом хорошенько укрою вас. Какой там шафер! Я вам и нянька и слуга. Только помолитесь на сон грядущий. Начинайте. «Леди и джентльмены и ты, моя дорогая Эванджелина. Я никогда в жизни не произносил речей...» Дальше... Хорошо! А теперь приступите к виски, ягненочек, приготовленный для заклания... Я поставлю здесь, около вас. Ну, спите, мой Бенедикт. Покойной ночи.

Но именно спать-то Эдвард-Альберт и не мог. Непреодолимый страх перед темнотой и отвращение к себе охватили его.

Что-то в поведении Пипа да и всех окружающих говорило ему, что над ним смеются. Днем он опять был в объятиях Эванджелины и теперь находился в состоянии нервного истощения. Она всегда сперва раздразнит его, а потом ругает. То не так, и это не так. Приятно это слышать мужчине? И потом опять старается распалить его. А теперь вот его разоденут, словно шута горохового... Нет, это уж слишком. Он не желает. Не желает. Будь он проклят, если пойдет на это. Он свободный гражданин в свободной стране. Он пошлет все к черту. Провались они со своим парадным завтраком.

Он встал с постели. Громко чихнул. Да, он пошлет все к черту,—все, начиная с этого цилиндра. Однако при виде безупречного цилиндра его решимость несколько ослабела. В нем опять проснулся раболепный мещанин. Он забрался обратно в постель и долго сидел в ней, уставившись на парадный головной убор. Но через час он уже снова был в бешенстве и твердил, что не женится ни за что на свете. Его силой втянули в это дело. Его завлекли. Он вовсе об этом не думал...

М-р Пип, одетый, как подобает идеальному шаферу, немножко запоздал и выказывал признаки нетерпения. У него была белая гардения в петлице; другую, со стеблем, обернутым серебряной бумагой, предназначавшуюся для его жертвы, он держал в руке. Он звонил целых десять минут почти без перерыва, стучал, колотил в дверь кулаком... Наконец, Эдвард-Альберт открыл ему; он был в пижаме. Глаза у жениха были красные, опухшие, полузакрытые. Не говоря ни слова, он юркнул обратно в постель.

— Это как же понимать? — громко спросил м-р Пип, широко раскрыв глаза от изумления.

Эдвард-Альберт повернулся лицом к стене и превратился в ворох постельного белья.

— Я не могу,— тяжело дыша, прохрипел он.— Страшно простудился. Вам придется как-нибудь без меня...

— Повторите! — воскликнул Пип, не веря своим ушам, но в полном восхищении.— Повторите еще раз.

Эдвард-Альберт повторил, но уже не так громко и еще более хриплым голосом.

— «Придется как-нибудь без меня!» — отозвался Пип, словно эхо.— Какая прелесть! Ну просто чудо! Экий проказник!

Он прыснул со смеху. Заплясал по комнате. Замахал руками.

— Так вот и вижу их. Вижу их всех. Как они обходятся без него.

Он дал два крепких пинка кому из одеял, который представлял собою жених, потом побежал в буфетную за виски.

Вернувшись в спальню со стаканом в руке, он поставил его на ночной столик и угостил дезертира еще парочкой пинков.

— Господи! Что же нам теперь делать? — произнес он.— Мошенник вы — и-го-го—этакий. Привести их всех сюда? Священника, невесту и всех? Не положено по закону. Вызвать карету скорой помощи и отвезти вас туда? Который час-то? Уже двенадцатый! После двенадцати нельзя венчаться. Поднять вас и одеть насильно? Вставайте.

Он попробовал стащить с Эдварда-Альберта одеяло, но тот слишком плотно завернулся в него.

— Говорю вам, не поеду,—закричал Эдвард-Альберт.— Не могу ехать и не поеду! Ни за что не поеду! Я раздумал!

Пип прекратил атаки.

— Вы имели когда-нибудь удовольствие встречаться с инспектором Биркенхэдом, Тьюлер? — спросил он.

— Не желаю с ним встречаться.

— А встретитесь.

И он решил действовать.

— Ну, вот что. У вас — сто пять по Фаренгейту. Я звоню им по телефону. Они пошлют за врачом, и тот разоблачит обман. А потом что? Не знаю. Но — помоги вам бог! Какого черта вы до сих пор не поставили телефон? Я же вам говорил. Придется пойти к автомату.

Когда Пип перестал наполнять квартиру своей персоной, Эдвард-Альберт принял вертикальное положение, превратившись в какой-то кокон из простынь, увенчанный унылой физиономией и всклокоченной шевелюрой, и прикончил поставленное Пипом виски с содой.

— Я совсем забыл про отца,— прошептал он, холодея от мрачного предчувствия.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ШИПУЧКА — ХЛОП В ПОТОЛОК

По своей наружности инспектор Биркенхэд представлял как бы квинтэссенцию всех скотланд-ярдских инспекторов, фигурирующих в обширной и все разрастающейся области английской литературы — детективном романе. Да он и в самом деле был родоначальником этой огромной семьи. По своему положению в Скотланд-ярде он должен был вступать в непосредственное общение со всеми журналистами, писателями и просто любопытными, все чаще и чаще являвшимися изучать этот тип на месте. Он занимал первую линию скотланд-ярдской обороны и первый врывался в укрытие, куда забился окруженный преступник. Более тонкие специалисты оставались невидимыми для глаз публики и недоступными ее воображению. Преступники никогда их не видели, ничего не знали о них. Фотографам никогда не удавалось поймать их в свой объектив. От сыщика-любителя они были отделены пропастью, и пропасть эту заполняла собой фигура инспектора Биркенхэда. Эдвард-Альберт уже встречал его в десятках романов под десятками фамилий.

Инспектор был высокого роста и крепкого сложения; человек таких размеров действительно мог воплощать

множество людей. Эдвард-Альберт молча смотрел, как он поставил себе стул посреди комнаты, плотно уселся на это заскрипевшее под его тяжестью приспособление, упер руки в колени и выставил локти.

— Эдвард-Альберт Тьюлер, если не ошибаюсь? — спросил он.

От этих сыщиков ничто не укроется.

— Да,— ответил Эдвард-Альберт, чуть не подавившись этим словом. У него от страха пересохло во рту.

Он кинул отчаянный взгляд на Пипа в надежде найти в нем поддержку, но Пип, по-видимому, целиком ушел в восхищенное созерцание «Enfin seuls».

— Мне говорили, что вы сделали предложение моей дочери, но в последнюю минуту, когда все было готово для свадьбы, оскорбили ее и всех присутствующих, не явившись на церемонию. Правильно ли меня информировали?

— У меня была повышенная температура, сэр. Сто четыре с лишним. Пять градусов выше нормальной.

— Пустяки по сравнению с тем, что вас ждет впереди,— холодно ответил инспектор.

— Но ведь мистер Чезер знает... Это правда, сэр.

— Не будем спорить об этом. Не стоит беспокоить из-за этого мистера Чезера. Гляжу на вас и думаю, что она только выиграла бы, развязавшись с вами, если б не...

Инспектор помолчал, не в силах продолжать свою речь. Он побагровел. Губы его зловеще сжались. Он задыхался. Глаза у него выкатились из орбит. Его как будто раздуло, словно он был наполнен сильно сжатым воздухом. Казалось, он вот-вот лопнет, но на самом деле это он производил над собой усилие воли.

М-р Пип Чезер перестал любоваться картиной и, сделав несколько шагов, занял новую позицию, с которой ему можно было лучше наблюдать действия инспектора. Даже в его глазах к выражению веселого любопытства примешалась некоторая доля страха. В комнате стояла, если можно так выразиться, гулкая тишина напряженного ожидания катастрофы.

Было бы бесполезно гадать о том, куда девался переполнявший инспектора воздух. Нас этот вопрос не касается. Факт тот, что, когда инспектор заговорил, его

слова звучали сурово и спокойно. Он стал заметно опадать.

— Дочь моя — если только она моя дочь — пошла в мать. Эта женщина... эта женщина опозорила меня. Она была негодяйка. Распутница. И вот... опять. Нет, я не могу допустить, чтобы подобная вещь повторилась.

— Но я действительно женюсь на ней, сэр. Непременно женюсь.

— Советую. А не то...

И обычным своим голосом, спокойным, солидным тоном человека, привыкшего пользоваться самыми учтивыми выражениями, он произнес следующие, отнюдь не учтивые слова:

— Я превращу вас в отбивную котлету, сэр. Поняли?

— Да, с-сэр,— ответил Эдвард-Альберт.

— Так как же мы это устроим? Зло сделано. Все разладилось и пришло в полный беспорядок. Все ее знакомые узнают и начнут судачить. Мистер Чезер, она говорит, что вы мастер по части устройства всяких дел. Она говорит, вы можете уладить что угодно. Да и знаете всю эту публику лучше, чем я. Хотя как вы сможете уладить все это; не представляю себе. Что теперь делать?

— Если вы спрашиваете меня...— начал Пип.

Он подошел поближе и некоторое время стоял, открыв рот и почесывая подбородок.

— И-го-го,— произнес он громко и протяжно.— В том, что произошло, нет ничего непоправимого. Прежде всего существует эта ложь насчет температуры.

Эдвард-Альберт забормотал какие-то возражения.

— Ложь? — воскликнул инспектор и пристально поглядел на Эдварда-Альберта, но больше ничего не прибавил.

— Совершенная ложь,— продолжал Пип.— Я ее выдумал, мне ли не знать. У него не было никакой температуры. Он — и-го-го — труса праздновал... Но нам теперь придется ее поддерживать. И чем скорей Эванджелина проявит беспокойство по поводу его болезни, тем лучше. Можно будет сказать, что она уже ездила к нему и вернулась страшно расстроенная. Ну да, я знаю, что это неправда, но — и-го-го — мы можем это сказать. Потом мы можем сказать, что произошло недоразумение с числами. И что я куда-то девал кольцо и совершенно расте-

рялся. Свалим все на меня. На то шафера и существуют. Пустим в ход любую выдумку, и чем больше их будет, тем лучше. Будем наводить туман. Одному скажем — дело в том, а другому — дело в этом. Так что каждому будет известно больше, чем остальным, и мы скроем правду в общей неразберихе. Вот что — и-го-го — подсказывает здравый смысл. Факт получился неприятный. А как вам известно, сэр, как известно вашим преступникам, чем некрасивее факты, тем более необходимо их запутать. Над нами, слава богу, не будет такого следователя, как вы, сэр. И чем скорей мы обладим все это дело, тем лучше.

— Вот с этим я согласен,— объявил инспектор.— И требую, чтобы именно так и было.

— Я займусь этим и все устрою,— сказал Пип, снова входя в свою роль Пэка.

— Но если опять начнется какая-нибудь канитель...

— Тогда капут! — смачно произнес Пип и повернулся к жениху.— Вы поняли?

Эдвард-Альберт кивнул в знак согласия.

Инспектор медленно встал и надвинулся на своего будущего зятя. Вся грозная сила Скотланд-ярда сосредоточилась в его поднятом пальце.

— Эта девушка будет, как полагается, благопристойно обвенчана независимо от ее желания, или вашего, или чьего бы то ни было...— Он помолчал, словно в нерешительности. — Я не допущу, чтобы честь моего семейства была во второй раз заляпана грязью. Вы на ней женитесь и будете подобающим образом с ней обращаться. По характеру это настоящая мегера, не спорю, но все-таки она образованная молодая леди, и вы этого не забывайте. Она леди, а вы не джентльмен...

Теперь уж он не обращался к Эдварду-Альберту. Он говорил сам с собой, глядя поверх Пипа.

— Мне часто приходило в голову, что если б я шлепал ее иногда... Или кто-нибудь другой шлепал бы ее. Но над ней не было женского глаза... Ну, да снявши голову, по волосам не плачут. Когда она была ребенком... Если б только она могла навсегда остаться ребенком... Она была таким славным ребенком...

Родительский вопль, звучащий на протяжении веков!..

Так, в результате спутанных объяснений, свадебное торжество вновь заняло свое место на календаре, и в назначенный срок Эдвард-Альберт вместе с Эванджелиной предстал перед священником, отличавшимся почтенной наружностью и необычайной быстротой речи. Пип встал за спиной Эдварда-Альберта, как чревовещатель за своей куклой; три неизвестно откуда взятые подружки держали шлейф Эванджелины. На одном из передних мест находился инспектор Биркенхэд; он придирчиво следил за всем происходящим, явно решив при малейшем намеке на колебание со стороны жениха превратить его в отбивную котлету.

Старичок священнослужитель мчался, как на пожар. Эдвард-Альберт не мог ничего разобрать в дикой скачке непонятных слов...

Вдруг он почувствовал, что они обращены непосредственно к нему.

— Берешь ли ты в жены эту девицу и будешь ли ей мужем, пока вы оба живы? — словно из пулемета, поливал священник.

— Как? — переспросил Эдзард-Альберт, не разобрав, чего от него требуют.

— Скажите «да»,— подсказал Пип.

— Да.

Брандспойт повернулся в сторону Эванджелины. Та очень внятно ответила:

— Да.

— Кто вручит невесту жениху?

Быстрый обмен взглядами между инспектором и Пипом. Звук одобрения со стороны инспектора и что-то вроде «О'кей» со стороны м-ра Чезера, который ловко делает шаг вперед и вкладывает руку Эванджелины в руку священника. Тут происходит небольшая заминка, и священник нетерпеливым рывком соединяет правые руки жениха и невесты, продолжая бормотать непонятные слова.

— Повторяйте за мной. Как имя?

— Эдвард-Альберт Тьюлер, сэр.

— Я, Эдвард-Альберт Тьюлер, беру тебя — как имя?

— Эванджелина Биркенхэд.

— Эванджелину Биркенхэд в жены...

Наступил главный момент.

— Кольцо? — со старческим нетерпением произнес священник.

Но м-р Чезер был на посту.

— Здесь, сэр. Все в порядке, сэр.

— Ей на палец.

— На безымянный, нескладеха,— послышался отчетливый шепот Пипа.— Смотрите не уроните.

— Повторяйте за мной. Сим кольцом обручается...

— На колени,—прошипел Пип, давая Эдварду-Альберту легкий ориентирующий толчок.

Таким путем древняя торжественная церемония была доведена до благополучного конца. Эдвард-Альберт пролепетал молитвы и ответы с помощью неожиданно всунутого ему в руки молитвенника. Последовало еще некоторое количество сверхскоростного бормотания, а затем Эдвард-Альберт зашагал по приделу с цепко держащей его под руку Эванджелиной — под аккомпанемент исполняемого помощником органиста свадебного марша из «Лоэнгрина».

— Великолепно! — прошептал Пип.— Просто великолепно. Я горжусь вами. Выше голову.

Поскольку в нем еще сохранилась способность чувствовать что бы то ни было, Эдвард-Альберт и сам гордился собой.

За дверями церкви — толпа незнакомых людей. Черт возьми! Он забыл дать знать лизхолдовцам. Забыл известить Берта.

Пип подал ему цилиндр и втолкнул его в первую карету. Она была обита черным, но черные, как уголь, лошади были обильно украшены белыми розетками.

Эдвард-Альберт тяжело дышал. Эванджелина сохраняла полное спокойствие.

— И-го-го! — произнес Пип, чувствуя, что надо что-то сказать по поводу совершившегося факта.— Это было величественно. Просто величественно.

— Прекрасные цветы,— поддержала Эванджелина.

— Все папашка,— заметил Пип.

И они тронулись в путь — к дому папаши Чезера.

Эдвард-Альберт сразу понял, что это элегантный дом самого лучшего тона. Ему еще ни разу не приходилось видеть такого количества цветов, кроме как на цветочной выставке. Шляпы, пальто и трости у гостей прини-

мали специально приставленные к этому делу горничные в чепчиках и фартучках. Близкий знакомый семьи, очень юный джентльмен, одетый, как администратор в универсальном магазине, исполнял роль швейцара. Подружки появились вновь, на этот раз как сестренки Пипа. Комнаты были полны народу.

— Большой — и-го-го — прием,— заметил Пип.— Улыбнитесь. Ну вот. То-то же.

М-сс Дубер что-то сказала молодым; потом от них была оттерта какая-то стремившаяся привлечь их внимание неизвестная дама. Потом какой-то высокий толстый дядя с удивительным смаком целовал невесту. Когда он разжал объятия, то оказался обладателем круглой красной физиономии, похожей на физиономию Пипа, но более мясистой и увенчанной белой шевелюрой.

— Так вот он, счастливец. Поздравляю, дорогой мой. Поздравляю. Вы похищаете наше сокровище, а я поздравляю вас! Но раз она счастлива...

Он протянул огромную руку. Эдвард-Альберт не нашелся, что ответить. Он просто дал ему свою руку для пожатия.

— Добро пожаловать,— продолжал папаша Чезер.— Даже солнце сегодня радуется вашей свадьбе.

— Это правда,— ответил Эдвард-Альберт.

— Хоть сам я в церкви не присутствовал,— продолжал папаша Чезер,— но душой был с вами.

— Ваши цветы — очарование,— заметила Эванджелина.

— А сын мой разве не очарование?

— Нужно признать, наша свадьба удалась на славу. Правда, милый Тэдди?

— Я радуюсь всей душой,— ответил Эдвард-Альберт.

— А-а! — воскликнул м-р Чезер, протягивая огромную руку крикливо разряженной толстой даме.— Счастлив вас видеть! Ваши цветы и мое шампанское...

Эванджелина отвела супруга в сторону.

— Он все великолепно устроил. Правда, дорогой? Ты должен поблагодарить его. Может быть, вставишь фразу в конце речи?

Эдвард-Альберт поглядел на нее встревоженно.

«НЕОБХОДИМА ОСТОРОЖНОСТЬ»

«НЕОБХОДИМА ОСТОРОЖНОСТЬ»

— Что это? Мне уже, кажется, и сесть нельзя, не рассыпаясь в благодарностях.

— Два слова о великодушии и гостеприимстве,— шепнула Эванджелина.— Будет великолепно. Ты прелесть.

И их опять разделили.

Все шло страшно быстрым темпом, как обычно бывает во время свадебных завтраков. Столовая тоже была вся в цветах. Весь стол был уставлен бутылками шампанского. Громко застучали ножи и вилки. Захлопали пробки, и языки развязались. Но Эдвард-Альберт не мог есть. Губы его шевелились. «Леди и джентльмены и ты, моя дорогая Эванджелина. Никогда в жизни я не произносил речей...» Он осушил стоящий перед ним бокал шипучего, почувствовав при этом уколы иголок в носу. Но все же это как будто придало ему бодрости и самоуверенности. Кто-то опять наполнил его бокал.

— Не пейте слишком много,— тотчас произнес Пип, не отходивший от него ни на шаг.

Роковой момент приближался.

— Ладно,— сказал он, вставая.— Леди и джентльмены и ты, моя дорогая Вандж... Неванджелина... Ты, Неванджелина...

Он умолк. Потом немного быстрее:

— ...никогда в жизни не произносил речей.

Очень быстро:

— ... в жизни не произносил речей. А?

— Сейчас слишком полно сердце. Храни вас Бог.

Громкие продолжительные аплодисменты.

— Садитесь,— сказал Пип.

Но жених не садился. Он не сводил глаз с невесты.

— Не могу сесть, не выразив благодарности папашке... Папашке... Шип...

Пип сильно ударил его по спине и встал рядом с ним.

— И-го-го,— заржал он изо всех сил.— Великолепная речь. Великолепная. Превосходная.

Он насильно усадил Эдварда-Альберта на место. Потом сделал подчеркнуто широкий жест, держа бокал шампанского в руке, и при этом пролил немного Эдварду-Альберту на жилет.

— Леди и джентльмены! Выпьем за здоровье и за счастье молодых. Гип-гип-ура!

Последовали неуверенные аплодисменты. Все немного растерялись. Потянулись к Эдварду-Альберту и Эванджелине чокаться. М-р Чезер-старший запротестовал, обращаясь к сыну:

— Не нарушай программы, Пип. Что это такое? С какой стати? Уж не пьян ли ты, милый?

— Простите, папаша! Я пьян от радости. И-го-го!.. От радости!

Тогда, чтобы произнести торжественную речь, поднялся со своего места старик Чезер. И один только Пип знал по-настоящему, какая страшная опасность нависла над праздником и миновала.

— Леди и джентльмены, мистер Тьюлер и дорогая моя девочка!—произнес старик Чезер.— Я счастлив приветствовать и принимать вас здесь, у себя, в день бракосочетания — бракосочетания той, которая всегда была и, я надеюсь, всегда будет всем нам дорога, моей милой, веселой, умной и доброй крестницы Эванджелины. Я вручаю сегодня моему молодому другу, нашему молодому другу Тьюлеру прелестное и неоценимое сокровище...

— Разве я сказал что-нибудь не так? — шепнул Эдвард-Альберт своему самоотверженному руководителю.

— Что-нибудь не так! Хорошо, что у меня сердце здоровое, а то я бы умер на месте.

Он издал еле слышное ржание и прибавил:

— Слушайте оратора... И не налегайте на шампанское.

Эдвард-Альберт сделал вид, что внимательно слушает речь.

— Было много разных толков и говорилось много вздору. Лучше не вспоминать об этом. Произошли коекакие недоразумения, и, говоря по правде, они были поняты превратно. Но все хорошо, что хорошо кончается. Я счастлив, что вижу сегодня у себя за столом такую замечательную и выдающуюся фигуру нашего лондонского общества, как прославленный инспектор Биркенхэд (аплодисменты). Ему мы обязаны тем, что нас не грабят и не режут в постели. Но... к сожалению... к сожалению...

Выжидательная пауза.

— Я должен сообщить ему об одном только что совершенном преступлении, о грабеже.

Всеобщее изумление.

— Оно совершено его родной дочерью, Эванджелиной. Она похитила наши сердца и...

Конец фразы потонул в бурных аплодисментах и стуке кулаками по столу. Кто-то разбил бокал, не вызвав этим никакого неодобрения. Единственное, что можно было еще услышать, это слово «Торкэй». Папаша Чезер весь сиял от своего ораторского успеха. Пип Чезер похлопывал его по спине. Видимо, старик либо вовсе не заметил маленькой обмолвки Эдварда-Альберта, либо забыл о ней. Да и сам Эдвард-Альберт теперь уже сомневался, имела ли она место. Он осушил свой вновь наполненный и унизанный пузырьками бокал за здоровье хозяина прежде, чем Пип успел помешать этому...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

МУЖ И ЖЕНА

— Не робейте и будьте — и-го-го — ласковы с ней! — крикнул Пип, махая рукой вслед отходящему поезду.

Потом он исчез за окном, и для молодой четы начался медовый месяц.

Эдвард-Альберт тяжело опустился на сиденье.

— Хотел бы я знать, кто это кинул последнюю туфлю, — сказал он. — Я весь в синяках... Наверно, кто-то нарочно швырнул ее мне прямо в лицо. Ох!

Он закрыл глаза.

— Женился, — прибавил он и умолк.

Она села напротив него.

Некоторое время они не говорили ни слова.

Она была взволнована только что случившимся маленьким происшествием. Один из железнодорожных служащих, сияя, предложил им свои услуги, провел их по платформе и ввел в отдельное купе.

— Желаю счастья, — сказал он и остановился в ожидании. Эдвард-Альберт с тупым недоумением поглядел на жену.

— Видно, хочет получить на чай, — сказал он, порылся в кармане и вынул шесть пенсов.

Тот кинул на монету мрачный взгляд и не двинулся с места. Положение создалось напряженное.

— Ничего, Эванджелина, я улажу,— вмешался Пип, увел обиженного из купе и на платформе устроил так, что лицо его снова прояснилось.

— Кажется,— икнув, промолвил Эдвард-Альберт в ответ на ее безмолвный протест,— я имею право распоряжаться своими деньгами.

— Но он ждал больше! Ведь мы так одеты! У него был такой удивленный и обиженный вид. Он рассердился на тебя, Тэдди.

— А я, может, сам на него рассердился!

Он, видимо, решил, что инцидент исчерпан. Но заявление его о том, что он желает распоряжаться своими деньгами, прозвучало, как отчетливая формулировка положения, которое уже и без того совершенно ясно обозначилось. Очевидно, он тщательно все обдумал и пришел к непоколебимому убеждению: власть денег в его руках. Он настоял на своем праве самому оплатить все, о чем не успел еще позаботиться Пип (свой счет Пип должен был представить позже).

Сидя против Эдварда-Альберта, Эванджелина всматривалась в его угрюмое лицо. Ему ни разу еще не случалось напиваться, и временный приступ веселья, вызванный угощением папаши Чезера, сменился теперь угрюмым упрямством.

Первым ее побуждением было оставить его в покое.

Но уже несколько дней она ждала этого момента и готовилась произнести маленькую речь, которая должна была поставить их отношения на здоровую основу. И этот замысел еще так привлекал ее, что одержал верх над благоразумием.

— Тэдди,— промолвила она,— послушай.

— В чем дело? — спросил он, не открывая глаз.

— Тэдди, мы должны как можно лучше выйти из создавшегося положения. Конечно, я была дура, что влюбилась в тебя, ну да, я была в тебя здорово влюблена, но разлюбила еще быстрей, чем влюбилась. Получилось похищение малолетнего, как сказала эта.. Ну, как ее? Блэйм. Detournement des mineurs [1]. Ты меня слу-

[1] Похищение малолетних *(франц.)*.

шаешь? Надо смотреть правде в глаза. Ты молод, Тэдди, даже для своего возраста. А я — взрослая женщина.

— Не желаю спорить. Что сделано — то сделано... Хотел бы я знать, кто швырнул эту туфлю... Не может быть, чтобы Пип... Пип на это не .. не способен.

Говорить было больше не о чем. Она откинулась на спинку и перестала обращать на него внимание. Она чувствовала себя мучительно трезвой, жалела, что не взяла пример с остальных и не позволила себе лишнего по части «шипучки». Старалась собраться с мыслями. Вот для нее наступила новая жизнь, в которой уже не будет еженедельного конверта с жалованьем. Раньше она об этом не думала, а теперь пришла в ужас от такой перспективы...

Она вышла в коридор и стала смотреть на проплывающий за окном пейзаж. Потом оглянулась и пошла в уборную, где можно было запереться и побыть одной. Там она пересчитала свои наличные деньги. Оказалось всего 2 фунта 11 шиллингов 6 пенсов. Не слишком много. И неоткуда ждать больше.

Она вернулась в купе.

Он сидел теперь на другом месте, посредине купе, положив руки на ручки кресла и производя странный звук: нечто среднее между храпом и всхлипыванием, — наполовину спящий и совершенно пьяный. Она долго сидела и глядела на него.

— Tu l'as voulu, Georges... как его? Dindon?[1] — прошептала она еле слышно. — Он всегда говорил мне это и смеялся. А что он еще говорил и тоже смеялся? Ах, да. Коли девушка упала, пускай лежит... Только мне теперь не до смеха...

Да, перед ней трудная задача, и надо во что бы то ни стало ее решить. Взглянуть на противника — так в нем нет ничего страшного... Она посмотрелась в длинное зеркало над сиденьем и нашла, что серое дорожное платье очень ей идет. Она одобрительно кивнула своему отражению. Начала позировать перед зерка-

---

[1] «Ты этого хотел, Жорж Данден», — вошедшая в пословицу цитата из комедии Мольера. Эванджелина вместо фамилии Dandon говорит dindon — «индюк»

лом, любуясь собой и испытывая к себе нежность. Видела себя блестящей, великодушной, пылкой, несчастной, но не сдающейся.

— Я не имею права ненавидеть его,— думала она.— Но нелегко будет удержаться от ненависти. Эта история с деньгами. Это что-то новое. Ты ведь и представить себе этого не могла, милая Эвадна. Это надо как-то уладить. Пораскинь-ка мозгами. Сегодня уложи его спать, а завтра поговори с ним как следует.

На вокзале в Торкэй она уже прочно овладела положением. Добилась хороших чаевых для носильщиков, заявив: «У них такса полкроны»,— и таким же способом благополучно уладила вопрос с извозчиком.

— А Торкэй кусается,— заметил супруг.

— За хорошее не жалко заплатить,— возразила она, адресуясь отчасти к нему, а отчасти к швейцару отеля.

И, утихомирив своего властелина, она уложила его в постель, а сама долго лежала около него, не смыкая глаз и погрузившись в мечты.

В ее растревоженном воображении проходила целая процессия прекрасных женщин прошлого, которые были вынуждены отдавать свое тело королям-карликам или безобразным феодалам, богатым купцам, сановникам, миллионерам, испытывая при этом еще меньше наслаждения, чем довелось испытать ей. Все женщины в этой процессии были удивительно похожи; среднего роста, брюнетки, с живыми темными глазами и теплой, смуглой кожей; дело в том, что все это был ее собственный образ в тысяче разных прелестных костюмов, всегда жертвенный, но гордый и полный достоинства. Впрочем, одна особа на белой лошади была совсем без костюма: леди Годива. На Венере — жертве Вулкана — тоже было надето немного. Зато на Анне Болейн — богатый наряд. Великолепна была Эсфирь, омытая, умащенная, в чрезвычайно откровенных и роскошных одеждах, звенящих, словно систр, подчиняющая себе царя своей смуглой прелестью, сильная своей покорностью. Она всегда больше покорялась, чем дарила себя, храня драгоценное сокровище самозабвения, которое принадлежало только ей, составляло ее собственную, никому не доступную сущность. Она руководила чудовищем, направляя его к высоким и прекрасным целям.

Может быть, это в конце концов и есть назначение жены?

Да, для большинства женщин это, может быть, именно так.

Существует ли где-нибудь настоящая любовь между мужем и женой? Эти отношения заключают в себе обязательство, а обязательство — смерть любви. Сожительство супругов всегда чересчур тесно. Мужа видишь слишком близко. Amant имеет то преимущество, что с ним не надо жить вместе.

Был один человек, которого она старалась забыть, но французское слово «amant» уступило место более привычному «любовник», и все ее существо охватила жажда любви... Настоящей любви.

Игра воображения прекратилась. Некоторое время она упорно смотрела во мрак, потом тихонько застонала, заплакала и долго плакала беззвучно.

— О мой милый,— прошептала она наконец.— Мой милый.

Выплакавшись, она почувствовала себя гораздо лучше.

К утру она совершенно успокоилась и даже приготовилась вкушать наслаждения, которые ей сулил Торкэй. Она придумала много таких вещей, которые должны были в корне изменить положение. Она встала с постели, накинула парижский халат и стала любоваться морем — очаровательно! Потом позвонила, потребовала «chocolat complet» [1], пояснив, что «M'sieu mangera Plutarch» [2]. Но возвращенная испуганным взглядом горничной в добрую старую Англию, перевела:

— Чашку шоколада, булочки и масло. Муж еще спит.

«Пусть остается его привилегией оплата,— думала она,— но заказывать буду я».

Она стала одеваться и во время одевания пересматривала в уме текст своей речи, которую сочинила в поезде. Она произнесет ее позже, днем, когда он умоется и будет испытывать угрызения совести. После этого шампанского всегда бывают угрызения совести. Он на-

---

[1] Шоколад (напиток) с полагающимися к нему бутербродами.

[2] Эванджелина хочет сказать: «Мсье будет кушать позже», но произносит: «Мсье скушает Плутарха».

пился первый раз в жизни, а ей известно, что на другой день бывает так называемое похмелье, когда падшее человечество жаждет прикосновения холодной руки ко лбу. Она жалела, что ее сведения о способах опохмеляться слишком недостаточны.

Она спустится в бар и узнает как следует.

Получилось великолепно. Буфетчик оказался очень толковым и любезным. Она попробовала коктейль, который, по его словам, он сам изобрел. Это проясняло мысли и бодрило. Она поступила против собственных правил: выпила еще один.

Посреди дня ей удалось произнести свою маленькую речь — в саду отеля, под зонтиком, который она держала над головой мужа,— и добиться его унылого, но безропотного согласия.

Говорить ли о деньгах? Ни слова, пока они не вернутся в Лондон и она не начнет вести хозяйство. А вернулись они стремительно, едва только Эдвард-Альберт получил первый счет за неделю.

Счет был довольно крупный, но медовый месяц — это медовый месяц. Эдвард-Альберт нашел счет невероятно огромным. При таких условиях никаких достатков не хватит. Он принялся его проверять, пункт за пунктом.

— Почему они называют этот номер королевским?

— Они считают, что хорошо нас устроили.

— Хорошо устроили!

Он побледнел, и на лице его выступил пот. Он был слишком потрясен, чтобы кричать в голос.

— Устроили! — прошептал он.— А что это за расходы швейцара? Это та навязчивая балда внизу?

— Он заплатил за кое-какие вещи, которые я купила в магазинах. Так всегда делают в отелях.

Она пробежала счет.

— Все правильно.

— А парикмахер? Маникюрша?

— Это здесь же, в отеле.

— К чертовой матери!—воскликнул Эдвард-Альберт, без малейшего колебания пуская в ход это некогда столь страшное ругательство Нэтса Макбрайда.

Он горько задумался.

— Я встречал в газетах объявления людей, которые отказываются нести ответственность за долги своих жен.

Она ничего не сказала.

Они вернулись в Лондон третьим классом и почти всю дорогу молчали.

Несколько дней настроение на Торрингтон-сквер было ужасающее. Денег на хозяйство не выдавалось. Эдвард-Альберт ходил завтракать и обедать в ближайшие пивные. Но Эванджелина завтракала и обедала дома и даже покупала свежие цветы. И вот как-то раз, вернувшись домой после одной из своих ресторанных трапез, Эдвард-Альберт обнаружил, что его квартиру заполонил тесть. В тот момент, когда Эдвард-Альберт входил в комнату, инспектор что-то строго говорил дочери. Отрывистым жестом предложив зятю сесть и подождать, пока до него дойдет очередь, он продолжал свою речь:

— Ты с каждым днем становишься все больше похожа на свою мать — и наружностью и поведением. Но, насколько это зависит от меня, я не допущу, чтобы ты покрыла себя тем же позором, что она. Зачем ты все это затеяла? Я сделаю для тебя все, что смогу, и не дам тебя в обиду. Но так нельзя. Да... А теперь у меня дело к вам, молодой человек. Что это за мода не признавать хозяйственных счетов и не давать жене ни гроша?

— Деньги мои,— проворчал Эдвард-Альберт.

— Но не тогда, когда у вас есть долги, юный мой приятель. И не тогда, когда вы взяли на себя определенные обязательства. Да-с. Имеется такая штука, как хозяйственные расходы; и она должна регулярно получать на это деньги. На починку вещей, на покупку новых, если что сломается или износится, наконец, для расплаты по счетам торговцев.

— Счета я сам могу оплачивать,— возразил Эдвард-Альберт.

— Лучше установить бюджет, кто бы этим ни занимался. И если вы поручите это ей, то не будет никаких споров. Потом она должна получать известную сумму на туалет. Помесячно или поквартально,—но ни один уважающий себя муж не отказывает жене в этом. Наконец, ее личные деньжата на случайные расходы. Вы ведь хотите быть примерным мужем, Тьюлер, насколько это для вас возможно, а все это такие вещи, в которых ни один джентльмен не может отказать. Надо было заранее составить брачный договор, чтобы не ввергать

ее во все эти неприятности. Но лучше поздно, чем никогда. А все остальные деньги — ваши, и вы можете распоряжаться ими, как вам будет угодно. Так, значит, на какой же сумме мы договоримся?

— А я что ж, не имею права голоса?

— Нет,— спокойно, но грозно отрезал инспектор.

Что-то отдаленно напоминающее проблеск юмора и даже как будто какого-то сочувствия промелькнуло в лице этого огромного мужчины.

— У меня нет оснований хорошо относиться к вам, молодой человек,— сказал он.— И вы вообще не из тех, к которым можно чувствовать расположение... Но я немножко знаю свою дочку — и ее мамашу... Так что чем скорей вы урегулируете этот щекотливый вопрос и внесете в него полную ясность — в своих собственных интересах, учтите это, в своих собственных интересах,— тем более будете мне благодарны впоследствии. Ведь ты, наверно, продолжаешь делать заказы торговцам? — обратился он к Эванджелине.

— Конечно,— ответила она.

— Ну вот видите?

Эдвард-Альберт мог бы обедать дома и сберечь все потраченные деньги.

Они сделали расчет, и инспектор записал его крупным разборчивым почерком.

— Будьте добры поставить свою подпись,— предложил он Эдварду-Альберту и остановился в ожидании.

Эдвард-Альберт подписал.

Встав над ним во весь рост, инспектор могучей рукой потрепал его по плечу.

— Вы оба будете мне за это благодарны,— сказал он.

И, отказавшись от угощения, ушел, что-то напевая себе под нос.

Эдвард-Альберт закрыл за ним дверь и вернулся к своему семейному очагу. Он сел взбешенный и засунул руки в карманы.

— Ну уж, дальше некуда! Проще переехать опять в пансион. И это м о й дом. А?

Эванджелина обнаружила намерение быть ласковой и великодушной.

— Я не звала папу,— сказала она.— На этот раз он сам надумал и пришел. Я не просила его вмешиваться.

— Хм-м,— неопределенно промычал Эдвард-Альберт.

— А все твоя неопытность, Тэдди. Каждый уважающий себя муж поступает именно так... Это в порядке вещей. Надо смотреть реально на жизнь, дорогой мой. Почему бы нам не примириться с тем, что есть, и не зажить дружно? Ведь еще не поздно...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

СЛОМАННАЯ АРФА

Но никак нельзя было сказать, чтобы она или Тэдди делали сколько-нибудь серьезные усилия жить дружно. Он глубоко затаил нестерпимую обиду на нее, а она глубоко затаила нечто еще более горькое: нестерпимую обиду на сáмое себя. Весь ее жизненный путь был вымощен добрыми намерениями.

Они, то что называется, сожительствовали — и только. Их жизнь была похожа на их совместные обеды — примитивную функцию, выполняемую с грехом пополам. Бывали периоды перемирия и даже дни дружбы. Они ходили в кино и мюзик-холлы. Пробовали безобидно подшучивать друг над другом, но характер его юмора выводил ее из себя. Потом возникали бессмысленные ссоры — без всякого повода, причем она затевала их чаще, чем он. Гости у них бывали редко. Раз или два зашел Пип; Милли Чезер осталась верным другом. Два-три школьных товарища пришли по приглашению на чашку чая. В Лондоне не делают визитов. Только духовные особы приходят с визитом к тем, кто более или менее регулярно посещает церковь или причащается. Эванджелина гордилась своим домом, возможностью иметь собственную обстановку. Ей хотелось бы видеть у себя больше народу. Два или три раза к ней приходили пить чай м-сс Дубер и Гоупи; м-р Чезер принес чучело совы, которое по рассеянности купил в одном аукционном зале на Стрэнде, а потом решил, что это самая подходящая вещь для их передней. Фирма, в которой Эванджелина служила, прислала ей в виде свадебного подарка золоченые бронзовые часы. Но никто из ее прежних сослуживцев ни разу не явился. Что-то мешало им.

Недели складывались в месяцы. Эванджелина стала оказывать предпочтение халатам и домашним платьям, днем сидела дома, а гулять ходила после наступления темноты. Они договорились, что рожать она будет в частной лечебнице. Эдвард-Альберт то терзался мыслью о расходах на лечебницу, то приходил в ужас от зрелища бесчисленных мокрых пеленок, развешанных для просушки, которыми пугали его воображение Эванджелина и Милли. Под конец Эванджелина стала более сумасбродной, капризной и требовательной. К ее чувственности стала примешиваться раздражительность И вот наступил день, когда она заявила ему: «Теперь кончено»—и оправдала это на деле. Заперла перед ним дверь. «Это из-за ее положения,— решил он.— Как только появится ребенок, все опять наладится».

Уже задолго до этого рокового момента он возненавидел свое сексуальное порабощение почти с той же силой, с какой прежде ненавидел неполноценные утехи предсвадебного периода. Он готов был заплатить деньги — даже деньги! — лишь бы получить возможность отклонять ее капризы, ее припадки искусственной влюбленности, но это было выше его сил. Ах, если бы только он мог вдруг заявить: «Спасибо, мне что-то не хочется. У меня найдется кое-что получше».

Неплохая была бы ей пощечина...

Он предавался мечтам о неверности. Подцепить где-нибудь девушку, славную девушку. И начать двойную жизнь. У него теперь будет сколько угодно свободного времени для таких отношений. Но необходима осторожность. Чтобы не нарваться на какую-нибудь охотницу до чужих денег. В мечтах он изменял в грандиозном масштабе, но чуть только доходило до дела, между ним и посторонним женским полом оказывалась колючая изгородь. Его по-прежнему преследовали гигиенические кошмары д-ра Скэйбера, да и едва ли это даст ему большое превосходство над Эванджелиной — спутаться с уличной женщиной. Он часами бродил по городу в смутной надежде встретить изящную, но доверчивую красавицу, с которой ему удастся заговорить. Иногда он шел за какой-нибудь женщиной, и она явно замечала это и бывала заинтригована. При этом она задерживалась на нем взглядом ровно настолько, насколько требовалось, чтобы

увлечь его за собой. Несколько раз он доводил приключение до решающего момента; став рядом с женщиной, он спрашивал ее: «Не позавтракать ли нам где-нибудь?» Два раза приглашение было принято, но в обоих случаях у дамы после завтрака оказывалось неотложное дело, чем он был столько же огорчен, сколько и обрадован, так как он решительно не знал, куда ее отвезти, чтобы одержать над ней окончательную победу. Кельнерша, улыбавшаяся ему в баре, притягивала его, как магнит. Вокруг каждой кельнерши, хочет она или нет, всегда увиваются любители улыбок и беседы вполголоса. Потому что, если говорить о нерешительных, сексуально пассивных Тьюлерах, то имя им — легион.

Дома все время менялась прислуга. В пансионе м-сс Дубер Эдвард-Альберт смотрел на беспрерывно менявшихся служанок с глубоким ужасом, к которому все больше примешивалось желание. Он не мог позабыть своего первого знакомства с этой разновидностью непристойного. Теперь, в положении хозяина дома, он невольно смотрел на разнообразные усилия Эванджелины найти подходящую прислугу, как на что-то, что в результате должно приблизить к нему доступное существо женского пола. Он жадно следил за каждой из этих девушек, и они это чувствовали.

Эванджелина брала прислугу через контору по найму, а конторы по найму получают свои доходы не от устройства идеального работника на идеальное место. Подобная сделка, раз состоявшись и будучи оплаченной, не сулит в дальнейшем никаких выгод ни от той, ни от другой стороны. Наоборот, плохая прислуга или привередливая хозяйка через месяц-другой появляются опять и участвуют в новой сделке. Контора, с которой имела дело Эванджелина, числила в своих списках целый батальон благообразных, но никуда не годных прислуг и богатый выбор любезных, элегантных, но вздорных хозяек, без которых она не могла бы существовать. Неприятности возникали по разным поводам. Две девушки довольно резко выразили недовольство, что «этот м-р Тьюлер» весь день шатается по квартире: «Не поймешь, что ему надо... Ходит и ходит за тобой — и в спальню и повсюду». Другие не желали работать одной прислугой у хозяйки, которая никогда не зайдет на кухню и не ска-

жет ласкового слова. Одна не хотела подавать м-сс Тьюлер шоколад и какао в постель и так далее. Одна женщина была недовольна тем, что ее заставляют надевать чепчик и фартук, а другая так сопела, что Эванджелина просто не могла вынести. Эта текучесть персонала грозила уже принять хроническую форму, как вдруг одна приятельница Милли Чезер рекомендовала исключительно подходящего человека — некую м-сс Баттер.

Насчет этой особы были сделаны кое-какие предупреждения: ее нельзя было звать просто по имени, а надо было называть «миссис Баттер»; и числиться она должна была «домоправительницей». И если эти условия будут приняты, она будет сама предупредительность.

— Дело в том, что она просто хочет побольше быть одна,— пояснила Милли Чезер.— У нее в жизни была драма. Она говорит, что хочет работать, чтобы забыться. И чтобы не приходилось с людьми разговаривать. Ей необходим заработок. В детстве она осталась сиротой и жила у тетки, которая терпеть ее не могла, потому что у нее были свои дочери. Подвернулся какой-то жених, она вышла за него, а он оказался страшный мерзавец. Страшный, дорогая. Отнял у нее все, что она имела, до последнего гроша, пьянствовал, избивал ее. Избивал по-настоящему. Бил и колотил, когда она ждала ребенка. Ее отвезли в больницу. Бедный ребеночек через месяц умер — он его как-то покалечил. Она чуть с ума не сошла и пыталась покончить с собой. А когда стала поправляться, то узнала, что муж в тюрьме. И он вовсе не был ее мужем: он был двоеженец. Женился на ней только для того, чтобы завладеть ее грошами. Но тут уж она от него освободилась. Она немножко не в себе. Но очень милая, очень кроткая.

— А как ее настоящая фамилия?

— Да именно Баттер. Это ее девичья фамилия, но в то же время она миссис, а не мисс.

М-сс Баттер явилась в назначенный срок. Это была молодая женщина, моложе Эванджелины, в простом коричневом платье, бледная, с каштановыми волосами, круглым лицом и ясными, добрыми глазами. Она осмотрела квартиру и договорилась с хозяйкой о своих обязанностях.

Эванджелина знала, что ее не надо слишком подробно расспрашивать, и поэтому говорила о себе.

— Дело в том, что... я жду ребенка.

М-сс Баттер вздрогнула, но сохранила спокойный вид.

— Когда? — спросила она.

Эванджелина назвала срок.

— Вам хорошо будет иметь при себе замужнюю женщину.

— Этого-то я и хотела. Это как раз то, что мне нужно. Какая вы милая, миссис Баттер, что поняли сразу. Сейчас я как раз чувствую себя великолепно, но иногда... ах, я так боюсь.

— И почему только мы должны...— начала м-сс Баттер и не договорила.

— Я сама себя об этом спрашиваю.

— Если б еще в этом было что-нибудь приятное,— продолжала м-сс Баттер.

— Если по воскресеньям вы хотите бывать в церкви...

— Я не хожу в церковь,— возразила миссис Баттер.— Там одно издевательство,— прибавила она.

— Мы тоже довольно редко ходим,— сказала Эванджелина.

— Когда вы желаете, чтобы я перебралась? Я совсем свободна.

Лишь через несколько дней Эдвард-Альберт обнаружил м-сс Баттер. Он увидел, что она молода, послушна и относится к нему со спокойным уважением. Но он знал, что она была замужем, и начал действовать. Он стал исподтишка следить за ней. Полторы недели он потратил на то, чтобы привлечь к себе ее внимание. В доме стало как-то приятнее. Все предметы заняли свои места. В комнатах как будто сделалось светлей. Однажды миссис Баттер, окинув взглядом гостиную после уборки, объявила Эванджелине:

— Надо завести кошку.

Заговорили о комнатных животных.

— Они придают дому уют,— сказала м-сс Баттер.

Собак она не любила: они лезут на тебя лапами и норовят лизнуть в лицо. А кошка, славная кошечка, полна достоинства. Кошки всегда знают свое место.

— Но у них бывает столько котят,— заметила Эванджелина.

— Я достану такую, у которой этого не будет,— заявила м-сс Баттер.

И вскоре у Тьюлеров на коврике перед камином расположился холощеный молодой кот, черный до блеска, с желтыми глазами. Он жмурился, и глядел, как м-сс Баттер раскладывает гренки на бронзовом треножничке, прикрепленном к решетке камина, тоже принадлежавшем к числу ее полезных изобретений.

Через несколько дней, как-то под вечер, она, став на колени, чесала у кота за ухом и играла с ним. В линиях ее склоненной фигуры была приятная женственность. Эванджелина лежала у себя в комнате. И вдруг м-сс Баттер почувствовала, что Эдвард-Альберт прижимается к ней.

— Кис-кис,— промолвил он.

Она заметила, что он весь дрожит. Рука его скользнула ласкающим движением по ее плечу и вниз — по бедру. Он пошлепал ее и попробовал ущипнуть.

Она высвободилась и встала на ноги. Повернулась к нему и устремила на него пристальный взгляд. По-видимому, она нисколько не растерялась и не рассердилась.

Она заговорила спокойно — так, словно приготовила свою маленькую речь еще несколько дней тому назад.

— Я не хочу, чтобы вы считали меня дерзкой, мистер Тьюлер, но если вы еще раз позволите себе что-нибудь подобное, я дам вам хорошую оплеуху, брошу все и уйду из этого дома. Я видела достаточно пакостей от одного — с меня хватит. Не хочу говорить резкостей. Я знаю, что такое мужчины,— другими они, видно, быть не могут. Но чем дальше от них, тем лучше. Займитесь своим делом, я буду заниматься своим, и все пойдет, как надо. Я не хочу устраивать неприятностей. Я хорошо отношусь к хозяйке, и мне жаль ее. Иначе я не осталась бы... Вот она проснулась. Это ее колокольчик.

Она обошла его стороной, как обходят какую-нибудь гадость на ковре.

— Иду!— крикнула она Эванджелине.

Эдвард-Альберт попытался иронически свистнуть, но миссис Баттер не уступила своей позиции ни на иоту. Сомневаться в ее искренности было невозможно. Он ре-

шил с этих пор относиться к ней с холодным презрением, и ну ее к черту!

Как жаль, что у него нет приятелей, хороших, веселых приятелей, которые дали бы ему добрый совет, как начать настоящую мужскую жизнь в Лондоне! Он слышал о клубах, но не знал никого, кто мог бы ввести его в этот мир. Там-то можно сойтись с опытными людьми.

Эта общая мечта всех представителей Homo Тьюлер в обеих его разновидностях — Англиканус и Американус — сойтись с опытными ребятами и бездельничать с ними в клубе — скоро стала распространяться с помощью печатных машин и захватила весь мир. Великая братская идея.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕНРИ ТЬЮЛЕРА

Эванджелине пришлось перенести в лечебнице тяжелые часы. Приступы мучительной боли, сопровождавшиеся неистовыми, но тщетными потугами, то надвигались, то снова оставляли ее.

— Тужьтесь. Потерпите еще немножко,— то и дело повторяли над ней.

Но вот наконец послышался слабый писк, и новый Тьюлер появился на свет, и в положенный срок его, выкупанного, вытертого, поднесли к измученной матери.

Эванджелина кинула на свое порождение враждебный взгляд из-за края простыни. Она не пошевелилась, чтобы коснуться его.

— Я так и знала, что он будет похож на него,— сказала она.— Так и знала.

И закрыла глаза.

Сиделки переглянулись в смущении.

— Завтра он будет лучше выглядеть,— сказала одна из них.

Эванджелина отвернулась, чтобы сплюнуть, потом упрямо произнесла, не открывая глаз:

— Мне все равно... Все равно, как он выглядит. Унесите его. Я рада.... рада, что от него освободилась.

Так произошло приобщение Генри Тьюлера к тайнам сознательного существования.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ТЬЮЛЕР ОТВЕРГНУТ

Эванджелина вернулась из лечебницы в сопровождении заботливой, аккуратной сестры с резкими чертами лица, розовыми щеками и слишком проницательным, враждебным взглядом, которая с видимым удовольствием объявила:

— Вам теперь придется держаться подальше, мистер Тьюлер. К ней пока нельзя. Можете желать ей доброй ночи с порога, если угодно. Ей нужен полный покой. Она еще нездорова.

Прошел целый месяц вынужденного целомудрия, за ним второй. Уже на вторые сутки м-р Генри Тьюлер перестал выглядеть, как ободранная обезьянка, и стал миловиден. Исчезло косоглазие, на головке появились чрезвычайно тонкие русые волосы. Он утратил всякое сходство с кем-либо из родителей и вступил в тот период, когда легко подменить одного грудного ребенка другим — никто не заметит. Он толстел благодаря тщательно регламентированному искусственному питанию, к которому пришлось прибегнуть, поскольку Эванджелина и не желала и не могла кормить. Он гукал и махал руками, так что вызывал улыбку на лице матери, и в конце концов стал общим любимчиком в доме.

— Он стал хитрый,— говорил счастливый отец.— Похож он на меня, сестра?

— Есть что-то общее в глазах,— отвечала та.

К концу второго месяца сестра ушла, и м-сс Баттер, более всех плененная м-ром Генри, настояла на том, чтобы ей поручили нянчить и беречь его.

— Может быть, это моя бедная крошка ко мне вернулась,— говорила она.

Домашняя работа перешла к новой, довольно неряшливой приходящей прислуге. Эванджелина, уже вполне оправившаяся, весьма деловито занималась хозяйством. Она принялась за свои французские туалеты, в которых перед этим пришлось выпустить швы, и стала приводить их в современный вид при помощи журнала «Mode». Она ходила гулять, каталась на извозчике по Гайд-парку, ходила с Эдвардом-Альбертом в кино. Но вечерних при-

глашений Эдвард-Альберт все не получал. Как это надо понимать?

Он решил внести ясность в вопрос.

— Ты сегодня хорошенькая,— сказал он.

— Мне теперь лучше.

— Ты очень хорошо выглядишь. Мне хочется тебя поцеловать...

Она подняла брови.

Тогда он поставил вопрос ребром.

— Не пора ли, Эвадна? Или ты забыла, что бывало между нами?

Она с некоторых пор уже репетировала свою роль в этой боевой схватке. Но первая реплика не укладывалась в текст.

— Больше между нами ничего не будет,— ответила она.

— Но ведь ты моя жена. У тебя есть передо мной обязанности.

Она отрицательно покачала головой.

— Но у тебя есть обязанности...

— Теперь все изменилось,— сказала она.— Мое тело принадлежит мне, и я могу распоряжаться им, как мне вздумается. А поскольку это так, у нас с тобой навсегда все кончено, голубчик. Навсегда и бесповоротно.

— Ты не имеешь права.

— Nous verrons[1].

— Но... ты с ума сошла. Ведь это значит идти против божеских и человеческих законов. Ты просто шутишь! Это невозможно! И как же ты обойдешься... обойдешься без?.. Ведь тебе это нужно не меньше, чем мне. Даже больше. Не болтай вздора. И, наконец, ты просто обязана.

— И не подумаю,— последовал ответ.

— Но ты обязана. Это невозможно. Я могу притянуть тебя за это. Ведь существует такая штука, как «Охрана супружеских прав». Я читал в «Ллойд-ньюс». Совсем недавно.

— А чем она поможет вам, мистер Тьюлер? Разве вы не осуществляете и теперь своих супружеских прав?

---

[1] Посмотрим *(франц.)*.

Разве я не хлопочу по дому, не готовлю вам обед, не веду с вами совместный образ жизни, как говорят? Но заявляю вам: тело мое принадлежит мне. Оно — моя собственность. Неужели вы думаете, что по закону можно прислать сюда парочку полисменов, которые помогли бы вам в ваших операциях, совладали со мной и последили за тем, чтобы все сошло как надо? Неужели вы это воображаете?

Слово «полисмен» натолкнуло его на мысль

— Я... я напишу твоему отцу. Он этого не потерпит.

— Славное выйдет письмецо, Тэдди,— засмеялась она.— Ты мне его покажешь?

— Ты все это говоришь несерьезно,— продолжал он.— Еще одна нелепая выдумка. Ну что же, я ждал, придется еще немного подождать. Но я вас теперь знаю, как облупленную, сударыня. Вы еще одумаетесь... Только не томите меня слишком долго. Предупреждаю: я могу тебе изменить.

На лице ее ясно выразился тот ответ, которого она так и не произнесла.

— Ты...— начала было она и сразу остановилась.

Он вытаращил на нее глаза, пораженный новой, еще более отвратительной мыслью.

— Так твое тело принадлежит тебе, говоришь? — медленно произнес он.— И ты вправе распоряжаться им? Это что же такое означает? Расскажи мне подробно: какую глупость ты задумала? За этим что-то скрывается. Кто-то...

И лицо его стало таким же безобразным, как самая мысль.

Она пожала плечами и не произнесла ни слова.

— Я узна́ю. Допытаюсь. Буду следить за тобой.. Если ты думаешь, что это тебе пройдет...

Она радостно улыбнулась — нарочно, чтоб обозлить его. Но она была полна решимости.

— Всё эти поганые суфражистки. Со своими избирательными бреднями. Стая крикливых ведьм. Новая женщина и все такое. Подрывают этакими иде-еями религию и благопристойность... Черт бы их побрал — все эти идеи! Ну а теперь по крайней мере мне все ясно.

— И мне все ясно. Eclair...— как это? Eclaircissement[1]. Тут больше моей вины, чем твоей, но нам придется расхлебывать это.

— Уж я постараюсь, чтобы ты расхлебала!— ответил Эдвард-Альберт самым свирепым тоном, на какой только был способен.— Доберусь до тебя. Попомни мои слова. Вышибу вас отсюда прямо на улицу, сударыня!

— Вышибайте, мистер Jusqu'au bout[2]. Вышибайте.

Тут они заметили, что в комнате находится м-сс Баттер и хочет что-то сказать. Им обоим сразу стало стыдно своего поведения.

— Я собираюсь купать ребенка, сударыня,— сказала м-сс Баттер.— Он сегодня такой хорошенький. Выдумал хлопать себя ручонкой по губам. Ну просто прелесть!

Эдвард-Альберт пошел за ней. Эванджелина сперва тоже хотела пойти, но потом решила полюбоваться на то, что делается за окном.

Это был поворотный момент в процессе становления Homo Тьюлер'а, Англикануса. Весь тип медленно, но отчетливо обозначился в нашем экземпляре и теперь находится перед нами со всеми своими ярко выраженными особенностями. Несмотря на первоначальные изъяны, Эдвард-Альберт достиг полного развития. Мы проследили весь процесс его полового воспитания — эту своеобразную смесь целомудрия и предприимчивости, благодаря которой англичанин стал лучшим в мире любовником; мы наблюдали естественное пробуждение в нем империалистических наклонностей, видели, как он стал любителем крикета, а также терпимым и не слишком ревностным, но безусловно верующим посетителем церкви. Мы отметили растущее в нем влечение к клубной жизни и стремление сойтись с опытными людьми. А теперь отмечаем момент, когда в нем зародилось понимание крайнего вреда всяких «идей» — понимание, более всего способствовавшее превращению Англии в то, что она теперь собой представляет.

Он вдруг заметил, что, словно тучей, окружен со всех сторон «идеями», «идеями» всех сортов, всевозможными

[1] Разъяснение *(франц.)*

[2] Ни перед чем не останавливающийся, идущий до конца *(франц.)*

«измами» и «ологиями» без счета. Книги или журнала нельзя открыть, чтобы на них не нарваться. Не то чтоб он особенно стремился открывать книгу, когда можно было обойтись без этого, но Эванджелина любила читать всякую ерунду, и он иногда видел заглавия или даже пробегал глазами оглавление. Новые Женщины, не угодно ли! Он понял, что отныне вся его жизнь будет посвящена борьбе против злостных покушений на его душевное спокойствие. Покушения эти принимали самые разнообразные формы и выступали под самыми различными наименованиями: феминизм, социализм (конфискуйте заклады, обобществите жен — и что же останется?), марксизм, коммунизм (то же самое, только еще хуже), коллективизм, пацифизм, интернационализм, скептицизм, атеизм, дарвинизм, национализация, викторианство, тред-юнионизм, биология, социология, этнология, археология, Эйнштейн, Бернард Шоу, контроль над рождаемостью, модернизм и прочая пакость. Пакость, о которой раньше и слышно не было, затеянная главным образом международным еврейством и длинноволосыми интеллигентами, развращенными до мозга костей,— это они лезут со всякими предложениями, разрушают веру, сеют недовольство среди трудовых классов, угрожают нашему материальному благополучию, совращают женщин с пути добродетели и покорности.

С тех пор как он в первый раз услышал это жужжание «идей», оно для него уже не прекращалось. Осиное гнездо неверия и свободомыслия подлежало уничтожению.

Слышен гул вам, христиане,
На земле святой?
То шумят полки лидийцев,
Как осиный рой.
Меч возьмите, христиане...

Он фыркал от злости, раздувая свою ненависть к ним. Самым лучшим способом обращения с ними было выкрикивание громким, исключающим всякое возражение, властным голосом слова «вздор». Когда сойдешься с единомышленниками и гаркнешь с ними в унисон «Вздор!» — получается очень внушительно. Жужжание как будто совсем затихает. И битва гаркающих с жужжащими окончена... Но потом она начинается снова.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ЭВАНДЖЕЛИНА СХОДИТ СО СЦЕНЫ

Недельки две после этой окончательной размолвки положение оставалось без перемен. Было очевидно, что между м-ром и м-сс Тьюлер произошел разрыв, но, если не считать совершенно определенного желания как-нибудь оскорбить партнера, ни он, ни она не имели ясного представления о том, каков должен быть следующий этап в развитии их конфликта. Эдвард-Альберт отличался той характерной нерешительностью, которая составляет неизбежный результат обычного английского воспитания, а кроме того все еще смутно надеялся, что она передумает. Что же касается ее, то она уже выяснила окольным путем возможности возвращения на прежнюю службу и знала, что если пожелает, то может вернуться. Там ее отсутствие все время очень чувствовали. Но вернуться — это значит возобновить отношения, с которыми она, казалось, навсегда покончила. Ее самолюбие страдало при мысли о дальнейшей зависимости от мужа. Нет, она вернется к прежнему и выдержит испытание. Эдвард-Альберт не единственный мужчина на свете. Уж во всяком случае...

В глубине души она понимала, что именно она сделала несчастным и его и себя. Она ненавидела в нем не только его самого, но еще и свою жестокую ошибку. Трудно приходилось ее самолюбию по ночам, когда ее грызла мысль, что она пострадала от собственной корысти. У нее не хватало духу обвинять во всем только его. Было бы проще, если б она могла свести свои счеты с ним и потом забыть о нем, забыть навсегда. Но как это теперь сделать? Она подавляла в себе всякие признаки естественной привязанности к ребенку, но было бы нехорошо совершенно пренебречь своими материнскими обязанностями. Она должна была знать, что кто-то заботится о нем. И все ее мысли и надежды устремились к м-сс Баттер.

Кризис наступил внезапно, в результате вспышки Эдварда-Альберта. Однажды среди ночи весь дом был разбужен страшным шумом: он стучал и колотил в дверь к жене, требуя, чтобы она отперла.

— Пусти меня, сука! — кричал он.— Это — мое право.

На шум вышла м-сс Баттер в красном фланелевом халате.

— Ступайте спать, мистер Тьюлер. Вы разбудите ребенка.

— Пошла прочь! — заорал Эдвард-Альберт.— Я требую своего.

— Я понимаю,— возразила м-сс Баттер.— Но сейчас не время поднимать этот вопрос. Ведь уже час ночи. И ребенок проснется.

На него подействовало ее невозмутимое спокойствие.

— Что же это? Так, значит, и отказаться от своих прав? — спросил он.

— Все в свое время,— ответила м-сс Баттер, стоя в ожидании.

— Ах ты черт! Но как же мне быть? — воскликнул он.— Как же быть в конце концов?

И всхлипнул.

— Ступайте в постель,— сказала м-сс Баттер почти ласково.

Утренний завтрак прошел в полном молчании. Потом м-р Тьюлер ушел из дому, хлопнув дверью. Эванджелина некоторое время что-то делала у себя в комнате, потом вошла в детскую и стала молча смотреть, как м-сс Баттер возится с ребенком.

— Так не может продолжаться,— вдруг промолвила она.

— Конечно, не может,— подтвердила м-сс Баттер.— Шш... ладушки, ладушки...

— Что же делать?

— Надо исполнять свой долг, мэм: любить, почитать и повиноваться.

— Но я не могу.

— Вы ведь слышали, что было сказано в церкви, и ответили «да»!

— Не слишком ли вы ко мне суровы, миссис Баттер? Вы же видите, что происходит.

— Доля женщины — нелегкая доля,— ответила м-сс Баттер.— Если я смею сказать, мне жалко вас, мэм. Жаль всех троих. Но, по-моему, вы не имеете права ук-

кол\u044fться от того, что от вас требуют. Уж таковы мужчины.

— Не все мужчины такие, как он.

— Все равно,— настаивала м-сс Баттер.

— Если я здесь еще останусь, мне кажется, я его убью. Я... ненавижу его.

— Надо думать о ребенке. Вот в чем ваша обязанность. Надо сохранять семью, а иначе что ж это будет?

— Миссис Баттер, я не люблю это... это отродье. Чувствую к нему отвращение. Мне стыдно, что я его родила.

— Вы не должны говорить так, мэм.

— Но если это правда?

— Это противно природе, мэм.

— Вы его любите?

— Бедный малыш, такой беспомощный! Да, я люблю его, мэм. Может, это вам покажется странным, но этот ребенок очень много для меня значит. Он приносит мне много радости. Словно моя бедная убитая детка вернулась. И тянется ко мне своими ручонками. Теперь есть кто-то, кому я нужна. Я ведь была просто живым мертвецом... Я старалась вам помочь, мэм... но если вы все разрушите, я вам не прощу. Подумайте только, что получится.

Обе женщины поглядели друг на друга, волнуемые одной и той же мыслью, которую ни та, ни другая не могли бы сразу выразить.

— И вы говорите, что не знаете, что такое страсть? — сказала Эванджелина.

— Я не знаю, о чем вы говорите.

— Ну страсть.

— Может быть, есть чувства, которых я не испытывала.

— Конечно, есть,— настаивала Эванджелина.— Они есть.

— Как у мужчин?

— Послушайте, миссис Баттер. Есть один человек... Я хочу его всей душой и всем телом. Вас это возмущает? Я этого и ждала. А меня возмущает необходимость жить с вашим хозяином. Это проституция. Но теперь кончено. Я решила уйти. Я все равно уйду. Меня одно удерживает. Вот это. Но если вы обещаете мне остаться при

этом несчастном существе... Не знаю, как поступит он, но если он прогонит вас, я вам найду место. Вы меня понимаете? Я отдаю этого ребенка вам...

— Вы нехорошо поступаете,— ответила м-сс Баттер, но ее осуждение не было суровым.

— Для тех, кто любит, есть только один закон, миссис Баттер: поступай, как тебе велит чувство. И я поступлю так. Мой властелин и повелитель ушел не в духе. Вряд ли мы увидим его раньше часу. Иду укладываться. Я уже начала. Вы мне поможете?

— И что я должна ему сказать, когда он вернется?

— Скажите что́ вам вздумается, дорогая Что вам будет угодно. А теперь помогите мне. Там, наверху, два новых чемодана, которые я брала в Торкей. И потом еще старый, с французскими ярлыками.

М-сс Баттер больше не возражала. Она тотчас принялась хлопотать. Но тут ей пришло в голову одно осложняющее обстоятельство.

— А что мы скажем Дженет?

— Скажите ей, что меня неожиданно вызвали по делу.

Миссис Баттер принесла чемоданы в спальню. Эванджелина уже складывала платья. Упаковка шла быстро. Когда Генри Тьюлер потребовал присутствия м-сс Баттер, помочь хозяйке пришла восхищенная Дженет.

— О-о-о! Вы, значит, надолго уезжаете!— воскликнула она.— Почти все берете с собой.

— Я приеду, может быть, только через несколько месяцев,— ответила Эванджелина.— Трудно сказать.

— Да уж раз такое дело,— согласилась Дженет и замолчала.— А белье, которое в стирке? — вдруг вспомнила она.

— Его можно прислать потом. Я все это устрою.

— Значит, вы не за границу едете?

— Нет, не за границу. Насколько могу предвидеть.

— Вы точно не знаете?

— Точно не знаю. Пока. Меня вызвали неожиданно.

Укладка продолжалась ускоренным темпом, сопровождаемая осторожными вопросами одной стороны и неопределенными ответами другой. Эванджелина ничего не забыла. Она оставила м-сс Баттер адрес м-сс Филипп Чезер, потом пошла проститься с сыном. Он

спал спокойным сном. Она стала на колени у кроватки, но не обнаружила особого волнения.

— Прощай,— сказала она.— Дитя de la Mère Inconue [1].

И глубоко задумалась.

— Как знать, может быть, когда-нибудь встретимся. Как в море корабли.

Дженет пошла за такси.

Эванджелина в последний раз поглядела на м-сс Баттер.

— В конце концов для него то, что я сейчас делаю, самое лучшее,— заметила она.

— Может быть, вы и правы.

— Вы сдержите слово?

— Я прекрасно понимаю, какую ответственность взяла на себя.

Дженет ждала со шляпной картонкой в руке. Остальной багаж был уже в такси.

Наступило некоторое замешательство. Эванджелине хотелось поцеловаться с м-сс Баттер, но что-то в лице последней удерживало ее.

— Все письма или если что понадобится посылайте по этому адресу. Меня там не будет, но мне перешлют.

— Понимаю,— ответила м-сс Баттер.

Больше говорить было не о чем.

Вернувшись в час дня, Эдвард-Альберт застал в передней Дженет, которая поджидала его, приятно взволнованная.

— Она уехала, сэр. Уложила все свои вещи и уехала. Совсем, сэр.

— Кто уехал?—спросил Эдвард-Альберт, хотя сразу понял, о чем идет речь.

— Миссис Тьюлер, сэр. Уложила все свои вещи и уехала на такси.

— Куда? — спросил он, по-прежнему сохраняя внешнее спокойствие.

— Я хотела послушать, куда она скажет, но она заметила и велела шоферу ехать сперва просто по Гоуэр-стрит.

Лицо девушки сияло от восторга и любопытства. Она была охвачена свойственной каждому человеческому

---

[1] Неизвестной матери *(франц.)*.

существу жаждой осуждать, травить, улюлюкать, преследовать.

— Вы не заметили номера такси?

— Я догадалась, когда уже было поздно, сэр.

М-р Тьюлер пошел к м-сс Баттер.

— Как же вы позволили этой женщине уехать?

— Вы хотите сказать, вашей жене, сэр? Я ведь не сторож ей, сэр.

— Ну ладно, уехала так уехала. Больше она не переступит этого порога. Сказала она, куда?

— Она оставила вот этот адрес. Но сказала, что ее там не будет. Это только для писем...

М-р Тьюлер вошел в комнату жены и в глубоком молчании окинул взглядом выпотрошенный гардероб, пустой туалетный столик, комод с выдвинутыми ящиками. По полу были разбросаны обрывки папиросной бумаги. Он подумал, не оставила ли она ему письма, но никакого письма не было. А должно было быть. Так же молча пошел он взглянуть на сына. Потом промолвил:

— Надо чего-нибудь поесть.

Он принимал неизбежное как неожиданность. После завтрака он долго сидел в гостиной в каком-то оцепенении. Выпив чаю, он немного пришел в себя.

«Надо что-то сделать,— подумал он.— Что я должен сделать? Конечно, будет развод... Уличная девка!»

Он рисовал себе картину скандала, обвинений, ответных упреков, раскаяния, обнаруженной измены, побега, преследования, развода, но не представлял себе, чтобы Эванджелина могла просто раствориться в небытии. Он всячески старался скрыть свою полную растерянность.

Наконец он решил отправиться к Чезерам и попросить совета у Пипа.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

РАЗВОД

М-р Филипп Чезер подробно узнал у Эдварда-Альберта о его подлинном отношении к свершившемуся. Он выведал у него обо всем постепенно, вставляя со своей

стороны очень мало замечаний. Он был только что принят в члены «Клуба молодых консерваторов» на Уайтхолл-плэйс и не без известной доли тщеславия повел Эдварда-Альберта туда. Оба считали, что это гораздо более подходящее место для обсуждения возникшей перед ними важной проблемы, чем дом, где была хозяйкой Милли Чезер. Они сели в спокойном уголке огромной курительной комнаты, и м-р Филипп стал предлагать вопросы, словно приступающий к новому делу адвокат.

Выслушав все, он подвел итог. Издав более громкое и протяжное ржание, чем обычно, так что какие-то заговорщики, шептавшиеся в отдалении, замолчали и испуганно оглянулись, он произнес следующее:

— Это обойдется вам недешево. Вы полагаете, что вам должны возместить убытки,— огромные убытки, как вы говорите? Но кто будет вам возмещать их и — и-го-го — о каких, собственно, убытках идет речь? Что она сделала? Уложила чемоданы и уехала — только и всего. Это не повод для развода. Конечно, вы можете добиться вида на раздельное жительство, но, насколько мне известно, от этого никому не легче. Никогда — и-го-го — в жизни не встречал я живущих раздельно мужа или жену. Абсолютно не представляю — ну, аб-со-лютно,— куда они деваются, как живут и устраивают свои дела. Ну да, вы думаете, что вам удастся подослать к ней сыщиков и выследить ее. Но вы ведь не знаете, где она... Нет, я не скажу. Я — и-го-го — дал слово. Вам надо будет узнать, где она живет и куда ходит, и поймать ее — и-го-го — как это называется?.. Flagrante delicto[1]. Долгая и скучная история. А закон требует, чтобы вы вели в это время безупречный образ жизни,— абсолютно безупречный. Вы недостаточно богаты, чтобы содержать кого-нибудь на стороне и наладить — и-го-го — незаметную связь. Между тем имеется такое великолепное должностное лицо, как королевский проктор, располагающий некоторой суммой — и-го-го — для того, чтобы следить, действительно ли вы безупречны. Чуть не целый год, мистер Тэдди. В интересах правосудия, религии и общественного порядка, понятное дело. Она может резвиться, сколько ей угодно, а вам придется только

[1] На месте преступления (*лат.*).

выслушивать сообщения своих частных агентов. Сообщения эти — и-го-го — будут возмутительны, просто возмутительны... Вы этого не выдержите. Так ведь? И что же вы станете делать?

Успокаивающим жестом он положил руку на плечо Эдварда-Альберта.

— Слушайте. Единственно, кто может сделать так, чтобы все устроить дешево и гладко,— это ваша жена. Предположим, у нее уже кто-то есть. Если вы будете настаивать на том, чтобы выкачать из него возмещение убытков, она будет из кожи лезть, чтобы ему не пришлось платить. Это же естественно. Особенно, если он женатый, как я подозреваю. Но если она отправится в какую-нибудь деревенскую гостиницу и пришлет вам оттуда откровенное признание с приложением счета и заявит, что не имеет ни малейшего намерения сообщать фамилию соучастника, то вот вам и законный повод. Ваш частный агент позаботится об остальном. И ваше дело в шляпе.

— Но мне придется ждать еще восемь или десять месяцев.

— Жалуйтесь на закон. На церковь. На законы о разводе. Пишите своему члену парламента. Апостол — и-го-го — Павел где-то говорит: «Лучше вступить в брак, чем разжигаться»; но тут вы можете оказаться и женатым и обреченным разжигаться. Я здесь ни при чем, Тэдди. Я не отвечаю за такое — и-го-го — устройство.

— Вы устроили бы лучше.

— И-го-го! Я же не могу все устроить. К сожалению.

— Гм,— сказал Эдвард-Альберт.— Дурак я, дурак. Испортил себе жизнь.

— Я бы даже не так сказал. А может, не вы — и-го-го — дурак, а мир, в котором мы живем,— дурацкий мир. Может, это он портит нам жизнь, как мы ни изворачиваемся и ни приспособляемся.

— Этого я не понимаю.

— Да если подумать хорошенько — и-го-го,— так я и сам не понимаю. Подумайте как следует, Тэдди... А я и Милли поговорим по душам с противной стороной, так, что ли?

Эдвард-Альберт мрачно кивнул.

— А я должен крепиться... целый год. Пока она... Нет, не могу, Пип.

— Ну, так не попадайтесь. Пусть ваша левая рука не знает о том, что делает правая.

— В один прекрасный день я сойду с ума и убью ее.

— Даже револьвера не купите.

— Покончу с собой.

— Всех нас — и-го-го — переживете.

— Так что же вы советуете?

— Про-о-о (тут опять вырвалось ржание)-ститутка — вот предохранительный клапан в добропорядочном христианском обществе. Это все, что я могу вам сказать. Анонимность, скромность и тайна. Вероятно, королевский проктор пошлет к вашей жене своего уполномоченного узнать, что ей известно о вас. Если вы не испортите с ней отношений...

— Будь она проклята!

— Вот именно. Если вы не испортите с ней отношений — будь она проклята! — то он уйдет ни с чем. А ваше дело в шляпе.

— И она же еще будет издеваться надо мной!

— Она скорей придет в чувствительное настроение, после того как все будет кончено, и она добьется своего, в чем бы ее цель ни заключалась. И-го-го — не терзайте себя, Тэдди. Такие полюбовные разводы обычно — пустая формальность. Они привлекают так же мало внимания, как хроника рождений, браков и смертей в провинциальной газетке. В них нет ничего пикантного, что могло бы заинтересовать газеты. Вот когда интерес подогрет доказательством неверности—что видела горничная в замочную скважину и так далее — или когда происходит острый перекрестный допрос, вокруг такого дела, конечно, поднимается шум. Но — и-го-го—я думаю, что ни вам, ни ей не придется появляться в суде. Кажется, это не обязательно, хотя тут я, может быть, ошибаюсь. Во всяком случае, рассмотрение не займет и десяти минут.

Всеведущий представитель похоронного бюро оказался прав. Королевский проктор не стал напоминать о своем существовании. И в положенный срок было вынесено желательное решение. Но для Эдварда-Альберта в это время началась уже новая, более счастливая полоса жизни.

МИССИС БАТТЕР ПРОНИКАЕТСЯ ЖАЛОСТЬЮ

Однажды ночью м-сс Баттер проснулась и обнаружила, что находится в объятиях своего хозяина.

— Я не могу заснуть,— бормотал он.— Не могу-у заснуть. Не могу-у больше так.

Она, сонная, села на постели. Глаза ее слипались, и она открыла их с усилием. Потом вздрогнула и вперила взгляд в неясные очертания льнущей к ней фигуры, не в силах произнести ни слова. В коридоре горел свет, но в комнате было темно. Сквозь ее тонкую ночную рубашку он чувствовал теплоту ее мягкого тела и нежную выпуклость груди. Дыхание ее было приятное, теплое. Она положила руку ему на плечо.

— Я лежу и все время думаю о вас. Я покончу с собой.

Он всхлипнул.

— Мне жизнь не мила. Я люблю вас.

Приблизив лицо к его уху, она еле слышно прошептала:

— Чего вы хотите?

— Не могу больше. Пустите меня к себе. Пустите. Я женюсь на вас, как только стану свободным. О миссис Баттер! Мэри!

— А если у нас будет ребенок?

— Ну вот еще,— воскликнул он.— Я уж теперь ученый!

— Вы можете поручиться?

— Мэри!

— Нет, пока не зовите меня Мэри. Я хочу знать наверно. Как вы сделаете?

Он стал объяснять сквозь слезы. Она не говорила ни слова, но внимательно слушала, и тело ее не отвечало на его объятия. Но это его нисколько не останавливало. Она откинула одеяло.

— Я знала, что так будет,— сказала она, все еще отстраняя его.— Обещайте мне одно.

— Все, что хотите. Все, что хочешь, дорогая моя.

— Нет, только одно. Пусть этот мальчик будет моим, совсем моим. Вы не озлобитесь на него из-за нее. Такие

«НЕОБХОДИМА ОСТОРОЖНОСТЬ»

«НЕОБХОДИМА ОСТОРОЖНОСТЬ»

вещи бывают. Вы никогда не тронете его пальцем. Будете с ним ласковы — всегда. Обещаете?

— А меня ты совсем, совсем не любишь?

— Вы такой беспомощный, мистер Тьюлер. Мне вас жалко. Такой молоденький. Вы оба для меня как сыновья.

— А называешь меня мистер Тьюлер...

— Ну да. И вы зовите меня миссис Баттер, пока мы не поженимся. Если мы станем называть друг друга по имени, прислуга заметит, начнутся толки. Эта Дженет...

Так м-сс Баттер доверила свое тело Эдварду-Альберту.

— Как хорошо! — в восторге промолвил новообращенный.— Теперь мне опять хочется жить. А тебе было приятно?

— Я не люблю таких вещей. Но мужчины, видно, не могут без этого. Так уж природа устроила. Ну, теперь ступайте к себе в постель, мистер Тьюлер, и хорошенько выспитесь, а завтра мне ни словом об этом не заикайтесь. Ни словом. Не к чему толковать о таких вещах. Думала я, что уже навсегда покончила с этим... И не забывайте, что где Дженет, там и стены имеют уши. Мне надо быть осторожной. Я бы от нее отделалась, да не решаюсь. Это покажется ей подозрительным. Ну, покойной ночи, мистер Тьюлер.

— Один поцелуй!—попросил благодарный любовник.

Она подставила ему щеку.

И, когда Эдвард-Альберт уже был у себя в комнате, м-сс Баттер подошла к юному Генри Тьюлеру, поцеловала его, тихо посидела у его кроватки и потом вдруг заплакала.

— Что же мне было делать, мой малыш? — прошептала она.— Видно, так надо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ПРОСПЕКТ УТРЕННЕЙ ЗАРИ

Через месяц после того, как развод вступил в силу, Эдвард-Альберт женился на м-сс Баттер. Брак был оформлен в отделе записей; в качестве свидетелей при-

сутствовали Пип и Милли. М-сс Баттер не пожелала венчаться в церкви.

— Этого не надо,— сказала она.— Не к лицу нам обоим. Я уже раз венчалась в церкви. С меня довольно.

На этом правдивое повествование о половой жизни нашего героя кончается. Эдвард-Альберт Тьюлер превратился в мужчину, и больше с ним никаких существенных изменений в этой области не происходило... Мелкие подробности его половых реакций менялись и продолжают меняться до сего дня, не внося, однако, ничего нового в ритм его существования. Основные вожделения его улеглись, и если он еще любопытствовал, то делал это для удовольствия, а не ради познания. Бывали у него свои порывы, свои легкомысленные настроения; он самодовольно улыбался всякий раз, как видел что-нибудь привлекательно-женское; но отныне страсти его были в общем вполне удовлетворены. Он разрешил себе позабыть многие этапы своего развития, которые мы имели возможность проследить. С ненавистью думал он об Эванджелине, однако горечь воспоминания постепенно теряла свою остроту. Она была дурная женщина, и он от нее избавился. Наиболее горькие унижения выпали из его памяти и возвращались только по временам во сне. Он перестраивал свою интимную автобиографию до тех пор, пока не получилось почти так, будто Эванджелина была вынуждена потребовать развода. Она надоела ему, и он порвал с ней, потому что влюбился в женщину гораздо лучше ее.

Совершенно незаметно более простая и сильная индивидуальность новой м-сс Тьюлер приобрела решающее влияние на внешний уклад его жизни. Именно жена подала мысль о том, чтобы уехать из Лондона и поселиться в деревне. Очень хорошо жить в Лондоне, когда бываешь в обществе, делаешь дела и тому подобное, говорила она, но им-то зачем? Они могут поселиться в каком-нибудь красивом месте, например, на берегу моря, близ какого-нибудь города — только не в самом городе,— и жизнь будет стоить вдвое дешевле. Если выбрать место, где есть поле для игры в гольф, он мог бы выучиться этой игре. Конечно, довольно бессмысленное занятие — гонять с места на место дорогой мячик, пока не потеряешь его, а назавтра опять все сначала; но муж-

чинам это, очевидно, нравится, и даже есть женщины, до такой степени подлаживающиеся к ним, что играют с ними в эту игру,— сама она никогда не дошла бы до этого. Но при этом мужчина знакомится с людьми и перестает замыкаться в себе, а м-сс Тьюлер № 2 была убеждена, что Эдварду-Альберту нельзя замыкаться в себе.

Можно будет купить хорошенький автомобильчик, и он научится водить его. Почему бы нет? И потом — он должен заняться своими делами более внимательно, чем делал это до сих пор. Он получит возможность улучшить свой перенапряженный бюджет путем экономии и подыскания подходящих закладов. Сможет подружиться с директором своего банка и использовать местные возможности. Если они поселятся возле большого приморского города, можно будет туда ездить — в кино и тому подобное, а Генри сможет посещать школу. И там есть врачи.

Эти перспективы, возникавшие перед ним из разрозненных замечаний второй м-сс Тьюлер, он в большинстве случаев приписывал своему воображению, развивал их и затем предъявлял ей—для неизменно почтительного одобрения. Они стали искать дом, который удовлетворил бы намеченным ею условиям, и нашли такой неподалеку от поля для гольфа в Кезинге, в двенадцати с половиной милях от Брайтхэмптона-на-взморье. Он стоял в ряду других таких же маленьких вилл, составлявших Проспект Утренней Зари, в основном совершенно одинаковых, но отличавшихся друг от друга формой оконных сводов, готической каменной кладкой, шиферной или черепичной крышей, красным кирпичом или белой штукатуркой, так что каждая имела до некоторой степени собственную индивидуальность.

Единообразие, скрадываемое индивидуальными отличиями,— в этом заключалась руководящая идея Кезингской компании по сдаче в аренду земельных участков. Главный директор ее, стремясь как-нибудь отойти от господствующих в поселковостроительной номенклатуре аллей, авеню, стритов, скверов и террас, услышал однажды о Невском проспекте и с решительностью гения ухватился за это название. Проспект Утренней Зари смотрел фасадами на восток, и сады позади вилл днем

тонули в солнечном свете. Проспект Вечерней Зари, расположенный параллельно, тыл к тылу, был от него отделен зарослями тамарисков и кривыми соснами. Далее имелся Проспект Ла-Манша с хорошим видом на море, но слишком открытый ветрам, и Проспект Империи — без особых видов; затем Брайтхэмптонский Проспект и Проспект св. Андрея — с видом на поле для гольфа. Все дома были совершенно одинаковы, как поросята одного помета, но благодаря тщательным усилиям удалось избежать точного повторения.

Только в одном пункте воображение директора забрело слишком далеко: он нашел партию статуй, цоколей и решеток в псевдояванском стиле, предназначавшихся для некоего Восточного кафе в Брайтхэмптоне, которое так и не открылось за недостатком средств. Украшения эти продавались по бросовой цене, и он их приобрел. Этот счастливый случай возбудил его воображение до предела: он поспешил создать Небесный Проспект — название, которое многие солидные люди находили либо зловещим, либо кощунственным,— и, желая придать ему еще более восточный характер, поставил все дома на нем вкось, так что получилась не фронтальная линия, а уступчатая. В смысле населения Небесный Проспект никогда не мог сравняться со своими соседями. Он с самого начала привлекал нежелательный элемент — любителей игры на банджо, женщин в брюках, людей, зажигавших по ночам китайские фонарики и устраивавших пирушки при лунном свете,— легкомысленных, ненадежных квартирантов, которые причиняли агентам компании хлопоты в конце каждого месяца. Один из них расписал яванские цоколи самым непристойным образом. К счастью, Небесный Проспект находился в доброй полумиле от Проспекта Утренней Зари и, кроме того, Тьюлерам не нужно было ходить тем путем. До них только время от времени доносились по ночам музыкальные оргии, доставлявшие несравненно меньше беспокойства, чем крик коростелей за полем для гольфа.

У обитателей Проспекта Утренней Зари было много общих черт. Все они жили без забот. Их можно было разделить на две категории. К одной относились две молодые пары, приехавшие сюда ради солнца и воздуха, од-

на — потому что муж был туберкулезный, другая — потому что туберкулезом страдала жена. Обе были «со средствами». Общественное положение их оставалось неясным. Один из мужей занимался рисованием геометрических узоров для выложенных плитками полов, но мир еще не оценил по достоинству его искусство. Идея глубоко скрытой, невыясненной болезни понравилась Эдварду-Альберту, и, услыхав о своих будущих соседях, он заявил агенту, что его собственное здоровье тоже оставляет желать много лучшего. Во всяком случае, ему некоторое время нужно беречься.

— Врач не может в точности определить, что со мной,— пояснил он.— Но Лондон для меня — неподходящее место. Вот здесь у меня что-то неладно.

И он указал на верхнюю пуговицу жилета.

— Необходима осторожность.

За вычетом этих двух солнечно-воздушных случаев арендаторы были люди спокойные и уже в летах, обладавшие известным достатком. Их обслуживали более молодые жены или незамужние сестры; в каждой семье была какая-нибудь племянница и несколько человек детей. Обе категории в равной мере старались устранить из своего житья-бытья какое бы то ни было беспокойство. И все жители Проспекта, кроме одного человека с пробковой ногой да непризнанного художника, играли в гольф.

Клуб поселка располагал лишь небольшим полем, но на полпути между поселком и Брайтхэмптоном находилось поле Кезингского клуба, а дальше, у самого моря, Брайтхэмптонское городское поле. Так что местность всегда пестрела группками мужчин в мешковатых штанах и под стиль одетых женщин, важно шагающих со своими орудиями в руках в поисках скрывшегося мяча, время от времени обнаруживающих его, останавливающихся, чтобы произвести над ним очередную операцию, и возобновляющих поиски. Изо дня в день во всех концах мира мрачные, сосредоточенные игроки в гольф шагали, ударяли по мячу и шагали дальше, не спеша, без улыбки. В течение нескольких столетий игра в гольф процветала лишь в Восточной Шотландии и считалась чисто местной особенностью. Потом вдруг распространилась по всей земле, как чума. Ни один народ не

избежал заразы. Вычислено, что количество миль, ежедневно проходимых игроками в эпоху Гольфа... но статистика нарушит серьезность нашего повествования.

Как я уже говорил, пожилые обитатели Проспекта Утренней Зари были очень похожи друг на друга. Но они все же не были членами одной семьи, а явились из самых различных точек земного шара. Не раз высказывались соображения относительно инстинктов, которыми наделены некоторые насекомые,— инстинктов, помогающих им через огромные пространства добираться до какого-нибудь особенно редкого растения или животного, нужного им, чтобы спариваться, откладывать яйца или питаться. Это чудо отбора напоминает нам видение Сведенборга, в котором праведники и грешники по собственному почину стремятся к назначенным местам: осужденные на вечные муки — в ад, удостоенные вечного блаженства — на небо. А почтенные обитатели Проспекта Утренней Зари собрались в одном месте, повинуясь иссушившему их душу воздействию понедельника.

С тринадцати- или четырнадцатилетнего возраста все они круглый год занимались делом, требовавшим их появления на месте каждый понедельник утром точно в определенный час, и обязывавшим их завтракать, обедать, вообще существовать по строго заведенному порядку. Раз в год они отдыхали, примерно недели две или еще того меньше; это были радостные дни, из-за которых остальные пятьдесят понедельников казались по контрасту еще мрачнее.

Всю свою жизнь они трудились, честно служили своим нанимателям, жили с оглядкой и копили деньги с единственной целью — уйти на покой. Не жизнь на широкую ногу, не какие-нибудь открытия или изобретения были предметом их мечтаний, а только одно — покой. Возможность не выходить в понедельник на работу, не спешить по утрам в магазин или контору стала для них идеалом Высшего Блаженства. Верующие толкуют о необходимости чтить день субботний, но эти добрые люди, составлявшие становой хребет того упорядоченного делового мира, который неудержимо рушится в наше время, чтили только дни отдыха как высшее счастье своей жизни.

В эти дни — в одиннадцать часов утра, в три пополудни — они попирали свои сброшенные оковы, испытывая при этом несказанное блаженство.

И вот во всем обреченном мире землевладельцы и строительные компании, словно охотники на мотыльков, приманивающие свои жертвы патокой, стали создавать Проспекты Утренней Зари, куда слетались эти уходящие на покой, располагаясь там в зависимости от своих средств и размеров семьи; и среди них оказались супруги Тьюлер.

Они жили сельской жизнью на Проспекте Утренней Зари до тех пор, пока несчастный случай не положил ей конец в 1941 году, и жили довольно счастливо. Речь Эдварда-Альберта, никогда не отличавшаяся изяществом оборотов, теперь стала еще вульгарнее, он забыл также все, что усвоил из элементарного курса французского языка, кроме произносимой иногда в шутку фразы: Parles-vous françay[1]. У него был хорошенький садик, слишком маленький и песчаный для настоящего садовода, но в котором было приятно возиться. Он подправлял изгородь по фасаду, косил крошечную лужайку миниатюрной косилкой. Читал он все меньше и меньше. Даже детективные романы были для него утомительны. Он пробовал выдумать себе какое-нибудь любимое занятие, но это оказалось не так легко. Сперва он решил заняться плотничьим делом, купил себе стандартный набор инструментов «Дачный № 3». Он окрестил свою мастерскую «Приютом славы» и стал удаляться туда для совершения таинственных действий. Выпиливание ему понравилось, и он сделал тройную висячую книжную полку, которую портили лишь некоторая кособокость да отсутствие в доме книг, так что ее нечем было заполнить. Ее повесили у него в спальне. Ему нравилось смотреть на нее. Но он должен был признать, что ручной труд — не его призвание.

Оба они с женой любили кошек. Перевезенный с Торрингтон-сквер черный кот жил у них одиннадцать лет. Потом на его месте появился другой холощеный кот, а за этим — целый ряд других.

---

[1] Вы говорите по-французски? (Фраза передана с указанием на неправильное произношение говорящего.)

Эдвард-Альберт всерьез занялся гольфом. Тут был впервые замечен его астигматизм. Один из партнеров дал ему полезный совет — обратиться к глазнику. Эдвард-Альберт послушался и получил пару очков, что весьма благотворно отразилось на его игре. Сильные драйвы ему не удавались, так как он всегда инстинктивно боялся, как бы не послать слишком далеко, но паттинги были медленны, осторожны и довольно точны... Как большинство соседей, он был искренним, но не слишком ревностным христианином — иными словами, верил безоговорочно, но от посещения церкви по возможности уклонялся. М-сс Тьюлер в церковь вовсе не ходила и никогда не выражала ни благочестивых, ни нечестивых взглядов. Вера принесла ей слишком глубокое разочарование, чтобы его можно было выразить словами. Церковь в Кезинге, единственная, куда можно было съездить за один день, считалась слишком «высокой», что не вполне соответствовало вкусам обитателей Проспекта Утренней Зари; кроме того, не внушал доверия ее приходский священник, постоянно топтавшийся на церковном дворе и у себя дома в берете и сутане, когда всякий благоразумный человек оделся бы в костюм из тонкой фланели. По временам Эдвард-Альберт вспоминал, что где-то, далеко за пределами Проспекта Утренней Зари, жужжат и гудят «идеи», но достаточно ему было шепнуть: «Вздор!» — и тревоги его рассеивались. Разумеется, с годами у него округлилась талия и все тело увеличилось в объеме.

Зима, весна, лето и осень сменяли друг друга непрерывной чередой. Из года в год великий зверолов Орион торжественно проходил по небосводу со своим Псом, следующим за ним по пятам, и знаки Зодиака чередовались на страже, охраняя, надо думать, благополучие человечества. Жизнь на Проспекте Утренней Зари была подобна неподвижной вершине огромной вращающейся системы или центру гигантского часового циферблата, и если бы вы сказали кому-нибудь из его обитателей, молодому или старому, что это блаженное царство дремоты находится не в центре хронометра, а скорее в центре района, которому угрожает бомба замедленного действия, вас сочли бы самым нелепым и несносным из жужжащих и потребовали, чтобы вы перестали молоть «вздор»!

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЭДВАРДА-АЛЬБЕРТА ТЬЮЛЕРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ?

Предыдущая книга нашего повествования о жизни Эдварда-Альберта Тьюлера оказалась длинной. Теперь, для передышки, читатель получит очень короткую. При этом она будет лишена привкуса нескромности, к сожалению, неизбежного при правдивом описании половой жизни человека.

Наша монография была бы неполной, если бы мы не рассмотрели одного утверждения Аристотеля, что, в свою очередь, влечет за собой необходимость отдать должное этой замечательной личности, сыгравшей такую роль в деле запутывания человеческой мысли. Имя его ярко светит в истории нашего духовного развития, так что миллионы, ничего о нем не слыхавшие, кроме имени, полны почти суеверного преклонения перед последним. Он выдумал логику, игнорирующую универсальное единство явлений, прочно установил виды, которые тем не менее продолжают вечно изменяться, и поставил догматическую абстракцию на место многообразной истины. Впоследствии он отступил от этого в сторону систематического собирания и описания фактов, но силлогистика раннего Аристотеля надолго осталась препятствием для человеческой мысли, и ученые книжники в монастырских кельях, не имея ни способности, ни желания выйти оттуда, чтобы продолжить наблюдения и опыты, стали пользоваться торопливыми заключениями старика Арис-

тотеля в качестве мерила действительности, вместо того чтобы заинтересоваться созданной им системой знания.

Приступив после обращения Константина к разработке своих взглядов, христианское вероучение присвоило себе умственный авторитет Аристотеля, и пока Роджер Бэкон не выступил со своим резким и страстным протестом, Церковь держала сознание человека вдали от окружающей вечно изменчивой действительности. И вот в течение всего раннего средневековья род Homo блуждал в потемках, и ни опыт, ни страдания почти ничему не научили его. Ибо, как представитель своего поколения, Эдвард-Альберт является наследником всего этого. Без его ведома оно участвовало в его становлении и предопределило его ограниченность. Точно так же обстоит дело и со всеми нами. Никто из нас не был бы тем, что он есть, если бы некогда не существовал Аристотель, который совершил и закрепил основную ошибку, вызывавшую блуждания человеческой мысли.

Эту дань признательности великому деятелю классической древности мы платим здесь мимоходом и лишь предварительно, поскольку без нее невозможно исправить одно его неоправданно категорическое утверждение. «Человек,— заявляет он без всяких оговорок,— животное общественное».

Но это, не являясь совершенно неверным, в то же время верно не вполне. Это неверно, поскольку Homo Тьюлер ведет себя не так, как должно было бы вести себя общественное животное, принимающее полное участие в жизни своего коллектива. Но это верно в том смысле, что жизнь его неотделима от жизни коллектива, и он не в состоянии из нее вырваться, какие бы усилия к этому ни прилагал. Даже какой-нибудь отшельник-мизантроп продолжает участвовать в ней своим открытым или безмолвным осуждением того образа жизни, который ведут остальные. Так что утверждение Аристотеля можно принять, уточнив его в том смысле, что человек — животное не в полной мере общественное.

Аристотелев полис[1] был городом-государством, но в настоящее время человеческое общество, постепенно

[1] Город-государство в Древней Греции. У Аристотеля человек назван «зоон политикон», то есть животное политическое (в смысле принадлежности его к коллективу полиса, города-государства).

усложняясь в своих функциях, развилось до Космополиса, охватывающего весь человеческий род. Человек входит теперь в целую сотню перекрывающих друг друга систем связи; сотня разных инстанций предъявляет на него свои права. Но всех их охватывает, становясь все более и более властным, человечество в целом. Никто не в состоянии уклониться от участи, предначертанной всему нашему виду, но до сих пор мало кто из нас отдает себе в этом отчет, и еще меньше таких, кто сумел возвыситься до попыток изменить эту участь. Мы находимся на корабле человеческой судьбы, но очень слабо им управляем. Каждому из нас своя каюта еще представляется отдельным кораблем. Мое сравнение не совсем удачно, но мысль ясна. Мы принадлежим полису, но не умеем полисом руководить.

Представление Аристотеля об обществе никогда не шло дальше города-государства или союза городов-государств, так как в его время нельзя было представить себе того прогресса, который приведет к уничтожению расстояний. Но выраженная в его формуле «общественное животное» чисто греческая идея, толкование терминов «город» и «граждане» как взаимно эквивалентных, противопоставление культурных видов экспансии варварским, понимая под первыми рост городов, а под вторыми—завоевание, требование дани, «сотрудничества», вассальной верности,— все это в течение веков и вплоть до нашего времени являлось действующим противоречием. Рим не сразу стал империей. Первоначально Римская республика строилась не на идее завоевания, а на идее ассимиляции; на всем пространстве — от Шотландии до Самарканда — каждый мог стать гражданином города Рима. Века изобретений и открытий расширили Аристотелев полис до Космополиса; варвар в наши дни — это обыкновенный гангстер, дикарь в городских условиях, всякая война преступна и является, по существу, междоусобицей, и все мы теперь живем — или гибнем — благодаря п о л и с у - м и р у, с его помощью и внутри него.

Отсюда ясно, что Эдвард-Альберт Тьюлер и его соседи по Проспекту Утренней Зари, живя в самом центре района, которому угрожает космическая бомба замедленного действия, должны были, как должны теперь все в мире, оправдать утверждение, что человек — животное

общественное, хотя, быть может, и не отдающее себе отчета о действительных размерах своего общества или полиса.

В качестве общественных животных обитатели Проспекта Утренней Зари обнаруживали то же сдержанное отвращение к грубой действительности, каким отличались их религиозные и философские воззрения. Их гражданская солидарность сводилась к общности интересов, объединяющей пайщиков одного предприятия. Они не проявляли в этих вопросах ни малейшей горячности или задора и не осложнили материал нашего исследования оригинальными передовыми идеями или попыткой каким-либо образом изменить мир. Благодаря этому наша задача значительно упрощается. Один-единственный убежденный фашист, или коммунист, или свидетель Иеговы, или сторонник единого налога, или, скажем, последователь Дугласа сильно осложнил бы своим появлением нашу задачу, заставив все население Проспекта реагировать на его систему взглядов и организоваться для борьбы за или против нее. Такой человек сосредоточил бы на себе общее внимание, словно оса, залетевшая в комнату, полную мирных людей. Но подобные нарушители спокойствия были далеко, от них доносилось только легкое жужжание, и словечко «вздор» не хуже ангела с пламенным мечом охраняло это место отдохновения и покоя.

Все обитатели Проспекта Утренней Зари были в мирных отношениях с богом и полагали, что если богу не докучать, то можно рассчитывать, что и он не будет докучать нам. Легкий привкус Рима, вызываемый видом уже упоминавшихся берета и сутаны, освобождал от необходимости усиленного посещения церкви. Впрочем, последнее при любых обстоятельствах не имело бы места. Всегда нашелся бы какой-нибудь легкий привкус в оправдание. Правда, некоторые дамы «причащались» на пасху и помогали украшать храм для молебна по поводу снятия урожая. Если бы пробрался сюда какой-нибудь «жужжало» и начал шепотом распространять неверие, обитатели Проспекта Утренней Зари не стали бы дискутировать: они просто и решительно поднялись бы на защиту бога. Но зато, если бы сам Искупитель рода человеческого, чей подлинный портрет украшал не одну

спальню на Проспекте, появился, точь-в-точь такой же, каким его изображают — в сиянии и белых одеждах,— обитатели Проспекта Утренней Зари поспешили бы укрыться в своих домах, заперли бы двери и в щелку ставен исподтишка следили бы за этим пожаловавшим к ним анахронизмом, опасливо ожидая какого-нибудь чуда. Некоторые из них, еще не совсем позабывшие уроки, полученные в воскресной школе, с беспокойством подумали бы о смоковнице м-сс Рутер в конце улицы, поскольку Он, как известно, очень сурово относился к смоковницам, а ее смоковница, как известно, бесплодна.

Это все, что можно сказать о религиозных чувствах обитателей Проспекта Утренней Зари. К природе они относились тоже безразлично. Они утратили всякий интерес к ней, какой у них когда-либо был. Они решили, что природа тоже не представляет ничего опасного, если только особенно не возиться с ней. Существуют тайны, но ни одному приличному человеку не придет в голову совлекать с них покровы. Существуют чудеса природы, но нет никакой надобности в них соваться. Достаточно констатировать, что природа чудесна. В тихую ночь выйти наружу и поглядеть на звездное небо. Постоять неподвижно. Глубокомысленно произнести: «Это заставляет задуматься». И больше не думать об этом.

Но от политики отделаться было не так легко. Надо было платить местные налоги, а они имели склонность повышаться. И налоги общие, которые все время росли. Происходили выборы в муниципальные органы и в парламент. Кто-то опускал афишки в дверные почтовые ящики, а сборщики голосов обходили дома и предлагали жителям Проспекта Утренней Зари вопросы, на которые те загадочно качали головой. Они не любили дискуссий в передней. По мере приближения всеобщих выборов волнение в обществе росло, и жители Проспекта Утренней Зари уже не могли оставаться в стороне. Языки у них развязывались. На поле для гольфа и у садовых изгородей начинался обмен мнениями, передавались газеты с карандашными пометками. И обсуждались фигуры видных политических деятелей. Даже до этого доходило... Личные наблюдения, до тех пор скрывавшиеся, вытаскивались из-под спуда.

Так, например, некий м-р Пилдингтон много лет прослужил на ответственном посту в одном универмаге в Джохоре. Чувствовалось, что его краткие суждения по любому вопросу, связанному с Индией и вообще с Востоком, неоспоримы. А м-р Стэнниш из Тинтерна хорошо знал губительную роль тред-юнионизма и неумеренные аппетиты рабочих по своей прежней службе в конторе одной горнопромышленной компании в Южном Уэлсе. Не было такого довода против лейбористской партии, который был бы ему неизвестен. М-р Коппер из Кэкстона работал ранее в крупном издательстве, выпускавшем целую серию торговых еженедельников; он очень энергично выступал в пользу более расширенного толкования закона о клевете в печати, настаивая на том, чтобы нельзя было печатать никакой критики, кроме безусловно хвалебной и за полной подписью автора. Его фирма оплошала, выпустив книжку журнала «Научная истина», в которой содержались нападки на одного джентльмена, утверждавшего, будто ему удалось открыть средство от рака, причем джентльмен этот разоблачался как злостный обманщик. За это фирма была вынуждена заплатить ему крупную сумму в возмещение убытков и оказалась банкротом. Истец никакого средства от рака не открыл, и панацея его оказалась смертоносной, но суд нашел, что это не относится к делу.

М-р Коппер был отчасти ответствен за выпуск этой книжки журнала, и, как он выражался, опыт не прошел для него даром.

— Дело в том, что критики,— говорил м-р Коппер, чей ум был достаточно узок, чтобы обладать остротой,— не считаются с капиталом, который человек затрачивает на создание себе репутации. Им до этого дела нет. Они считают себя вправе порочить эту репутацию как им вздумается. Где же тут выдержать? В данном случае предприятие было рискованным, но наш автор в своих нападках зашел слишком далеко. Просто здравый смысл требует, чтобы этому был положен предел. Для такой критики нет ничего святого ни на земле, ни на небе. Ее необходимо посадить на цепь. И я всякий раз во время выборов спрашиваю каждого кандидата, согласен ли он поддержать мой законопроект об ограничении крити-

ки. Я его подробно разработал и отпечатал — все честь честью. Вы не знали? Обе стороны всегда мне обещают, но его до сих пор не удалось протолкнуть. Ничего, говорю я себе. Главное — упорство. Без лишних разговоров... Это теперь моя страсть, так сказать. Хотите, я дам вам экземпляр? Вы можете не читать...

Весь Проспект Утренней Зари сходился на том, что налоги увеличились, продолжают увеличиваться и должны быть уменьшены. Право голоса дано свободному гражданину прежде всего для того, чтобы он мог защищаться от этих угроз его душевному спокойствию. Так что с приближением выборов Проспект Утренней Зари действительно старался разобраться в стремящихся завоевать его голоса и конкурирующих между собой кандидатах — именно с этой точки зрения. Будут ли они добиваться снижения налогов? Все кандидаты охотно давали обещание, и этим дело кончалось. Брайтхэмптон был сложным по социальному составу избирательным округом: в него входили трущобы, где ютилось множество квалифицированных и неквалифицированных рабочих. Проспект Утренней Зари считал, что это население окраин занято главным образом тем, чтобы с невероятной быстротой размножаться, и разделял открытое негодование декана Инджа на то, что порядочных людей заставляют заботиться о здоровье и обучении этой безудержно плодящейся черни, которая, подобно Оливеру Твисту, постоянно просит добавки, подстрекаемая в своих нелепых претензиях агитаторами, которые в представлении Проспекта Утренней Зари были сплошь иностранцы и невероятные злодеи. Так что в Брайтхэмптонском избирательном округе появилась третья партия, известная среди жителей Проспекта Утренней Зари под названием «расхитителей»,— рабочая партия, руководимая каким-то агентом России, не то Биллом Смитом, не то Мак-Эндрью, не то Томом Джонсоном, и боровшаяся против таких достойных кандидатов английской партии, как сэр Адриан фон Стальгейм и сэр Хэмберт Компостелла, людей выдающихся, которые не только не транжирили общественных средств, но привезли свои собственные и тратили их на месте. Оба они купили себе недвижимость в пределах стратегической деятельности округа и, всякий раз как приближались какие-нибудь выборы, с воз-

растающим увлечением поощряли местные артистические таланты и благотворительные учреждения.

Проспект Утренней Зари полагал, что Оливер Твист может гораздо больше получить, положась на великодушие одного из этих джентльменов, чем навалившись по наущению своих «коммунистических друзей» лишним грузом на налоговый пресс. Они называли членов местной организации лейбористской партии коммунистами, хотя местная организация лейбористской партии не более охотно приласкала бы представителя коммунистической партии, чем скучающая старая дева — большую юркую крысу. Большинство руководителей этой организации были люди хотя и раздражительные, но законопослушные и религиозные. Однако Проспект Утренней Зари понимал, что чем тщательней коммунизм замаскирован, тем энергичнее он действует.

Трудней для Проспекта Утренней Зари было сделать выбор между сэром Адрианом и сэром Хэмбертом. Сэр Адриан был крупной фигурой в железоделательной, сталелитейной и военной промышленности. Он был связан с морскими специалистами и адмиралами, с чрезвычайной готовностью покинувшими государственную службу для работы в частном предприятии. У него были также большие связи с прессой, и он прилагал всю свою энергию к тому, чтобы Англия испытывала недостаток в чем угодно, но только не в линкорах, по своим размерам и стоимости превосходящих линкоры любой другой страны. Это было главной причиной его желания попасть в парламент.

Напротив, сэр Хэмберт был определенный пацифист. Он стоял в центре целой системы связанных между собой фирм, торгующих с Дальним Востоком. Они отправляли туда огромное количество бирмингамских изделий, фотоаппаратов, граммофонов, радиоприемников и тому подобной дребедени и привозили оттуда в Англию высококачественную дешевую продукцию, созданную искусными руками японцев. М-ру Пилдингтону случалось иметь дело с некоторыми филиалами сэра Хэмберта, и он отзывался о нем с большим уважением. Одна мысль о том, что эта обширная торговля может прекратиться, наполняла душу сэра Хэмберта самыми мрачными предчувствиями. Он прилагал все усилия к тому, чтобы пре-

дотвратить эту опасность энергичной пропагандой в пользу мира, и призывал своих единоплеменников Тьюлеров (разновидн. Англиканус) разделить его стремление к такому порядку, при котором на свете больше не будет войн, а все остальное будет идти по-старому. Пользуясь своими возможностями, некоторые из его дочерних предприятий приторговывали из-под полы оружием, но сэр Хэмберт делал все от него зависящее, чтобы ничего не знать об этом. В момент, когда предвыборные страсти разгорелись, он не поколебался назвать сэра Адриана торговцем войной. Но это была грубая клевета. Сэр Адриан не был торговцем войной, он был оптовым торговцем сталью.

Если б он действительно хотел торговать войной, он не посвятил бы себя строительству тяжелых линкоров. Он занялся бы менее дорогостоящими видами боевой техники: для воздушных и подводных атак, для войны на узком водном пространстве и для комбинированных операций. Но во время событий в Абиссинии, когда Муссолини угрожал английскому флоту пикирующими бомбардировщиками, английское правительство оказалось вынужденным позорно отступить, так как его корабли не имели зенитных орудий. Такого рода мелочи были зернышками, которыми питался сэр Адриан.

Можно ли представить себе лучшее доказательство, что в глубине души и сэр Адриан и сэр Хэмберт одинаково были пацифистами и одинаково рассчитывали на то, чтобы в деловые часы делать дела, а потом удаляться к себе — на роскошные Проспекты Утренней Зари, в особняки, в замки, в родовые усадьбы, на яхты, к любовницам, веря так же твердо, как Эдвард-Альберт, что все это — на веки вечные? Мы совершаем одинаковую несправедливость в отношении этих достойных людей, когда приписываем им безнравственность или дальновидность. Это были просто преувеличенных размеров Тьюлеры.

Всякий раз как представлялась возможность отменить войну при помощи голосования, обитатели Проспекта Утренней Зари поднимались как один и отменяли ее. После 1918 года войну отменяли без конца. Ее уничтожала Лига Наций, упразднял пакт Келлога, миллионы людей принимали на себя обязательство никогда не уча-

ствовать в войне. Чего же больше? Кое-кто еще продолжал по привычке производить оружие, и прервать это занятие слишком грубо значило бы вызвать серьезные неудобства финансового характера. Однако был проведен целый ряд международных совещаний, воодушевленных лучшими чувствами, с целью ограничить и сократить вооружение, которое теперь уже не имело никакого прямого смысла. Но необходима осторожность, как подчеркивал сэр Адриан. При таких обстоятельствах вооружение приобретает, так сказать, косвенный смысл. Мир между суверенными государствами есть не что иное, как нейтрализация, равновесие сил, точное противопоставление орудия орудию и корабля кораблю. Даже воинствующим немцам было разрешено иметь строго дозированные армию и флот. Как могли бы они без этого обеспечить общественную безопасность и поддержать свое национальное достоинство? Как обошлись бы без мундиров и орденов? Конечно, регулирование размеров армии — дело хитрое, но без этого какая же может быть безопасность? Министерство иностранных дел и дипломатический аппарат занимались этим с присущей им мудростью и тонкостью, недоступной пониманию простых смертных...

Во всем мире обитатели Проспектов Утренней Зари, счастливые этой шаткой безопасностью, продолжали вести мирное существование сообразно своим средствам и возможностям, забывая, и забывая намеренно, о брошенной роком бомбе замедленного действия, которая тикала у их ног все слышней и слышней.

Состав и механизм этой бомбы, которая теперь взметнула к небу все Проспекты Утренней Зари, весь самодовольный уют Homo Тьюлера во всем мире, мало-помалу выясняются из скорбных жалоб ее повсюду разбросанных жертв. В результате своих стихийно возникавших поразительных изобретений и открытий человек превратил все человечество в единое сообщество и высвободил такое количество физической и никем не управляемой человеческой энергии, перед которым кажутся устарелыми все религиозные, бытовые, исторические факторы, до сих пор обеспечивавшие существование вида. Сегодняшние условия требуют беспрецедентной по своим размерам и последствиям нравственной и умствен-

ной революции мирового масштаба. До самого последнего времени Тьюлеры при сколько-нибудь благоприятных обстоятельствах налегали на предохранительные клапаны словесных формулировок, запугивания, тенденциозных сообщений, любых средств воздействия, пока то, что могло бы быть организованной перестройкой, не превратилось в потрясающий взрыв — взрыв, который теперь либо вскинет Homo Тьюлера к вершинам сознательного бытия, либо вовсе выкинет его из мироздания. Причем в последнем случае мы, современники этого события, являемся последними представителями человечества и обращаемся к потомству, которого никогда не будет.

Это утверждение кажется слишком безоговорочным. Но в наши дни невозможно писать об эмбрионе или атоме, не затрагивая мироздания. Мы ничего не можем считать установленным, так как поняли, что между частью и целым существует взаимосвязь. В следующей книге нам опять придется сосредоточиться на Эдварде-Альберте и рассказать о том, как взрывная волна подхватила и в конце концов вырвала его и его близких из уютного уголка на Проспекте Утренней Зари.

КНИГА ПЯТАЯ

О ТОМ, КАК ЭДВАРД-АЛЬБЕРТ ТЬЮЛЕР БЫЛ ЗАСТИГНУТ БУРЕЙ ВОЙНЫ И РАЗРУШЕНИЯ, ЧТО ОН ВИДЕЛ И ЧТО ДЕЛАЛ В ЭТО ВРЕМЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЗЫБЬ

Неприятное жужжание тревожных идей и непокорных фактов, к которому Эдвард-Альберт первые десять блаженных лет на Проспекте Утренней Зари умел не прислушиваться, вошло к нему в уши так незаметно, что почти совершенно невозможно указать какой-нибудь определенный момент, когда кончилась его сладкая спячка. Посмотрим, как протекала жизнь на Проспекте Утренней Зари в течение последних семи лет перед началом Великой войны. Какое предостерегающее дуновение морщило ее гладкую поверхность? Какая зыбь явилась предвестием надвигавшегося урагана?

В мировой войне 1914—1918 годов Тьюлеры не увидели события, которое должно повлечь за собой перестройку человеческого общества на новых началах. С тьюлеровской точки зрения, это была драка — нечто вроде собачьей грызни — за мировое господство между так называемыми великими державами, которые, по существу, все одинаковы. Поднимаются и сходят на нет, как футбольные клубы. Началась просто новая глава старой истории. Ученые Тьюлеры, преподававшие историю во всем мире, ничего не знали и страстно не желали ничего знать о том протекающем в пространстве и времени процессе, который непрерывно обновляет лицо жиз-

ни и непрерывно сметает с него не успевшие исчезнуть явления прошлого. Их умственному развитию подобные идеи были не по силам. Как же можно было ожидать, что они станут распространять их?

Не было в мире страны, где так называемое преподавание истории преследовало бы другую цель, кроме как привить молодежи навыки националистического чванства и ненависти к иностранцам, и Эдвард-Альберт в меру своих сил и общественного положения принимал участие в этом всюду царящем умственном разврате. Он всегда готов был утверждать, что английский ландшафт, английские полевые цветы, английские квалифицированные рабочие (когда их не сбивают с толку иностранные агитаторы), английская система верховой езды и английское мореходство, английское дворянство, английское земледелие, английская политика, доброта и мудрость английского королевского дома, красота английских женщин, их несокрушимое душевное и телесное здоровье не только не могут быть превзойдены никаким другим народом, но даже не имеют себе равных во всем мире. На этом он стоял, и на том же стояли все обитатели Проспекта Утренней Зари, вся Англия, от сэра Адриана фон Стальгейма до последнего маленького замухрышки, исходящего кашлем в последней ист-лондонской трущобе. И во всем мире Homo Тьюлеры придерживались таких же убеждений; разница была лишь в названии коллектива, о котором шла речь.

Но английская, французская и американская разновидности, выиграв войну, стали держаться задорней и самодовольней, чем Homo Тьюлер Тевтоникус, чье самолюбие и благосостояние жестоко пострадали из-за поражения. Он мало-помалу убедил себя, что он вовсе не проиграл войну, а был какими-то сложными путями, обманом лишен победы, и принялся с помощью своих школьных учителей, профессоров, политических деятелей, промышленников, романтически настроенных педерастов и безработных военных вдалбливать себе в голову мысль о повторной схватке с великими державами, которая возродит и осуществит его мечту о мировом господстве.

Homo Тьюлер Галликус был чрезвычайно встревожен этими настроениями у себя под боком, но Англиканус

и Американус нашли, что с его стороны тревожиться не великодушно...

Можно было бы еще продолжить описание внутреннего мира Тьюлеров языком вышедшего в 1871 году шедевра тьюлеровской мысли «Драка в школе г-жи Европы». К груде старых националистических басен школьные учителя каждого следующего поколения прибавляли свою лепту...

Но под поверхностью этих устоявшихся явлений даже для Эдварда-Альберта теперь смутно забрезжило что-то новое, беспокойное.

Среди поголовного sauve qui peut[1] (а потом урви еще немножко), охватившего высшие классы, волна мало продуманных и плохо организованных изъявлений народного недовольства, тормозившая спокойное восстановление власти и собственности в руках коммерческих и политических воротил в реконструктивный период, прошла бы почти незамеченной для современного историка, если бы не полное крушение старого порядка на всей огромной территории России. И в прошлом бывали общественные потрясения — скажем, Парижская коммуна и разговоры о социализме в Англии,— но ни одному благовоспитанному английскому ребенку не разрешалось интересоваться такими вещами.

— Кто они такие, эти большевики? — спросил Эдвард-Альберт старого м-ра Блэйка в середине дуберовского периода своей жизни, когда все ярые политиканы были ошеломлены вестью о том, что Россия решила выйти из войны.

— Воры и подлые убийцы,— ответил м-р Блэйк.

И он тут же стал объяснять Эдварду-Альберту, какое бедствие обрушилось на мир с возникновением этой Советской России. Большевики — воплощение ненависти и зла. Сам дьявол — ничто перед ними. Они находят наслаждение в кровопролитии, распутстве и отказе от уплаты долгов. Жены у них общие, а детей они выгоняют из дому, обрекая их расти, как диких зверей в лесу. Они истребили целиком миллионы людей и продолжают истреблять каждое утро натощак. Этот Ленин устраивает в Кремле безобразные оргии, а жена его расхаживает

[1] Спасайся кто может (*франц.*).

в царских и разных других бриллиантах, на которые успела наложить руку. В России уже несколько месяцев всем нечего есть. Рубль падает и падает. М-р Блэйк покупал рубли, когда можно было думать, что они опять войдут в цену... А вошли они в цену? Нет. И потом коечто у него было вложено в Лена-Голдфилдс. Ну, что с воза упало, то пропало...

Улицы Москвы, по его словам, усеяны трупами убитых — таких людей, как мы с вами. Чтоб пройти, приходится пробираться между ними. Церкви всюду превращены в безбожные музеи. С аристократами и вообще порядочными людьми всюду обращаются невероятно жестоко, просто зверски. По-видимому, у м-ра Блэйка были свои собственные источники информации, и он с негодованием и смаком сообщал Эдварду-Альберту самые точные и возмутительные подробности.

— Да вот, например, на днях мне говорили...

— Скажите, пожалуйста! И как только они до этого дошли? — изумлялся Эдвард-Альберт, не испытывая и тени сомнения.

По этому вопросу почтенный м-р Блэйк не давал никаких объяснений.

Газеты, которые проглядывал Эдвард-Альберт, и разговоры, которые он слышал об «этих большевиках» в течение двадцати лет позднего георгианского декаданса, не слишком смягчали резкость этих первых впечатлений. Растворив свое сознание в однородной атмосфере Проспекта Утренней Зари, он обнаружил, что весь мир за вычетом области Советов практически сходится в одном: что чем меньше думать о России, тем лучше; что большевики — отъявленные негодяи и в то же время слепые фанатики; что они невежественны и представляют собой угрозу всему миру; что Сталин — тот же царь, его непременно убьют, и он явится основателем новой династии; что частная инициатива будет восстановлена, так как без нее невозможно. Коммунизм — сущий вздор; он распространяется крадучись и разжигает недовольство рабочих; его необходимо беспощадно уничтожать. Это тайная рука коммунизма толкает рабочих на беспорядки, из-за которых все время растут зарплата и цены, местные и общие налоги, ставя в тяжелое положение порядочных и независимых

людей, отошедших от дел и желающих оставаться вдали от них.

Так они судачили, настойчиво уклоняясь от необходимости понять, что, каков бы ни был ход событий, созвездиями и злыми человеческими сердцами Проспекту Утренней Зари предопределен скорый конец.

М-р Пилдингтон из Джохора придавал серьезное значение деятельности коммунистов на Востоке. Их ужасные идеи распространяются в Индии, в Китае и даже в Японии.

— Они упорно подтачивают наш престиж. Это не шутка.

— Уж эти идеи,— уныло вторил Эдвард-Альберт.

— Будем думать, что на наш век хватит,— успокаивал м-р Пилдингтон и переходил к более приятной теме...

Так возникали и вновь исчезали в сознании Эдварда-Альберта первые легкие предвестья социальной революции, ощущение какого-то разлада, ожидание чего-то неизбежного. И дело было не только в большевистской опасности. Шептались о том, что правительственное руководство не на высоте. В славные времена Гладстона и Дизраэли английская политика была величественна и всеми уважаема. Джентльмены в цилиндрах и сюртуках изъяснялись парламентским языком, подчинялись колокольчику председателя и голосовали по установленной процедуре, и ни один англичанин не сомневался, что Прародитель всех Парламентов — идеальный законодательный и административный механизм. Но к концу столетия новые веяния в журналистике, ирландские восстания, возникновение лейбористской партии (в шляпах самых разнообразных фасонов), женщины у избирательных урн и на депутатских скамьях, многообразные последствия начального обучения — все это мало-помалу лишило высокий законодательный орган его мужественного и благородного авторитета.

Крупным Тьюлерам — коммерсантам, дельцам и предпринимателям — этот новый парламент был гораздо менее приятен, чем старый. Власть в парламенте перешла из рук выдержанно-консервативной олигархии в руки неопределенно-прогрессивной демократии, и олигархия через принадлежащих к ней газетных тузов и

лиц, влиятельных в общественном и деловом смысле, стала возбуждать в широких кругах дух сопротивления парламентским мерам: обложению предприятий, контролю над ними и непрерывно возрастающим расходам на коммунальные нужды. И во всех лжедемократических странах происходил аналогичный процесс. Только что призванные к политической жизни массы, получив право голоса, принялись понемножку возвращать общественную собственность в общественное пользование, а предпринимателей и богачей охватил дух сопротивления, который всюду искал выхода. Всюду — в скандинавских странах, в щеголяющей голубой свастикой Финляндии, в Америке после мероприятий по социализации, осуществленных Новым курсом, во Франции, в дофранкистской Испании — были свои квислинги, искавшие, кто спасет их от пробуждающейся демократии, и не знавшие, к кому обратиться.

— Парламент выдохся,— твердила крепнущая контрреволюция.— Демократия выдохлась.

М-р Коппер из Кэкстона считал, что необходимо оказать какое-то сопротивление политике бесконечных уступок рабочим требованиям.

— Чего нашей стране не хватает,— говорил м-р Коппер,— это руководства. Крепкого руководства. Нам нужна партия, организация среднего класса, руководимая настоящим человеком.

М-р Стэниш из Тинтерна соглашался с м-ром Коппером, но м-р Друп из Лондон-Прайда, подозреваемый в религиозной неустойчивости, относился критически — правда, не к самой идее, а к руководителю, к которому были обращены все их помыслы. Он показывал снимки в газетах и просил соседей вглядеться в них.

— У него рыбья челюсть, а я люблю, чтобы зубы плотно сходились,— говорил м-р Друп.— И что это за панталоны в обтяжку он носит? У него не английский вид. Просто даже неприлично. Как будто он придает особенное значение своему заду. Посмотрите, вот здесь. Точно у него еще бюст сзади. И потом — зачем он подражает этим итальянцам? Неужели ничего своего не может выдумать? Что-нибудь новое? Хорошенькая перспектива — иметь руководителя, у которого нет ни одной оригинальной мысли в голове! Спросите его, что делать, и

он будет спрашивать: «А что сделал бы Муссолини?» Если нам нужен крепкий англичанин, пусть это будет настоящий английский англичанин, со своей головой, а не какой-то шалтай-болтай. Вот именно — шалтай-болтай. Весь какой-то неустойчивый, шаткий. Нет уж, для доброй, старой Англии это не подходит. Благодарю покорно.

— Но, во всяком случае, нам необходимо покончить с этой парламентской чепухой,— возражал м-р Коппер,— с этой страстью критиковать все на свете и ничего не делать, в то время как большевики и евреи расхищают нашу собственность.

— Евреи? — переспросил Эдвард-Альберт с недоумением.

Любопытно, что наш образчик англичанина до тридцатилетнего возраста совершенно не задумывался о современных евреях. Он считал, что евреи — несимпатичный библейский народ, от которого сам Бог в конце концов был вынужден отступиться, и тем дело кончилось. Мы теперь живем в эпоху Нового Завета. Он учился в школе вместе с евреями, полуевреями и четвертьевреями, не замечая никакой разницы между ними и остальными товарищами по школе. Слыхал, что есть какой-то религиозный обряд, называемый обрезанием, и не стремился узнать больше. Может, Баффин Барлибэнк — еврей? Или Джим Уиттэкер? А может, в Эванджелине Биркенхэд есть еврейская кровь? Эдвард-Альберт никогда не спрашивал об этом, и нам нет необходимости вводить в свое повествование не относящиеся к делу подробности. Если евреи так отличны от нас, это должно было бы бросаться в глаза.

Но широко распространившаяся в упадочную георгианскую эпоху и жадно искавшая выхода смутная тревога привела к тому, что каждый почувствовал необходимость застраховать себя от всякой ответственности, найдя козла отпущения, и не было почти ни одной сколько-нибудь значительной общественной группы, которой не грозила бы честь сыграть роль искупительной жертвы. Определенная часть той этнографической смеси, которая носит название евреев, особенно подающих голос из Восточной Европы, страдает своеобразным гетто-комплексом и адлеровской жаждой самоут-

верждения; и всегда находились энергичные молодые люди арменоидного типа, которым казалось соблазнительным выступать в качестве «борцов» за свой «народ», подогревать чувство угнетения там, где оно грозит заглохнуть, и настаивать на необходимости создать некую замкнутую организацию. Еврей должен помогать еврею. В этом вредном экономическом принципе сказывается всемирный и общечеловеческий предрассудок: шотландцы держатся друг за друга; валлийцы захватили в свои руки торговлю молоком и мануфактурой в Лондоне и так далее. Только решительное пренебрежение со стороны более развитых людей способно хоть отчасти нарушить эту кастовость.

К несчастью, как только завершилась первая стадия мировой войны (1914—1918 годов), профессиональные «борцы» за еврейский народ принялись с особой энергией всячески разжигать чувство расовой розни, самым вызывающим образом игнорируя всеобщую потребность в переустройстве мира. Они не желали жить в новом мире: они повели свой «народ» в Сион. Они решили быть героями, превратиться в Маккавеев. Юноши из Западного Кенсингтона мечтали стать Давидами, а их сестры — Эсфирями. Ни один общественный деятель, ни один писатель, ни один художник не мог шагу ступить, не натолкнувшись на еврейский вопрос, как будто на нем сосредоточились все интересы человечества. Им грозили тайно или явно бойкотом и всякими бедами, если они не согласятся играть предназначенную им роль рабов Гедеоновых, дровосеков и водовозов великого народа. Самые кроткие, самые терпимые и гуманные люди доходили до того, что поневоле восклицали: «Черт бы побрал этих евреев!»

По общему мнению, евреи бестактны, тщеславны, склонны к семейственности — но в конце концов это все, что можно сказать плохого о самом плохом из них. Они выводят из терпения — и только. Пресловутый еврейский заговор был и остается выдумкой. Но эти борцы и вожди еврейства очень повредили своему по всему свету рассеянному и беззащитному «народу», сосредоточив на нем всеобщее внимание в тот момент, когда возникла такая острая потребность в козлах отпущения. Нотто Тьюлер Тевтоникус, зализывая после поражения ра-

ны своего честолюбия, легко дал убедить себя, будто причина его поражения — еврейское предательство. Все западные Проспекты Утренней Зари в поисках, на кого бы свалить ответственность за усиливающуюся качку финансового корабля, нашли удобным приписать эту качку действию «международного капитала» и охотно поверили, что международный капитал — в основном капитал еврейский. Но это было неверно. Он был менее еврейским, чем когда-либо прежде.

Служители христианской церкви спрашивали: почему это, несмотря на все наши просветительные заботы, ряды молящихся редеют и в нашем народе иссякает вера? Кто в этом виноват? Где причина? Уж, конечно, только не в нас... Почему в нашей пастве сокращается рождаемость, тогда как у евреев — кто этого не знает! — у всех поголовно огромные семьи? Откуда этот рост неверия в прекрасные, непонятные догматы нашей религии? Как можно не верить в то, чего не понимаешь, если только тебя не подстрекают смутьяны? И что скрывается за хаосом, царящим в безбожной России, которая когда-то была так предана своему земному папаше и нашему с ним Небесному Отцу? Обо всех кознях этой дьявольской камарильи можно прочесть в труде м-сс Несты Уэбстер «Тайные общества и разрушительные общественные движения». Или же можно познакомиться с возникновением новых погромных настроений по курьезной и бесстыдной фальшивке под названием «Протоколы сионских мудрецов».

Вот, выражаясь языком современной всеобщей истории, причины и основания той лихорадочной эпидемии погромов, которая охватила весь мир во второй георгианский период, и вот почему наш микрокосм Эдвард-Альберт, облокотясь на свою садовую калитку, в беседе с м-ром Коппером заметил:

— Как-никак эти евреи делают в мире много зла...

На что м-р Коппер, уже сильно зараженный, ответил:

— А мы всякий раз спускаем им.

Мы видим, что и тут, в случае отдельного обитателя Проспекта Утренней Зари Эдварда-Альберта, действовал тот же тройной внутренний импульс, что и на Проспектах Утренней Зари всего цивилизованного мира: болезненный страх перед какой-то неминуемой и глубо-

кой перестройкой экономических и социальных отношений — страх, принимающий защитную форму бессмысленного ужаса перед «большевизмом»; неприятная мысль об общей слабости руководства, порождающая тоску по спасителю и вождю; наконец, стремление отыскать козла отпущения, на каковую роль еврейские борцы сами готовили свой «народ». Отныне всему миру суждено было жить в условиях возрастающей общности восприятия, и действие перечисленных трех факторов можно было наблюдать всюду, где господствующий класс оказывался под угрозой, по всему земному шару, от одного полюса до другого. Три воображаемых существа — Большевик, Еврей и вдохновенный Главарь — стали тремя основными образами новой мифологии, освобождающей от необходимости мыслить, быть сильным и мужественным.

Всюду, где фунт стерлингов и доллар имели хождение и беспрепятственно обменивались на местную монету, эта мифология была в полной силе, вуалируя суровую реальность таких фактов, как уничтожение расстояний, все увеличивающееся количество высвобождаемой физической и психической энергии и рост недовольства неимущего, эксплуатируемого и обездоленного большинства. Эти три элемента обусловили окончательное крушение старого порядка, которое три указанных выше мифа помешали людям предусмотреть и предотвратить.

Но если мифология эта была распространена во всем мире, то в каждой части земного шара миф приобретал особые черты. Стадии были различны. Западная, скандинавская и польская разновидности Homo Тьюлера не особенно резко отличались от разновидности Англиканус: налицо была та же мифологическая триада и те же скрытые мотивы. Что же касается Америки, то, пока она не пережила в 1932 году достаточно тревожной финансовой встряски, навсегда покончившей с ее «здоровым индустриализмом», там не было того предчувствия близкой беды, которое заставляло всю Европу повсюду выискивать козлов отпущения и конспираторов. Но по мере развертывания Нового курса американские мифы и американская действительность стали приобретать все большее сходство с европейскими.

Homo Тьюлер Тевтоникус, разделявший веру в новый миф, тем не менее изнывал под бременем другой,

еще более мучительной заботы, чем его соседи. Он страдал от необходимости примириться со своим поражением и его длительными последствиями. Настроение его было очень похоже на настроение Эдварда-Альберта, когда тот получал удары кулаком от Хорри Бэдда и делал вид, что не замечает их. Он постепенно взвинчивал себя до состояния, которое у нашего героя выражалось в формуле: «Я дам тебе по морде» и в жестокой оплеухе, судорожно нанесенной этому юному джентльмену. Рано или поздно Homo Тьюлер Тевтоникус должен был ввязаться в драку.

Роль спички в пороховом складе сыграл случайный факт. Английское правительство оказалось в положении «старичков» Больтеровского колледжа, которые проиграли матч из-за своей глупой самонадеянности, вселившей мужество в Эдварда-Альберта. Оно вселило мужество в изнемогавшего немецкого патриота. Если б не было нацистского триумвирата Геринг — Геббельс — Гитлер, вместо него была бы гораздо более страшная Германия братьев Штрассеров. Или какая-нибудь другая комбинация. Но при том умственном уровне, на котором находится современное человечество, объявление Германией войны было так же неизбежно, как то, что завтра наступит утро.

Однако чего сознание человечества тогда еще не охватило — это чудовищного роста разрушительной энергии со времени финансовых войн, последовавших за Версальским договором. Даже те люди — фашисты и нацисты,— которые определенно и открыто вступили на путь войны, очень слабо представляли себе, какие страшные разрушения им предстоит произвести.

Многие считали, что назревает новая война. Даже Эдвард-Альберт заметил: «От этих вооружений как будто не пахнет вечным миром, тут надо что-то предпринять». Но все думали, что война будет похожа на прежние войны, а не превратится во что-то совершенно бесконтрольное и не разобьет весь мир вдребезги. И жители Проспекта Утренней Зари так же мало представляли себе, что война может прийти на их гольфовые поля, как то, что с неба на них могут свалиться марсиане. Представители Тьюлеров, собираясь в Женеве, продолжали толковать о разоружении, но торговцы оружием за-

ботились о том, чтобы эти разговоры оставались разговорами.

Эдвард-Альберт узнал о существовании Гитлера примерно в период поджога рейхстага, причем он видел в нем не личного врага, который собирается потрясти все основы его спокойного существования, а странную и довольно комичную фигуру на фоне ко всеобщему удовольствию побежденной Германии. М-сс Тьюлер делала покупки в универмаге Гэджа и Хоплера, и Эдвард-Альберт ждал ее в уютном зале ожидания между киоском с содовой водой и парикмахерской. Он стал рассматривать иллюстрированный журнал и увидел там снимки фюрера в пылу неистовства.

— Посмотри! — сказал Эдвард-Альберт.

— Что это он так выходит из себя?

— Политика.

— Видно, его надо бы держать под присмотром. Он еще хуже этого урода Муссолини. Таких людей нельзя оставлять на свободе, а то вырядятся, и рычат, и угрожают каждому, кто с ними не согласен. И не знаешь, чем они могут напакостить порядочным людям.

Так Мэри обнаружила присутствие в своем существе некоторых проблесков sapiens'а.

— Нас это не касается,— заметил м-р Тьюлер, как истинный представитель своего вида, того особенного его разряда, для которого характерна неспособность замечать что бы то ни было, пока не стукнуло.

Впоследствии он получил более отчетливое представление о нацистском триумвирате, в особенности об «этом Гитлере».

М-р Коппер из Кэкстона и особенно м-р Стэнниш из Тинтерна взирали на восходящую звезду довольно благосклонно.

— Он не свободен от недостатков,— объявил м-р Коппер.— Но он и Муссолини — это два бастиона, защищающие нас от большевизма. Не надо забывать об этом. А что касается его обращения с евреями — ну что же, они сами на это напрашиваются.

— Ясно, напрашиваются,— подтвердил Эдвард-Альберт.

— Ни одного еврея нельзя оставить в комнате вдвоем с белокурой горничной. То же самое, что и в Гол-

ливуде. Я думаю, у бедняги Гитлера нашлось бы что сказать на эту тему... Потом эти французы. Они обошлись с немцами жестоко. Понравится вам, если вы пойдете на гольфовое поле и увидите, что какой-нибудь сенегальский негр хватает и насилует там каждую английскую девушку, какая попадется. Я кое-что читал об этом в одной книжечке м-ра Артура Брайэнта. Там такое рассказано, что волосы встают дыбом.

Это заставило Эдварда-Альберта призадуматься. Он попробовал представить себя в роли сэра Галахада, изгоняющего суданских негров с поля для гольфа и утешающего их жертвы ласковыми словами.

М-р Пилдингтон заявил, что ввоз цветных солдат в Европу был большой ошибкой.

— Потом пойдут россказни! У них не осталось никакого уважения... Мы это делали, и французы это делали — и нам придется за это поплатиться. Попомните мои слова...

— Одного мы никогда не должны забывать относительно Муссолини,— сказал кэзингский викарий во время серьезной дружеской беседы с м-сс Рутер после молебна по поводу снятия урожая.— Применяет он горчичный газ или нет, но он поставил распятие на прежнее место в школах. За это ему многое простится.

Но м-сс Тьюлер держалась другой точки зрения.

— Таких насильников нужно держать теперь взаперти,— сказала она.— Они приносят зло в мир.

— Чем больше зла они сделают большевикам и евреям, тем лучше,—возразил Эдвард-Альберт.—Говорить, подняв руку: «Хайль, Гитлер!» — не такое уж преступление. Бывают вещи похуже. В конце концов встаем же мы при пении нашего гимна? И это то же самое, только на немецкий лад.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГРОЗА РАЗРАЗИЛАСЬ

До самой середины 1939 года во всех частях земного шара, еще не затронутых разрушением, обитатели Проспекта Утренней Зари сохраняли свой самоуверенный скептицизм. Геринг хвастал тем, что в мае 1937

года в Испании он продемонстрировал мощь германской авиации — на данном этапе — разрушением старинного баскского города Герники. Город был фактически разрушен, население его истреблено, а весь мир охвачен ужасом. Но это было произведено при помощи самолетов и бомб, которые летчикам 1941 года показались бы даже не стоящими критики.

То же было и с подвигами японских бомбардировщиков в Китае: пожарища, горы трупов, искалеченные женщины и дети, а потом грабежи и убийства, произведенные захватчиками,— все это мир счел пределом ужаса, а не предвестием еще больших ужасов впереди. Когда затем итальянцы завершили захват Абиссинии, неожиданно применив горчичный газ, которого дали специальное обещание не применять, это было сочтено верхом предательства и вероломства.

Все эти события, в которых люди с неущербленными мыслительными способностями увидели бы лишь указания и намеки на то, что еще должно наступить, были расценены как окончательный итог науки разрушения.

Почему люди были так глупы? Ведь факты говорят за себя. Не было и нет никакого мыслимого предела для размеров воздушного флота и дальности его действия. Пока воздушная война является реальной возможностью, мощь и скорость летательных аппаратов будут непрерывно возрастать. Может ли быть иначе? Точно так же невозможно наметить какой-нибудь предел для разрушительного действия бомбы, которое опять-таки должно достичь всемирно-разрушительной силы. С другой стороны, не видно было предела того разброда и той дезорганизации общества, которых можно добиться политикой систематической лжи и применением отравляющих веществ, бактериологической войны, блокады и террора. Человеческое сознание упорно отворачивалось от этой колющей глаза истины.

Тьюлер Американус был особенно взбешен грубой логикой фактов, беспощадно разрушавших самое заветное его убеждение в своей изолированности, всякий раз как он пытался устраниться от дел, волнующих остальной мир. Он вырвался из старого мира, и ему была ненавистна мысль, что его принуждают разделить общую судьбу человечества.

Летом 1939 года момент крушения старой цивилизации быстро приближался. Процесс ее распада прогрессировал не по дням, а по часам. Он распространялся, как огонь по не отмеченному на карте минному полю. Не было одного общего взрыва. Получилось скорее так, словно множество пороховых погребов и бензохранилищ неизвестной глубины и протяженности взрывались и начинали пылать один за другим, причем каждое отдельное воспламенение влекло за собой новые, еще более сильные взрывы. Бои 1939 года были слабыми по сравнению с боями 1940 года, а последние уступали боям 1941 года. Это не было результатом чьего-либо замысла. В «Mein Kampf» [1] не содержится никаких намеков на то, чтобы Рудольф Гесс и Адольф Гитлер понимали, что действие заложенной ими мины окажется безостановочным. Они считали себя лихими удальцами, захватившими мир врасплох. На самом же деле их самих захватила врасплох современная война. В 1941 году они не менее всех остальных рады были бы опять потушить пожар и уползти с добычей, какую только удастся утащить.

Геринг обещал немцам, что ни один налет не потревожит их отечества. Вероятно, он искренне верил в то, что обещал. Некоторое время перевес был на его стороне, и немцам почти не приходилось жаловаться. Они, согласно вековой традиции, вели войну на чужой земле. Война еще не вторглась в их пределы. Какой бы ущерб союзники ни нанесли Германии, говорил Геринг, он заставит их заплатить в десятикратном размере. Он не понимал одного — и понял это слишком поздно,— что у него не было монополии на применяемое им боевое оружие и что введенная им в бой люфтваффе — не только палка о двух концах, но другой ее конец разрастается до сокрушительных размеров.

В 1940 году немцы чуть не выиграли войну при помощи тяжелых танков и пикирующих бомбардировщиков. Но момент был упущен. В 1941 году заводы стали выбрасывать танки тысячами, и Англия, Россия и Америка превзошли Германию как по количеству, так и по качеству их.

[1] «Моя борьба» *(нем.)*.

В 1941 году, видя, что их авантюра срывается, нацисты истерически накинулись на Россию. Тут они впервые столкнулись с народом, освободившимся от утреннезаревого хлама, единым в своей антипатии к немецкой «высшей» расе и дерущимся в полном единодушии.

Оказалось, что на войне необходима неосторожность. «О безопасности забудь!» — говорят русские. Их медленное отступление к главной линии обороны под этим последним судорожным напором нацистов ничем не напоминало беспорядочного бегства толп по дорогам Голландии, Бельгии и Франции в условиях менее сурового, уже устарелого вида войны. Война поднялась на новую ступень в смысле разрушительности; тысячи самолетов и танков участвовали в гигантских комбинированных операциях.

Прежние войны, которые знала история, утихали по мере того, как иссякали тогдашние скудные ресурсы. А эта новая война чем дальше, тем больше накапливала разрушительных сил.

Летом 1941 года для главных нацистских вожаков стало ясным, что теория тотальной войны оказалась несостоятельной, поскольку в ней не была учтена возможность неограниченного нарастания боевых средств. Они залепетали о новом порядке. Но они всегда так бесцеремонно лгали и так бесстыдно проповедовали законность лжи, что теперь даже английским поклонникам Гесса и американским Линдбергам не удавалось делать вид, будто они верят им. Они сами отрезали себе выход и оказались обреченными — как определенная группа, во всяком случае. Но не следует думать, что после этого рост разрушительных сил прекратится. Их устранение само по себе будет значить не больше, чем еще один потопленный корабль или истребленный танк. Даже немцы едва ли почувствуют их отсутствие.

В Центральной Европе нет недостатка в слабоумных кликушах. Мир по-прежнему останется лицом к лицу с охваченной жаждой мести, уже пережившей Гитлера Германией, накапливающей силы в ожидании нового фюрера и новой судороги. Плутократически-христианская демократия по-прежнему будет точить свои черные кривые зубы на ужасных большевиков. В мировой катастрофе в лучшем случае произойдет передышка перед

тем, как еще более потрясающий, мощный и всеохватывающий взрыв разнесет во все стороны обломки христианского благолепия. Ни миллиарды небылиц, ни миллионы подлых убийств и преследований, ни искусственное раздувание ненависти — ничто не спасет мир, в котором господствует продажный христианский национализм, от мстительной судьбы.

Но никто из носителей тьюлеровского духа, облеченных государственной властью, не видит дальше своего носа. Они способны наделать бед, как мартышка, играющая спичками, и так же не способны справиться с последствиями, как она.

«Космополис в мыслях и в жизни или гибель,— говорит Судьба, рассеянно перебирая кости бронтозавра и ожидая решения Homo Тьюлера, хоть без нетерпения, но и без малейшей склонности к уступкам.— Время на исходе, Homo Тьюлер. Каков твой выбор?»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВОЗДУШНЫЕ НАЛЕТЫ И ОТРЯДЫ МЕСТНОЙ ОБОРОНЫ

Каков твой выбор? Мы можем подойти к этому вопросу с двух разных сторон. Такая возможность была перед нами на всем протяжении этого повествования. Мы можем задаться вопросом, в состоянии ли человеческая порода в целом осуществить требуемое от нас гигантское усилие и приспособиться к новым условиям. Или же мы можем обратиться к отдельным особям, отобранным нами для специального изучения, и решить, есть ли при таком материале какая-нибудь надежда остановить разразившуюся теперь над нами катастрофу.

Если Эдвард-Альберт Тьюлер может дать повод к такой надежде, хотя бы самой слабой,— значит, и для всего мира она имеется. Если же никаких скрытых предпосылок к мировой революции нельзя обнаружить в его среде, его потомстве, его связях с окружающими и той цепи явлений, одно из звеньев которой он составляет,— значит, то же самое относится ко всему виду в целом.

Наш двойной ответ сам будет по необходимости отмечен знаком вопроса.

Прежде всего осветим со всей возможной ясностью и точностью поведение нашего героя во время мирового пожара, а затем обратимся к тем воинствующим идеям и взглядам, которыми это поведение определялось и обосновывалось. Нам необходимо добросовестно разобраться в традициях и философии пройденного человечеством этапа, в его богах и могучих авторитетах, в огромном наследии тех, казалось, непреложных верований, которые подавляли и притупляли тьюлеровское сознание. Если Тьюлеры становятся робкими, неспособными мыслить глупцами в результате воспитания и рабских условий жизни, а не являются ими от рождения, для них еще есть надежда. Значит, они еще могут спастись без помощи совершенно нереального спасителя.

Когда гроза разразилась, первым ощущением Эдварда-Альберта было острое желание остаться в стороне от нее.

В свое время мы говорили о той поре жизни Эдварда-Альберта, когда ему вообще не хотелось жить. Человеческое существо всегда рождается против своей воли. Его насильно ввергают и вталкивают в этот хмурый и печальный мир. Эдварду-Альберту, как вы припомните, для появления на свет понадобилось двадцать три часа. Первым звуком, который он издал, был протестующий писк. Мы рассказали со всеми подробностями о его детстве и постепенном пробуждении в нем потребности бунта и самоутверждения.

Даже ребенком он испытывал не один только страх и чувство покорности. Он высовывал язык льву, посаженному за решетку; у него возникали сомнения насчет способности Бога к всевидению. Чувственность, прорываясь сквозь сети страха и уродливых религиозных представлений, влекла его к описанным нами убогим радостям. Кое-что бунтарское в нем было.

Образование, им полученное, даже для того времени было скудным и старомодным. Но старые, сбивающие с толку сектантские традиции, несмотря на известный технический прогресс, продолжают оказывать свое тлетворное, разрушительное действие на общественное сознание. «Все это теперь изменилось!»,—кричат возмущенные

критикой учителя. Но доказательством того, что преподавание их по-прежнему не в силах воспитать человека гибким, критически мыслящим и способным к решительной перестройке перед лицом грозной опасности, могут служить газеты, которыми удовлетворяется тьюлеровская читающая публика, импонирующие ей доводы и лозунги, объявления, которые имеют у нее успех,— все то, чем она питается. Это печать, создаваемая от начала до конца тьюлерами для тьюлеров. Тьюлеровская «Таймс», тьюлеровские «Дейли мейл», «Геральд», «Трибюн». Между ними нет никакой разницы, если не считать размера и направления. Все они отмечены характерными тьюлеровскими свойствами: упорным невежеством, намеренной косностью суждений, стремлением защититься от реальности посредством утешительного самообмана.

Начало мировой катастрофы захватило Эдварда-Альберта совершенно врасплох.

Излюбленный английский лозунг гласил: «Безопасность прежде всего». У Эдварда-Альберта с детства сохранилось воспоминание о карточке с такой надписью на камине в гостиной его матери, но то было лишь случайное прозрение будущего. Он не помнил, как эта карточка попала к ним и куда девалась. Период английской истории, подчиненный этому лозунгу, наступил позже и был в значительной мере обусловлен деятельностью страховых компаний, транспортных организаций и крупных акционерных обществ, старавшихся приучить публику избегать всякого рода убытков, чтобы не было надобности возмещать их. Лозунг этот проник во все области общественной жизни. Он укрепил почтенную феодальную традицию, согласно которой, если не хочешь нажить неприятности, необходима осторожность. Он подчинил себе правительственные органы. Он стал национальным девизом. Формула Dieu et mon droit[1] стала восприниматься как несвоевременное бахвальство, которое может только создать нам затруднения. Так что, когда в конце концов м-р Невилль Чемберлен, доведенный до бешенства нестерпимыми насмешками над его дождевым зонтом, отказался наконец от политики умиротворения и объявил Германии войну, Эдвард-Альберт вместе с очень мно-

[1] Бог и мое право *(франц.)*.

гими своими обеспеченными и независимыми согражданами не сделал ни малейшей попытки принять участие в драке. Он сосредоточился главным образом на задаче осторожного регулирования своих капиталовложений и изыскания безопасных способов уклонения от налогов.

В последние месяцы 1939 года тьюлеровская Англия и тьюлеровская Франция не столько воевали, сколько уклонялись от войны. Они постреливали в противника из-за линии Мажино, бросив Польшу на произвол судьбы. Они с крайним неодобрением следили за тем, как Россия выправляет свои границы, готовясь к неминуемому столкновению с общим врагом. Венценосный Тьюлер — молодой бельгийский король — упрямо отказался крепить вместе с другими фронт для отпора надвигающемуся нападению. Я нейтрален, я хозяин у себя в стране, твердил он, и мне ничто не угрожает. Когда его граница рухнула, он завопил о помощи и исчез со сцены, и ни королевская конница, ни королевская пехота никогда уже не восстановят такой Европы, в которой он сможет играть какую бы то ни было роль.

По военным понятиям, господствовавшим во Франции и в Англии, армия, обойденная с флангов, должна либо отступать, либо сдаваться. Очутившись перед угрозой клещей, полководец-джентльмен покидает своих бойцов и материальную часть и улепетывает домой, отнеся свое поражение на счет современного упадка нравов. Английская традиция требовала тогда посвящать воскресный день молитве. Но войну выигрывают неджентльмены, которые дерутся не по правилам и безбожно сквернословят. Реакция всемогущего провидения на приступ англиканского благочестия оказалась двусмысленной. Английские и французские стратеги потерпели жестокое поражение из-за наличия танков и самолетов у противника, а также собственной профессиональной боязни клещей и были просто возмущены упрямством своих солдат, настаивавших на том, чтобы не прекращать борьбы, пока разгром не получит видимости героического отступления. Достаточно было Геббельсу произнести слово «охват» или «прорыв», как вся самоуверенность американских и английских военных специалистов улетучивалась на ходу. Петэн сдал Францию. До этого события Проспект Утренней Зари был,

казалось, за тридевять земель от кровопролития и насилия. Но падение Франции заставило содрогнуться все виллы. У садовых калиток замелькали газеты, мужчины сидели теперь в Гольф-клубе с озабоченными лицами и во время игры уж не толковали о войне.

Обитатели Проспекта испытывали большой подъем духа при известии о потоплении подводных лодок и немецких морских рейдеров. Их доверие к нашему флоту было неограниченным и безоговорочным. Они ликовали, словно виновники торжества, в тот момент, когда «Аякс» и «Ахилл» нанесли болезненный удар скряжнически оберегающему корабли Адмиралтейству и Нельсон спустился с высоты своего уединения на Трафальгар-сквер, чтобы воскресить традиции бурного ближнего боя. Проспект Утренней Зари свято верил в неприступность наших островных границ.

Но вот произошло настоящее воздушное вторжение в Англию. Жители Проспекта были страшно испуганы и потрясены. Только через год одна запоздалая, но хорошо написанная брошюра дала им и всему миру полное представление о битве за Англию. Но одно было сразу ясно: то, что масштабы налетов быстро увеличиваются и что битва за Атлантику отражается на счетах бакалейщика. Еще в ноябре 1939 года было введено затемнение, но жители Проспекта относились к этому не особенно серьезно — до осенних налетов 1940 года. Тут слежка соседей друг за другом дошла до ожесточения. М-р Коппер из Кэкстона, несмотря на свой солидный возраст, чуть не подрался с одним приехавшим в отпуск глупым юнцом, который — подумать только! — курил папиросу у ворот одной из вилл на Небесном Проспекте. Не ограничившись этим, м-р Коппер явился с доносом в Брайтхэмптонскую полицию. Но в Брайтхэмптонской полиции м-ра Коппера спросили, не может ли он заняться какимнибудь полезным делом, вместо того чтобы зря поднимать шум.

М-р Коппер был прежде всего человек ясного ума.

— Теперь такое время, когда люди вроде нас с вами должны немножко следить за тем, что делается вокруг,— сказал он м-ру Пилдингтону.— Нам нужно завести что-то вроде дежурств.

М-р Пилдингтон выразил мнение, что нужно создать комитет общественной безопасности.

— На поле для гольфа во время налетов ночуют посторонние. Это опасно. Это непорядок. Надо устроить собрание.

Через неделю замысел этот осуществился. Было внесено предложение избрать председателем сэра Хэмберта Компостеллу либо лорда Блюминга (бывшего сэра Адриана фон Стальгейма). Но оказалось, что сэр Хэмберт со всей своей семьей уехал на неопределенный срок в командировку в Америку для налаживания торговых отношений между Америкой и Англией, а лорд Блюминг перегружен делами, связанными с военным производством, и не имеет свободного времени. Было известно, что он выступает как сторонник массового производства танков, но английское военное командование еще только дважды потерпело серьезное поражение от этого совершенно неспортивного вида оружия, и лорду Блюмингу стоило невероятных трудов провести свою идею в жизнь. Однако к лету 1941 года ему удалось убедить страну в огромном значении танков. Впрочем, я забегаю вперед: собрание имело место в октябре 1940 года. Были некоторые сомнения насчет того, приглашать ли м-ра Друпа.

— Терпеть не могу его манеру зубоскалить, когда речь идет о серьезных вещах,— сказал м-р Коппер.

Но более либеральные настроения одержали верх, и вопрос был решен в пользу м-ра Друпа. Он присутствовал на собрании, не отпустив ни одной дерзкой шутки насчет сэра Освальда Мосли и вообще не сделав никаких неприятных выпадов в этом духе. В некоторых отношениях он был даже полезен.

Комитет собрался и вынес ряд решений. Двух садовников, обслуживающих Проспект, решено было использовать в качестве ночных сторожей. Была также открыта запись добровольцев в местную оборону. Затем члены комитета разошлись в глубокомысленном молчании.

— Не нравится мне, как идут дела,— сказал Эдвард-Альберт своей Мэри.— Я считаю, что нужно еще что-то сделать.

— Да что же еще? — спросила Мэри.

— По-моему, нужно организовать строевое ученье на гольфовом поле.

— Тогда вытопчут всю траву.

— Можно не на газоне. Поручим дежурному члену клуба следить за этим.

Дружины местной обороны стали ареной полезной деятельности пожилых военных, хорошо знакомых с тактикой пятидесятилетней давности, но живо стремящихся привить чувство долга, дисциплины, уважения к общественному порядку представителям низших классов и удержать их от паники, к которой они так склонны. Дружины стали проходить боевое обучение: занятия проводились три раза в неделю, причем обучающиеся были вооружены палками и старыми винтовками, а представители комитета следили за тем, чтобы приспособления для гольфа не пострадали.

Эти грозные приготовления подверглись некоторой критике со стороны людей, которые были очевидцами боев в Испании, во Франции, в Голландии и в других местах. После основательного размышления военное руководство ввело белые повязки на рукава и переименовало дружины местной обороны в отряды.

Влиятельные и зажиточные английские тьюлеры испытывали сильный и, быть может, небезосновательный страх перед вооруженным народом; поэтому некоторое время обсуждался вопрос, не следует ли держать имеющееся оружие в каком-нибудь стратегическом пункте под охраной и выдавать его бойцам лишь после того, как захватчики появятся в стране. Будет еще достаточно времени, чтобы полисмен или еще кто-нибудь успел обойти их всех по домам и предупредить о событиях. При появлении немецких войск командование отряда местной обороны должно сообщить страшную новость ближайшему полисмену. И тот будет действовать согласно печатной инструкции, которую, вероятнее всего, еще не успеет получить. Все дорожные указатели были удалены, все географические карты изъяты из обращения, были приняты все меры к тому, чтобы любая английская часть, которая могла бы оказаться в данном районе, окончательно заблудилась в своей собственной стране.

Между тем взрывы войны становились все оглушительней и страшней. Пламя, разгораясь, подбиралось все ближе и ближе к Эдварду-Альберту. В глазах у соседей он видел ту же тревогу, которая терзала его самого.

Он разговаривал во сне. Ему снился грозный великан, бог войны Марс, только похожий на лорда Китченера, каким тот прежде изображался на плакатах. Он указывал на Эдварда-Альберта огромным пальцем:

— Что делает там этот малый? Подать его сюда.

Ссылаться на слабое здоровье было невозможно. Эдвард-Альберт уже побывал у одного бирмингамского врача для всесторонней проверки. Он ничего не сказал об этом Мэри, чтобы зря ее не тревожить. Его там раздели, выстукали, просветили рентгеном, сделали анализы, проверили зрение (легкий астигматизм); одним словом, все.

— Здоровы как бык,— объявил врач.— Поздравляю. Теперь вот-вот уж вас, сорокадвухлетних, призовут.

— Не могу сидеть сложа руки,—заявил Эдвард-Альберт Тьюлер у себя на Проспекте.— Хочу пройти обучение и работать в отряде местной обороны.

М-р Друп последовал его примеру; что же касается м-ра Коппера и м-ра Стэнниша, они предпочли взять на себя конторскую работу в Брайтхэмптоне, чтобы освободить для армии более молодых. Зато на рисовальщика паркетных узоров, который до тех пор был принципиальным противником войны, к тому же с больным легким, пример Эдварда-Альберта неожиданно очень сильно подействовал: он отказался от своей позиции и стал посещать строевые занятия. Жена его уже носила форму трамвайного кондуктора. М-сс Рутер тоже разгуливала в мундире: она была чем-то вроде помощницы полисмена, и ее обязанность заключалась в том, чтобы ограждать заблудших представительниц брайтхэмптонской молодежи от безнравственных побуждений, заставлявших их устремляться по вечерам, как бабочки на огонь, к проспектам поселка. Мерцание ее электрического фонаря и неожиданный оклик, подобно голосу совести, обычно запаздывали.

— Это что такое? — говорила она.— Этого здесь нельзя. Понимаете — нельзя.

А они-то думали, что можно, и по большей части доказывали это на деле.

Вполне естественно, что Эдвард-Альберт и его друзья обсуждали роль отрядов местной обороны со всевозможных точек зрения. Первое время мало кто видел

в этих отрядах реальную боевую силу. Это была просто сверхкомплектная угроза Гитлеру.

«Пусть сунется, мы ему покажем» — такова была основная идея. «Сперва посмотрим, что будут делать фрицы, а потом кинемся на них... Мы ведь не то, что эти несчастные французики». И так далее...

М-р Коппер считал, что задача отрядов местной обороны заключается прежде всего в поддержании порядка и предотвращении партизанской войны, которая может вызвать репрессии со стороны фрицев.

— Не надо давать им повода,— говорил м-р Коппер.— А когда война кончится, вы будете как бы дополнительной полицией для борьбы с забастовками, восстаниями и всякое такое. В стране-то начнет черт знает что твориться.

М-р Друп, со своей стороны, полагал, что, когда военное счастье отвернется, наконец, от Германии к Англии, последняя сможет послать в Европу экспедиционные войска («Дай боже!» — вставил м-р Стэнниш), и тогда отрядам местной обороны придется защищать Англию от ответных налетов. Поэтому их необходимо вооружить и обучить, как настоящие современные боевые единицы. Кое-где у нас как будто так и делалось, но не всюду. По словам официальных лиц, тут имела место «широкая местная автономия».

Иными словами, официальные лица страдали общей болезнью всех представителей Homo Тьюлера во всем мире — некоторой путаницей представлений. Но поскольку они держались с достаточной долей скромности, отдельные их действия имели лишь второстепенное значение.

В первые месяцы 1941 года функции брайтхэмптонского отряда местной обороны сводились к проверке затемнения и подаче сигнала воздушной тревоги. Потом произошло резкое изменение политики. Где-то наверху стало совершенно точно известно, что у фрицев имеется подробно разработанный план пробного налета на район Брайтхэмптона. Ожидалась попытка повторить критскую операцию с высадкой парашютистов и грудами разбитых транспортных самолетов. Все это — под прикрытием небольших скоростных истребителей.

Англичане узнали о замысле немцев за месяц до срока, намеченного для его осуществления. Мгновенно

началась тайная, поспешная и обстоятельная подготовка к встрече. В районе стали появляться не слишком многочисленные — чтобы не бросалось в глаза — канадские и кое-какие польские части, а отряд местной обороны, получив подкрепление в виде особо подготовленных специалистов, в стремительном темпе прошел курс боевой подготовки.

— Выходит, я теперь партизан,— заявил Эдвард Тьюлер жене.— Ты только подумай! Если я увижу немца, я должен застрелить его или обезоружить, а если он первый меня увидит, то имеет право застрелить меня без всякого предупреждения. Мне это совсем не подходит. Я говорил, что, по-моему, буду гораздо полезней на каком-нибудь другом посту. А теперь они и тебя просят прийти и помочь с этим ихним камуфляжем. Они расписывают человека так, что он становится ни на что не похож: зеленым и черным, да еще кладут какие-то пятна, вроде коровьих лепешек... Хотят выкрасить мне лицо и руки в зеленый цвет! И я должен буду ползать с винтовкой по гольфовому полю, а как только покажутся немцы, занять позицию и стрелять.

— Может, они еще не придут.

— Мы должны быть готовы.

— Весь мир сошел с ума,— заметила Мэри Тьюлер. Подумав, она прибавила:

— Ну что ж, раз надо, значит, надо.

И так закамуфлировала Эдварда-Альберта, что на него можно было наступить, не разобрав, на что ставишь ногу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЕРОИЧЕСКОЕ МГНОВЕНИЕ

Дюйм за дюймом все глубже и глубже втягивало Эдварда-Альберта в водоворот этой с каждым днем все более страшной войны. Он, всегда такой элегантный, превратился теперь в притаившуюся на поле для гольфа кучу тряпья, в распластанного на траве караульного...

Если б ему в конце 1940 года сказали, что через год он сделается человеком-невидимкой, ползающим в раз-

гар воздушного налета по земле, ища хоть какого-нибудь укрытия, балдея от оглушительного грохота зениток, от сыплющихся на него с неба осветительных ракет, парашютистов и бесчисленных транспортных самолетов, он, наверно, устроил бы себе какое-нибудь легкое увечье, которое избавило бы его от активного участия во всей этой истории. Смутное сожаление о совершенной ошибке пробивалось сквозь шум, гул и хаос, царящие в его сознании.

— Какой я был идиот,— бормотал он,— хоть бы разок вперед заглянул!

Вот как он был настроен за десять минут до того мгновения, которое превратило его в национального героя.

Вышло все очень просто. Примостившись под бункером, Эдвард-Альберт почувствовал себя в относительной безопасности: ему теперь могло грозить только прямое попадание. Здесь можно было подождать, чем все кончится, а потом либо сдаться в плен, либо присоединиться к общему ликованию, после того как кругом более или менее успокоится. Тут он вдруг заметил, что по другую сторону бункера осторожно ползут люди. Он вытянул шею, чтобы их рассмотреть, и увидел блеск штыков. Людей было по меньшей мере трое. Три головы появились над бункером и застыли в ожидании. Потом один выстрелил куда-то вперед, другой спрыгнул вниз, в двух шагах от Эдварда-Альберта, и прицелился. Они очень быстро заговорили между собой по-польски. Но для Эдварда-Альберта что польский, что немецкий было все равно. Сейчас они наткнутся на него и заколют его штыками. Все три штыка вонзятся разом.

С диким воем он вскочил на ноги и побежал.

Они что-то закричали и побежали за ним. И вдруг прямо впереди он увидел группу черных фигур, старающихся освободиться от парашютов и лямок. Они тоже кричали по-немецки. Позади немцы, впереди немцы — и некуда уйти!

Я плохо выполнил обязанности повествователя, если дал повод думать, будто Эдвард-Альберт был жалким трусом. Ни одно взрослое живое существо, получившее правильное воспитание, вероятно, не станет трусить. Детеныши млекопитающих легко поддаются страху, но я

говорю о взрослых. Эта книга — о человеке, росшем в унизительной, обескураживающей социальной атмосфере, малодушном не столько от природы, сколько в результате воздействия среды. Жизнь Эдварда-Альберта, как всякая человеческая жизнь, была полна протестов и возмущений, пусть мелких и ограниченных. Мы видели, как он изменил своей обычной сдержанности, удивив этим Хорри Бэдда. Мы видели, как он удивил женскую особь своего вида. И вот теперь, очутившись, как ему казалось, в безвыходном и безнадежном положении, он совершенно отбросил защитную пелену так называемого «инстинкта самосохранения» и повел себя, как существо, одержимое безумием.

Вой его перешел в вопль отчаяния и ненависти. Он ринулся навстречу своей судьбе. Его зеленое лицо, развевающиеся пестрые лохмотья, внезапно возникнув из мрака в грохоте боя, видимо, произвели на замешкавшихся, растерянных молодых нацистов впечатление кошмара. Он стал крутить винтовкой вокруг себя, опрокидывая этих испуганных, запутавшихся в своем снаряжении людей, сбивая их с ног, не обращая внимания на их крики. Он убил четверых и еще семерых вывел из строя, прежде чем трое поляков, бежавших за ним, подоспели, чтобы довершить его победу.

— Когда мы остановились, ожидая подкрепления,— показывали они,— он вдруг выскочил из засады у наших ног, крикнул нам, чтобы мы шли за ним, и атаковал позицию врага, на которой тот пытался укрепиться...

Постепенно до сознания Эдварда-Альберта дошло, что ему жмет руку польский офицер, немного говорящий по-английски. Шум у него в голове и кругом стал стихать. Медленно, но верно Эдвард-Альберт начал отдавать себе отчет в том, что совершил.

Он перетасовал факты с той же легкостью, с какой когда-то поверил в свою победу на крикетном матче.

С рассветом выяснилось, что попытка немцев испытать прочность брайтхэмптонской береговой обороны окончилась полным провалом. Им не удалось создать плацдарма. Вся местность была очищена от противника, причем защитники понесли самые незначительные потери. Пострадали главным образом находившиеся вне прикрытий орудийные расчеты на берегу за Кэзинг-Ист-

Клиффом. В час дня был выпущен бюллетень с сообщением обо всей операции, преуменьшенным во избежание паники. И Эдвард-Альберт, чей героизм еще вырос после тщательного ознакомления с качествами польской водки, страшно грязный, усталый, пьяный и торжествующий, вернулся к себе домой. М-р Друп и рисовальщик паркетных плиток уже побывали там. Они сообщили, что он находился в самой гуще боя вместе с несколькими поляками и канадцами, но остался невредим и что они видели, как он потом выпивал в польской войсковой лавке; а потому Мэри и весь пострадавший от боевых действий (было много разбитых окон) Проспект Утренней Зари вышли ему навстречу.

Эдвард-Альберт не пел, но если бы вы увидели его в немом фильме, вы подумали бы, что он поет. Пели все его движения. Он выглядел не как аккуратный, почти педантично одетый игрок в гольф, за внешним видом которого всегда так следила заботливая супруга, а скорее как пьяный кусок изгороди.

Приблизившись к ней, окруженный толпой соседей, он произнес:

— Ну и досталось же им!

— Кажется, не только им,— заметила м-сс Тьюлер.

— Эти поляки — бойцы и джентльмены. Джентльмены, повторяю тебе. Молодцы ребята! Мне, понятно, пришлось чокнуться с ними. Чистая водка... В жизни не пил такой прелести.

— Расскажите, как было дело,— попросил м-р Пилдингтон.

— Сперва пусть вымоется и отдохнет,— возразила м-сс Тьюлер.— Он совсем замучился.

— Совсем замучился,— произнес, заикаясь, ворох тряпья, тяжело опираясь на нее.

И она повела его в дом.

— Слава богу, он не пострадал. На нем — ни царапины! — заметила она.

Пока она с материнской заботливостью хлопотала вокруг него в ванной и укладывала его в постель, он уже в полусне размышлял о своих удивительных подвигах.

— Ну и задал я им — и с правой и с левой...

— Вон из Англии,— говорю,— тут вам не поздоровится...

— Просто потеха с этими фрицами... совсем не умеют драться. Сами не знают, что делают. Камерад, говорит, камерад. Я его как трахну! Какой я тебе камерад?

Через двадцать четыре часа Эдвард-Альберт снова появился среди людей — чистенький, в форменном мундире, не менее других жаждущий разузнать подробности битвы, в которой участвовал. Его камуфляжное одеяние жестоко пострадало, и жена занялась ремонтом. Стивен Крэн, работая над своим «Алым знаком доблести», обнаружил, что рядовые ветераны гражданской войны в Америке, говоря о битвах, в которых они участвовали, рассказывают то, что ими вычитано из газет. Газетный отчет помогал им навести порядок в своих путаных воспоминаниях и найти для них нужные слова. Точно в таком же положении был и Эдвард-Альберт. Составить связный рассказ о пережитом ему в значительной степени помогло романтическое великодушие бравого польского офицера, который рад был случаю превознести англичанина, руководившего этой маленькой стычкой, и за стаканчиком водки охотно рассказывал каждому встречному и поперечному все новые и новые подробности событий.

Несмотря на меры, принятые министерством информации, в Лондоне распространился слух, что в Брайтхэмптоне была отбита попытка противника высадить воздушный десант, подобная критской. Дней через десять лондонское радио передало «эпизод», в основу которого легли рассказы польского офицера,— без упоминания имен и дат. Затем об инциденте телеграфировали в самых лестных выражениях в Америку, приведя его как доказательство несокрушимой стойкости скромного рядового англичанина. Тут Эдвард-Альберт начал понимать, как высоко он вознесся в мировом общественном мнении. Это он был тот скромный рядовой англичанин, которого стоит только задеть — и он покажет свою отвагу. Именно тогда он придумал себе эпитафию: «Не словами, а делом».

Только с одной стороны веяло на него холодом скептицизма—как раз откуда счастливый супруг мог меньше всего ожидать. Жена слушала; она не предлагала вопросов; но она заставляла его самого чувствовать всю нереальность его новой роли.

Когда наверху в конце концов решили отметить значение Брайтхэмптонского инцидента некоторым количеством наград и Эдварду-Альберту достался георгиевский крест, он прежде всего поспешил к Мэри.

— Я этого не заслуживаю,— сказал он.

— Чего не заслуживаешь?

— Я сделал только то, что сделал бы любой англичанин.

Она терпеливо ждала объяснений.

— Это награда всему нашему взводу. Я буду носить его за всех.

— Его нельзя надеть, пока он не высохнет.

— Чего нельзя надеть?

— Твоего камуфляжа.

— Да я совсем не о том! Мэри! Мне дают георгиевский крест. Георгиевский крест за храбрость... Ты рада?

— Раз тебе это приятно, Тэдди...

— Но ведь это чудесно, Мэри! Неужели ты не понимаешь, как это чудесно?

— Чудесно. Да... Чего только не выдумают,— заметила Мэри.

ГЛАВА ПЯТАЯ

КОНЕЦ УСАДЬБЫ

По причинам, которые она так и не объяснила, м-сс Тьюлер не поехала в Бэкингемский дворец присутствовать при торжественном вручении королем ордена ее супругу.

— Я ведь тут ни при чем,— заявила она.— Я только сделала тебе маскировочную одежду и просила бога, чтобы ты не пострадал. Там не будешь знать, что делать и куда смотреть. Затолкают тебя всякие разодетые сановники в мундирах, орденах и звездах, будут рассматривать принцы и придворные дамы, как диковинных зверей, следить за тем, какое все это на нас производит впечатление. Там будет король с королевой, оба в коронах, а я, наверно, до того разнервничаюсь, что, если у кого-нибудь из них корона чуть на бок съедет, со мной случится истерика. Ты ведь не хочешь, чтобы с твоей женой случилась истерика, правда, Тэдди? Я этого бо-

юсь. И боюсь я других женщин, которых мы там увидим: вдов, которые потеряли мужей, матерей, которые потеряли сыновей,— все эти несчастные там словно напоказ выставлены со своим горем, а мы среди них будем радоваться! Я бы им в лицо взглянуть не посмела. Да. Король не король, а с нашей стороны это нехорошо получится, Тэдди.

Едва ли не впервые за всю его супружескую жизнь у Эдварда-Альберта мелькнуло подозрение, что у Мэри, может быть, есть «идеи». Но он сейчас же отбросил эту чудовищную мысль. Нет, нет. Мэри просто застенчива. Она не уверена в себе и представляет все в ложном свете. А будет это скорей похоже на дружеское рукопожатие. Надо ее переубедить, высмеять ее опасения. И он начал с разъяснений и уговоров и, только натолкнувшись на ее непоколебимое упорство и полный отказ уступить его настояниям, почувствовал глубокую обиду.

— Ну, я вижу, спорить бесполезно! — воскликнул он.— Теперь я понял. Все ясно. Что бы я ни сделал и чего бы ни достиг, ты за меня не порадуешься.

Но м-сс Тьюлер была умная женщина: она решила обойти этот упрек неопределенным молчанием.

Потом сказала:

— Я не успею сшить себе какое-нибудь подходящее платье, а ты сам ни за что не согласишься, чтобы я пошла туда в затрапезном виде. Ведь там всюду будут фотографы, уж не говоря об их величествах.

— Я, кажется, никогда не ограничивал тебя в расходах на платья,— возразил Эдвард-Альберт.— Ведь правда? А ты все тратила на лакомства для мальчика.

— Моя вина, конечно,— ответила м-сс Тьюлер.— Но из вины платья не сошьешь. А теперь уже поздно.

— Нельзя ли все-таки как-нибудь устроить?—настаивал Эдвард-Альберт.— Я не столько ради себя хочу, чтобы ты туда пошла, сколько ради тебя самой. Не в платье дело. Я хочу заявить: «Вот женщина, которой я обязан всем — после моей матери. Она сделала меня тем, что я есть». Я расскажу про нашу жизнь репортерам. Роман Героя. Они тебя сфотографируют и напечатают портрет в газетах. И вдруг номер попадется Эванджелине, а? Пусть тогда ногти себе кусает. Я все время об этом думаю.

Но даже эта блестящая перспектива не соблазнила Мэри.

— Нет, ты просто не хочешь пойти,— произнес он наконец в крайнем раздражении.— Ты просто решила не ходить. Только я разобью одно возражение, ты выдумываешь другое. Ты бываешь иногда упряма, как осел, Мэри, упряма и безрассудна. Неужели ты не понимаешь, какое значение это для меня имеет? Тебе все равно. А ведь я все это сделал ради тебя. Я сказал себе: как бы это ни было опасно и что бы ни случилось, я не подведу Мэри. А ты теперь подводишь меня. Каждый придет со своими близкими. А про меня будут говорить: а этот что же? Одинокий холостяк? Нет, нет, у него есть жена, но она не захотела прийти. Не захотела прийти! Ты только подумай! Так верноподданные не поступают. Ведь это почти королевский приказ. «Да, Ваше Величество. У меня есть жена, но она не захотела прийти».

М-сс Тьюлер слушала все это, словно репетицию какого-нибудь спектакля.

— Обойдется, Тэдди,— произнесла она в ответ на последнюю колкость.— Лучше давай я соберу твои вещи. Бритвенный прибор я тебе положу, но ты лучше побрейся утром в гостинице. А то еще порежешься от волнения...

Так он и уехал в Лондон один, полный негодования. Утром газеты сообщили, что ночью активность вражеской авиации над Англией была незначительной. Сброшено несколько бомб, разрушен один жилой дом в южном приморском городе, имеются немногочисленные жертвы. И только. Но жилой дом, о котором шла речь, был дом Тьюлера, а главные жертвы — Мэри Тьюлер, одна из ее кошек и соседская служанка. М-р Пилдингтон из Джохора был сбит с ног воздушной волной и получил несколько контузий, а Кэкстон тяжело ранен.

Днем Мэри Тьюлер очнулась. Сказала, что хочет видеть сына. Она не знает в точности, где он, но, по ее предположению, батальон его находится в Уэльсе. Она указала все данные.

— Мы найдем его, милая,— сказала дежурившая при ней сестра.— Теперь это делается очень быстро. А вашего мужа, мистера Тьюлера?

— Это не так спешно. Время есть. Он в Лондоне. Получает орден из рук короля,— объяснила Мэри.— Не надо отравлять ему торжество неприятными известиями. Еще успеется. Лишний день ничего не изменит... У меня только словно онемело все. И слабость.

Сестра вдруг стала бесконечно ласковой.

— Мне кажется, следовало бы сейчас же сообщить вашему супругу.

— Значит, мне хуже, чем я думаю?

— Такую мужественную женщину незачем обманывать. Мы сделаем все, что от нас зависит.

Мэри закрыла глаза и задумалась.

Потом спросила:

— Телеграмму?

— Да.

— Только сначала покажите мне...

На этом условии она дала адрес: Палас-отель, Виктория.

Телеграмма, которую получил Эдвард-Альберт, извещала, что его жена, очень тяжело раненная во время вражеского налета, находится в Брайтхэмптонском госпитале. Мэри настаивала на том, чтобы вычеркнуть слово «очень», но о ее просьбе тактично позабыли.

— Ну вот,— воскликнул Эдвард-Альберт.— Точно возмездие... Если б только она послушалась голоса разума! Если б послушалась! Ведь я говорил ей...

Некоторое время он сидел неподвижно. Потом прошептал:

— Мэри.

Что-то дрогнуло у него внутри, он почувствовал прилив горя, слишком глубокого и потому не укладывавшегося в привычную для него форму мышления.

«Может, еще не так плохо». В военное время нельзя давать волю «идеям». «Просто не хотят рисковать»,— решил он.

Выпив в задумчивости чаю, он послал ответную телеграмму:

«Завтра как назначено должен быть дворце специальному приказу его величества приеду тебе шести часам Тэдди»

Но перед самой великой минутой его опять охватил глубокий душевный порыв, неразвернувшийся зачаток

чувства,— и он всхлипнул. Конечно, ей надо было быть здесь. Он сам удивился своим слезам...

В госпитале ему сообщили, что Мэри умирает. Но даже и тут реальность продолжала казаться ему чем-то нереальным.

— Она очень мучается? — осведомился он.

— Она ничего не чувствует. Все тело парализовано.

— Это хорошо,— сказал он.

Оказалось, что сын его уже здесь.

— Он хотел остаться при ней до конца, но я подумала — лучше не надо,— объяснила дежурная сестра.— Ей трудно говорить. Что-то ее все время беспокоит.

— Спрашивала она обо мне?

— Она очень хочет вас видеть. Спрашивала три раза.

Снова в нем шевельнулось смутное ощущение горя. Надо было ему все-таки быть здесь...

— Мы с ней немножко повздорили,— промолвил Эдвард-Альберт, стараясь уложить в слова то, чего нельзя выразить словами.— Ничего серьезного, просто маленькое недоразумение. Я думаю, она теперь жалеет, что не поехала, и хочет узнать, как все было (он всхлипнул). Наверно, хочет узнать, как все было. Если б только она поехала...

Но Мэри волновало не это.

Разговор у них вышел словно на разных языках.

— Обещай мне одну вещь,— сказала она, не слушая его.

— Это было замечательно, Мэри,— говорил Эдвард-Альберт.— Просто замечательно. Ничего напыщенного. Ничего натянутого или чопорного.

— Он твой сын.

— Как-то и царственно и демократично. Замечательно!

— Не позволяй никому восстанавливать тебя против него, Тэдди. Ни за что не позволяй, слышишь? — твердил слабеющий голос.

Эдвард-Альберт не слушал, что она ему говорила, поглощенный торжественным рассказом, который он для нее приготовил.

Он подробно остановился на том, как они подъезжали к Бэкингемскому дворцу, описал толпу, рассказал,

как любезно его встретили и пригласили войти, о фотографах, делавших моментальные снимки, о криках «ура», которые слышались в толпе.

— Обещай мне,— шептала она.— Обещай мне...

Это были ее последние слова.

— Король и королева были в зале. Он — такой милый, простой молодой человек. Без короны. А у нее такая ласковая улыбка. Никакого высокомерия. Ах, как жаль, что тебя там не было: ты бы сама увидела, как все не похоже на то, что тебе мерещилось. Это была скорей беседа за чашкой чаю, чем придворная церемония. И в то же время во всем какое-то величие. Чувствовалось, что здесь что-то вечное, что вот бьется сердце великой империи... Я все время думал о тебе, о том, как я вернусь и расскажу тебе обо всем. Да, да. Если бы только ты была там... Я так спешил, чтобы тебе его показать. Вот он, Мэри, смотри, вот он...

Она несколько мгновений пристально глядела на сияющее лицо мужа, потом посмотрела на крест, который он держал в руках. Она больше не пыталась что-нибудь сказать. Внимание ее мало-помалу ослабело. Она, как усталый ребенок, закрыла глаза. Закрыла, чтобы больше не видеть ни Эдварда-Альберта, ни весь этот глупый и нелепый мир...

Вдруг сестра положила ему руку на плечо.

— Она была мне такой замечательной женой,— сказал Эдвард-Альберт, не сдерживая рыданий.— Не знаю даже, как я буду без нее (рыдание)... Просто не знаю. Я рад, что успел показать ей это... Очень рад... Это не много. А все-таки кое-что, правда?.. Кое-что такое, что стоило показать ей.

Сестра не мешала его излияниям.

В коридоре он увидел сына, который сидел, оцепенев от горя. Он ехал всю ночь, чтобы в последний раз взглянуть на нее.

— Скончалась, мой мальчик,— сказал Эдвард-Альберт.— Нет нашей Мэри. Я только успел показать ей, перед тем как она закрыла глаза...

— Что показать? — спросил Генри.

Эдвард-Альберт протянул орден.

— Ах, это...— произнес Генри и снова ушел в себя.

КНИГА ШЕСТАЯ

БОГ, ДЬЯВОЛ И НОМО ТЬЮЛЕР

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОТ ТЬЮЛЕРА К SAPIENS'У

На этом кончается все существенное, что было в жизни Эдварда-Альберта Тьюлера, его делах и важнейших высказываниях. Но прежде чем поставить этот образчик человеческого рода на свое место в пространстве и времени, среди созвездий, и подвести черту в конце нашего повествования, необходимо сделать несколько не совсем, может быть, приятных замечаний относительно мирового устройства и мудрости веков. Мы предупреждали об этом читателя в предпоследнем абзаце «Введения» (см.).

Некоторые представители вида Homo Тьюлер, фигурирующие под названием философов, теологов, учителей и тому подобное, до сих пор внушают благоговейный страх подавляющему большинству человечества, которое чересчур уж охотно видит в них то, чем они желают казаться. Они подобны торговым компаниям, которые соперничают между собой за монопольное положение, но заняты все одним и тем же делом: пичкают душу Тьюлера за наличный расчет Богом, Правдой и Справедливостью, совершенно так же, как продавцы патентованных средств пичкали тело м-сс Ричард Тьюлер своими лекарствами. И делают это не слишком уверенно. Большинство, испытывая сомнения в себе, облекаются в странные, рассчитанные на особую убедительность одеяния, рясы, мантии, капюшоны, надевают самые причудливые тиары, митры и тому подобное, бреют себе головы, отращивают длинные грязные боро-

ды, словно желая сказать: «Я особенный. Я не человек, а носитель божественного начала».

Спрашивается: какого начала? Философского? Но может ли быть у нормального человечества более одной философии? И может ли философия эта быть до такой степени недоступной человеческому пониманию, что надо вырядиться, точно шаман с Золотого Берега, чтобы изъяснять ее таинственный вздор? С тех пор как жалкий, путающийся в собственных мыслях Homo sub-sapiens начал устанавливать связь между явлениями и задавать о них вопросы, он накопил огромное множество противоречивых ответов — правильных, ошибочных и двусмысленных. Чаще всего двусмысленных. Так называемые «мыслители», не успев выдумать что-нибудь дельное, становились жертвами смерти, либо непоколебимой уверенности в собственной правоте. История человеческой мысли в основном есть история человеческих заблуждений — огромная куча кухонных отбросов, которую еще никогда не удавалось разгрести до конца. Бесформенная масса — вот что это такое. Ни разу во всю историю человечества вплоть до того момента, когда пишутся эти строки, эта масса не подвергалась добросовестному и доскональному перевариванию. Отдельные непрожеванные куски ее получили название «классиков». Историк философии, обозревающий «великих», или какое там пышное название ни дай этому несвежему пирогу из остатков, встречает путаницу противоречивых идей, перемешанные кусочки от разных складных картинок, невнятицу, преподносимую как мудрость. История Эдварда-Альберта ясно показывает, почему мы до сих пор не дождались основательной чистки. Миллионы мелких тварей преграждают путь. Но чистка неминуемо произойдет, если только нам суждено осуществить переход к стадии Sapiens.

Как с философией, так обстоит дело и с религией. Религия есть система идей и обычаев, связующая общество в единое целое. Отсюда ясно, что здоровый коллектив может иметь лишь одну религию и что в настоящее время с уничтожением расстояний и превращением всего человечества в единый мировой коллектив, все части которого связаны взаимной зависимостью, возможна лишь одна религия во всем мире. В нормальном

мировом коллективе нет места «религиозной терпимости». Такой коллектив должен быть связан общим мировоззрением, и мы не можем позволить организациям духовных шарлатанов подрывать общественное единство на том основании, что у каждого есть свой церковный товар для продажи.

Религия, которая нужна мировому коллективу, очень проста. Она опирается на догматическое признание того, что человек должен всегда быть правдив, что земля есть общее достояние и что люди равны между собой. При условии, если все будут признавать эти основные догмы — ибо это догмы, хотя и жизненно необходимые,— не будет никаких причин мешать желающим придерживаться каких угодно новых и старых обрядов и мифологий или совершенно свободно обсуждать любые еретические идеи, какие им придут в голову. В разумно просвещенном мире не понадобится запрещать ни закрытых собраний — будь то собрания Еврейского Клауса, Клуба Поклонников Сатаны, *баптистов-перекрещенцев* или гитлеровских астрологов,— ни торжественных богослужений, ни спиритических сеансов. При условии, чтобы те, кто предается этим чудачествам, не занимались их пропагандой и сбытом во вред общему духовному балансу человеческого общества. Но оказывать тайное давление на доверчивую молодежь или мировую систему информации — это совсем другое дело.

Таким образом, мы подходим к проблеме образования. Это, разумеется, самая сложная проблема из всех стоящих перед нами. Ибо старая неряха, наша мать-природа, допустив, чтобы ходом вещей мы превратились теперь в один мировой коллектив, позабыла возбудить в нас какое бы то ни было индивидуальное или коллективное стремление к такому образованию, которое примирило бы нас с обязанностью сознательно приспособиться к новому положению. Она ничем не обуздала нашего упорного нежелания учиться. Homo Тьюлер продолжает гибнуть en masse[1] из-за своей боязни погрузиться в действительность. Он не хочет покинуть свой тонущий корабль. Посмотрит в темные волны и спешит обратно—затвориться в каюте своего сознания, где есть

---

[1] В массе (*франц.*).

успокаивающие средства, в которые продавец духовных благ научил его верить.

Но время от времени люди, наделенные исключительной проницательностью, пробовали выдвинуть идею всемирного братства, нового великодушного отношения к людям и переустройства жизни на началах сотрудничества во всем мире, усматривая в этом единственное спасение для нашего вида. Мысль не новая. В наши дни это стало необходимостью, но людям дальновидным было ясно уже очень давно. Девятнадцать столетий назад последний, самый неистовый и самый революционный из еврейских пророков, Иисус из Назарета, побивший менял и проклявший бесплодную смоковницу, проповедовал солидарность среди людей в виде «царства небесного» — насколько мы можем судить, отделяя его учение от позднейших напластований.

Павел завладел наследством Иисуса, втиснул его в рамки догматического христианства, и очень скоро благородное начинание выродилось в препирательства «отцов церкви». Не галилеянин восторжествовал над языческим стоицизмом Юлиана. Победителем был Павел. Исконное человеческое тьюлерство одержало верх над преждевременно пробудившимся Homo sapiens.

Corruptio optima, pessima[1]. В наши дни худшее зло во всем мире — это римско-католическая церковь, бесстыдно избравшая своим символом Иисуса, сына человеческого, замученного, распятого, погубленного. Где только ни господствуют католические священники — среди вырождающихся богомольных французских генералов-капитулянтов, в Хорватии, в Японии, в Испании, в этой строптивой трущобе — Эйре, в Италии, в Южной Америке, в Австралии,—всюду вы видите злобное коварство, ополчающееся против попыток просветить человека.

Но есть упрямые бунтари, которые не хотят с этим примириться. Они, например, утверждают, что в тьюлеровском мире существует уже по крайней мере одно могучее движение, в наши дни обычно называемое Наукой с большой буквы, которое до сих пор не подпало под влияние поповщины или иной гнет авторитетов. Эта Наука произвела переворот в материальных условиях

[1] Зло высшее, наихудшее (*лат.*).

человеческого бытия, и нам следует рассмотреть, как она возникла и что, собственно, собой представляет. Своим возникновением она не обязана никакому чуду. У нее не было основателя. Она началась с естественного адлеровского восстания против удручающего религиозного догматизма Средних веков. В поисках средств самоутверждения против его возмутительной самоуверенности непокорные, чье терпение иссякло, обнаружили, к своей радости, ряд несоответствий между учением и фактами и для оправдания своего бунта апеллировали к новому арбитру — проверке опытом.

Нелепы попытки облагородить движущий импульс этого нового движения. Наука не терпит сентиментальности. Роджер Бэкон, насколько мы располагаем о нем сведениями, никогда не говорил: «Я люблю истину», или «Какое бы мне сделать благородное дело для своих собратьев?», или в порыве благочестивого усердия: «Открою-ка что-нибудь во славу божию». Он поступил совершенно иначе, и даже отправная точка у него была совершенно другой: он попросту вышел из себя. Он терпел царившее вокруг философское самодовольство, пока мог, а потом, нацелившись на слабое место, яростно и грубо ударил по нему. Мотивы, побудившие Роджера Бэкона высунуть язык средневековому Аристотелю, ничем не отличались от тех, которые заставляли юного Эдварда-Альберта Тьюлера высовывать язык невозмутимо самодовольному льву в зоопарке.

В свою очередь, и Галилей не спустился с небес: он был такой же человек, как мы. Но его возмутила непререкаемая безапелляционность суждений церкви обо всем, что делается на небе и на земле. Он выпустил свою запретную книгу для того, чтобы дать понять тем, кто имел над ним власть, какие они идиоты. Он не мог молчать. Они вступили с ним в спор, принудили его отречься от своих мнений и держать язык за зубами, но они знали, на чьей стороне правда, и он знал, что они знают это. «А все-таки она вертится», — издевался он над их торжественными усилиями снова пригвоздить землю к одному месту,— землю, которую он вместе с Коперником навсегда сорвал с места и пустил кружиться волчком вокруг солнца.

Для наших целей очень важно припомнить, что изна-

чальным стимулом научной мысли явился ущемленный и недовольный тьюлеризм: благодаря этому нам становится понятным, что великие открытия могут возникать и фактически возникают и развиваются не по воле великих умов, вдохновенных исследователей и тому подобное, а просто в результате грубого непослушания. Непокорный Тьюлер пошел против Тьюлера власть имущего. Самая субстанция тьюлеризма источает научный прогресс, а выдающиеся представители последнего, так легко становящиеся предметом обожествления, не столько способствуют, сколько мешают делу.

Но остается неясным, почему эти новые завоевания человеческого ума не были тотчас же захвачены, использованы и извращены каким-нибудь создателем новой веры вроде апостола Павла и почти неизбежно шествующим за такими людьми духовенством. Объяснение надо искать в другом. И найти его не так трудно. Наука возникла в особых условиях. Она возникла не столько как общественное движение, сколько как увлечение одиночки. И захватила она на первых порах лишь ограниченную область современной жизни и мысли,— притом как раз наиболее удаленную от тех областей, где велась дикарская драка за власть и почет. Она возникла вне всякой связи с политикой и не спорила с господствующей религией и общественным устройством. Королевское общество, как и Academia dei Lincei, было обществом дворян-любителей, собиравшихся когда вздумается, чтобы обменяться между собой скептическими наблюдениями, из которых составлялся их замечательный сборник «Века открытий», и выпускавших — более или менее тайно—свои «Философские беседы». В те времена слово «наука» не было в употреблении. Речь у них шла о философии природы и естественной истории.

Карл II смотрел на Королевское общество как на забаву, и только в девятнадцатом столетии человечество поняло, что ручной тигренок превратился в довольно опасное чудовище. Оно весьма успешно запустило когти в икры епископа Уилбрефорса, когда тот по-тьюлеровски пнул его ногой. Памятная схватка «Сопи-Сэма» с дедушкой Хаксли на собрании Британской ассоциации превратила «конфликт между религией и наукой» в жгучую злобу дня. Та огромная акционерная компания, кото-

рую представляет собой англиканская церковь,— с большим успехом сбывающая, несмотря на сопротивление нонконформистов-диссидентов, ганноверскую церковно-государственную систему пестрому населению Британской империи,— забила тревогу, а конкурирующие с ней римско-католические продавцы патентованных средств и библейские начетчики-сектанты заключили с ней союз. Этот молодой тигр выгрызает целые куски из Создателя! Создатель был неотъемлемой комплектной частью их общего вооружения; они не могли допустить, чтобы его растаскивали по кускам и вообще как-нибудь портили: без него им нельзя было обойтись.

Мы вправе уподоблять Науку молодому тигру, но сравнение это необходимо ограничить. Наука может иногда оцарапать или укусить, но, по существу, она — результат многообразной безыменной силы, и если при известных обстоятельствах она и принимала грозную позу нападающего, то сама всегда избегала окончательного разгрома благодаря тому, что странным образом лишена была какой бы то ни было централизованной организации. У нее не было ни головы, которую можно было бы отрубить, ни святилища, которое можно было бы сжечь. Она не имела консолидированных фондов, на которые можно было бы наложить арест. Она была порождением непокорной от природы мировой человеческой мысли. Она была тут, она была там. Как заря. И всюду, где она ни всходила, ее появление будоражило свойственный человеку дух критики и поощряло его к неповиновению в дальнейшем.

Так что борьба против Науки является не столько попыткой вырвать с корнем и истребить нечто осязаемое и поддающееся выкорчеванию, сколько задачей огромной всемирной акционерной компании, которая омрачает нашу жизнь, и торгует с нами богом, правительством и войной, и стремится помешать проникновению в широкие массы человечества неожиданного и нежелательного просвещения.

В этом она, к сожалению, преуспела немало. Мы только что видели, как обыкновенный молодой англичанин через пятьдесят лет после Дарвина, глупо хохоча, отвергал свое родство с Tarsius'ом и обезьянами, попрежнему считая, что он сам и все вокруг него создано,

точно из глины вылеплено, человекообразным Богом, похожим на м-ра Майэма, только с более седой и более пушистой бородой, личность которого сливается отчасти с чрезвычайно приторной личностью Спасителя, который в то же время, при посредстве фосфоресцирующего голубя, является его сыном («Тайна Святой Троицы,— как эхо откликается Эдвард-Альберт.— Руки прочь от святыни! Свят. Свят. Свят. Такие речи вам не простятся, и будь Господь Бог тем, чем прежде был, вас разразило бы громом на месте»).

Вот из-за этой-то запоздалой вспышки Эдварда-Альберта я и описываю все с такой беспощадной точностью. Я изложил своими словами—непринужденно, но точно—христианское учение, каким нам преподносят его церковь и христианское искусство. Если мои выражения шокируют читателя, это свидетельствует лишь о том, что его давно пора шокировать. Я повторяю: учение о Троице—вопиющая нелепица. А между тем во всех англосаксонских странах детские умы до сих пор парализуются при помощи этой вопиющей нелепицы. Вы можете слышать, как в детских радиопередачах Би-би-си священники, зарабатывая средства к существованию заведомой ложью, сладким голосом рассказывают старые библейские истории, выдавая их за подлинную правду,— о настоящих ангелах и настоящих чудесах, о воскрешении мертвых и тому подобной чепухе.

— Вы рассуждаете, как деревенский безбожник,— возражает епископ Тьюлер, человек аристократических вкусов и социально разборчивый, как никто другой.— Мы не хуже вас понимаем, что все это—ряд освященных временем легенд, милых и прекрасных старых символов.

Деревенский безбожник — часто передовой человек в деревне, и я горжусь, когда меня ставят на одну доску с ним. Лучше шутить вместе с ним у трактирной стойки, чем обедать в епископском дворце и чувствовать, что тебя «подмазали». Разве простому народу говорят, что эти рассказы — только символы? И понимает ли он, какой в этих символах смысл?

Ясно, что, поскольку сознание всего человечества настоятельно требует перестройки, описанное положение вещей является весьма тревожным. И тут невозможно ограничиться простым повторением магического слова

«Наука». Действительно ли Науку имеем мы в виду, размышляя о реорганизации и духовной перестройке всего мира? Или же мы берем научный прогресс только как пример непрерывного и свободного процесса рационализации — процесса, который с успехом может быть распространен на все человеческие дела?

Как мы теперь знаем, престиж науки растет вместе с расширением сферы ее применения: но по мере того, как увеличивается потребность в коллективном экспериментировании и быстром обмене опытом, она становится значительно менее недоступной для чуждого вмешательства и всяких извращений. Сама не пользуясь силой, она создает ее в огромных количествах. Она произвела полную революцию в военном деле, но не уничтожила войны. Лет сто назад, когда научные исследования были еще делом частным, свободным, наука могла так или иначе существовать на этих началах. Но теперь уже не может. Теперь она существует открыто, доступна всеобщему обозрению, становится все более уязвимой, все коммерсанты в мире стараются заставить ее служить себе и нажиться с ее помощью.

Так что Наука как таковая не только не вступает в сферу управления и общего творческого руководства, но скорее опять возвращается в прежнее полурабское положение. Непрерывность теперешнего научного развития ни в коем случае не может считаться обеспеченной ни извне, ни изнутри. Мы видели, каким нападениям и стремлению прибрать ее к рукам подвергается она извне. А изнутри — специалист, стоящий на одном духовном уровне с древнегреческим рабом, испытывает все большую враждебность к бесцеремонному невежде с деспотическими замашками, который раздражает его широтой своего кругозора. Он рад был бы уничтожить его. Он сопротивляется его назойливому вмешательству в исследовательскую работу. Он ищет защиты у власти. В те дни, когда в Королевском обществе задавали тон свободно мыслящие и свободно выражающие свои мнения джентльмены, двери его были широко открыты для беспокойных идей, но с ростом специализации научный работник нового типа проявляет все большую склонность присваивать и направлять к своей собственной выгоде авторитет, в свое время завоеванный его предшественниками.

Совершенно ясно, что Науку в том виде, как мы ее знаем, облеченную в форму обществ, субсидий, кафедр, почетных наград и званий, музейных коллекций и т. п., легко может подчинить себе — а то и вовсе занять ее место — пародия на науку; и едва ли приходится ожидать от нее многого в смысле свежей и сильной инициативы, которая помогла бы разгадать волнующую современное человечество загадку. Но вопрос примет совершенно другой вид, если мы учтем, что, как я уже указывал, наша так называемая Наука, со своим ворохом «ологий», является лишь первым отпрыском гораздо более обширной системы движущих сил сознания, которая еще остается многоизменчивой, неуловимой в условиях постоянного противодействия и способна вызвать разрушительный процесс в наших шатких, обветшалых учреждениях — процесс, сам собой обнажающий те широкие основания, на которых только и мыслимо произвести переустройство мира. Или, другими словами, можно надеяться, что тот же самый многоизменчивый процесс неповиновения, который освободил Науку, даст нам не дальнейшее расширение Науки и появление новых «ологий», а нечто большее, некое родственное явление— паранауку, то есть новую ступень в освобождении человека, мировом взаимопонимании и мировой революции — зарю Sapiens'a.

Можно думать, что этот новый рывок непокорного Протея будет искать и найдет свои собственные орудия и методы в процессе устранения хаотического мира Homo Тьюлера пробудившейся волей Sapiens'a. Один из первых шагов на этом пути, наметившийся уже сейчас,— это возрождение законности в мировом масштабе. В прошлом юридический аппарат, подобно врачебной практике, был развращен характерным для старого порядка протекционным профессионализмом, но закон — даже дурной, устарелый, косно применяемый — есть орудие свободы. Человек, подчиняющийся закону, огражден им от насилия и произвола. Он заранее отчетливо знает, на что имеет и на что не имеет права, и всюду в мире, где имел место прогресс свободы, этому прогрессу сопутствовало провозглашение и укрепление правопорядка. Даже наш Эдвард-Альберт и его Эванджелина стремились отстоять нечто такое, что они называли своими

«правами», и есть все основания видеть обнадеживающее предвестие революции в том факте, что уже теперь создается отчетливая Декларация прав, приветствуемая все большим числом разумных и негодующих людей, но вызывающая активное или пассивное сопротивление всех правительств на свете. Ибо всюду правящие классы и клики знают, какие последствия эта Декларация будет иметь для них. Она явится основным законом объединенного и заново цивилизованного мира, где не будет места их тщеславным претензиям, и, поскольку старый порядок все более и более явственно выливается в форму возмутительного хаоса рабства и отчаяния, станет единственным средством объединения и выходом для бесчисленных взрывов протеста.

Какой может у нее быть соперник? Мошеннические подделки и фальсификации будут скорей содействовать распространению ее установок, чем служить ей помехой. Раз имеется налицо сколько-то доведенных до отчаяния людей, которым осточертела пустота и претенциозность тьюлеровского образа жизни, которых приводит в бешенство перспектива непрерывного, бесцельного и в конечном счете самоубийственного кровопролития—к тому же не сулящего лично им никаких выгод,— нет причин, почему бы они, опираясь на весь прошлый опыт человечества, не придали действительности чрезвычайно быстро новый облик. Для этого им незачем быть идеалистами, святошами или чем-нибудь подобным. Достаточно, если они будут принадлежать к школе тетки м-ра Ф. из «Дэвида Копперфильда»: «Ненавижу дураков», — говорила эта старая леди.

Эти разъярившиеся люди в своих дружных усилиях сумеют найти бесконечно более мощные способы вытеснения старых идей новыми, чем те, которыми пользовались прежние революционеры. Деяния Апостолов осуществлялись устно, пешеходно и по воле ветров, и христианство переживало долгий тревожный период отрочества, постепенно просачиваясь в римский мир и видоизменяя его; оно было здесь—одно, там—другое; несколько столетий понадобилось ему на то, чтобы проникнуть в деревню (pagani) и достичь границ империи. Даже марксистская пропаганда осуществлялась при помощи книг, журналов, прокламаций, лозунгов, кружков.

А современная техника в том виде, какой она приняла за последнюю треть столетия, предоставляет все необходимое для мгновенного распространения одних и тех же основных идей и немедленного устранения разногласий во всех пунктах земного шара. Даже оппозиционное мнение распространяется с быстротой молнии, как показывает германская пропаганда, и совсем небольшая группа людей, преследуя свои цели настойчиво и согласованно, могла бы заставить весь мир подчиниться некоему единому основному закону.

Думая о перестройке человеческого сознания, мы не должны рисовать себе унылой картины плохо освещенных и непроветренных классов, где миллионы преподавателей-недоучек хлопочут у доски или перелистывают истрепанные учебники, стремясь чему-то «научить» десятки миллионов детей. В мире изобилия все будет иначе, а современная техническая аппаратура — радио, экран, граммофон и т. п. — делает возможной огромную экономию преподавательских сил. Один квалифицированный учитель или лектор может теперь преподавать одновременно во всех школах земного шара совершенно так же, как весь мир сразу может слушать симфонию Брамса под управлением Тосканини, причем эта симфония в то же время будет записываться на пластинку — для наших внуков. Такое «консервированное преподавание» даст повод м-ру Чэмблу Пьютеру проявить свое сильное чувство юмора. Но я сомневаюсь, чтобы это могло испугать тех гневных бунтарей, которые уже держат руки на рычагах и решили обеспечить детям возможность видеть, слышать, знать и надеяться, не из каких-либо нежных побуждений, а из ненависти к чванству и тщеславию бездарных правителей.

А переворот в преподавании и устранение возмутительного господства частной инициативы, локализующей и национализирующей то, что имеет значение для всего мира, может повлечь за собой создание огромного всемирного свода упорядоченных и проверенных знаний. В настоящее время все существующие в мире энциклопедии находятся в руках бессовестных торговцев, отстают от современности чуть ли не на полтора столетия и отличаются невероятной узостью кругозора. Но возможности, открываемые микрофотографией, совре-

менными методами размножения и современными методами документации, приводят к тому, что теперь за несколько дней можно предоставить в распоряжение любого человека в любом пункте земного шара все знания, накопленные на земле к настоящему моменту. Это не фантастика: это выполнимое и поддающееся практическому расчету предприятие, цель которого — раскинуть сеть живой мысли по всей нашей планете. (Тут совершенно не к месту вмешивается Эдвард-Альберт Тьюлер, хрипло крича: «Вздор! Говорю вам, вздор!») Как только новое растение пустит корни, его уже трудно будет сломить. Оно гораздо лучше удовлетворит элементарные потребности Homo Тьюлера, чем прежняя система, которая не только искажала факты и не давала реального знания, но унижала человеческое достоинство. Оно будет точно хрен, который снова вырастает на каждом клочке земли, на котором хоть раз уже вырос.

Быть может, у нас назрела потребность в новом слове для обозначения такой системы распространения знаний, целью которой является широкая информация, полная досягаемость всех имеющихся знаний для любого индивидуума. М-р Х. Д. Дженнигс Уайт предлагает нам совсем выбросить слово «образование» как опороченное и говорить о «евтрофии», то есть о хорошем физическом и духовном питании,— а там пусть свободные люди решают. Создание евтрофического общества, не знающего священников и педагогов, которые будут исключены из него как ненужный и вредный элемент, вполне по плечу современному человечеству.

Кроме того, говоря о возможностях прорваться к свету и Sapiens'у, мы должны учитывать еще один важный фактор духовного освобождения, а именно — внутренний бунт. Чем безраздельней господство тьюлеровского духовенства, тем сильней пробуждается дух неповиновения в тех, кому предназначена главным образом роль покорных.

Католическое духовенство всегда было для обыкновенных людей нелегким бременем, и всюду, где образование обеспечивало общую элементарную грамотность, возникали восстания. Католицизм был причиной самых кровавых восстаний, какие только знает история. Всюду, где образование находилось целиком в ведении като-

лической церкви, дело кончалось революцией, свирепой и кощунственной. Народ, взбешенный и неблагодарный, поднимался и начинал преследовать священников, осквернять и жечь церкви. М-сс Неста Уэбстер объясняет это прямым воздействием дьявола, и, может быть, она права. Возможно, что он не так усердствует в протестантских и языческих странах, потому что их можно считать уже погибшими. Но эти явления повторялись в прошлом с такой регулярностью и наблюдались в таком количестве стран, что можно, например, поручиться, что очень скоро верующие в Ирландии, выведенные из терпения слишком бесцеремонным контролем над их образом мыслей, нравственностью и хозяйственными делами, начнут стрелять в своих священников, точь-в-точь как стреляли когда-то в помещиков, и притом в силу того же самого благотворного обострения чувства собственной неполноценности.

Но есть основание полагать, что недостатком смирения отличается не только паства. Пастыри в душе, видимо, тоже не чужды искушениям дьявола. Многое тут скрыто от любопытных глаз непосвященного. Что, например, думают об энцикликах теперешнего папы его соратники-кардиналы, покрыто тайной благодаря их молчанию, но весь организм церкви снизу доверху обнаруживает, как постоянно обнаруживал и прежде, некоторую неустойчивость, которая при теперешнем состоянии духовного напряжения во всем мире, видимо, будет возрастать. Главные удары критики, колебавшие и раскачивавшие единство Великого Обмана в прошлом, наносились представителями духовенства.

Даже в эпоху, предшествующую Константину Великому, при котором назрела необходимость в определенном Символе веры, оформляющем сделку между церковью и государством, споры между христианами имели по большей части характер внутренний. Учителя философии в александрийских школах и афинском университете не делали никаких вылазок против нового учения, несмотря на провокационные выпады таких представителей христианства, как Тертуллиан. Они считали, что в христианстве нет ничего, требующего опровержения. И в течение веков основным источником смут был рядовой служитель церкви, который читал Священное писа-

ние и возмущался высокомерием и деспотизмом начальства. Он бунтовал, потому что жаждал бунта. А в наши дни, больше чем когда-либо, за страшным фасадом католичества скрывается возможность катастрофы. Церковь, быть может, почувствует дрожь неуверенности за свое будущее и станет твердить о своей преданности идеалам либерализма и демократии, а это побудит многих тайно недовольных в ее рядах сурово потребовать от своего церковного начальства, чтобы слова отвечали делу.

Еще одно обстоятельство может повести к ослаблению этого заносчивого противника Sapiens'а: именно великая общественная и финансовая буря, которая сметет ее материальное основание. Священники, находясь не у дел, удивительно быстро забывают свое священное призвание и власть. В большинстве своем это люди, неспособные к физическому труду, склонные к сидячему образу жизни; возможно, многие среди них, более молодые, заинтересуются педагогической работой и переквалифицируются в этом направлении. Действие коренного переворота на все общественное здание проявляется не только в форме открытой и беспощадной борьбы, но также в разных формах освобождения и перестройки.

Мы говорили здесь о ряде таких факторов, сила и относительное значение которых на деле не поддаются учету. Они могут привести — а могут и не привести — к возникновению всемирной федерации, единого основного закона, единого мирового хозяйства, организованной и соответствующим образом оснащенной мировой системы образования. Но пока Homo Тьюлер не добился подобного согласования своих неосмысленных порывов и себялюбивых стремлений и не научился контролировать их, было бы преждевременно и нелепо называть его Homo sapiens'ом. Поступать так — значило бы пагубным образом льстить этому неприятному и самоубийственно отсталому животному.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ФИЛОСОФСКО-ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ

А теперь — небольшое философско-теологическое отступление. Во введении мы как будто дали обещание не

касаться «идей». И — если не по букве, то по духу — сдержали его. Я всячески старался не выходить за пределы простого, непосредственного рассказа, но одно неотделимо от другого: в процессе повествования представлялось все менее и менее возможным игнорировать фон событий, поскольку без этого фона нельзя было понять их смысл. И даже сейчас остается еще несколько вопросов, которые были затронуты без всякой задней мысли, но требуют своего выяснения, ибо иначе наш отчет не мог бы претендовать на полноту.

Подчеркиваю, однако, что метод, которому я следовал, целиком повествовательный. Я не пытался навязать читателю ни одной собственной «идеи». Я не старался обмануть его. Я только наблюдал. И сообщал результаты своих наблюдений. Больше ничего.

В предыдущей главе, например, органически связанный с повествованием вывод о том, что в цивилизованном мире возможна только одна философия и одна религия, напрашивается с необходимостью, сам собой. Может быть, найдутся читатели, склонные усмотреть в этом личное мнение, а не констатацию факта? Они станут бормотать такие имена, как Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Уильям Джеймс, Бергсон, Маритэн, Сантаяна, Кроче, Павлов, Рассел, упомянут бихэвиористов и так далее и тому подобное. Они сошлются на обширную литературу всевозможных комментариев, уточнений, лжетолкований и прочего. Но если они захотят отойти, стать немного в стороне и взглянуть на дело совершенно беспристрастным, но внимательным взглядом, им мало-помалу станет ясно, сколько во всей этой мозговой деятельности лишнего, ненужного, как те шапочки, тоги, титулы, церемонии и позы, с которыми она связана. Давайте по возможности сдуем эту чуть не все собой заполнившую пену и посмотрим, есть ли на дне что-нибудь, кроме единственной философской реальности, пригодной и достижимой для Homo sapiens'а.

Люди, подобно Эдварду-Альберту выросшие в атмосфере безоговорочного, фанатического монотеизма, для которых Бог, так сказать, представляет собой все, порождает все, поддерживает существование всего и служит объяснением всему, не подозревают о полнейшей абсурдности такого представления. Оно не подкреп-

ляется даже и самим Священным писанием. Там ясно говорится, что весь религиозный процесс имел своим исходным пунктом дуалистическую систему, подобную Зороастровой, с ее борьбой между Ормуздом и его близнецом и неистребимым противником Ариманом. В самом начале еврейско-христианского повествования Богу противостоит дьявол: он завладевает человеком, рай потерян, и благость божия терпит поражение. Бог выходит из себя и вовсе лишает человека этой благости. Перечитайте библию. Только постепенно драматизм конфликта ослабевает, сменяясь идеей изначально предопределенного порабощения человека непобедимым божеством. Ислам, иудейство, христианство — все это, так сказать, ренегаты дуализма, взявшие сторону одного из двух начал и открыто высказавшиеся в пользу единого Высшего Существа, а в основе большей части философских неурядиц, имевших место за последние двести лет, лежал хаотический возврат сперва к исходному неискоренимому дуализму, а затем и к политеистическому представлению о мире, чем был положен предел долгому господству единого безграничного божества.

Но с того момента, как был сформулирован так называемый апостольский Символ веры, часть верующих стала проявлять признаки беспокойства насчет осмысленности этого утверждения о всемогуществе, начала сомневаться: не слишком ли много берут они на себя?

Однако всякий раз, как беспристрастный ученый-теолог пытается очистить представление о Боге от фантастических нелепостей, привнесенных в него ханжами, становится совершенно ясно, что от идеи его всеведения, вездесущности и всемогущества надо отказаться. Эти понятия совершенно несовместимы с идеей личного Бога, с которым кто-либо и что-либо может иметь связь во времени и пространстве. Бог, которому известно все, должен отличаться полной умственной неподвижностью. Как может он мыслить, если любой предмет уже наличествует в его уме? И если он наполняет собой все пространство, то, значит, вечно неподвижен. Как может он двигаться? Он не может мыслить, так как уже все продумал. Не может двигаться, так как он — всюду. А раз он неспособен ни к какому умственному и физическому изменению, значит, он не только не всемогущ,

но, напротив, беспомощен, неподвижно скован вечной смирительной рубашкой. Теология может стать наукой о Божестве только в том случае, если откажется от этих ни с чем не сообразных абсолютов.

Но, отказавшись от этих абсолютов, непредубежденный теолог может прийти к очень любопытным выводам. Согласно любому последовательному богословскому толкованию, Бог каким-то совершенно таинственным и непонятным способом вступил в ограниченное пространством и временем бытие — и возникло наше мироздание. Это невозможно понять. Он покинул непостижимую бесконечность, чтобы вступить в определенные отношения с существами, находящимися вне его. Он открыл действия словами: «Да будет свет». Но, облекшись светом, в то же мгновение, видимо, отбросил тень, с ним соприкасающуюся и ему подобную — противо-Бога, Дьявола, своего Зороастрова двойника. Еще до того, как он начал месить глину, чтобы вылепить из нее Адама, противник его был уже тут, готовый испортить его работу. Как же иначе это могло быть?

За эту идею ухватился Ницше и подарил миру современный вариант Зороастровой идеи. Он считал, что получится более колоритно и выразительно, если назвать ее «по-древнеперсидски» — «Заратустровой». Много он понимал в древнеперсидском! Изощренность литературной формы, эрудиция, претензии на отличное знание классической древности и ненависть к евреям сообщили его писаниям своеобразный характер. Он некритически усвоил дуализм персов и принял сторону Дьявола, так как это был наиболее эффектный способ отвергнуть все господствовавшие вокруг него ортодоксальные верования и вульгарные взгляды. Он действовал по контрасту. Бог хотел держать человека на положении почтительного голого раба в райском саду, в убийственно скучном обществе плотоядных и тому подобных приниженных существ. Дьявол хотел, чтобы он съел плод от древа познания и вышел в широкий мир. Рай — это значило «безопасность прежде всего». Дьявол нашептывал: «Живи, рискуя». Это был один из видов бунта. И не особенно оригинальный. Он отвечал господствовавшей в тот период тенденции. Среди многолетних бредней у Ницше была всего какая-нибудь неделя строгого и ясного мыш-

ления, не больше. После этого он только и делал, что пускал мыльные пузыри.

За много лет до него Гегель занимался разработкой философской системы, тесно связанной с той же неизбежной сопряженностью света и тени. По обычаю всех философов, он преувеличил и обобщил свое блестящее открытие до того, что в конце концов стал рассматривать всю вселенную как систему спаренных противоположностей. Если существует данный предмет, рассуждал он, существует и его противоположность, которая борется с ним, стремясь занять его место, и в результате конфликта получается синтез. Жизнь его, подобно жизни Ога, короля башанского, прошла в усиленных хлопотах, имевших целью подогнать все под его универсальную формулу.

Шопенгауэр, движимый тем же духом усердного протеста против установленных ценностей, которые сделались для него невыносимы, утверждал, что единственная сущность, движущаяся под покровом явлений,— это Воля: Воля к жизни и Воля к Нирване. Из этой идейной нити он выткал внушительных размеров ткань, которая сохранилась в Силе жизни Шоу, Elan vital Бергсона и бесстрастии Томаса Гарди. Но больше, пожалуй, нигде.

Протест современного сознания против идеи заведомо благожелательного божественного самодержца, которая порождает только бесконечную путаницу, принял теперь гораздо более резкие формы. Уильям Джеймс выдвинул гипотезу о многобожии, а Павлов и бихэвиористы привели великолепные доказательства в пользу того, что мы должны видеть в человеке не более, чем до сих пор еще очень неполный набор условных рефлексов.

Среди этого множества мыслителей и их приверженцев никто не пытался по-настоящему сопоставить существо своих взглядов со взглядами остальных. Сделать это — значило бы обнаружить между ними значительное сходство и тем самым утратить свою отличительность. Каждый на свой лад упорно гудел, очень мало думая о гудении остальных. Нам невозможно относиться к их безудержной, беспокойной и нередко очень лукавой многоречивости иначе, как с крайним пренебрежением. Прислушиваясь к ней, мы замечаем, что в конечном счете

ее приливная волна стремится вытеснить из нашего представления о мире всякое понятие добра и зла. Философское синтезирование состоит главным образом в отметании и устранении. Чистым итогом философско-теологических усилий человеческой мысли до настоящего времени было почти исключительно разрушение. Это была чистка, а не накапливание: из обихода было выброшено огромное количество представлений и побуждений, и нам осталось пустое место, с которым мы вольны поступить как вздумается.

Эта свобода и есть та единственная всемирная философия, к которой совершенно очевидно приходит человечество. Как я отмечал в предыдущей главе, все растущее число людей, повинуясь самым различным побуждениям, устремляется к мировой революции и переустройству мира на новых началах, которое спасет Homo Тьюлера от самоубийства и приведет его к Homo sapiens'у. Но они действуют своевольно и догматически. И нет такого категорического императива, который запретил бы кому бы то ни было ненавидеть их, брать на себя относительно них роль дьявола и становиться к ним в открытую оппозицию или прибегать к тайному предательству. Нетрудно убедить себя в том, что вы предпочитаете разрушение и смерть жизни. Теперь многие поступают так. При мысли о более счастливых поколениях вами овладевает злобная зависть. Вам может доставить удовольствие сделать все от вас зависящее, чтобы уничтожить не только человеческую надежду, но и самое человечество. Ваша жажда власти может найти удовлетворение в мысли об этом.

Но тут воля пойдет против воли. Может быть, вы добьетесь своего. Но если вас постигнет неудача и мировая революция одержит верх, ничто не помешает ей совершенно категорически объявить вас безумцем и преступником. Она, быть может, попытается перевоспитать вас, если это возможно. Быть может, ей придется вас убить. Если будет слишком много непримиримых, некоторое количество убийств окажется абсолютно необходимым. В мире, организованном на разумных началах, не станут превращать здоровых и добрых людей в сторожей и больничных служителей для непримиримых. Или же вы перейдете на нашу сторону, потому что револю-

ционерами будут такие же, как вы, Тьюлеры, и их порывы и стремления окажутся очень сходны с вашими. Они нисколько не выше вас: им только посчастливилось увидеть свет и выработать новую, единую, всеобъемлющую и заразительную систему взглядов раньше, чем вам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТЬЮЛЕР ВЕРЕН СЕБЕ

Эдвард-Альберт Тьюлер еще жив. Боюсь только, что он-то, во всяком случае, потерян для революции. Я рассказал о его жалком, убогом существовании и о тех, чью жизнь он помог испортить. Я высмеял его нелепые выходки, его злоключения, его несокрушимое самодовольство. Но все время, пока я писал, мне слышался какой-то протестующий голос: «Это несправедливо. При более разностороннем образовании, большем количестве воздуха, света, более благоприятных возможностях — разве он был бы таким?»

Он таков, каким его сделала наша цивилизация,— и вот все, что она из него сделала. Я дал совершенно правдивое изображение типичного современного человека. Из-за этого у меня вышли неприятности с самым дружественным и близким мне критиком и с встревоженным издателем. Ваш герой отвратителен,— заявляют они,— и во всей книге нет ни одного по-настоящему симпатичного существа. Не можете ли вы наделить его хоть проблеском подлинного благородства и нельзя ли смягчить картину, введя двух-трех хороших людей,— но действительно хороших, которые вели бы себя примерно, понравились бы читателям, и те могли бы увидеть в них свое отражение, получив тем самым возможность отделить себя от того, о чем вы с такой грубой правдивостью повествуете?

Но именно в этом я никоим образом не намерен пойти им навстречу. Я считаю, что Эдвард-Альберт не столько гадок, сколько жалок, а в общем все мои персонажи нравятся мне такими, каковы они есть,— за исключением м-ра Чэмбла Пьютера, которого я просто терпеть не могу. Любить без иллюзий значит быть застрахованным от разочарований. Это квинтэссенция любви. Я следую

традиции Хогарта и Тома Джонса, а не иду по стопам Ричардсона, и счел бы себя окончательно погибшим, если бы моим благожелательным советчикам удалось склонить меня к потворству людям, которые в чтении находят лишь материал для грандисоновских мечтаний. Какой может быть «проблеск благородства» в сумеречном мире, где все больше сгущаются тени? Какой свет можно здесь уловить?

Я могу сказать каждому читателю только одно: «Это ты. Ты — Тьюлер. Поройся хорошенько у себя в памяти, склонись перед правдой. Ты — Тьюлер, и я — Тьюлер. Эта книга не повод для того, чтобы нам с тобой весело подталкивать друг друга локтем, глядя на тупость и низость людей, стоящих ниже нас. Эти люди — часть нас самих, плоть от плоти нашей, и каковы они, таковы и мы. Мы гибнем вместе с ними. Я стараюсь указать вам на самое обнадеживающее, что только есть в мире,— именно на то, что от нашей воли зависит произвести в нашей атмосфере ожесточенных склок и пошлости решительную перемену, которая в корне перестроит человеческую жизнь. Есть путь, который ведет вверх, но только товарищеский союз, скрепленный гневом и отказом от всяких иллюзий, может вывести на него. Мы не можем вступать в компромиссы с ложью. Необходимо протрезвить человечество от словесной шумихи. Только познав свое ничтожество, человек станет истинно великим. Но не прежде. Жрецы, книжники и фарисеи, умиротворители Пилаты и соглашатели Иуды будут бороться до последнего против этого высвобождения Космополиса и великого братства Sapiens'а, которое наступит вслед за тем».

Сколько еще времени будем мы, непробудившиеся космополиты, сживать друг друга со света и губить будущее? Что ждет ближайшее наше потомство, блуждающее вразброд в непонятном мире, которому до сих пор не хватает смекалки для того, чтобы установить мирные отношения между людьми? Генри Тьюлер — я не хотел говорить вам об этом — сидит в тюрьме, и отец отказался от него. Он был замешан в бунте рабочих и — возможно — причастен к одному убийству. Суд над ним был короткий и похож на комедию. Он еще может оказаться достаточно молод, когда мировая революция откроет все тюрьмы, но надо, чтобы этот мо-

мент наступил скорей, иначе ему не удастся им воспользоваться.

Эдвард-Альберт в конце прошлого года снова женился. В какой-то степени это было неизбежно. Так или иначе, это когда-нибудь должно было произойти. Он встретил в одной вновь открывшейся курортной водолечебнице даму, вдову со средствами. Легкое кокетство, маленькие знаки внимания, сходство случайно высказанных взглядов — все это пробудило в них взаимный интерес. Их прибило друг к другу и понесло вместе, как две щепки в реке. Они искали друг друга в час завтрака, а после обеда и вовсе не разлучались. В лунные вечера они подолгу молча сидели рядом на террасе, потом нарушали молчание воспоминаниями автобиографического порядка. Обоим было ясно, что они — жертвы обстоятельств.

— Жизнь—такая странная штука,—говорил Эдвард-Альберт.— Она не похожа ни на что.

— Ни на что,— соглашалась дама.

— Кто мог бы сказать три недели тому назад, что мы с вами будем сидеть здесь вот так? Как будто это должно было случиться...

После этого рост взаимного понимания приобрел стремительный характер. Они обнаружили, что оба страшно одиноки, что каждый из них может удовлетворить запросы другого и что общее хозяйство вдвое сократит расходы.

И вот они поженились и ушли в свой домашний уют, чтобы найти друг в друге поддержку и утешение, и потому, что ведь цены на все росли и росли. Она была женщина пылкая, ласковая и доставила Эдварду-Альберту много радости. У него улучшилось пищеварение, и он перестал думать о кладбищах и эпитафиях.

Этот брак расширил брешь между отцом и сыном. Юноша отказался называть новую м-сс Тьюлер «мамой» и, видимо, плохо оценил ее весьма щедрые и обильные ласки. Когда она попробовала поцеловать его, он быстро наклонил голову и ударил ее лбом по губе.

Получив увольнение из армии, он пробыл дома всего две-три недели, глотая книги, которые брал в библиотеке,— он всегда был жаден до книг — и стараясь как можно меньше разговаривать с отцом и мачехой.

— Ему слова нельзя сказать: он сейчас же выходит из себя,— жаловался Эдвард-Альберт.— Не понимаю, что случилось с парнем. Все не по нем.

И оба вздохнули с облегчением, когда Генри объявил о своем намерении отправиться в Южный Уэльс.

Эдвард-Альберт проявил родительскую озабоченность, которая осталась неоцененной.

— А ты подумал о том, куда едешь и что будешь там делать? — спросил он.— Необходима осторожность, мой мальчик.

— Я буду там работать.

— В качестве кого?

— Ты не поймешь.

Хорошенький ответ сына родному отцу!

Потом пришла страшная весть, что он попал в сети агитаторов, а потом — разразилась катастрофа.

Это повергло Эдварда-Альберта в глубокую печаль. Он беспрестанно возвращался к этому вопросу.

— Что я такое сделал, что сын идет все время против меня? И он и Мэри — оба точно закрыли для меня свое сердце. Мэри тоже... Закрыли свое сердце...

— У него какое-то ожесточение против тебя. Я уж думаю, не завидует ли он, что у тебя георгиевский крест?

— Мне не хочется думать так о Генри,— заметил Эдвард-Альберт.— Очень не хочется. Даже теперь. Неужели он не способен гордиться родным отцом? Нет, он не такой дурной. Это все его идеи, совершенно дикие идеи. Просто болезнь какая-то. Я помню разговор, который был у нас с ним, когда он думал, что его пошлют во Францию затыкать рот этим синдикалистам. Я тогда предупреждал его... Это было еще до вас, моя дорогая. Помню все, как будто это случилось вчера. Я был тогда нездоров, почта работала плохо из-за всеобщей забастовки, и могло получиться так, что, вернувшись, он уже не застал бы своего отца. Я сказал ему, что эти идеи совершенно дикие, но тогда я не знал, куда они его заведут. Тяжело мне видеть, что он сбился с пути, и еще тяжелей исполнять свой долг перед королем и родиной, идя против своего родного сына. Может быть, я виноват в том, что позволил Мэри испортить его своим баловством. Она — ну просто помешана была на нем. Я часто говорил, что она любит его больше, чем меня. Очень часто.

М-сс Тьюлер III кивнула в знак согласия, но предпочла молчать. Она всегда тщательно следила за тем, чтобы не произнести ни слова — ни единого слова — против Мэри...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИСКРЫ ЛЕТЯЩИЕ

Поскольку я заговорил об углубляющемся расхождении между Тьюлерами — отцом и сыном, мне, может быть, позволено будет выйти еще дальше из тех узких рамок, которые я сам установил вначале, и сообщить сведения о некоторых других лицах, появлявшихся в этом повествовании.

Вы, может быть, хотите узнать что-нибудь об Эванджелине Биркенхэд, так стремительно исчезнувшей со всеми своими пожитками на такси из нашего повествования в девятнадцатой главе третьей книги. Она выпрыгнула из жизни Эдварда-Альберта, словно увидела, что попала не на тот поезд. Она явилась ответчиком в бракоразводном процессе, состоялся полный развод, и на этом их отношения закончились.

Бросая Эдварда-Альберта, она действительно имела в виду определенного поклонника. Она не лгала, когда говорила об этом миссис Баттер. Поклонник ее был управляющий той самой перчаточной фирмы, где она прежде служила. Это был добродушный человек средних лет, которого очаровала ее живость. С первой женой он был не особенно счастлив. Она была женщина холодная, религиозная, и одна его короткая эскапада в сторону дала ей возможность наполовину развестись с ним. Только наполовину, так как после первого этапа процесса она перешла в католичество и не дала согласия на полный развод, тем самым лишив его возможности вступить в новый брак. И он, находясь в довольно угнетенном состоянии, по-настоящему влюбился в молоденькую веселую Эванджелину. Он приписывал ей столько ума, что она чуть было в самом деле не поумнела. Солидность зрелого человека и чувство ответственности за свои поступки помешали ему соблазнить ее, но он окружил ее таким преданным вниманием, что она была восхищена и в то же время мучилась неудовлетворен-

ностью. Раз или два они поцеловались, но он принудил себя к сентиментальной сдержанности, заслонившей от него тот факт, что за какой-нибудь год она стала совсем взрослой. Он перевел ее на ответственную должность в фирме и, чтобы сделать ей приятное, устроил ей поездку в Париж. Ее замужество заставило его жестоко страдать, и, когда она опять обратилась к нему, он очень охотно уступил ее настояниям, определил ее на прежнюю должность и стал жить с ней, как с женой, в обществе, которое все менее и менее интересуется историей ваших брачных отношений.

Ею овладела жажда материнства. Ей захотелось иметь детей. Как можно больше. Мне кажется, даже то, что она отвергла нашего бедного Генри, было одним из проявлений ее обостренного материнского инстинкта. Она не желала держать в руках существо, созданное по подобию Эдварда-Альберта. Она подавляла в себе всякое мимолетное стремление увидеть в Генри нечто большее, чем не вовремя появившегося, нежеланного маленького глупца. Наоборот, м-ра Григсона она считала самым великолепным производителем, какого только можно себе представить. Она почти верила тем пламенным фантазиям, которыми сама его окружала. Милли Чезер приходилось иной раз выслушивать относительно этого, такого спокойного на вид, учтивого джентльмена такие признания, которые заставляли казаться вялыми и бледными любовные утехи Амура и Психеи. Так или иначе, дети рождались здоровые, красивые, а Эванджелина, говорят, оказалась замечательной матерью. От нее не могут укрыться ни повышенная температура, ни болезненный симптом, ни плохой аппетит. С месяц тому назад у нее родился четвертый отпрыск, оказавшийся вторым сыном.

Она читает газеты и может даже иной раз одолеть книжку, которая пробудит ее любопытство. Нарастающая катастрофа в ее глазах увеличивается до грозных размеров. Она упорно ищет путей обеспечить своему потомству жизнь хоть немного лучше той, которую сулит этот хаос. Она толкует об этом с мужем, ломает над этим голову, пуская в ход все свои умственные способности, и может оказаться, что сумеет в конце концов добиться чего-нибудь путного. Она может набрести на

идею евтрофии, а это неплохая идея. Она может догадаться, что судьба каждого ребенка и судьба мира друг от друга неотделимы, так что ни одному ребенку на земле нечего ждать от будущего, если не произойдет мировая революция. Как бы она ни была временами резка, шумлива и пуста, ее энергия все же может оказаться полезной для мировой революции. В ней меньше уравновешенности и больше воли, чем в ком-либо из фигурировавших в этом повествовании.

На этом с Эванджелиной покончим. М-сс Хэмблэй — мне грустно говорить об этом, так как я испытываю к ней безотчетную симпатию,— скоропостижно скончалась от ожирения сердца во время одного из налетов на Лондон в 1940 году. Она успела произнести только: «Это бог знает что такое...» — и голос ее навсегда затих, потонув в реве моторов. Но ведь ее голос затихал постоянно. О том, что она умерла, догадались, только заметив, что губы ее перестали двигаться.

Другая мужественная женщина, м-сс Тэмп, продолжала поддерживать марку английского швейного искусства, укрывшись среди прочих беженцев в Торкэй. Торкэй стал приютом для множества лиц действительно пожилых, либо склонных считать себя пожилыми, либо, наконец, по каким-либо другим причинам освобожденных от всякой общественно полезной деятельности на все время, пока длится схватка. Но они считали своим долгом держаться дерзко по отношению к Гитлеру и сохранять почти вызывающее спокойствие. И беспрестанно ворчать по поводу того, как ведутся дела. Чем больше нормирование промышленных товаров ограничивало их возможности приобретать новую одежду, тем больше ценили они мастерство, проявляемое м-сс Тэмп в переделке и модернизации их достаточно обширных гардеробов.

Пансион м-сс Дубер, в начале войны оказавшийся, по выражению м-ра Дубера, на грани краха, был взят под постой и поправил свои дела, хотя они идут довольно сумбурно. Он потерял все стекла при бомбежке Университетского колледжа, а впоследствии присоединил к себе два соседних дома, которые стояли пустыми.

А Гоупи, казалось, прикованная к этому заведению из-за своих денег, обнаружила качества, которые сделали ее словно специально приспособленной для военной

работы. В 1940 году, в период налетов, она по собственной инициативе проводила ночи на улице с тремя термосными флягами, наполненными кофе.

— Им захочется кофе,— говорила она.

Она стала правой рукой леди Левеллин-Риглэндон в ее работе по организации питательных пунктов в лондонском Ист-Энде. Иначе говоря, Гоупи выполняла бо́льшую часть работы, а леди Левеллин несла на своих плечах бремя популярности. Она всегда с большой готовностью становилась между Гоупи и фотографами.

М-р Чэмбл Пьютер работает консультантом во вновь созданном министерстве реконструкции. Говорят, его неизменное чувство юмора сыграло большую роль в смысле обуздания разных сумасбродных фантазеров и содействовало нормальной перестройке лондонского Ист-Энда — поскольку он вообще был перестроен — в традиционном духе.

Нэтс Мак-Брайд получил отличную характеристику от одного члена городского магистрата за неутомимую работу в течение тридцати двух часов подряд по извлечению убитых и раненых из-под разрушенных бомбежкой домов в Пимлико; но потом имел неприятности в связи с присвоением разного вытащенного из огня хлама. Берт Блоксхэм был убит в Ливии, а Хорри Бэдд утонул на «Худе».

Мы сообщили все разрозненные сведения, которые нам удалось собрать об отдельных лицах, появлявшихся на горизонте Тьюлера, но некоторые из этих случайных персонажей исчезли бесследно. Не знаю, что сталось с мисс Блэйм, оспаривавшей у Эванджелины отроческие восторги Эдварда-Альберта. Но я ведь не знал, и откуда она появилась. Может быть, она перестала красить волосы в светлый цвет и затерялась среди шатенок. Боюсь, что я не признал бы ее даже при очной ставке. Молли Браун тоже опять исчезла в толпе мещаночек, из которых она решительно ничем не выделялась. Мисс Пулэй, как я слышал недавно, работает в военной цензуре по просмотру почтовой корреспонденции. М-р Блэйк в Саузси продолжает стареть и отдавать горечью, как перестоявшийся чай. У него были обнаружены два слитка золота, которые он давно должен был сдать государству; его оштрафовали, но не подвергли никаким дру-

гим репрессиям, учитывая его преклонный возраст и дряхлость. Кажется, он был убит во время налета на Портсмут в апреле 1940 года, и его книга «Так называемые профессора и их проделки», если только она была действительно написана, видимо, погибла вместе с ним...

Эти беглые заметки имеют характер очередного сообщения. Вот как эти люди, в зависимости от своего характера, разлетелись в разные стороны сейчас, в начальной стадии мировой революции, которая пока еще похожа на занимающийся пожар. Это искры стремительно крутящегося факела, оставляющие след при полете. Огонь либо разгорится, либо погаснет. Все люди — животные общественные (никогда не мешает лишний раз повторить эту истину), и судьбы их теперь связаны в одну общую судьбу. Огромное колесо человеческой судьбы вращается — и притом все быстрей и быстрей — для того, чтобы либо окончательно сбросить человеческий груз в пустоту, либо, если груз этот в конце концов окажется достаточно устойчивым, вознести его, пламенея, на новую ступень бесконечно более могучего существования.

Кинем последний взгляд на Тьюлера с самого края этого вращающегося колеса судьбы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

А ПОСЛЕ SAPIENS'А?

Предположим — факты дают нам полную возможность сделать это,— предположим, что таящийся внутри нас Sapiens добьется успеха в своем стремлении перестроить жизнь на разумных началах, предположим, что мы в конце концов удовлетворим свою категорическую потребность в свободе, равенстве, повсеместном изобилии, жизни, полной достижений, надежд и сотрудничества на всей нашей до сих пор малоисследованной планете и что мы неизмеримо выиграли от того, что осуществили это. Это можно осуществить. И это, может быть, осуществится. Предположим, что это осуществилось. Разумеется, сама по себе такая жизнь уже радостна.

— Но,— возражает этот тупица, этот зануда, м-р Чэмбл Пьютер, скрипучим голосом, со слезами злости на глазах,— какой в этом прок? Где гарантии, что этот ваш успех будет конечным? — спрашивает он.

Гарантий нет, разумеется.

Но зачем они? Перспектива бесчисленных счастливых поколений, полнота жизни, какой сейчас даже представить себе нельзя и — в конечном счете — не обязательно гибель и не бессмертие, а полная неизвестность — разве этого недостаточно, чтобы служить стимулом в данный момент? Мы еще не Homo sapiens, но когда наконец наши возникшие в результате скрещивания и отбора потомки, продолжая ту жизнь, которая трепещет теперь в нас,— когда эти подлинные воплощения нас самих, наследники нашей плоти, мысли и воли, обновленной и окрепшей, утвердят свое право на это звание, может ли быть сомнение, что они будут одерживать такие победы, которые сейчас и не снятся нам, решать проблемы, находящиеся совершенно за пределами нашего кругозора? Они будут глядеть вширь и вдаль, озаряемые все более ярким светом, тогда как мы глядели сквозь темные стекла. Они увидят вещи, о которых мы не имеем представления.

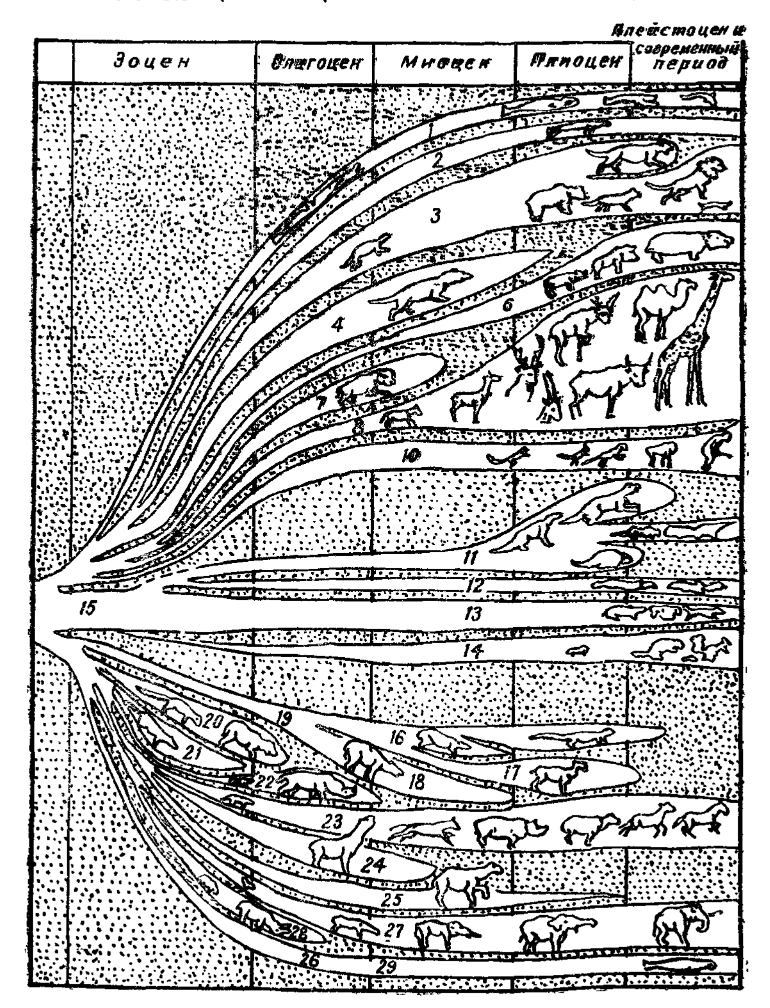
Может быть, это будет то, что по нашим теперешним понятиям считается добром. А может быть, злом. Но почему это не может быть чем-то близким нашему добру и гораздо большим, чем наше добро, чем-то «по ту сторону добра и зла»?

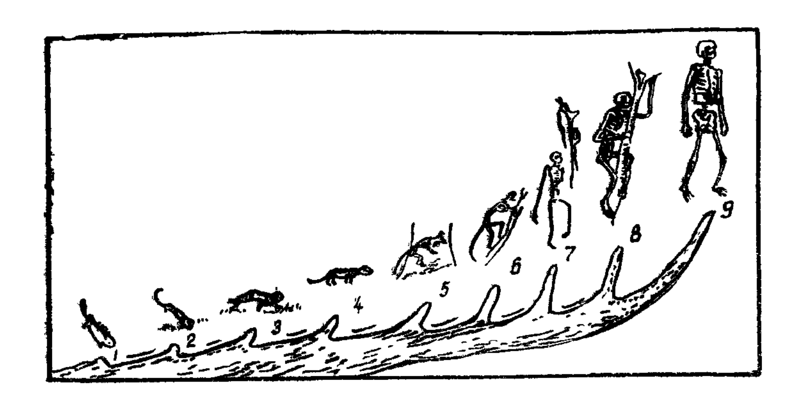
Конец.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В третьей главе второй книги этой монографии об Эдварде-Альберте Тьюлере имеется краткое указание на его положение в мире животных. Прилагаемая диа-

I. ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАЦЕНТАРНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ





грамма из «Науки жизни» представляет собой краткую сводку всего, что известно относительно генеалогии млекопитающих в третичный период. На ней изображены разные ответвления, как существующие, так и вымершие, тех родоначальных групп, которые стали появляться к концу мезозойской эры. Одна ветвь (5) ведет к таким высокоспециализированным формам, как киты, тюлени, львы, а другая (9) — развивается в сторону свиней и рогатого скота. Одна, более центральная (15), дает летучих мышей, кротов, ежей, крыс, бобров, белок; другая (26) — распадается на лошадей и тапиров, с одной стороны, слонов—с другой, и ламантинов— с третьей. Несколько теперь вымерших групп, как, например, гигантский титанотер (22), нас здесь не интересуют. Прошу вас обратить внимание на то, как на очень раннем этапе, еще до отделения друг от друга 5-й и 9-й ветви, выделилась особая ветвь «приматов», давшая лемуров, низших и человекообразных обезьян и человека. Это не верхняя ветвь древа; это одна из рано выделившихся нижних ветвей.

Теперь обратимся к диаграмме д-ра Грегори. На ней показана эволюция человека, начиная с палеозойского периода до настоящего времени, с особым учетом процесса высвобождения его передних конечностей. Они

становятся все более свободными и многосторонними в отношении своих функций, тогда как на других линиях развития специализируются и застывают в копыте, когте или ласте. 1-е ответвление — это рыба из нижних пластов красного песчаника, плавающая при помощи плавника в форме лопасти. 2-е — амфибия из болот каменноугольного периода. 4-е — одна очень любопытная форма пресмыкающихся, относящаяся к началу мезозойской эры и переходная от пресмыкающихся к млекопитающим. Наши предки взобрались на деревья еще в то время, когда им приходилось спасаться от гигантов эпохи рептилий. И 5-е ответвление представляет собой млекопитающее вроде сумчатой крысы. Долгое время предки наши жили исключительно на деревьях, и лемур (6) появляется как ведущее ночной образ жизни пугливое животное. Но затем наши предки начинают более уверенно пользоваться передними конечностями, научаются прыгать с ветви на ветвь и становятся такими искусными лазунами, как гиббон (7) и шимпанзе (8). В дальнейшем это животное находит разнообразное применение руке и ее кисти, спускается на землю и начинает передвигаться на ногах и согнутых пальцах рук и, наконец, выпрямляется (9).

Но, как я уже отмечал в первой главе третьей книги, мы переоцениваем теперешнюю его прямизну.

Россия во мгле

I. ГИБНУЩИЙ ПЕТРОГРАД

В январе 1914 года я провел недели две в Петрограде и Москве; в сентябре 1920 года г. Каменев, член русской торговой делегации в Лондоне, предложил мне снова посетить Россию. Я ухватился за это предложение и в конце сентября отправился туда с моим сыном, немного говорившим по-русски. Мы пробыли в России 15 дней; большую часть из них — в Петрограде, по которому мы бродили совершенно свободно и самостоятельно и где нам показали почти все, что мы хотели посмотреть. Мы побывали в Москве, и у меня была продолжительная беседа с г. Лениным, о которой я расскажу дальше. В Петрограде я жил не в отеле «Интернационал», где обычно останавливаются иностранцы, а у моего старого друга Максима Горького. Нашим гидом и переводчиком оказалась дама, с которой я познакомился в России в 1914 году, племянница бывшего русского посла в Лондоне. Она получила образование в Ньюнхэме, была пять раз арестована при большевиках; выезд из Петрограда был ей запрещен после ее попытки пробраться через границу в Эстонию, к своим детям; поэтому уж она-то не стала бы участвовать в попытке ввести меня в заблуждение. Я говорю об этом потому, что на каждом шагу, и дома и в России, мне твердили, что нам придется столкнуться с самой тщательной маскировкой реальной действительности и что нас все время будут водить в шорах.

На самом же деле подлинное положение в России настолько тяжело и ужасно, что не поддается никакой маскировке. Иногда можно отвлечь внимание каких-нибудь делегаций шумихой приемов, оркестров и речей. Но

почти немыслимо приукрасить два больших города ради двух случайных гостей, часто бродивших порознь, внимательно ко всему приглядываясь. Естественно, когда желаешь посмотреть школу или тюрьму, показывают не самое худшее. В любой стране показали бы лучшее, и Советская Россия — не исключение. Это вполне понятно.

Основное наше впечатление от положения в России — это картина колоссального непоправимого краха. Громадная монархия, которую я видел в 1914 году, с ее административной, социальной, финансовой и экономической системами, рухнула и разбилась вдребезги под тяжким бременем шести лет непрерывных войн. История не знала еще такой грандиозной катастрофы. На наш взгляд, этот крах затмевает даже саму Революцию. Насквозь прогнившая Российская империя — часть старого цивилизованного мира, существовавшая до 1914 года,— не вынесла того напряжения, которого требовал ее агрессивный империализм; она пала, и ее больше нет. Крестьянство, бывшее основанием прежней государственной пирамиды, осталось на своей земле и живет почти так же, как оно жило всегда. Все остальное развалилось или разваливается. Среди этой необъятной разрухи руководство взяло на себя правительство, выдвинутое чрезвычайными обстоятельствами и опирающееся на дисциплинированную партию, насчитывающую примерно 150 000 сторонников,— партию коммунистов [1]. Ценой многочисленных расстрелов оно подавило бандитизм, установило некоторый порядок и безопасность в измученных городах и ввело жесткую систему распределения продуктов.

Я сразу же должен сказать, что это — единственное правительство, возможное в России в настоящее время. Оно воплощает в себе единственную идею, оставшуюся в России, единственное, что ее сплачивает. Но все это имеет для нас второстепенное значение. Для западного читателя самое важное — угрожающее и тревожное — состоит в том, что рухнула социальная и экономическая система, подобная нашей и неразрывно с ней связанная.

Нигде в России эта катастрофа не видна с такой беспощадной ясностью, как в Петрограде. Петроград был

[1] В действительности РКП (б) насчитывала в это время более 600 000 членов.

искусственным творением Петра Великого; его бронзовая статуя все еще возвышается в маленьком сквере близ Адмиралтейства, посреди угасающего города. Дворцы Петрограда безмолвны и пусты или же нелепо перегорожены фанерой и заставлены столами и пишущими машинками учреждений нового режима, который отдает все свои силы напряженной борьбе с голодом и интервентами. В Петрограде было много магазинов, в которых шла оживленная торговля. В 1914 году я с удовольствием бродил по его улицам, покупая разные мелочи и наблюдая многолюдную толпу. Все эти магазины закрыты. Во всем Петрограде осталось, пожалуй, всего с полдюжины магазинов. Есть государственный магазин фарфора, где за семьсот или восемьсот рублей я купил как сувенир тарелку, и несколько цветочных магазинов. Поразительно, что цветы до сих пор продаются и покупаются в этом городе, где большинство оставшихся жителей почти умирает с голоду и вряд ли у кого-нибудь найдется второй костюм или смена изношенного и залатанного белья. За пять тысяч рублей—примерно 7 шиллингов по теперешнему курсу — можно купить очень красивый букет больших хризантем.

Я не уверен, что слова «все магазины закрыты» дадут западному читателю какое-либо представление о том, как выглядят улицы в России. Они не похожи на Бондстрит или Пикадилли в воскресные дни, когда магазины с аккуратно спущенными шторами чинно спят, готовые снова распахнуть свои двери в понедельник. Магазины в Петрограде имеют самый жалкий и запущенный вид. Краска облупилась, витрины треснули, одни совсем заколочены досками, в других сохранились еще засиженные мухами остатки товара; некоторые заклеены декретами; стекла витрин потускнели, все покрыто двухлетним слоем пыли. Это мертвые магазины Они никогда не откроются вновь.

Сейчас, когда идет отчаянная борьба за общественный контроль над распределением продуктов и за то, чтобы лишить спекулянтов возможности фантастически взвинчивать цены на остатки продовольствия, все большие рынки Петрограда также закрыты. Прогуливаться по улицам при закрытых магазинах кажется совершенно нелепым занятием. Здесь никто больше не «прогуливает-

ся». Для нас современный город, в сущности,—лишь длинные ряды магазинов, ресторанов и тому подобного. Закройте их, и улица потеряет всякий смысл. Люди торопливо пробегают мимо; улицы стали гораздо пустыннее по сравнению с тем, что осталось у меня в памяти с 1914 года. Трамваи все еще ходят до шести часов вечера; они всегда битком набиты. Это единственный вид транспорта для простых людей, оставшихся в городе, унаследованный от капитализма. Во время нашего пребывания в Петрограде был введен бесплатный проезд. До этого билет стоил два или три рубля—сотая часть стоимости одного яйца. Но отмена платы мало что изменила для тех, кто возвращается с работы в часы вечерней давки. При посадке в трамвай — толкучка; если не удается втиснуться внутрь, висят снаружи. В часы «пик» вагоны обвешаны гроздьями людей, которым, кажется, уже не за что держаться. Многие из них срываются и попадают под вагон. Мы видели толпу, собравшуюся вокруг ребенка, перерезанного трамваем; двое из наших хороших знакомых в Петрограде сломали ноги, упав с трамвая.

Улицы, по которым ходят эти трамваи, находятся в ужасном состоянии. Их не ремонтировали уже три или четыре года; они изрыты ямами, похожими на воронки от снарядов, зачастую в два-три фута глубиной. Кое-где мостовая провалилась; канализация вышла из строя; торцовые мостовые разобраны на дрова. Лишь один раз видели мы попытку ремонтировать улицу в Петрограде. Какая-то таинственная организация доставила в переулок воз торцов и две бочки смолы. Почти все наши длительные поездки по городу мы совершали в предоставленных нам властями автомобилях, оставшихся от былых времен. Автомобильная езда состоит из чудовищных толчков и резких поворотов. Уцелевшие машины заправляют керосином. Они испускают облака бледно-голубого дыма, и, когда трогаются с места, кажется, что началась пулеметная перестрелка. Прошлой зимой все деревянные дома были разобраны на дрова, и одни лишь их фундаменты торчат в зияющих провалах между каменными зданиями.

Люди обносились; все они, и в Москве и в Петрограде, тащат с собой какие-то узлы. Когда идешь в сумер-

ках по боковой улице и видишь лишь спешащих бедно одетых людей, которые тащат какую-то поклажу, создается впечатление, что все население бежит из города. Такое впечатление не совсем обманчиво. Большевистская статистика, с которой я познакомился, совершенно откровенна и честна в этом вопросе. До 1919 года в Петрограде насчитывалось 1 200 000 жителей, сейчас их немногим больше 700 000, и число их продолжает уменьшаться. Многие вернулись в деревню; многие уехали за границу; огромное количество погибло, не вынеся тяжких лишений. Смертность в Петрограде — свыше 81 человека на тысячу; раньше она составляла 22 человека на тысячу, но и это было выше, чем в любом европейском городе. Рождаемость среди недоедающего и глубоко удрученного населения — 15 человек на тысячу; прежде она была почти вдвое больше.

Узлы, которые все таскают с собой, набиты либо продуктовыми пайками, выдаваемыми в советских организациях, либо предметами, предназначаемыми для продажи или купленными на черном рынке. Русские всегда любили поторговать и поторговаться. Даже в 1914 году в Петрограде всего несколько магазинов торговало по твердым ценам. Цены без запроса были не в чести; беря в Москве извозчика, каждый раз приходилось торговаться с ним из-за 10 копеек.

Столкнувшись с нехваткой почти всех предметов потребления, вызванной отчасти напряжением военного времени — Россия непрерывно воюет уже шесть лет,— отчасти общим развалом социальной структуры и отчасти блокадой, при полном расстройстве денежного обращения, большевики нашли единственный способ спасти городское население от тисков спекуляции и голодной смерти и, в отчаянной борьбе за остатки продовольствия и предметов первой необходимости, ввели пайковую систему распределения продуктов и своего рода коллективный контроль.

Советское правительство ввело эту систему, исходя из своих принципов, но любое правительство в России вынуждено было бы сейчас прибегнуть к этому. Если бы война на Западе длилась и поныне, в Лондоне распределялись бы по карточкам и ордерам продукты, одежда и жилье. Но в России это пришлось делать на основе не

поддающегося контролю крестьянского хозяйства и с населением недисциплинированным по природе и не привыкшим себя ограничивать. Борьба поэтому неизбежно жестока.

С пойманным спекулянтом, с настоящим спекулянтом, ведущим дело в мало-мальски значительном масштабе, разговор короткий — его расстреливают. Самая обычная торговля сурово наказывается. Всякая торговля сейчас называется «спекуляцией» и считается незаконной. Но на мелкую торговлю из-под полы продуктами и всякой всячиной в Петрограде смотрят сквозь пальцы, а в Москве она ведется совсем открыто, потому что это единственный способ побудить крестьян привозить продукты. Множество подпольных сделок совершается между известными друг другу людьми. Всякий, кто может, пополняет таким путем свой паек. Любая железнодорожная станция превратилась в открытый рынок. На каждой остановке мы видели толпу крестьян, продающих молоко, яйца, яблоки, хлеб и т. д. Пассажиры выбираются из вагона и возвращаются с узелками. Яйцо или яблоко стоит 300 рублей.

У крестьян сытый вид, и я сомневаюсь, чтобы им жилось много хуже, чем в 1914 году. Вероятно, им живется даже лучше. У них больше земли, чем раньше, и они избавились от помещиков. Они не примут участия в какой-либо попытке свергнуть советское правительство, так как уверены, что, пока оно у власти, теперешнее положение вещей сохранится. Это не мешает им всячески сопротивляться попыткам Красной Гвардии отобрать у них продовольствие по твердым ценам. Иной раз они нападают на небольшие отряды красногвардейцев и жестоко расправляются с ними. Лондонская печать раздувает подобные случаи и преподносит их как крестьянские восстания против большевиков. Но это отнюдь не так. Просто-напросто крестьяне стараются повольготнее устроиться при существующем режиме.

Но все остальные слои общества, включая и должностных лиц, испытывают сейчас невероятные лишения. Кредитная система и промышленность, выпускавшая предметы потребления, вышли из строя, и пока что все попытки заменить их каким-либо иным способом производства и распределения оказались несостоятельными.

Поэтому нигде не видно новых вещей. Единственное, что имеется в сравнительно большом количестве,— это чай, папиросы и спички. Спичек здесь больше, чем было в Англии в 1917 году, и надо сказать, что советская спичка — весьма недурного качества. Но такие вещи, как воротнички, галстуки, шнурки для ботинок, простыни и одеяла, ложки и вилки, всяческую галантерею и обыкновенную посуду достать невозможно. Купить стакан или чашку взамен разбитых удается только у спекулянтов, после кропотливых поисков. Мы ехали из Петрограда в Москву в спальном вагоне-люкс, но там не было ни графинов для воды, ни стаканов, ни тому подобных мелочей. Все это исчезло. Бросается в глаза, что большинство мужчин плохо выбрито, и сначала мы склонны были думать, что это одно из проявлений всеобщей апатии, но поняли, в чем дело, когда один из наших друзей в разговоре с моим сыном случайно упомянул, что пользуется одним и тем же лезвием почти целый год.

Так же невозможно достать лекарства и другие аптекарские товары. При простуде и головной боли принять нечего; нельзя и думать о том, чтобы купить обыкновенную грелку. Поэтому небольшие недомогания легко переходят в серьезную болезнь. Почти все, с кем мы встречались, казались удрученными и не вполне здоровыми. В этой неблагоустроенной, полной повседневных трудностей обстановке очень редко попадается жизнерадостный, здоровый человек.

Мрачное будущее ожидает того, кто тяжело заболеет. Мой сын побывал в Обуховской больнице и рассказал мне, что она находится в самом бедственном состоянии: нехватка медикаментов и предметов ухода ужасающая, половина коек пустует оттого, что большее количество больных обслужить невозможно. Не может быть и речи об усиленном, подкрепляющем питании, если только родные каким-то чудом не достанут его и не принесут больному. Д-р Федоров сказал мне, что операции производятся всего раз в неделю, когда удается к ним подготовиться. В остальные дни это немыслимо, и больные вынуждены ждать.

Вряд ли у кого в Петрограде найдется во что переодеться; старые, дырявые, часто не по ноге сапоги — единственный вид обуви в огромном городе, где не оста-

лось никаких других средств транспорта[1], кроме нескольких битком набитых трамваев. Порой наталкиваешься на самые удивительные сочетания в одежде. Директор школы, которую мы посетили без предупреждения, был одет с необычайным щегольством: на нем был смокинг, из-под которого выглядывала синяя саржевая жилетка. Несколько крупных ученых и писателей, с которыми я встречался, не имели воротничков и обматывали шею шарфами. У Горького — только один-единственный костюм, который на нем.

Когда я встретился с группой петроградских литераторов, известный писатель г. Амфитеатров обратился ко мне с длинной желчной речью. Он разделял общепринятое заблуждение, что я слеп и туп и что мне втирают очки. Амфитеатров предложил всем присутствующим снять свои благообразные пиджаки, чтобы я воочию увидел под ними жалкие лохмотья. Это была тягостная речь и — что касается меня — совершенно излишняя, и я упоминаю о ней здесь для того, чтобы подчеркнуть, до чего дошла всеобщая нищета.

Плохо одетое население этого пришедшего в невероятный упадок города к тому же неимоверно плохо питается, несмотря на непрекращающуюся подпольную торговлю. Советское правительство при всех своих благих намерениях не в состоянии обеспечить выдачу продовольствия в количестве, достаточном для нормального существования. Мы зашли в районную кухню и наблюдали, как происходит раздача пищи по карточкам. На кухне было довольно чисто, работа была хорошо организована, но это не могло компенсировать недостаток самих продуктов. Обед самой низшей категории состоял из миски жидкой похлебки и такого же количества компота из яблок.

Всем выданы хлебные карточки, и люди выстаивают в очередях за хлебом, но во время нашего пребывания петроградские пекарни не работали три дня из-за отсутствия муки. Качество хлеба совершенно различно:

---

[1] Я видел на Неве лишь один переполненный пассажирский пароход. Обычно река совсем пустынна, если не считать редких буксиров или одиноких лодочников, подбирающих плавающие бревна. (*Прим. автора*).

бывает хороший, хрустящий черный хлеб, но попадается и сырой, липкий, почти несъедобный.

Я не знаю, смогут ли эти разрозненные подробности дать западному читателю представление о повседневной жизни Петрограда в настоящее время. Говорят, что в Москве больше жителей и острее чувствуется недостаток топлива, но внешне она выглядит гораздо менее мрачно, чем Петроград. Мы видели все это в октябре, когда стояли необычно ясные и теплые дни. Мы видели все это в обрамлении багрово-золотой листвы, озаренной солнцем. Но вот однажды повеяло холодом, и желтые листья закружились вместе с хлопьями снега. Это было первое дыхание наступающей зимы. Наши друзья, поеживаясь и поглядывая в окна, в которые были уже вставлены вторые рамы, рассказывали нам о том, что было в прошлом году. Затем снова потеплело.

Мы покидали Россию великолепным солнечным днем. Но у меня щемит сердце, когда я думаю о приближении зимы. Советское правительство прилагает исключительные усилия, чтоб подготовить Северную коммуну[1] к наступлению холодов. Повсюду, где только можно, вдоль набережных, посреди главных проспектов, во дворах лежат штабеля дров. В прошлом году температура во многих жилых домах была ниже нуля, водопровод замерз, канализация не работала. Читатель может представить себе, к чему это привело. Люди ютились в еле освещенных комнатах и поддерживали себя только чаем и беседой. Со временем какой-нибудь русский писатель расскажет нам, что это значило для русского сердца и ума. Эта зима, возможно, окажется не такой тяжелой. Говорят, что положение с продовольствием также лучше, но я в этом сильно сомневаюсь. Железные дороги находятся в совершенно плачевном состоянии; паровозы, работающие на дровяном топливе, изношены; гайки разболтались, и рельсы шатаются, когда поезда тащатся по ним с предельной скоростью в 25 миль в час. Если бы даже железные дороги работали лучше, это мало что изменило бы, так как южные продовольственные центры захвачены Врангелем. Скоро с серого неба, распростертого

[1] Так назывались в 1918—1920 гг. Петроград и Петроградский промышленный район.

над 700 000 душ, все еще остающихся в Петрограде, начнет падать холодный дождь, а за ним снег. Ночи становятся все длиннее, а дни все тусклее.

Вы, конечно, скажете, что это зрелище беспросветной нужды и упадка жизненных сил — результат власти большевиков. Я думаю, что это не так. О самом большевистском правительстве я скажу позднее, когда обрисую всю обстановку в целом. Но я хочу уже здесь сказать, что эта несчастная Россия не есть организм, подвергшийся нападению каких-то пагубных внешних сил и разрушенный ими. Это был больной организм, он сам изжил себя и потому рухнул. Не коммунизм, а капитализм построил эти громадные, немыслимые города. Не коммунизм, а европейский империализм втянул эту огромную, расшатанную, обанкротившуюся империю в шестилетнюю изнурительную войну. И не коммунизм терзал эту страдающую и, быть может, погибающую Россию субсидированными извне непрерывными нападениями, вторжениями, мятежами, душил ее чудовищно жестокой блокадой. Мстительный французский кредитор, тупой английский журналист несут гораздо бо́льшую ответственность за эти смертные муки, чем любой коммунист. Но я вернусь к этому после того, как несколько подробнее опишу все, что мы видели в России во время нашей поездки. Только получив какое-то представление о материальных и духовных проявлениях русской катастрофы, можно понять и правильно оценить большевистское правительство.

II. ПОТОП И СПАСАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

Многое особенно сильно интересовало меня в России, переживавшей грандиозную социальную катастрофу, в том числе — как живет и работает мой старый друг Максим Горький. То, что рассказывали мне члены рабочей делегации, вернувшейся из России, усилило мое желание самому ознакомиться с тем, что там происходит. Меня взволновало также сообщение г. Бертрана Рассела о болезни Горького, но я с радостью убедился, что в этом отношении все обстоит хорошо. Горький так же здоров и

бодр на вид, как в 1906 году, когда мы с ним познакомились. И он неизмеримо вырос, как личность. Г-н Рассел писал, что Горький умирает и что культура в России, по-видимому, также на краю гибели. Я думаю, что художник в г. Расселе не устоял перед искушением закончить свое описание в эффектных, но мрачных тонах. Он застал Горького в постели, во время приступа кашля; все остальное — плод его воображения.

Горький занимает в России совершенно особое, я бы сказал, исключительное положение. Он не в большей мере коммунист, чем я, и я слышал, как у себя дома, в разговоре с такими людьми, как бывший глава петроградской Чрезвычайной Комиссии Бакаев и один из молодых руководителей коммунистической партии — Залуцкий, он совершенно свободно оспаривал их крайние взгляды. Это было вполне убедительное доказательство свободы слова, ибо Горький не столько спорил, сколько обвинял, к тому же в присутствии двух весьма любознательных англичан.

Но он пользуется доверием и уважением большинства коммунистических руководителей и в силу обстоятельств стал при новом режиме своего рода полуофициальным «спасателем». Горький страстно убежден в высокой ценности культуры Запада и в необходимости сохранить связь духовной жизни России с духовной жизнью остального мира в эти страшные годы войны, голода и социальных потрясений. Он пользуется прочной поддержкой Ленина. В его деятельности собраны, как в фокусе, многие значительные явления русской действительности, и это помогает понять, насколько катастрофично положение в России.

В конце 1917 года Россия пережила такой всеобъемлющий крах, какого не знала ни одна социальная система нашего времени. Когда правительство Керенского не заключило мира и британский военно-морской флот не облегчил положения на Балтике, развалившаяся русская армия сорвалась с линии фронта и хлынула обратно в Россию—лавина вооруженных крестьян, возвращающихся домой без надежд, без продовольствия, без всякой дисциплины. Это было время разгрома, время полнейшего социального разложения. Это был распад общества. Во

многих местах вспыхнули крестьянские восстания. Поджоги усадьб часто сопровождались жестокой расправой с помещиками. Это был вызванный отчаянием взрыв самых темных сил человеческой натуры, и в большинстве случаев коммунисты несут не большую ответственность за эти злодеяния, чем, скажем, правительство Австралии. Среди бела дня на улицах Москвы и Петрограда людей грабили и раздевали, и никто не вмешивался. Тела убитых валялись в канавах порой по целым суткам, и пешеходы проходили мимо, не обращая на них внимания. Вооруженные люди, часто выдававшие себя за красногвардейцев, врывались в квартиры, грабили и убивали. В начале 1918 года новому, большевистскому правительству приходилось вести жестокую борьбу не только с контрреволюцией, но и с ворами и бандитами всех мастей. И только к середине 1918 года, после того как были расстреляны тысячи грабителей и мародеров, восстановилось элементарное спокойствие на улицах больших русских городов. Некоторое время Россия была не цивилизованной страной, а бурным водоворотом беззаконий и насилия, где слабое, неопытное правительство вело борьбу не только с неразумной иностранной интервенцией, но и с полнейшим внутренним разложением. И Россия все еще прилагает огромные усилия, чтобы выйти из этого хаоса.

Искусство, литература, наука, все изящное и утонченное, все, что мы зовем «цивилизацией», было вовлечено в эту стихийную катастрофу. Наиболее устойчивым элементом русской культурной жизни оказался театр. Театры остались в своих помещениях, и никто не грабил и не разрушал их. Артисты привыкли собираться там и работать, и они продолжали это делать; традиции государственных субсидий оставались в силе. Как это ни поразительно, русское драматическое и оперное искусство прошло невредимым сквозь все бури и потрясения и живо и по сей день. Оказалось, что в Петрограде каждый день дается свыше сорока представлений, примерно то же самое мы нашли в Москве. Мы слышали величайшего певца и актера Шаляпина в «Севильском цирюльнике» и «Хованщине»; музыканты великолепного оркестра были одеты весьма пестро, но дирижер по-прежнему появлялся во фраке и белом галстуке. Мы были на «Садко», ви-

дели Монахова в «Царевиче Алексее» и в роли Яго в «Отелло» (жена Горького, г-жа Андреева, играла Дездемону). Пока смотришь на сцену, кажется, что в России ничто не изменилось; но вот занавес падает, оборачиваешься к публике, и революция становится ощутимой. Ни блестящих мундиров, ни вечерних платьев в ложах и партере. Повсюду однообразная людская масса, внимательная, добродушная, вежливая, плохо одетая. Как на спектаклях лондонского театрального общества, места в зрительном зале распределяются по жребию. В большинстве случаев билеты бесплатны. На одно представление их раздают, скажем, профсоюзам, на другое — красноармейцам, на третье — школьникам и т. д. Часть билетов продается, но это скорее исключение.

Я слышал Шаляпина в Лондоне, но не был тогда знаком с ним. На этот раз мы с ним познакомились, обедали у него и видели его прелестную семью. У Шаляпина двое пасынков, почти взрослых, и две маленькие дочки, которые очень мило, правильно, немного книжно говорят по-английски; младшая очаровательно танцует. Шаляпин, несомненно, одно из самых удивительных явлений в России в настоящее время. Это художник, бунтарь; он великолепен. Вне сцены он пленяет такой же живостью и безграничным юмором, как г. Макс Бирбом. Шаляпин наотрез отказывается петь бесплатно и, говорят, берет за выступление 200 тысяч рублей—около 15 фунтов стерлингов; когда бывает особенно трудно с продуктами, он требует гонорар мукой, яйцами и тому подобным. И он получает то, что требует, так как забастовка Шаляпина пробила бы слишком большую брешь в театральной жизни Петрограда. Поэтому его дом, быть может, последний, в котором сохранился сейчас относительный достаток. Революция так мало коснулась г-жи Шаляпиной, что она спрашивала нас, что сейчас носят в Лондоне. Из-за блокады последний дошедший до нее модный журнал был трехлетней давности.

Но театр занимает совершенно особое положение. Для других областей искусства, для литературы в целом, для науки катастрофа 1917—1918 годов оказалась совершенно гибельной. Покупать книги и картины больше некому; ученый получает жалованье в совершенно обесцененных рублях. Новый, незрелый еще общественный

строй, ведущий борьбу с грабежами, убийствами, с дикой разрухой, не нуждается в ученых; он забыл о них. Первое время советское правительство так же мало обращало на них внимания, как французская революция, которой «не требовались химики». Поэтому научным работникам, жизненно необходимым каждой цивилизованной стране, приходится терпеть сейчас невероятную нужду и лишения. Именно помощью им, их спасением занят теперь в первую очередь Горький. Главным образом благодаря ему и наиболее дальновидным деятелям большевистского правительства сейчас создан ряд «спасательных» учреждений; лучше всего поставлено дело в Доме ученых в Петрограде, занимающем старинный дворец великой княгини Марии Павловны. Здесь находится специальный центр распределения продовольствия, снабжающий в меру своих возможностей четыре тысячи научных работников и членов их семей, в общей сложности около десяти тысяч человек. Тут не только выдаются продукты по карточкам, но имеются и парикмахерская, ванные, сапожная и портняжная мастерские и другие виды обслуживания. Есть даже небольшой запас обуви и одежды. Здесь создано нечто вроде медицинского стационара для больных и ослабевших.

Одним из самых необычных моих впечатлений в России была встреча в Доме ученых с некоторыми крупнейшими представителями русской науки, изнуренными заботой и лишениями. Я видел там востоковеда Ольденбурга, геолога Карпинского, лауреата Нобелевской премии Павлова, Радлова[1], Белопольского и других всемирно известных ученых. Они задали мне великое множество вопросов о последних достижениях науки за пределами России, и мне стало стыдно за свое ужасающее невежество в этих делах. Если бы я предвидел это, я взял бы с собой материалы по всем этим вопросам. Наша блокада отрезала русских ученых от иностранной научной литературы. У них нет новой аппаратуры, не хватает писчей бумаги, лаборатории не отапливаются. Удивительно, что они вообще что-то делают. И все же они успешно работают; Павлов проводит поразительные

---

[1] Ошибка Уэллса. Академик В. В. Радлов, известный языковед, археолог и этнограф, умер за два года до этого, в 1918 году.

по своему размаху и виртуозности исследования высшей нервной деятельности животных; Манухин, говорят, разработал эффективный метод лечения туберкулеза, даже в последней стадии, и т. д. Я привез с собой для опубликования в печати краткое изложение работ Манухина, оно сейчас переводится на английский язык. Дух науки — поистине изумительный дух. Если этой зимой Петроград погибнет от голода, погибнут и члены Дома ученых, если только нам не удастся помочь им какими-нибудь чрезвычайными мерами; однако они почти не заговаривали со мной о возможности посылки им продовольствия. В Доме литературы и искусств мы слышали кое-какие жалобы на нужду и лишения, но ученые молчали об этом. Все они страстно желают получить научную литературу; знания им дороже хлеба. Надеюсь, что смогу оказаться полезным в этом деле. Я посоветовал им создать комиссию, которая составила бы список необходимых книг и журналов; этот список я вручил секретарю Королевского общества в Лондоне, и он уже предпринял кое-какие шаги. Понадобятся средства, приблизительно три или четыре тысячи фунтов стерлингов (адрес секретаря Королевского общества — Берлингтон Хаус, Вест); согласие большевистского правительства и нашего собственного на это духовное снабжение России уже получено, и я надеюсь, что в ближайшее время первая партия книг будет отправлена этим людям, которые так долго были отрезаны от интеллектуальной жизни мира.

Если б у меня и не было других оснований испытывать удовлетворение от поездки в Россию, я нашел бы его в тех надеждах и утешении, которые одна лишь встреча с нами принесла выдающимся деятелям науки и искусства. Многие из них отчаялись уже получить какие-либо вести из зарубежного мира. В течение трех лет, очень мрачных и долгих, они жили в мире, который, казалось, неуклонно опускался с одной ступени бедствий на другую, все ниже и ниже, в непроглядную тьму. Не знаю, может быть, им довелось встретиться с той или иной политической делегацией, посетившей Россию, но совершенно очевидно, что они никак не ожидали, что им когда-либо придется снова увидеть свободного и независимого человека, который, казалось, без затруднений, сам по себе, прибыл из Лондона и который мог не только

приехать, но и вернуться снова в потерянный для них мир Запада. Это произвело такое же впечатление, как если б в тюремную камеру вдруг зашел с визитом нежданный посетитель.

Всем английским любителям музыки знакомо творчество Глазунова; он дирижировал оркестрами в Лондоне и получил звание почетного доктора Оксфордского и Кембриджского университетов. Меня глубоко взволновала встреча с ним в Петрограде. Я помню его крупным, цветущим человеком, а сейчас он бледен, сильно похудел, одежда висит на нем, как с чужого плеча. Мы говорили с ним о его друзьях — сэре Хьюберте Перри и сэре Чарльзе Вилльерсе Стэнфорде. Он сказал мне, что все еще пишет, но запас нотной бумаги почти иссяк. «И больше ее не будет». Я ответил, что бумага появится, и даже скоро, но он усомнился в этом. Он вспоминал Лондон и Оксфорд; я видел, что он охвачен нестерпимым желанием снова очутиться в большом, полном жизни городе, с его изобилием, с его оживленной толпой, в городе, где он нашел бы вдохновляющую аудиторию в теплых, ярко освещенных концертных залах. Мой приезд был для него как бы живым доказательством того, что все это еще существует. Он повернулся спиной к окну, за которым виднелись пустынные в сумерках воды холодной свинцово-серой Невы и неясные очертания Петропавловской крепости. «В Англии не будет революции, нет? У меня было много друзей в Англии, много хороших друзей...» Мне тяжело было покидать его, и ему очень тяжело расставаться со мной...

Глядя на всех этих выдающихся людей, живущих как беженцы среди жалких обломков рухнувшего империалистического строя, я понял, как безмерно зависят люди большого таланта от прочности цивилизованного общества. Простой человек может перейти от одного занятия к другому; он может быть и матросом, и заводским рабочим, и землекопом, и т. д. Он должен работать вообще, но никакой внутренний демон не заставляет его заниматься только чем-то одним и ничем больше, не заставляет его быть именно таким или погибнуть. Шаляпин должен быть Шаляпиным или ничем, Павлов — Павловым, Глазунов — Глазуновым. И пока они могут продолжать заниматься своим единственным делом, эти лю-

ди живут полнокровной жизнью. Шаляпин все еще великолепно поет и играет, не считаясь ни с какими коммунистическими принципами; Павлов все еще продолжает свои замечательные исследования — в старом пальто, в кабинете, заваленном картофелем и морковью, которые он выращивает в свободное время. Глазунов будет писать, пока не иссякнет нотная бумага. Но на многих других все это подействовало гораздо сильнее. Смертность среди русской творческой интеллигенции невероятно высока. В большой степени это, несомненно, вызвано общими условиями жизни, но во многих случаях, мне кажется, решающую роль сыграло трагическое сознание бесполезности большого дарования. Они не смогли жить в России 1919 года, как не смогли бы жить в краале среди кафров.

Наука, искусство, литература — это оранжерейные растения, требующие тепла, внимания, ухода. Как это ни парадоксально, наука, изменяющая весь мир, создается гениальными людьми, которые больше, чем кто бы то ни было другой, нуждаются в защите и помощи. Под развалинами Российской империи погибли и теплицы, где все это могло произрастать. Грубая марксистская философия, делящая все человечество на буржуазию и пролетариат, представляет себе всю жизнь общества как примитивную «борьбу классов» и не имеет понятия об условиях, необходимых для сохранения интеллектуальной жизни общества. Но надо отдать должное большевистскому правительству: оно осознало угрозу полной гибели русской культуры и, несмотря на блокаду и непрестанную борьбу с субсидируемыми нами и французами мятежами и интервенцией, которыми мы до сих пор терзаем Россию, разрешило эти «спасательные» организации и оказывает им содействие. Наряду с Домом ученых создан Дом литературы и искусств. За исключением некоторых поэтов, никто сейчас в России не пишет книг, никто не создает картин. Но большинство писателей и художников нашли работу по выпуску грандиозной по своему размаху, своеобразной русской энциклопедии всемирной литературы. В этой непостижимой России, воюющей, холодной, голодной, испытывающей бесконечные лишения, осуществляется литературное начинание, немыслимое сейчас в богатой Англии и богатой Америке. В Анг-

лии и Америке выпуск серьезной литературы по доступным ценам фактически прекратился сейчас «из-за дороговизны бумаги». Духовная пища английских и американских масс становится все более скудной и низкопробной, и это нисколько не трогает тех, от кого это зависит. Большевистское правительство, во всяком случае, стоит на бо́льшей высоте. В умирающей с голоду России сотни людей работают над переводами; книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу. Я наблюдал эту работу и видел некоторые из этих книг. Я пишу «смогут» без твердой уверенности. Потому что, как и все остальное в этой разрушенной стране, эта созидательная работа носит отрывочный, наспех организованный характер. Какими путями всемирная литература дойдет до русского народа, я не представляю. Книжные магазины закрыты, а торговля книгами запрещена, как и всякая торговля вообще. Вероятно, книги будут распределяться по школам и другим учреждениям.

Совершенно очевидно, что большевики еще ясно не представляют себе, как будет распространяться эта литература. Они также не представляют себе многих подобных вещей. Оказывается, что у марксистского коммунизма нет никаких планов и идей относительно интеллектуальной жизни общества. Марксистский коммунизм всегда являлся теорией подготовки революции, теорией, не только лишенной созидательных, творческих идей, но прямо враждебной им. Каждый коммунистический агитатор презирает «утопизм» и относится с пренебрежением к разумному планированию. Даже английские бизнесмены старого типа не верили так слепо, что все само по себе «образуется», как эти марксисты. Наряду со множеством других созидательных проблем русское коммунистическое правительство вплотную столкнулось сейчас с проблемой сохранения научной жизни, мысли и обмена мнениями, содействия художественному творчеству. Пророк Маркс и его Священное писание не дают никаких наставлений по всем этим вопросам. Поэтому, не имея готовой программы, большевики вынуждены неуклюже импровизировать и ограничиваться пока отчаянными попытками спасти обломки прежней интеллектуальной жиз-

ни. Но ее можно уподобить очень больному и несчастному существу, готовому в любую минуту погибнуть у них на руках.

Максим Горький пытается спасать не только русскую науку и литературу и их деятелей: существует и третья, еще более любопытная спасательная организация, с которой он связан. Это экспертная комиссия, занимающая здание бывшего британского посольства. Когда рушится общественный порядок, основанный на частной собственности, и когда эта собственность упраздняется внезапно и безоговорочно, всем этим не упраздняются и не уничтожаются вещи, которые составляли раньше эту частную собственность. Здания со всем находящимся в них имуществом по-прежнему стоят на своих местах, в них по-прежнему живут люди, их бывшие владельцы, за исключением тех, кто бежал. Когда большевистские власти реквизируют дом или занимают брошенный дворец, они сталкиваются с этой проблемой имущества. Всякий, кто знает человеческую натуру, поймет, что кое-какие привлекательные вещи были неумышленно присвоены некоторыми должностными лицами и, пожалуй, не столь неумышленно — их женами. Но по общему духу своему большевизм, безусловно, честен и решительно выступает против грабежей и всяких подобных проявлений частной предприимчивости. Когда дни катастрофы остались позади, грабежи в Петрограде и Москве стали сравнительно малочисленны. Бандитизм был поставлен к стенке в Москве весной 1918 года. Мы заметили, что в особняках, где останавливаются гости правительства, и тому подобных местах все пронумеровано и внесено в инвентарные списки. Кое-где нам попадались разрозненные вещи — какой-нибудь хрустальный стакан или фамильное серебро с гербами, неуместно выглядевшие в чужеродной обстановке, но большей частью это были вещи, обмененные их бывшими владельцами на продукты и другие предметы первой необходимости. Матрос, которому поручено было заботиться о наших удобствах во время поездки в Москву и обратно, был снабжен изящным серебряным чайничком, который, очевидно, украшал раньше чью-то прелестную гостиную. Но, по-видимому, этот чайник вступил на путь служения обществу совершенно законным образом.

Все, что признано произведением искусства, экспертная комиссия для большей сохранности отбирает и заносит в каталог. Дворец, в котором помещалось британское посольство, похож сейчас на битком набитую антикварную лавку на Бромптон-роуд. Мы обошли одну за другой все комнаты, загроможденные великолепной рухлядью, оставшейся от старой России. Там есть большие залы, заставленные скульптурой; в жизни я не видел столько беломраморных венер и сильфид в одном месте, даже в музее Неаполя. Картины всех жанров сложены штабелями, коридоры до самого потолка забиты инкрустированными шкафчиками. Одна комната заполнена ящиками со старыми кружевами, в другой — горы роскошной мебели. Вся эта масса вещей пронумерована и внесена в каталог. И на этом дело кончается. Я так и не узнал, имеет ли хоть кто-нибудь ясное представление о том, что делать с этим изящным, восхитительным хламом. Эти вещи никак не подходят новому миру, если только на самом деле русские коммунисты строят новый мир. Они никогда не предполагали, что им придется иметь дело с такими вещами. Точно так же они не задумывались всерьез над тем, что делать с магазинами и рынками, когда они упразднили торговлю. Не задумывались они и над проблемой превращения города дворцов и особняков в коммунистический улей.

Марксистская теория довела их воображение до «диктатуры классово сознательного пролетариата» и затем намекала, весьма туманно, как мы теперь видим, что там их ожидают новые небеса и новая земля. Если б это сбылось, это действительно означало бы переворот в судьбах человечества. Но мы увидели в России все те же небеса и все ту же землю, покрытую развалинами, брошенными реликвиями и обломками развороченной старой государственной машины, с тем же упрямым мужиком, крепко сидящим на своем наделе, и — коммунизм, отважно и честно правящий в городах и все же во многих отношениях похожий на фокусника, который забыл захватить голубя и кролика и не может ничего вытащить из шляпы.

Крах — это самое главное в сегодняшней России. Революция, власть коммунистов, которым я посвящаю следующую главу, — все это имеет второстепенное зна-

чение. Все это свершилось во время краха и вследствие его. Исключительно важно, чтобы это поняли на Западе.

Если бы мировая война продолжалась еще год или больше, Германия, а затем и державы Антанты, вероятно, пережили бы свой национальный вариант русской катастрофы. То, что мы застали в России,— это то, к чему шла Англия в 1918 году, но в обостренном и завершенном виде. Здесь тоже нехватка продуктов, как это было в Англии, но достигшая чудовищных масштабов; здесь тоже карточная система, но она сравнительно слаба и неэффективна; в России спекулянтов не штрафуют, а расстреливают, и вместо английского D. O. R. A. (Закона о защите государства) здесь действует Чрезвычайная Комиссия. То, что являлось неудобством в Англии, возросло до размеров бедствия в России. Вот и вся разница. Насколько я знаю, Западной Европе даже сейчас еще угрожает подобная катастрофа. Я отнюдь не уверен, что кризис уже миновал. Война, расточительство и паразитическая спекуляция, быть может, все еще поглощают больше того, что западный мир производит. В таком случае вопрос о том, когда произойдет катастрофа у нас — расстройство денежного обращения, нехватка всех предметов потребления, социальный и политический развал и все прочее,— лишь вопрос времени. Магазины Риджент-стрит постигнет судьба магазинов Невского проспекта, и господам Голсуорси и Беннету придется спасать сокровища искусства из роскошных особняков Мэйфэра. Утверждать, что ужасающая нищета в России — в какой-либо значительной степени результат деятельности коммунистов, что злые коммунисты довели страну до ее нынешнего бедственного состояния и что свержение коммунистического строя молниеносно осчастливит всю Россию,— это значит извращать положение, сложившееся в мире, и толкать людей на неверные политические действия. Россия попала в теперешнюю беду вследствие мировой войны и моральной и умственной неполноценности своей правящей и имущей верхушки (как может попасть в беду и наше британское государство, а со временем даже и американское государство). У правителей России не хватило ни ума, ни совести прекратить войну, перестать разорять страну и захватывать самые лакомые

куски, вызывая у всех остальных опасное недовольство, пока не пробил их час. Они правили, и расточали, и грызлись между собой, и были так слепы, что до самой последней минуты не видели надвигающейся катастрофы. И затем, как я расскажу в следующих главах, пришли коммунисты...

III. КВИНТЭССЕНЦИЯ БОЛЬШЕВИЗМА

В двух предыдущих главах я старался передать читателю полученные мною в Петрограде и Москве впечатления от жизни в России, показать картину развала, развала политической, социальной и экономической системы, такой же, как наша, но только более слабой и гнилой, рухнувшей под бременем шестилетней войны и безответственного управления. Основная катастрофа произошла в 1917 году, когда чудовищно бездарный царизм стал окончательно невыносим. Он разорил страну, потерял контроль над армией и доверие всего населения. Его полицейский строй выродился в режим насилия и разбоя. Падение царизма было неизбежно.

Но в России не было другого правительства, способного прийти ему на смену. На протяжении многих поколений усилия царизма были направлены главным образом на то, чтобы уничтожить всякую возможность замены его другим правительством. Он держался у власти именно благодаря тому, что, как бы плох он ни был, заменить его было нечем. Первая русская революция превратила Россию в дискуссионный клуб и арену политической драки. Либеральные круги, не привыкшие действовать и брать на себя ответственность, пустились в шумные споры о том, должна ли Россия быть конституционной монархией, либеральной республикой, социалистической республикой и так далее. Среди всей этой неразберихи позерствовал «благородный либерал» Керенский; на поверхность всплывали разные авантюристы, «сильные личности», лжесильные личности, российские монахи и российские бонапарты. Исчезли последние остатки общественного порядка. К концу 1917 года на улицах Москвы

и Петрограда убийства и ограбления стали таким же обычным явлением, как автомобильные происшествия на улицах Лондона, с той разницей, что на них обращали еще меньше внимания. На пароходе, шедшем из Ревеля, я встретил американца, бывшего представителя «Америкэн харвестер компани» в России, который находился в Москве во время этой полнейшей анархии. Он рассказывал об ограблениях среди бела дня, о часами валявшихся в канавах трупах, мимо которых занятые своими делами люди проходили так же, как проходят у нас мимо валяющегося на тротуаре дохлого котенка.

По этой лихорадящей, объятой смятением стране разъезжали представители Англии и Франции, неспособные понять сущность безмерной трагедии, происходившей на их глазах, думавшие только о войне и настойчиво требовавшие от русских, чтобы они продолжали сражаться и начали новое наступление против Германии. Но, когда немцы стали прорываться к Петрограду — через Прибалтику и морем,— британское адмиралтейство то ли из чистой трусости, то ли из-за интриг монархистов не пришло на помощь России. Это совершенно ясно подтвердил ныне покойный лорд Фишер. И вот эта несчастная страна, смертельно больная, в бреду, приближалась к гибели.

И во всей России и среди русских, разбросанных по всему свету, была лишь одна организация, объединенная общей верой, общей волей, общей программой; это была партия коммунистов. В то время как вся остальная Россия была либо пассивна, как крестьянство, либо занималась бесплодными спорами, либо предавалась насилию или дрожала от страха, коммунисты, воодушевленные своими идеями, были готовы к действию. Число коммунистов было очень мало; они и теперь составляют меньше одного процента населения России. Партия насчитывает не более 600 000 человек; из них, вероятно, не больше 150 000 активных членов. Тем не менее она сумела захватить и удержать власть в развалившейся империи, потому что в те страшные дни она была единственной организацией, которая давала людям единую установку, единый план действий, чувство взаимного доверия. Это было и есть единственно возможное в России, идейно сплоченное правительство. Сомнительные авантюристы,

терзающие Россию при поддержке западных держав,— Деникин, Колчак, Врангель и прочие — не руководствуются никакими принципиальными соображениями и не могут предложить какой-либо прочной, заслуживающей доверия основы для сплочения народа. По существу, это просто бандиты. Коммунисты же, что бы о них ни говорили,— это люди идеи, и можно не сомневаться, что они будут за свои идеи бороться. Сегодня коммунисты морально стоят выше всех своих противников. Они сразу же обеспечили себе пассивную поддержку крестьянских масс, позволив им отобрать землю у помещиков и заключив мир с Германией. Ценой многочисленных расстрелов они восстановили порядок в больших городах. Одно время расстреливали всякого, кто носил оружие, не имея на то разрешения. Это была примитивная, кровавая, но эффективная мера. Для того, чтобы удержать власть, коммунистическое правительство создало Чрезвычайную Комиссию, наделив ее почти неограниченными полномочиями, и красным террором подавило всякое сопротивление. Красный террор повинен во многих ужасных жестокостях; его проводили по большей части ограниченные люди, ослепленные классовой ненавистью и страхом перед контрреволюцией, но эти фанатики по крайней мере были честны. За отдельными исключениями, расстрелы ЧК вызывались определенными причинами и преследовали определенные цели, и это кровопролитие не имело ничего общего с бессмысленной резней деникинского режима, не признававшего даже, как мне говорили, советского Красного Креста. И, по-моему, сейчас большевистское правительство в Москве не менее устойчиво, чем любое правительство в Европе, и улицы русских городов так же безопасны, как улицы европейских городов.

Советское правительство не только упрочило свое положение и восстановило порядок, но и создало заново русскую армию в качестве боеспособной силы; в этом немалая заслуга бывшего пацифиста Троцкого. Восстановление армии, конечно, замечательное достижение. Я не знакомился вплотную с русской армией, в России меня интересовало другое, но предприимчивый американский финансист г. Вандерлип, который вел в Москве какие-то таинственные переговоры с советским правительством,

присутствовал на смотре многотысячных воинских частей и был восхищен их боевым духом и снаряжением. Мы с сыном видели несколько войсковых частей, отправлявшихся на фронт, а также отряды новобранцев, и у нас создалось впечатление, что их боевой дух нисколько не ниже, чем у английских призывников в Лондоне в 1917—1918 годах.

Кто же все-таки эти большевики, так прочно утвердившиеся в России? По версии наиболее безумной части английской прессы, это участники некоего загадочного расистского заговора, агенты тайного общества, в котором перемешались самым диким образом евреи, иезуиты, франкмасоны и немцы. На самом же деле нет ничего менее загадочного, чем идеи, методы и цели большевиков, и их организация меньше всего походит на тайное общество. Но у нас, в Англии, существует особый образ мышления, настолько невосприимчивый к общим идеям, что даже самые простые человеческие реакции мы обязательно объясняем деятельностью каких-то заговорщиков. Если, например, поденщик в Эссексе возмущается тем, что цены на детскую обувь растут гораздо быстрее, чем его заработок, и заявляет, что его самого и его товарищей надувают и обсчитывают, издатели «Таймса» и «Морнинг пост» усматривают в этом результаты коварной пропаганды некоего тайного общества в Кенигсберге или Пекине. Они не могут себе представить, где еще он мог бы набраться таких идей. Маниакальная боязнь заговоров настолько распространена, что, пожалуй, мне следует принести извинения в том, что я не подвержен ей. Мне кажется, что большевики именно те, за кого они себя выдают, и я вынужден был относиться к ним, как к прямым и честным людям. Я не согласен ни с их взглядами, ни с их методами, но это другой вопрос.

Большевики — социалисты-марксисты. Маркс умер в Лондоне около 40 лет назад; пропаганда его учения продолжается уже свыше полувека. Оно распространилось по всему миру, и почти в каждой стране имеет, пусть немногочисленных, но убежденных последователей. Это — естественное следствие мирового экономического положения. Везде и всюду марксизм выражает одни и те же ограниченные идеи в одних и тех же отчетливых формулиров-

ках. Он стал культом, символом интернационального братства. Для того, чтобы познакомиться с большевистскими идеями, нет надобности изучать русский язык. Вы найдете их полностью в лондонском «Плебсе» или нью-йоркском «Либерейторе» в тех же самых выражениях, как в русской «Правде». Они ничего не скрывают, они открыто говорят все. И то, о чем они говорят и пишут, марксисты пытаются провести в жизнь.

Я буду говорить о Марксе без лицемерного почтения. Я всегда считал его скучнейшей личностью. Его обширный незаконченный труд «Капитал», это нагромождение утомительных фолиантов, в которых он, трактуя о таких нереальных понятиях, как «буржуазия» и «пролетариат», постоянно уходит от основной темы и пускается в нудные побочные рассуждения, кажется мне апофеозом претенциозного педантизма. Но до моей последней поездки в Россию я не испытывал активной враждебности к Марксу. Я просто избегал читать его труды и, встречая марксистов, быстро отделывался от них, спрашивая: «Из кого же состоит пролетариат?» Никто не мог мне ответить: этого не знает ни один марксист. В гостях у Горького я внимательно прислушивался к тому, как Бакаев обсуждал с Шаляпиным каверзный вопрос — существует ли вообще в России пролетариат, отличный от крестьянства. Бакаев — глава петроградской Чрезвычайной Комиссии диктатуры пролетариата, поэтому я не без интереса следил за некоторыми тонкостями этого спора. «Пролетарий», по марксистской терминологии,— это то же, что «производитель» на языке некоторых специалистов по политической экономии, т. е. нечто совершенно отличное от «потребителя». Таким образом, «пролетарий» — это понятие, прямо противопоставляемое чему-то, именуемому «капитал». На обложке «Плебса» я видел бросающийся в глаза лозунг: «Между рабочим классом и классом работодателей нет ничего общего». Но возьмите следующий случай. Какой-нибудь заводской мастер садится в поезд, который ведет машинист, и едет посмотреть, как подвигается строительство дома, который возводит для него строительная контора. К какой из этих строго разграниченных категорий принадлежит этот мастер — к нанимателям или нанимаемым? Все это — сплошная чепуха.

Должен признаться, что в России мое пассивное неприятие Маркса перешло в весьма активную враждебность. Куда бы мы ни приходили, повсюду нам бросались в глаза портреты, бюсты и статуи Маркса. Около двух третей лица Маркса покрывает борода — широкая, торжественная, густая, скучная борода, которая, вероятно, причиняла своему хозяину много неудобств в повседневной жизни. Такая борода не вырастает сама собой; ее холят, лелеют и патриархально возносят над миром. Своим бессмысленным изобилием она чрезвычайно похожа на «Капитал»; и то человеческое, что остается от лица, смотрит поверх нее совиным взглядом, словно желая знать, какое впечатление эта растительность производит на мир. Вездесущее изображение этой бороды раздражало меня все больше и больше. Мне неудержимо захотелось обрить Карла Маркса. Когда-нибудь, в свободное время, я вооружусь против «Капитала» бритвой и ножницами и напишу «Обритие бороды Карла Маркса».

Но Маркс для марксистов — лишь знамя и символ веры, и мы сейчас имеем дело не с Марксом, а с марксистами. Мало кто из них прочитал весь «Капитал». Марксисты — такие же люди, как и все, и должен признаться, что по своей натуре и жизненному опыту я расположен питать к ним самую теплую симпатию. Они считают Маркса своим пророком, потому что знают, что Маркс писал о классовой войне, непримиримой войне эксплуатируемых против эксплуататоров, что он предсказал торжество эксплуатируемых, всемирную диктатуру вождей освобожденных рабочих (диктатуру пролетариата) и венчающий ее коммунистический золотой век. Во всем мире это учение и пророчество с исключительной силой захватывает молодых людей, в особенности энергичных и впечатлительных, которые не смогли получить достаточного образования, не имеют средств и обречены нашей экономической системой на безнадежное наемное рабство. Они испытывают на себе социальную несправедливость, тупое бездушие и безмерную грубость нашего строя, они сознают, что их унижают и приносят в жертву, и поэтому стремятся разрушить этот строй и освободиться от его тисков. Не нужно никакой подрывной пропаганды, чтобы взбунтовать их; пороки общественного

строя, который лишает их образования и превращает в рабов, сами порождают коммунистическое движение всюду, где растут заводы и фабрики. Марксисты появились бы даже, если бы Маркса не было вовсе. В 14 лет, задолго до того как я услыхал о Марксе, я был законченным марксистом. Мне пришлось внезапно бросить учиться и начать жизнь, полную утомительной и нудной работы в ненавистном магазине. За эти долгие часы я так уставал, что не мог и мечтать о самообразовании. Я поджег бы этот магазин, если б не знал, что он хорошо застрахован. Это мрачное время ожило у меня в памяти в разговоре с Зориным, одним из руководителей Северной коммуны. Это очень симпатичный, остроумный молодой человек, вернувшийся из Америки, где он был чернорабочим. Зорин — хороший оратор и пользуется большой популярностью в Петроградском Совете. Мы вспоминали прошлое, и он рассказал мне, что до сих пор не может забыть о грубости и жестокости, с которыми он столкнулся в Америке в большом мануфактурном магазине, куда пришел наниматься упаковщиком. Мы говорили с ним о том, как наш общественный строй изматывает, калечит, ожесточает честных и полных энергии людей. Это общее негодование сблизило нас, как братьев.

Именно это негодование молодости, жизненных сил, отвергнутых, не нашедших применения, а не какие-то экономические теории, вдохновляет и объединяет марксистское движение во всем мире. Дело не в том, что Маркс был безгранично мудр, а в том, что наш экономический строй неразумен, эгоистичен, расточителен и анархичен. Коммунисты сформулировали эти бунтарские настроения в нескольких ходких призывах и лозунгах: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и т. д. Они внушили этим людям, что некая таинственная группа злодеев, именуемых капиталистами, вступила в заговор против счастья всего человечества. В нашем скудоумном мире маниакальная боязнь заговоров в одном лагере вызывает такую же боязнь в другом; трудно убедить марксистов в том, что в совокупности своей капиталисты — всего лишь беспорядочная кучка дерущихся из-за жирного куска, недалеких, духовно убогих людей. Коммунистическая пропаганда сплотила всех озлобленных и

обездоленных во всемирную организацию бунта и надежды, хотя при ближайшем рассмотрении эта надежда оказывается весьма расплывчатой. Они избрали Маркса своим пророком и красное знамя — своим символом... И вот, когда произошла катастрофа в России, где не осталось других сил, которые могли бы бескорыстно сплотиться для общего блага, из Америки и Западной Европы вернулось много эмигрантов, энергичных, полных энтузиазма, еще молодых людей, утративших в более предприимчивом западном мире привычную русскую непрактичность и научившихся доводить дело до конца. У них был одинаковый образ мыслей, одни и те же смелые идеи, их вдохновляло видение революции, которая принесет человечеству справедливость и счастье. Эти молодые люди и составляют движущую силу большевизма. Многие из них — евреи; большинство эмигрировавших из России в Америку было еврейского происхождения, но очень мало кто из них настроен националистически. Они борются не за интересы еврейства, а за новый мир. Большевики отнюдь не намерены продолжать традиции иудаизма, они арестовали большую часть сионистских лидеров и запретили преподавание древнееврейского языка, как «реакционного». Некоторые из самых видных большевиков, с которыми я встречался, были вовсе не евреи, а светловолосые северяне. У Ленина, любимого вождя всего живого и сильного в сегодняшней России, татарский тип лица, и он, безусловно, не еврей.

Большевистское правительство — самое смелое и в то же время самое неопытное из всех правительств мира. В некоторых отношениях оно поразительно неумело и во многих вопросах совершенно несведуще. Оно исполнено нелепых подозрений насчет дьявольских хитростей «капитализма» и незримых интриг реакции; временами оно начинает испытывать страх и совершает жестокости. Но по существу своему оно честно. В наше время это самое бесхитростное правительство в мире.

О его простодушии свидетельствует вопрос, который мне постоянно задавали в России: «Когда произойдет социальная революция в Англии?». Меня спрашивали об этом Ленин, руководитель Северной коммуны Зиновьев, Зорин и многие другие.

Дело в том, что, согласно учению Маркса, социаль-

ная революция должна была в первую очередь произойти не в России, и это смущает всех большевиков, знакомых с теорией. По Марксу, социальная революция должна была сначала произойти в странах с наиболее старой и развитой промышленностью, где сложился многочисленный, в основном лишенный собственности и работающий по найму рабочий класс (пролетариат). Революция должна была начаться в Англии, охватить Францию и Германию, затем пришел бы черед Америки и т. д. Вместо этого коммунизм оказался у власти в России, где на фабриках и заводах работают крестьяне, тесно связанные с деревней, и где по существу вообще нет особого рабочего класса — «пролетариата», который мог бы «соединиться с пролетариями всего мира». Я ясно видел, что многие большевики, с которыми я беседовал, начинают с ужасом понимать: то, что в действительности произошло на самом деле,— вовсе не обещанная Марксом социальная революция, и речь идет не столько о том, что они захватили государственную власть, сколько о том, что они оказались на борту брошенного корабля. Я старался способствовать развитию этой новой и тревожной для них мысли. Я также позволил себе прочесть им небольшую лекцию о том, что на Западе нет многочисленного «классово сознательного пролетариата», разъяснив, что в Англии имеется по меньшей мере 200 различных классов и единственные известные мне «классово сознательные пролетарии»— это незначительная группа рабочих, преимущественно шотландцев, которых объединяет под своим энергичным руководством некий джентльмен по имени Мак-Манус. Мои, несомненно, искренние слова подрывали самые дорогие сердцу русских коммунистов убеждения. Они отчаянно цепляются за свою веру в то, что в Англии сотни тысяч убежденных коммунистов, целиком принимающих марксистское евангелие,— сплоченный пролетариат — не сегодня-завтра захватят государственную власть и провозгласят Английскую Советскую Республику. После трех лет ожидания они все еще упрямо верят в это, но эта вера начинает ослабевать. Одно из самых забавных проявлений этого своеобразного образа мыслей — частые нагоняи, которые получает из Москвы по радио рабочее движение Запада за то,

что оно ведет себя не так, как предсказал Маркс. Ему следует быть красным, а оно — только желтое.

Особенно любопытен был разговор с Зиновьевым. Это человек с черными, как смоль, вьющимися волосами, напоминающий своим голосом и общей живостью Хилара Беллока. «В Ирландии идет гражданская война»,— сказал он. «По существу, да»,— ответил я. «Кого из них вы считаете представителями пролетариата — шинфейнеров или ульстерцев?» — спросил Зиновьев. Он долго бился, пытаясь выразить положение в Ирландии в формулах классовой борьбы. Эта головоломка так и осталась нерешенной; затем мы перешли к Азии. Досадуя на то, что западный пролетариат все еще не переходит к решительным действиям, Зиновьев в сопровождении Бела Куна, нашего Тома Квелча и ряда других ведущих коммунистов поехал в Баку поднимать пролетариат Азии. Они отправились воодушевлять классово сознательных пролетариев Персии и Туркестана. В юртах прикаспийских степей они искали фабричных рабочих и обитателей городских трущоб. В Баку был созван съезд — ошеломляющий калейдоскоп людей с белой, черной, желтой и коричневой кожей, азиатских одежд и необыкновенного оружия. Это многолюдное сборище поклялось в неугасимой ненависти к капитализму и британскому империализму. Потом состоялось грандиозное шествие по улицам Баку, в котором, как я, к сожалению, должен отметить, фигурировали и британские пушки, неосторожно брошенные поспешно бежавшими «строителями Британской империи». Были вырыты и вновь торжественно похоронены останки 13 человек, расстрелянных без суда этими самыми «строителями Британской империи», и сожжены чучела г. Ллойд Джорджа, г. Мильерана и президента Вильсона. Я не только видел в Петроградском Совете кинофильм в пяти частях об этом замечательном фестивале, но благодаря любезности Зорина даже привез его с собой. Этот фильм следует демонстрировать с осторожностью и только совершеннолетним. Там есть места, от которых г. Гройана из «Морнинг пост» и г. Редьярда Киплинга начнут преследовать кошмары, если только они вообще не лишатся сна, просмотрев его.

Я приложил все усилия, чтобы выяснить у Зиновьева

и Зорина, чего, по их мнению, они добивались на бакинском съезде. И, по правде говоря, я не думаю, чтоб это было вполне понятно им самим. Сомневаюсь, чтоб у них была какая-нибудь ясная цель, если не считать смутного желания нанести через Месопотамию и Индию удар английскому правительству в ответ на те удары, которые оно наносило Советской республике при помощи Колчака, Деникина, Врангеля и поляков. Это контрнаступление почти так же неуклюже и глупо, как английское наступление, против которого оно направлено. Трудно себе представить, чтобы большевики могли надеяться, что между ними и разношерстной толпой недовольных, собравшихся на съезде, установится классовая солидарность. Один из самых эффектных номеров этого замечательного бакинского фильма — танец, исполненный джентльменом из окрестностей Баку. В отороченной мехом куртке, папахе и сапогах он стремительно и искусно танцует что-то вроде чечетки. Вынув два кинжала, он берет их в зубы и устанавливает на них два других, лезвия которых оказываются в опасном соседстве с его носом. Наконец, он кладет себе на лоб пятый кинжал, продолжая с тем же искусством отбивать чечетку в такт типичной восточной мелодии. Подбоченясь, он изгибается и идет вприсядку, как это делают русские казаки, все время описывая медленные круги и не переставая хлопать в ладоши. Сейчас в хранящейся у меня свернутой в рулон копии фильма он ожидает подходящего случая, чтобы снова пуститься в пляс. Я пытался установить, был ли он типичным азиатским пролетарием или символизировал нечто иное, но так и не добился ясности. Однако в фильме ему отведены десятки ярдов пленки. Я с удовольствием воскресил бы Карла Маркса специально для того, чтоб посмотреть, как он будет глубокомысленно разглядывать его поверх своей бороды. Фильм не дает никаких указаний об отношении к этому танцору г. Тома Квелча.

Надеюсь, что я не обижу товарища Зорина, к которому питаю искреннее чувство дружбы, если признаюсь здесь, что не могу серьезно отнестись к его бакинскому съезду. Это был карнавал, театрализованное зрелище, красочная инсценировка. Было бы абсурдом считать это съездом пролетариата Азии. Но если сам по себе съезд

не имеет большого значения, он важен как признак перемены курса. Для меня главный его смысл в том, что он свидетельствует о новой большевистской ориентации, представителем которой является Зиновьев. До тех пор, пока большевики непоколебимо придерживались учения Маркса, они обращали взоры на Запад, немало удивляясь тому, что «социальная революция» произошла не там, где она ожидалась, а значительно дальше на Восток. Теперь, когда они начинают понимать, что их привела к власти не предсказанная Марксом революция, а нечто совсем иное, они, естественно, стремятся установить новые связи. Идеалом русской республики по-прежнему остается исполинский «Рабочий Запада» с огромным серпом и молотом. Но если мы будем продолжать свою жесткую блокаду и тем самым лишим Россию возможности восстановить свою промышленность, этот идеал может уступить место кочевнику из Туркестана, вооруженному полдюжиной кинжалов. Мы загоним то, что останется от большевистской России, в степи и заставим ее взяться за нож. Если мы поможем какому-нибудь новому Врангелю свергнуть не такое уж прочное московское правительство, ошибочно полагая, что этим самым установим «представительный строй» и «ограниченную монархию», мы можем весьма сильно просчитаться. Всякий, кто уничтожит теперешнюю законность и порядок в России, уничтожит все, что осталось в ней от законности и порядка. Разбойничий монархический режим оставит за собою новые кровавые следы по всей русской земле и покажет, на какие грандиозные погромы, на какой террор способны джентльмены, пришедшие в ярость; после недолгого страшного торжества он распадется и сгинет. И тогда надвинется Азия. Снова, как тысячу лет назад, на огромной равнине, до берегов Днестра и Немана, всадник будет грабить крестьянина и крестьянин подстерегать всадника. Города превратятся в груды развалин среди безлюдной пустыни, железнодорожные пути — в ржавый лом, пароходы исчезнут с затихших рек...

Бакинский съезд произвел на Горького глубоко удручающее впечатление. Ему мерещится кошмарное видение — Россия, уходящая на Восток. Быть может, и я заразился его настроением.

IV. СОЗИДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В РОССИИ

В первых трех главах я старался изложить свои впечатления от происходящего в России — стране, где цивилизация, не имевшая достаточно глубоких корней, благодаря бездарному царскому правительству, невежественности и, наконец, изнурительной шестилетней войне пришла в окончательный упадок. Я рассказал о безнадежном состоянии науки и искусства, о почти полном исчезновении жизненных благ и удобств. Надо сказать, что в Вене положение не менее серьезно, и там тоже погибают от голода такие выдающиеся ученые, как профессор Маргулис. Если бы Англии пришлось вынести еще четыре года войны, почти то же самое происходило бы и в Лондоне. В наших каминах сейчас не было бы угля, мы ничего не получали бы по своим продуктовым карточкам, и магазины Бонд-стрит были бы так же пусты, как магазины Невского. Большевистское правительство не несет ответственности ни за то, что эти бедствия произошли, ни за то, что они продолжаются.

В своем рассказе я старался также дать беспристрастную оценку деятельности большевистского правительства. Большевики, составлявшие менее пяти процентов населения [1], сумели захватить и удержать власть в стране только потому, что во время этой грандиозной катастрофы они явились единственной группой людей, связанных общностью убеждений и стремлений. Я не разделяю их убеждений, мне смешон их пророк Маркс, но я понимаю и уважаю их стремления. Несмотря на все свои недостатки — а их отнюдь не мало,— только они могли стать становым хребтом возрождающейся России. И только на основе Советской власти может она вернуться к цивилизации. Огромная масса населения России — крестьяне, неграмотные, жадные и политически пассивные. Они суеверны, постоянно крестятся и прикладываются к иконам — особенно это заметно в Москве,— но они далеки от истинной религии. Политические и социальные вопросы интересуют их только, поскольку дело

---

[1] Ошибка автора. К августу 1917 г. насчитывалось 240 тыс. членов партии, а население России в 1913 г. в современных границах составляло 159,2 млн. человек.

идет об их собственных нуждах. В основном большевиками они довольны. Православный священник совершенно не похож на католического священника Западной Европы; он сам — типичный мужик, грязный и неграмотный, не имеющий никакого влияния на совесть и волю своей паствы. Ни у крестьян, ни у духовенства нет никакого творческого начала. Что касается остальных русских, как в самой стране, так и за ее пределами,— это пестрая смесь более или менее культурных людей, не связанных ни общими политическими идеями, ни общими стремлениями. Они способны только на пустые споры и беспочвенные авантюры.

Политический облик русских эмигрантов в Англии вызывает презрение. Они бесконечно твердят о «зверствах большевиков»: крестьяне поджигают усадьбы, разбежавшаяся солдатня грабит и убивает в глухих переулках, и все это — дело рук большевистского правительства. Спросите их, какое же правительство они хотят вместо него, и в ответ они несут избитый вздор, обычно приспосабливаясь к предполагаемым политическим симпатиям своего собеседника. Они надоедают вам до тошноты, восхваляя очередного сверхчеловека, Деникина или Врангеля, который наведет, наконец, полный порядок, хотя одному господу богу известно, как он это сделает. Эти эмигранты не заслуживают ничего лучшего, чем царь, и они не в состоянии даже решить, какого царя они хотят. Лучшая часть русской интеллигенции, еще оставшаяся в России, постепенно начинает — во имя России— пока неохотно, но честно сотрудничать с большевиками.

Сами большевики — марксисты и коммунисты. Как я уже говорил, они оказались у власти в России в полном противоречии с учением Карла Маркса. Почти все их силы поглощены глубоко патриотической борьбой с нападениями, вторжениями, блокадой и всякого рода другими бедствиями, которые западные державы с жестоким упорством обрушивают на потрясенную трагической катастрофой страну. Остаток сил уходит у них на то, чтобы спасти Россию от голодной смерти и установить какой-то общественный порядок среди всеобщего развала. Я уже говорил, что большевики исключительно неопытны как государственные деятели,— это интел-

лигенты-эмигранты из Женевы и Хэмпстэда и сравнительно малокультурные рабочие, вернувшиеся из Соединенных Штатов. Со времен ранних мусульман, захвативших власть над Египтом, Сирией и Месопотамией, история не знала еще такого дилетантского правительства.

Я думаю, что многие из большевиков в глубине души порядком обеспокоены гигантским объемом стоящих перед ними задач. Но их, а следовательно, и Россию спасает одно — их коммунистические убеждения. И англичанам пришлось узнать во время подводной войны, что перед лицом голода у городского населения только два выхода: гибель или общественный контроль. У себя в Англии мы вынуждены были ввести контроль над распределением продовольствия, мы вынуждены были подавить спекуляцию суровыми законами. Коммунисты, придя к власти в России, немедленно провели все это в жизнь, исходя из своих убеждений, сделав, таким образом, самый необходимый шаг для преодоления царящего в стране хаоса. Вопреки всем русским привычкам и традициям они установили самый жесткий контроль и нормирование. Их карточная система, по-видимому, проводится в жизнь, насколько позволяют характер и условия теперешнего производства и потребления в России; на бумаге она совершенно безупречна. Легко подмечать ошибки и недостатки, но гораздо труднее указать, как их избежать, когда имеешь дело с истощенной и дезорганизованной страной. Россия находится сейчас в таком состоянии, что если даже предположить, что большевики будут свергнуты и на смену им придет другое правительство — безразлично какое,— ему пришлось бы сохранить введенную большевиками карточную систему, продолжать сурово наказывать и расстреливать спекулянтов и пресекать сомнительные политические авантюры. В тяжких условиях блокады и голода большевики делают в силу своих убеждений то, что другое правительство вынуждено было бы сделать в силу необходимости.

Перед лицом величайших трудностей они стараются построить на обломках прошлого новую Россию. Можно оспаривать их идеи и методы, называть их планы утопией, можно высмеивать то, что они делают, или бояться этого, но нельзя отрицать того, что в России сейчас идет

созидательная работа. Часть большевиков действительно упрямые, несговорчивые доктринеры, фанатики, верящие в то, что одно лишь уничтожение капитализма, отмена торговли и денег и стирание всех классовых различий само по себе обеспечит приход некоего унылого «золотого века». Среди них есть и такие тупицы, которые способны отменить преподавание химии, если только не заверить их, что это «пролетарская» химия, или наложить запрет на любой орнамент, как реакционный, если в нем не фигурирует сочетание букв РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика). Я говорил уже, что изучение древнееврейского языка запрещено, как «реакционное» занятие. Когда я жил у Горького, мне часто приходилось присутствовать при его ожесточенных спорах с некоторыми деятелями нового режима, которые держались крайних взглядов и отрицали всю литературу прошлого, за исключением произведений с революционными тенденциями. Но в новой России есть и люди с широкими взглядами, и, если им дадут возможность, они будут строить и, вероятно, строить хорошо. Среди людей такой творческой силы я могу назвать самого Ленина, который поразительно вырос со времен своей эмиграции и недавно выступил с резкой критикой экстремистских заскоков в своей собственной партии, Троцкого, который никогда не был экстремистом и обладает большими организаторскими способностями, Луначарского — наркома просвещения, Рыкова — руководителя Совета Народного Хозяйства, Лилину — из петроградского отдела народного образования и Красина — главу торговой делегации в Лондоне. Это имена, которые первыми пришли мне в голову, но ими отнюдь не исчерпывается список подлинных государственных деятелей в большевистском правительстве. Эти люди добились уже известных успехов, несмотря на блокаду, гражданскую войну и интервенцию Им приходится работать над восстановлением страны, обнищавшей до такой степени, какую английский или американский читатель даже представить себе не может, к тому же еще с исключительно беспомощным аппаратом. Россия сейчас нуждается в административно-технических кадрах даже еще больше, чем в медикаментах и продовольствии. Самое обычное делопроизводство в русских правительст-

венных учреждениях ведется из рук вон плохо, с неописуемой расхлябанностью и небрежностью. Создается впечатление, что служащие тонут в ворохе неразобранных дел и грудах окурков. И этого тоже не смог бы изменить никакой контрреволюционный переворот; это неотъемлемая черта современной русской действительности. Если бы кто-нибудь из военных авантюристов, которым покровительствуют западные державы, по роковой случайности захватил власть в России, это лишь прибавило бы к общему развалу пьяный разгул, казнокрадство и засилье развратных содержанок. Как бы плохо ни отзываться о большевиках, невозможно отрицать, что подавляющее большинство из них ведет не просто трудовую, но прямо аскетическую жизнь.

Я говорю об этой русской неорганизованности с особенной резкостью, потому что из-за нее я не смог встретиться с Луначарским. Ради того, чтобы побеседовать в течение полутора часов с Лениным и Чичериным, мне пришлось потратить около 80 часов на разъезды, телефонные переговоры и ожидание. При таких темпах для встречи с Луначарским мне понадобилась бы по меньшей мере еще неделя, а я торопился попасть на пароход, совершавший нерегулярные рейсы между Ревелем и Стокгольмом. Все мое пребывание в Москве было исковеркано глубоко раздражающей неразберихой. По столице меня сопровождал матрос с серебряным чайником, совершенно не знавший города, а договариваться по телефону о моих встречах должен был американец, плохо владевший русским языком. Хотя я сам слышал, как Горький заранее договорился по междугородному телефону о моей встрече с Лениным, в Москве мне заявили, что там ничего не знали о моем приезде. Наконец, когда я возвращался в Петроград, меня посадили в самый медленный поезд, который шел 22 часа вместо 14. Все это может показаться мелочами, не стоящими упоминания, но они приобретают весьма существенное значение, если учесть, что в России предо мной из всех сил старались щегольнуть деловитостью и порядком. Когда, сев в вагон, я узнал, что мы тащимся с черепашьей скоростью, а курьерский поезд ушел три часа назад, в то время как мы томились в вестибюле нашего особняка у своих чемоданов, нетерпеливо ожидая, пока за нами приедут,

на меня снизошел дух красноречия и уста мои разверзлись. Я поговорил с нашим гидом как мужчина с мужчиной и высказал ему все, что я думаю о русских порядках. Он почтительно выслушал мою язвительную тираду и, когда я, наконец, остановился, ответил мне извинением, характерным для теперешнего умонастроения русских: «Видите ли, блокада...»

Хотя мне не удалось лично повидаться с Луначарским, я сумел познакомиться со многим, что сделано им в области народного просвещения. Основной материал, с которым приходится иметь дело работнику народного просвещения,— это люди, а в них, во всяком случае, Россия все еще не испытывает недостатка; так что в этом отношении Луначарский находится в лучшем положении, чем большинство его коллег. И должен признаться, что работа большевиков в этой области, к которой я сперва отнесся с большим недоверием и предубеждением, показалась мне поразительно плодотворной, если принять во внимание стоящие перед ними огромные трудности.

Начало было весьма неудачным. Как только я приехал в Петроград, я попросил показать мне школу, и это было сделано на следующий день; я уехал оттуда с самым неблагоприятным впечатлением. Школа была исключительно хорошо оборудована, гораздо лучше, чем рядовые английские начальные школы; дети казались смышлеными и хорошо развитыми. Но мы приехали после занятий и не смогли побывать на уроках; судя по поведению учеников, дисциплина в школе сильно хромала. Я решил, что мне показали специально подготовленную для моего посещения школу и что это все, чем может похвалиться Петроград. Человек, сопровождавший нас во время этого визита, начал спрашивать детей об английской литературе и их любимых писателях. Одно имя господствовало над всеми остальными. Мое собственное. Такие незначительные персоны, как Мильтон, Диккенс, Шекспир, копошились у ног этого литературного колосса. Опрос продолжался, и дети перечислили названия доброй дюжины моих книг. Тут я заявил, что абсолютно удовлетворен всем, что видел и слышал, и не желаю больше ничего осматривать — ибо, в самом деле, чего еще я мог желать?—и покинул школу с натянутой улыбкой, возмущенный организаторами этого посещения.

Через три дня я внезапно отменил всю свою утреннюю программу и потребовал, чтобы мне немедленно показали другую школу, любую школу поблизости. Я был уверен, что первый раз меня вводили в заблуждение и теперь-то я попаду в поистине скверную школу. На самом деле все, что я увидел, было гораздо лучше — и здание, и оборудование, и дисциплина школьников. Побывав на уроках, я убедился в том, что обучение поставлено превосходно. Большинство учителей — женщины средних лет; они производят впечатление опытных педагогов. Я выбрал урок геометрии, так как он излагается универсальным языком чертежей на доске. Мне показали также массу отличных чертежей и макетов, сделанных учениками. Школа располагает большим количеством наглядных пособий; из них мне особенно понравилась хорошо подобранная серия пейзажей для преподавания географии. Там есть также много химических и физических приборов, и они, несомненно, хорошо используются. Я видел, как готовили обед для детей (в Советской России дети питаются в школе); он был вкусно сварен из продуктов гораздо лучшего качества, чем обед, который мы видели в районной кухне. Все в этой школе производило несравненно лучшее впечатление. Под конец мы решили проверить необычайную популярность Герберта Уэллса среди русских подростков. Никто из этих детей никогда не слыхал о нем. В школьной библиотеке не было ни одной его книги. Это окончательно убедило меня в том, что я нахожусь в совершенно нормальном учебном заведении. Теперь я понял, что в первой школе меня вовсе не хотели ввести в заблуждение относительно состояния обучения в России, как я решил в гневе, а все произошло потому, что мой литературный друг, критик г. Чуковский, горячо желая показать мне, как меня любят в России, подготовил эту невинную инсценировку, слегка позабыв о всей серьезности моей миссии.

После того как я собрал дополнительный материал и обменялся впечатлениями с теми, кто побывал в России, в частности с д-ром Хэйденом Гэстом, который тоже «застал врасплох» несколько школ в Москве, я пришел к убеждению, что в условиях колоссальных трудностей в Советской России непрерывно идет грандиозная рабо-

та по народному просвещению и что, несмотря на всю тяжесть положения в стране, количество школ в городах и качество преподавания неизмеримо выросли со времен царского режима. (Все это, как и в других случаях, почти не касается крестьянства, за исключением некоторых «показательных» районов.) Школы, которые я видел, не отличались от хороших средних школ Англии. Туда принимают всех, и делаются попытки ввести обязательное обучение. Конечно, Россия сталкивается с особыми затруднениями. Во многих школах не хватает учителей; не всегда удается заставить посещать занятия детей, которые предпочитают заниматься уличной торговлей. Большая часть нелегальной торговли в России ведется детьми. Их труднее поймать, чем взрослых; к тому же русские коммунисты — убежденные противники наказания детей. А русские дети развиваются поразительно быстро для северян.

Совместное обучение подростков до 15—16 лет в стране с такими расшатанными устоями, как Россия наших дней, привело к дурным последствиям. Я узнал об этом, когда бывший глава петроградской Чрезвычайной Комиссии Бакаев и его коллега Залуцкий приехали к Горькому посоветоваться по этому вопросу. Они совершенно откровенно обсуждали все это при мне, и их разговор тут же переводился на английский. Мне показали собранные и опубликованные большевиками потрясающие статистические данные о моральном разложении петроградской молодежи. Не знаю, как бы они выглядели по сравнению с английскими статистическими данными, если таковые имеются, о некоторых страшных для молодежи районах Лондона или таких славящихся своими притонами городах, как Ридинг. (Читателю следует ознакомиться с отчетом фабианского общества о состоянии проституции, озаглавленным «Пути падения».) Не знаю, каков был бы результат сопоставления этих данных с тем, что было при царском режиме. Я не могу даже судить о том, в какой степени это ужасное явление в России можно отнести за счет отчаяния, вызванного нуждой и тяжелыми жилищными условиями. Несомненно только, что в городах России наряду с подъемом народного просвещения и интеллектуальным развитием молодежи возросла и ее распущенность, особенно в вопросах пола; и

все это происходит в то время, когда старшее поколение соблюдает беспримерную, пуританскую моральную чистоту. Тяжелая нравственная лихорадка, переживаемая русской молодежью,— единственное темное пятно на фоне успехов народного просвещения в России. Я думаю, что в основном ее нужно рассматривать как одно из проявлений общей социальной разрухи; в любой европейской стране война вызвала заметное ослабление моральных устоев молодежи, но и сама революция, изгнав из школ немало старых, опытных педагогов и поставив под сомнение все моральные нормы, безусловно, способствовала, пока трудно сказать в какой степени, усилению неразберихи в этих вопросах в сегодняшней России.

Когда перед большевиками встали во весь рост проблемы голода, распада семейных очагов, социального хаоса, они начали брать городских детей под опеку государства, организуя для них школы с общежитиями. Подобно детям высших классов Англии, городские дети России учатся в школах-интернатах. Рядом со второй из посещенных мною в Петрограде школ находятся два больших здания — общежитие для мальчиков и общежитие для девочек. В этих учреждениях прививают детям навыки элементарной гигиены и приучают к моральной дисциплине. И этого тоже требуют не только коммунистические принципы, но и жестокая необходимость. Некоторые русские города постепенно превращаются по своим условиям в сплошные трущобы, и большевики вынуждены играть роль некоего гигантского д-ра Барнардо.

Мы познакомились с работой приемника-распределителя, куда приводят своих детей родители, не имеющие возможности в этих ужасных условиях уберечь их от влияния улицы, прокормить и содержать в чистоте. Приемник помещается в здании Европейской гостиницы, куда при старом режиме приезжало поужинать множество веселых компаний. На крыше еще сохранился летний сад, где обычно играл струнный квартет, и, поднимаясь по лестнице, мы прошли мимо матового стекла, на котором золотыми буквами было написано по-французски «Coiffeur des Dames».

Изящные золоченые стрелки указывали путь в «Ресторан» — понятие, давно вышедшее из обихода мрачной петербургской действительности. Сюда приводят де-

тей. Сперва их помещают в карантин, где выясняют, не больны ли они заразными болезнями, и проводят санитарный осмотр (у девяти из десяти новичков водятся насекомые), а затем — во второй карантин, где некоторое время проверяют, нет ли у них дурных привычек и каких-либо отклонений от нормы. Некоторых приходится отправлять в специальные школы для дефективных; остальные вливаются в общую массу детей, взятых под опеку государства, и распределяются по школам-интернатам.

Здесь мы, конечно, имеем дело с процессом «разрушения семьи», который идет полным ходом; опека распространяется на детей самого различного происхождения. Родители могут посещать своих детей в течение дня без особых ограничений. Но они не имеют права вмешиваться в вопросы воспитания, одежды и т. д. Мы провели некоторое время среди детей, всесторонне знакомясь с их жизнью в приемнике, и они показались нам здоровыми, довольными и счастливыми. Дело в том, что они находятся под присмотром очень хорошего персонала. Немало людей, политически неблагонадежных или открыто недовольных новым режимом, но желающих тем не менее служить России, находят в таких детских учреждениях работу, которую они могут выполнять с чистым сердцем и спокойной совестью. Оказалось, что моя переводчица хорошо знает даму, которая показывала нам приемник; они часто обедали и ужинали в Европейской гостинице в дни ее былого великолепия. Теперь эта дама очень скромно одета, у нее стриженые волосы, держится она очень серьезно; ее муж — белогвардеец и служит в польской армии, двое ее детей живут в интернате, и она по-матерински заботится о десятках других малышей. Чувствовалось, что эта женщина гордится работой своего учреждения, и она сама говорила нам, что в этом городе нужды, под угрозой надвигающегося голода, она живет гораздо более интересной и содержательной жизнью, чем в былые дни.

Объем книги не позволяет мне остановиться на всей той работе в области просвещения и воспитания, с которой мы познакомились в России Я хочу сказать лишь несколько слов о доме отдыха для рабочих на Каменном острове. Это начинание показалось мне одновремен-

но и превосходным и довольно курьезным. Рабочих посылают сюда на 2—3 недели отдохнуть в культурных условиях. Дом отдыха — прекрасная дача с большим парком, оранжереей и подсобными помещениями. В столовой — белые скатерти, цветы и т. д. И рабочий должен вести себя в соответствии с этой изящной обстановкой; это один из методов его перевоспитания. Мне рассказывали, что, если отдыхающий забудется и, откашлявшись, по доброй старой простонародной привычке сплюнет на пол, служитель обводит это место мелом и предлагает ему вытереть оскверненный паркет. Аллея, ведущая к дому отдыха, украшена в футуристическом духе; у ворот возвышается огромная фигура рабочего, опирающегося на молот; она сделана из гипса, взятого из запасов хирургических отделений петроградских больниц... Но ведь в конце концов стремление перевоспитать рабочих, поместив их в культурную обстановку, само по себе не может вызывать возражений...

Мне трудно дать окончательную оценку многим из этих усилий большевиков. Можно сказать одно — здесь идет созидательная и просветительная работа, в которой перемешалось и достойное восхищения и нелепое, но, во всяком случае, появились островки созидающего, самоотверженного труда, вселяющего надежду на лучшее будущее в этом море ужасающей нужды и беспредельного упадка. Кто может сказать, окажутся ли они достаточно прочными, чтобы не дать погибнуть этой идущей ко дну стране? Кто может угадать, насколько они вырастут и окрепнут, если Россия получит передышку от гражданской войны и интервенции, от голода и нужды? Об этой-то обновленной России, России будущего, я и хотел больше всего поговорить с Лениным, направляясь в Кремль. Об этой беседе я расскажу в последней главе.

V. ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ

В четверг, 7 октября, мы присутствовали на заседании Петроградского Совета. Нам говорили, что этот законодательный орган сильно отличается от английской палаты общин, и это действительно так. Работа этой ор-

ганизации, как и всех других в Советской России, показалась нам исключительно непродуманной и бесплановой. Трудно себе представить менее удачную организацию учреждения, имеющего такие обширные функции и несущего такую ответственность, как Петроградский Совет.

Заседание происходило в Таврическом дворце, когда-то принадлежавшем фавориту Екатерины II Потемкину. При царском режиме здесь заседала Государственная дума; я посетил ее в 1914 году и слышал скучные прения. Г-н Морис Беринг и один из Бенкендорфов провели меня на хоры для гостей, охватывавшие полукругом зал заседаний. В самом зале около тысячи мест, но большинство из них пустовало. Председатель, вооруженный колокольчиком, сидел на возвышении над трибуной; позади него расположились стенографистки. Я забыл, какой вопрос тогда обсуждался; во всяком случае, он не представлял большого интереса. Помню, Беринг обратил мое внимание на то, что среди депутатов III Думы [1] было много священников; их рясы и бороды заметно выделялись среди малочисленной аудитории.

На этот раз мы были уже не посторонними наблюдателями, а активными участниками заседания; нас поместили позади стола президиума, на возвышении, где обычно сидят члены правительства, официальные посетители и т. п. Стол президиума, трибуна и места для стенографисток — все оставалось как раньше, но атмосфера вялого парламентаризма сменилась обстановкой многолюдного, шумного, по-особому волнующего массового митинга. Вокруг нас, на возвышении позади президиума, на идущих полукругом скамьях, с трудом разместилось более двухсот человек — военные моряки, люди, принадлежавшие, судя по одежде, к интеллигенции и рабочему классу, много женщин с хорошими, серьезными лицами, один или два азиата и несколько человек неопределенного вида. Зал был битком набит; две или три тысячи человек, мужчин и женщин, занимали не только кресла, но все проходы, ступени и толпились под хорами, которые также были переполнены. Все они были членами Петроградского Совета, по существу представ-

---

[1] Речь, по-видимому, идет о IV Государственной думе.

ляющего собой совместную ассамблею всех районных Советов.

За столом президиума, спиной к нам, сидели Зиновьев, его правая рука Зорин и председатель. Обсуждались условия мира с Польшей. Чувствовалось, что люди остро переживают поражение и настроены против принятия условий поляков. Вскоре после нашего прихода Зиновьев произнес длинную и, насколько я могу судить, убедительную речь, подготовляя участников заседания к мысли о необходимости капитуляции. Польские требования возмутительны, но в данное время России приходится идти на уступки. После него выступил пожилой человек, который с ожесточением упрекал русский народ и правительство в безбожии; Россия, говорил он, несет наказание за свои грехи, и, пока она не раскается и не вернется в лоно религии, ее будет преследовать одно бедствие за другим. Хотя участники заседания не разделяли его взглядов, ему дали высказаться беспрепятственно. Затем открытым голосованием было принято решение заключить мир с Польшей. После этого наступил мой черед. Членам Совета сообщили, что я приехал из Англии, чтобы познакомиться с большевистским режимом; меня осыпали похвалами и затем призвали отнестись к этому режиму со всей справедливостью и не следовать примеру г-жи Сноуден, г. Гэста и г. Бертрана Рассела, которые воспользовались недавно гостеприимством Советской республики, а по возвращении стали неблагожелательно отзываться о ней. Я холодно отнесся к этим призывам; я приехал в Россию, чтобы беспристрастно оценить большевистское правительство, а не восхвалять его. Затем мне надлежало подняться на трибуну и обратиться с речью к переполненному залу. Я знал, что для коекого, кто побывал в России до меня, эта трибуна оказалась роковой: им трудно было впоследствии объяснить, откуда взялись те речи, о содержании которых их переводчики с помощью радио оповестили весь мир. К счастью, я представлял себе, что последует, и, чтобы избежать недоразумений, написал короткую речь и приготовил точный перевод ее. Прежде всего я совершенно недвусмысленно заявил, что я не марксист и не коммунист, а коллективист и что русским следует ждать мира и помощи в своих бедствиях не от социальной революции в

Европе, а от либерально настроенных умеренных кругов Запада. Я сказал, что народы западных стран решительно стоят за мир с Россией, чтоб она могла идти своим собственным путем, но что их развитие может пойти иным, совершенно отличным от России путем. Закончив выступление, я вручил перевод своей речи Зорину, не только облегчив его задачу как переводчика, но и устранив этим всякую возможность недоразумений. Моя речь была напечатана в «Правде» полностью и без искажений.

Затем началось обсуждение предложения Зорина послать Зиновьева в Берлин на съезд независимых социалистов. Зорин — остроумный оратор, своим юмором он привел аудиторию в отличное настроение. Его предложение было принято открытым голосованием; затем последовали доклад и прения о выращивании овощей в окрестностях Петрограда. Этот практический вопрос вызвал в зале огромное оживление. Люди вскакивали, произносили короткие речи с места и снова усаживались; они кричали и перебивали друг друга. Все это гораздо больше напоминало многолюдный рабочий митинг в Куин Холле, чем работу законодательного органа в понимании западноевропейца.

Когда было покончено и с этим вопросом, произошло нечто еще более необычное. Все мы, сидевшие за трибуной, перешли в и без того переполненный до отказа зал и кое-как разместились там, а позади стола президиума был спущен экран; на хорах появился духовой оркестр, и началась демонстрация кинофильма в пяти частях об упомянутом мною выше бакинском съезде. Фильм смотрели с интересом, но аплодировали мало. В конце оркестр исполнил «Интернационал», а публика — прошу прощения! — Петроградский Совет начал расходиться под пение этой популярной песни. По существу, это был многолюдный митинг, который мог, самое большее, одобрить или не одобрить предложения правительства, но сам не способен ни на какую настоящую законодательную деятельность. По своей неорганизованности, отсутствию четкости и действенности Петроградский Совет так же отличается от английского парламента, как груда разрозненных часовых колесиков от старомодных, неточных, но все еще показывающих время часов.

VI. КРЕМЛЕВСКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ

Основной целью моей поездки из Петрограда в Москву была встреча с Лениным. Мне было интересно повидаться с ним, и я должен сказать, что был предубежден против него. На самом деле я встретился с личностью, совершенно непохожей на то, что я себе представлял.

Ленин — не человек пера; его опубликованные труды не дают правильного представления о нем. Написанные в резком тоне брошюры и памфлеты, выходящие в Москве за его подписью, полные ложных концепций о психологии рабочих Запада и упорно отстаивающие абсурдное утверждение, что в России произошла именно предсказанная Марксом социальная революция, вряд ли отражают даже частицу подлинного ленинского ума, в котором я убедился во время нашей беседы. В этих работах порой встречаются проблески вдохновенной проницательности, но в целом они лишь повторяют раз навсегда установленные положения и формулировки ортодоксального марксизма. Быть может, это необходимо. Пожалуй, это единственно понятный коммунистам язык; переход к новой фразеологии сбил бы их с толку и вызвал полную растерянность. Левый коммунизм можно назвать позвоночным столбом сегодняшней России; к сожалению, это неподвижный позвоночник, сгибающийся с огромным трудом и только в ответ на почтительную лесть.

Жизнь в Москве, озаренной ярким октябрьским солнцем и украшенной золотом осенней листвы, показалась нам гораздо более оживленной и легкой, чем в Петрограде. На улицах — большое движение, сравнительно много извозчиков; здесь больше торгуют. Рынки открыты. Дома и мостовые — в лучшем состоянии. Правда, сохранилось немало следов ожесточенных уличных боев начала 1918 года. Один из куполов нелепого собора Василия Блаженного, у самых ворот Кремля, был разбит снарядом и все еще не отремонтирован. Трамваи, которые мы видели, перевозили не пассажиров, а продукты и топливо. Считают, что в этом отношении Петроград лучше подготовлен к зиме, чем Москва.

Десять тысяч крестов московских церквей все еще сверкают на солнце. На кремлевских башнях по-прежнему простирают крылья императорские орлы. Большевики или слишком заняты другими делами, или просто не обращают на них внимания. Церкви открыты; толпы молящихся усердно прикладываются к иконам, нищим все еще порой удается выпросить милостыню. Особенной популярностью пользуется знаменитая часовня чудотворной Иверской божьей матери возле Спасских ворот; многие крестьянки, не сумевшие пробраться внутрь, целуют ее каменные стены.

Как раз напротив нее на стене дома выведен в рамке знаменитый ныне лозунг: «Религия — опиум для народа». Действенность этой надписи, сделанной в начале революции, значительно снижается тем, что русский народ не умеет читать.

У меня произошел небольшой, но забавный спор насчет этой надписи с г. Вандерлипом, американским финансистом, жившим в том же правительственном особняке, где и мы. Он считал, что она должна быть уничтожена. Я находил, что ее стоит сохранить как историческую реликвию, а также потому, что веротерпимость должна распространяться и на атеистов. Но г. Вандерлип принимал это так близко к сердцу, что не мог понять моей точки зрения.

Особняк для гостей правительства, где мы жили вместе с г. Вандерлипом и предприимчивым английским скульптором, каким-то образом попавшим в Москву, чтобы лепить бюсты Ленина и Троцкого,— большое, хорошо обставленное здание на Софийской набережной (№ 17), расположенное напротив высокой кремлевской стены, за которой виднеются купола и башни этой крепости русских царей. Мы чувствовали себя здесь не так непринужденно, более изолированно, чем в Петрограде. Часовые, стоявшие у ворот, оберегали нас от случайных посетителей, в то время как в Петрограде ко мне мог зайти поговорить, кто хотел. Г. Вандерлип, по-видимому, жил там уже несколько недель и собирался пробыть еще столько же. С ним не было ни слуги, ни секретаря, ни переводчика. Он не обсуждал со мной свои дела и лишь раза два осторожно заметил, что они носят строго фи-

нансовый, экономический и отнюдь не политический характер. Мне говорили, что он привез рекомендательное письмо к Ленину от сенатора Хардинга, но я не любопытен по природе и не пытался ни проверить это, ни соваться в дела г. Вандерлипа. Я даже не спрашивал его, как вообще можно в коммунистическом государстве вести коммерческие переговоры и финансовые операции с кем бы то ни было, кроме самого правительства, и как можно иметь дело с правительством, совершенно не касаясь политики. Должен признаться, что все эти таинственные вещи выше моего понимания. Но мы вместе ели, курили, пили кофе и беседовали, соблюдая полнейшую сдержанность. Благодаря тому, что мы избегали упоминать о «миссии» г. Вандерлипа, она раздулась в нашем сознании до огромных размеров, и мысль о ней стала неотвязной.

Формальности, связанные с подготовкой моей встречи с Лениным, были утомительно длинны и вызывали раздражение, но вот, наконец, я отправился в Кремль в сопровождении г. Ротштейна, в прошлом видного работника коммунистической партии в Лондоне, и американского «товарища» с большим фотоаппаратом, который, как я понял, тоже был сотрудником Наркоминдела.

Я помню Кремль в 1914 году, когда в него можно было пройти так же беспрепятственно, как в Виндзорский замок; по нему бродили тогда небольшие группы богомольцев и туристов. Но теперь свободный вход в Кремль отменен, и попасть туда очень трудно. Уже в воротах нас ожидала возня с пропусками и разрешениями. Прежде чем мы попали к Ленину, нам пришлось пройти через пять или шесть комнат, где наши документы проверяли часовые и сотрудники Кремля. Возможно, что это и необходимо для личной безопасности Ленина, но это затрудняет живую связь России с ним и — что еще важнее с точки зрения эффективности руководства—затрудняет его живую связь с Россией. Если то, что доходит до него, пропускается через некий фильтр, то так же фильтруется и все, что исходит от него, и во время этого процесса могут произойти весьма значительные искажения.

Наконец, мы попали в кабинет Ленина, светлую ком-

нату с окнами на кремлевскую площадь; Ленин сидел за огромным письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Я сел справа от стола, и невысокий человек, сидевший в кресле так, что ноги его едва касались пола, повернулся ко мне, облокотившись на кипу бумаг. Он превосходно говорит по-английски, но г. Ротштейн следил за нашей беседой, вставляя замечания и пояснения, и это показалось мне весьма характерным для теперешнего положения вещей в России. Тем временем американец взялся за свой фотоаппарат и, стараясь не мешать, начал усердно снимать нас. Беседа была настолько интересной, что все это щелканье и хождение не вызывало досады.

Я ожидал встретить марксистского начетчика, с которым мне придется вступить в схватку, но ничего подобного не произошло. Мне говорили, что Ленин любит поучать людей, но он, безусловно, не занимался этим во время нашей беседы. Когда описывают Ленина, уделяют много внимания его смеху, будто бы приятному вначале, но затем принимающему оттенок цинизма; я не слышал такого смеха. Линии его лба напомнили мне кого-то, я никак не мог вспомнить, кого именно, пока на днях не увидел г. Артура Бальфура, сидевшего возле затененной лампы. У него в точности такой же высокий, покатый, слегка асимметричный лоб.

У Ленина приятное смугловатое лицо с быстро меняющимся выражением, живая улыбка; слушая собеседника, он щурит один глаз (возможно, эта привычка вызвана каким-то дефектом зрения). Он не очень похож на свои фотографии, потому что он один из тех людей, у которых смена выражения гораздо существеннее, чем самые черты лица; во время разговора он слегка жестикулировал, протягивая руки над лежавшими на его столе бумагами; говорил быстро, с увлечением, совершенно откровенно и прямо, без всякой позы, как разговаривают настоящие ученые.

Через весь наш разговор проходили две — как бы их назвать — основные темы. Одну тему вел я: «Как вы представляете себе будущую Россию? Какое государство вы стремитесь построить?» Вторую тему вел он: «Почему

в Англии не начинается социальная революция? Почему вы ничего не делаете, чтоб подготовить ее? Почему вы не уничтожаете капитализм и не создаете коммунистическое государство?» Эти темы переплетались, сталкивались, разъясняли одна другую. Вторая тема возвращала нас к первой: «Что вам дала социальная революция? Успешна ли она?» А это, в свою очередь, приводило ко второй теме: «Чтобы она стала успешной, в нее должен включиться западный мир. Почему это не происходит?»

До 1918 года все марксисты рассматривали социальную революцию как конечную цель. Пролетарии всех стран должны были соединиться, сбросить капитализм и обрести вечное блаженство. Но в 1918 году коммунисты, к своему собственному удивлению, оказались у власти в России, и им надлежало наглядно доказать, что они могут осуществить свой золотой век. Коммунисты справедливо ссылаются на условия военного времени, блокаду и тому подобное, как на причины, задерживающие создание нового и лучшего социального строя, но тем не менее совершенно очевидно, что они начинают понимать, что марксистский образ мышления не дает никакой подготовки к практической деятельности. Есть множество вещей — я упоминал некоторые из них,— за которые они не знают, как взяться... Но рядовой коммунист начинает негодовать, если вы осмелитесь усомниться в том, что при новом режиме все делается самым лучшим и самым разумным способом. Он ведет себя, как обидчивая хозяйка, которая хочет, чтобы ее похвалили за образцовый порядок в доме, хотя там все перевернуто вверх дном из-за переезда на новую квартиру. Такой коммунист напоминает забытых теперь суфражисток, обещавших рай на земле, как только удастся освободиться от тирании «установленных мужчиною законов». Но Ленин с откровенностью, которая порой ошеломляет его последователей, рассеял недавно последние иллюзии насчет того, что русская революция означает что-либо иное, чем вступление в эпоху непрестанных исканий. Те, кто взял на себя гигантский труд уничтожения капитализма, должны сознавать, что им придется пробовать один метод действия за другим, пока, наконец, они не найдут тот, который наиболее

соответствует их целям и задачам, писал он недавно.

Мы начали беседу с обсуждения будущего больших городов при коммунизме. Мне хотелось узнать, как далеко пойдет, по мнению Ленина, процесс отмирания городов в России. Разоренный Петроград навеял мысль, которая раньше не приходила мне в голову, что весь внешний облик и планировка города определяются торговлей и что уничтожение ее, прямо или косвенно, делает бессмысленным и бесполезным существование девяти десятых всех зданий обычного города. «Города станут значительно меньше»,— подтвердил Ленин. «И они станут иными, да, совершенно иными». Я сказал, что это означает снос существующих городов и возведение новых и потребует грандиозной работы. Соборы и величественные здания Петрограда превратятся в исторические памятники, как церкви и старинные здания Великого Новгорода и храмы Пестума. Огромная часть современного города исчезнет. Ленин охотно согласился с этим. Я думаю, что ему было приятно беседовать с человеком, понимавшим неизбежные последствия коллективизма, которых не могли полностью осознать даже многие его сторонники. Россию надо коренным образом перестроить, воссоздать заново...

А как промышленность? Она тоже должна быть реконструирована коренным образом?

Имею ли я представление о том, что уже делается в России? Об электрификации России?

Дело в том, что Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех «утопистов», в конце концов сам впал в утопию, утопию электрификации. Он делает все, от него зависящее, чтобы создать в России крупные электростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности. Он сказал, что в порядке опыта уже электрифицированы два района. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность? Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в Голландии,

они обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонаселенных странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые, электрифицированные, он видит, как новые шоссейные дороги прорезают всю страну, как подымается обновленная и счастливая, индустриализированная коммунистическая держава. И во время разговора со мной ему почти удалось убедить меня в реальности своего предвидения.

— И вы возьметесь за все это с вашими мужиками, крепко сидящими на земле?

Будут перестроены не только города; деревня тоже изменится до неузнаваемости.

— Уже и сейчас,— сказал Ленин,— у нас не всю сельскохозяйственную продукцию дает крестьянин. Кое-где существует крупное сельскохозяйственное производство. Там, где позволяют условия, правительство уже взяло в свои руки крупные поместья, в которых работают не крестьяне, а рабочие. Такая практика может расшириться, внедряясь сначала в одной губернии, потом в другой. Крестьяне других губерний, неграмотные и эгоистичные, не будут знать, что происходит, пока не придет их черед...

Может быть, и трудно перестроить крестьянство в целом, но с отдельными группами крестьян справиться очень легко. Говоря о крестьянах, Ленин наклонился ко мне и перешел на конфиденциальный тон, как будто крестьяне могли его услышать.

Я спорил с ним, доказывая, что большевикам придется перестроить не только материальную организацию общества, но и образ мышления целого народа. По традициям и привычкам русские — индивидуалисты и любители поторговать; чтобы построить новый мир, нужно сперва изменить всю их психологию. Ленин спросил, что мне удалось повидать из сделанного в области просвещения. Я с похвалой отозвался о некоторых вещах.

Он улыбнулся, довольный. Он безгранично верит в свое дело.

— Но все это только наброски, первые шаги,— сказал я.

— Приезжайте снова через десять лет и посмотрите, что сделано в России за это время,— ответил он.

Разговаривая с Лениным, я понял, что коммунизм, несмотря на Маркса, все-таки может быть огромной творческой силой. После всех тех утомительных фанатиков классовой борьбы, которые попадались мне среди коммунистов, схоластов, бесплодных, как камень, после того, как я насмотрелся на необоснованную самоуверенность многочисленных марксистских начетчиков, встреча с этим изумительным человеком, который откровенно признает колоссальные трудности и сложность построения коммунизма и безраздельно посвящает все свои силы его осуществлению, подействовала на меня живительным образом. Он, во всяком случае, видит мир будущего, преображенный и построенный заново.

Ему хотелось услышать от меня побольше о моих впечатлениях от России. Я сказал, что, по-моему, во многих вопросах коммунисты проводят свою линию слишком быстро и жестко, разрушая раньше, чем они сами готовы строить; особенно это ощущается в Петроградской коммуне. Коммунисты уничтожили торговлю раньше, чем они были готовы ввести нормированную выдачу продуктов; они ликвидировали кооперативную систему вместо того, чтобы использовать ее, и т. д. Эта тема привела нас к нашему основному разногласию — разногласию между эволюционным коллективистом и марксистом, к вопросу о том, нужна ли социальная революция со всеми ее крайностями, нужно ли полностью уничтожать одну экономическую систему до того, как может быть приведена в действие другая. Я верю в то, что в результате большой и упорной воспитательной работы теперешняя капиталистическая система может стать «цивилизованной» и превратиться во всемирную коллективистскую систему, в то время как мировоззрение Ленина издавна неотделимо связано с положениями марксизма о неизбежности классовой войны, необходимости свержения капиталистического строя в качестве предварительного условия перестройки общества, о диктатуре пролетариата

и т. д. Он вынужден был поэтому доказывать, что современный капитализм неисправимо алчен, расточителен и глух к голосу рассудка, и пока его не уничтожат, он будет бессмысленно и бесцельно эксплуатировать все, созданное руками человека, что капитализм всегда будет сопротивляться использованию природных богатств ради общего блага и что он будет неизбежно порождать войны, так как борьба за наживу лежит в самой основе его.

Должен признаться, что в споре мне пришлось очень трудно. Ленин внезапно вынул новую книгу Киоцца Моней «Триумф национализации», с которой он, очевидно, был хорошо знаком.

— Вот видите, как только у вас появляется хорошая, действенная коллективистская организация, имеющая хоть какое-нибудь значение для общества, капиталисты сразу же уничтожают ее. Они уничтожили ваши государственные верфи, они не позволяют вам разумно эксплуатировать угольные шахты.

Он постучал пальцем по книге.

— Здесь обо всем этом сказано

И в ответ на мои слова, что войны порождаются националистическим империализмом, а не капиталистической формой организации общества, он внезапно спросил:

— А что вы скажете об этом новом республиканском империализме, идущем к нам из Америки?

Здесь в разговор вмешался г. Ротштейн, сказал что-то по-русски, чему Ленин не придал значения.

Невзирая на напоминания г. Ротштейна о необходимости большей дипломатической сдержанности, Ленин стал рассказывать мне о проекте, которым один американец собирался поразить Москву. Проект предусматривал оказание экономической помощи России и признание большевистского правительства, заключение оборонительного союза против японской агрессии в Сибири, создание американской военно-морской базы на Дальнем Востоке и концессию сроком на пятьдесят — шестьдесят лет на разработку естественных богатств Камчатки и, возможно, других обширных районов Азии. Поможет это укрепить мир? А не явится ли это началом новой всемир-

ной драки? Понравится ли такой проект английским империалистам?

Капитализм, утверждал Ленин,— это вечная конкуренция и борьба за наживу. Он прямая противоположность коллективным действиям. Капитализм не может перерасти в социальное единство или всемирное единство.

— Но какая-нибудь промышленная страна должна прийти на помощь России,— сказал я.— Она не может сейчас начать восстановительную работу без такой помощи...

Во время нашего спора, касавшегося множества вопросов, мы не пришли к единому мнению. Мы тепло распрощались с Лениным; на обратном пути у меня и моего спутника снова неоднократно проверяли пропуска, как и при входе в Кремль.

— Изумительный человек,— сказал г. Ротштейн.— Но было неосторожно с его стороны...

У меня не было настроения разговаривать; мы шли в наш особняк вдоль старинного кремлевского рва, мимо деревьев, листва которых золотилась по-осеннему; мне хотелось думать о Ленине, пока память моя хранила каждую черточку его облика, и мне не нужны были комментарии моего спутника. Но г. Ротштейн не умолкал.

Он все уговаривал меня не упоминать г. Вандерлипу об этом проекте русско-американского сближения, хотя я с самого начала заверил его, что достаточно уважаю сдержанность г. Вандерлипа, чтобы нарушить ее каким-нибудь неосторожным словом.

И вот — снова дом на Софийской набережной, поздний завтрак с г. Вандерлипом и молодым скульптором из Лондона. Подавая на стол, старик слуга грустно глядел на наше скудное меню, вспоминая о тех великолепных днях, когда в этом доме останавливался Карузо и пел в одной из зал второго этажа перед самым избранным обществом Москвы. Г-н Вандерлип предлагал нам днем познакомиться с московским рынком, а вечером смотреть балет, но мы с сыном решили в тот же вечер уехать обратно в Петроград, а оттуда — в Ревель, чтобы не опоздать на пароход, уходивший на Стокгольм.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предыдущие главы написаны от первого лица и в очерковом стиле, так как я хотел, чтобы читатель ни на минуту не упускал из виду краткость нашего пребывания в России и ограниченность моих возможностей. Сейчас, заканчивая книгу, я хотел бы, если у читателя хватит терпения прочесть еще несколько строк, изложить с меньшей субъективностью и с большей ясностью свои основные соображения о положении в России. Эти соображения вытекают из моих глубоких убеждений и касаются не только России, но и всего будущего нашей цивилизации. Это всего лишь мои личные убеждения, но они глубоко волнуют меня, и потому я излагаю их без каких-либо оговорок.

Начнем с того, что Россия, которая представляла собой цивилизацию западного типа — наименее организованную и наиболее шаткую из великих держав,— сейчас представляет собой современную цивилизацию in extremis[1]. Непосредственная причина крушения России— последняя война, которая привела ее к физическому истощению. Только благодаря этому большевики смогли захватить власть. История не знает ничего, подобного крушению, переживаемому Россией. Если этот процесс продлится еще год, крушение станет окончательным. Россия превратится в страну крестьян; города опустеют и обратятся в развалины, железные дороги зарастут травой. С исчезновением железных дорог исчезнут последние остатки центральной власти.

Крестьяне совершенно невежественны и в массе своей тупы, они способны сопротивляться, когда вмешиваются в их дела, но не умеют предвидеть и организовывать. Они превратятся в человеческое болото, политически грязное, раздираемое противоречиями и мелкими гражданскими войнами, поражаемое голодом при каждом неурожае. Оно станет рассадником всяческих эпидемических заболеваний в Европе и все больше и больше будет сливаться с Азией.

Крушение цивилизации в России и замена ее крестьянским варварством на долгие годы отрежет Европу

[1] При последнем издыхании *(лат.)*.

от богатых недр России, от ее сырья, зерна, льна и т. п. Страны Запада вряд ли могут обойтись без этих товаров. Отсутствие их неизбежно поведет к общему обнищанию Западной Европы.

Единственное правительство, которое может сейчас предотвратить такой окончательный крах России,— это теперешнее большевистское правительство, при условии, что Америка и западные державы окажут ему помощь. В настоящее время никакое другое правительство там немыслимо. У него, конечно, множество противников,— всякие авантюристы и им подобные готовы с помощью европейских государств свергнуть большевистское правительство, но у них нет и намека на какую-нибудь общую цель и моральное единство, которые позволили бы им занять место большевиков. Кроме того, сейчас уже не осталось времени для новой революции в России. Еще один год гражданской войны — и окончательный уход России из семьи цивилизованных народов станет неизбежным. Поэтому мы должны приспособиться к большевистскому правительству, нравится нам это или нет.

Большевистское правительство чрезвычайно неопытно и неумело; временами оно бывает жестоким и совершает насилие, но в целом — это честное правительство. В нем есть несколько человек, обладающих подлинно творческим умом и силой, и они смогут, если дать им возможность и помочь им, совершить великие преобразования. Судя по всему, большевистское правительство старается действовать в соответствии со своими убеждениями, которых большинство его сторонников до сих пор придерживается с чуть ли не религиозным пылом. Если оказать большевикам щедрую помощь, они, возможно, сумеют создать в России новый, цивилизованный общественный строй, с которым остальной мир сможет иметь дело. Вероятно, это будет умеренный коммунизм с централизованным управлением транспортом, промышленностью и, позднее, сельским хозяйством.

Если народы западных стран хотят по-настоящему помочь русскому народу, они должны научиться понимать и уважать убеждения и принципы большевиков. До сего времени правительства западных стран самым грубым образом игнорировали эти убеждения и принципы. Советское правительство, как оно само о том заяв-

ляет,— коммунистическое правительство, и оно полно твердой решимости строить свою деятельность на принципах коммунизма. Оно отменило частную собственность и частную торговлю в России не из конъюнктурных соображений, а потому, что считало это справедливым; и во всей России не осталось сейчас лиц и организаций, занимающихся торговлей, с которыми мы могли бы вести дела на основе обычаев и норм западноевропейской торговой практики. Нам следует понять, что большевистское правительство в силу самой своей природы испытывает сильнейшее предубеждение против частных предпринимателей и торговцев и всегда будет, с точки зрения последних, обращаться с ними несправедливо и без уважения; оно всегда будет не доверять им и везде, где только возможно, ставить их в самое невыгодное положение. Оно считает их пиратами, а в лучшем случае — каперами. Поэтому частным лицам и фирмам нечего и думать о торговле с Россией. В этой стране есть только одно юридическое лицо, которое может предложить западному миру необходимые гарантии и с которым можно эффективно вести дела, а именно — само большевистское правительство, и для этого существует только один путь — создать какой-нибудь национальный, а еще лучше международный трест. Такой трест, который представлял бы одно или несколько государств и даже был бы номинально связан с Лигой Наций, мог бы иметь дело с большевистским правительством на равных началах. Ему пришлось бы признать это правительство и вместе с ним приняться за разрешение назревшей задачи создания материальной основы для восстановления условий цивилизованной жизни в европейской и азиатской частях России. По своей общей структуре он должен походить на один из тех крупных закупочно-распределительных трестов, которые сыграли такую важную роль в жизни европейских государств во время мировой войны. Этот трест имел бы дело с отдельными промышленниками, а большевистское правительство, со своей стороны, имело бы дело с населением России; за короткое время он мог бы стать совершенно незаменимым для большевистского правительства. Только по такому пути может развиваться торговля капиталистического государства с коммунистическим. Все попытки, которые делались в про-

шлом году и раньше, найти какой-либо способ вести частную торговлю с Россией без признания большевистского правительства, были с самого начала столь же безнадежны, как поиски северо-западного пути из Англии в Индию. Лед непреодолим.

Любая страна или группа стран, обладающая достаточными промышленными ресурсами, которая пойдет на признание большевистской России и будет оказывать ей помощь, неизбежно станет опорой, правой рукой и советником большевистского правительства. Она будет воздействовать на это правительство и, в свою очередь, подвергаться его воздействию. Страны, входящие в такой трест, станут более склонны к методам коллективизма, а с другой стороны, строгости, налагаемые крайним коммунизмом в России, вероятно, значительно смягчатся под их влиянием.

Соединенные Штаты Америки — единственная держава, которая может взять на себя роль такого спасителя, являющегося в последнюю минуту. Вот почему дело, которое замыслил предприимчивый и не лишенный воображения г. Вандерлип, представляется мне весьма знаменательным. Я сомневаюсь в положительных результатах его переговоров; возможно, они представляют собой лишь начальную стадию обсуждения русской проблемы на новой основе, которое может привести, наконец, к тому, что эта проблема будет решаться всеобъемлюще, в мировом масштабе. Так как мировые ресурсы истощены, если не считать США, другим державам придется объединить свои усилия, чтобы иметь возможность оказать России эффективное содействие. У коммунистов нет отвращения к ведению дел в большом масштабе; напротив, чем больше масштаб, тем больше и приближение к коллективизму. Это высший путь к коллективизму для немногих, в отличие от низшего пути, которым идут массы.

Я твердо убежден, что без такой помощи извне в большевистской России произойдет окончательное крушение всего, что еще осталось от современной цивилизации на территории бывшей Российской империи. Это крушение вряд ли ограничится ее пределами. Другие государства, к востоку и западу от России, одно за другим будут втянуты в образовавшуюся таким образом пропасть. Воз-

можно, что эта участь постигнет всю современную цивилизацию.

Эти соображения относятся не к какому-то гипотетическому будущему; излагая их, я пытался дать общую картину событий, развивающихся с огромной быстротой в России и во всем мире, и наметить возможные перспективы,— как все это мне представляется. Такова общая характеристика создавшегося положения, и я хотел бы, чтоб читатель руководствовался ею, знакомясь с моими очерками о России. Так я толкую письмена на восточной стене Европы.

1920

Статьи

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Вашингтон, 11 ноября.

Англия, Франция, Италия, а теперь и народ Соединенных Штатов — каждая страна, следуя своим национальным традициям и условиям времени, воздала воинские почести и предала земле тело Неизвестного Солдата. Канада, я слышал, также собирается последовать этому примеру.

Так весь мир выразил свое ощущение, что единственным подлинным героем Великой войны был простой человек. А сколько еще несчастных Гансов и Иванов остались гнить в земле сотен полей сражения: кости и прах, лохмотья истлевших шинелей, остатки амуниции — и все они еще ждут памятников и речей. Ведь они тоже были чьими-то сыновьями, ходили строем, выполняли приказы, с песней шли в атаку и познали ни с чем не сравнимый хмель солдатской дружбы и преданность чему-то гораздо более важному, чем их собственная жизнь.

На Арлингтонском кладбище солдаты из армии южан погребены с такими же почестями, как и солдаты из армии северян; давно забыто, кто был прав, кто виноват в их распре, все помнят только жертвы, принесенные этой войне. Придет время, когда и мы перестанем сваливать на солдат и простых людей Германии и России преступления, ошибки и неудачи их правительств, когда выдохнется вся горечь ненависти, и мы станем оплакивать их, как оплакиваем своих погибших — просто как

живые души тех, кто отдал свою жизнь и жестоко пострадал в одной общей катастрофе.

Придет час, когда эти величественные эмблемы войны — Неизвестные Солдаты Англии, Америки, Франции и других стран сольются в нашей памяти в символ, еще более великий, станут воплощением двадцати миллионов мертвых и многих миллионов загубленных жизней — и превратятся в Неизвестного Солдата Великой войны.

Я думаю, что можно будет представить себе о нем очень многое. Мы, вероятно, сможем довольно точно установить его возраст, рост, вес и прочие подробности такого рода. Обо всем этом можно собрать средние цифры и данные, очень близкие к действительным. Что же касается расы и цвета кожи, то, вернее всего, это будет житель Северной Европы; северянин из России, Германии, Франции, Италии, англичанин и американец выглядят примерно одинаково — все это высокие светловолосые, чаще всего голубоглазые люди; но, помимо этого, в нем будет и средиземноморская жилка, и индийские, и турецкие черточки, и что-то монгольское, и капелька африканской крови — не только от темнокожих американских солдат, но и через сенегальцев, воевавших за Францию.

Однако все это не помешает ему быть прежде всего северянином с такой же смешанной кровью, какая, наверное, будет течь в жилах граждан Америки 1950 года. Он будет белым, с небольшой примесью азиатской и негритянской крови. И будет молод — лет двадцати — двадцати двух — еще совсем мальчик, верней всего, неженатый; у него есть и отец и мать; и воспоминания о них и о доме, где он родился, были еще свежи и живы в его памяти, когда он умирал.

Мне кажется, мы можем восстановить в общих чертах и обстоятельства его смерти. Это случилось при свете дня, среди невероятного шума и сумятицы нынешнего боя — его вдруг ударило неизвестно откуда и неизвестно чем — пулей или осколком снаряда... В это мгновение он был чуть-чуть испуган — на поле боя все немного испуганы,— но возбуждение было сильнее страха: он изо всех сил старался вспомнить все, чему его обучали, и делать все как нужно. Когда его ударило, он прежде всего почувствовал не боль, а удивление. Мне кажется,

что первое ощущение человека, раненного на поле боя, не боль, а бесконечная тоска.

Мне кажется, можно пойти еще дальше и представить себе, скоро ли он умер после того, как его ранило, сколько времени он страдал и удивлялся, долго ли лежал, прежде чем дух его смешался в сумерках с молчаливым множеством других душ, с миллионами таких, как он, у которых не было больше родины, чтобы ей служить, и кого впереди не ждали долгие годы жизни; их, как и его, внезапно вырвали из мира, зримого и осязаемого, из мира чаяний и страстей... Но лучше подумаем о том, какие же побуждения и чувства привели его — мужественного и жизнелюбивого — к такому полному самопожертвованию.

Что думал он в ту минуту, когда его убили,— этот Неизвестный Солдат? А мы, мы, кто послал его на эту Великую войну, мы, которые до сих пор живем в его мире, какие мысли внушили мы ему, какие обязательства взяли мы на себя, чтобы возместить ему его смерть, навсегда утраченную им жизнь и солнечный свет?

Он был еще слишком молод, чтобы полностью сознавать свои побуждения. Понять, что двигало им и к чему он стремился,— сомнительная и трудная задача. На недавнем заседании ассамблеи Лиги Наций мистер Джордж Ноблмэр заявил, что сам слышал, как французский юноша шептал, умирая: «Да здравствует Франция!» Он предположил, что немецкие юноши умирают со словами: «Полковник, передайте моей матери: «Да здравствует Германия!» Возможно, он прав. Но французов воспитывают в патриотическом духе усиленнее, чем все другие народы. Не думаю, чтобы все разделяли это настроение. Англичане, безусловно, не все разделяли его.

Я могу себе представить лишь немногих английских юношей, которые умирают со словами: «Правь, Британия!» или «Король Георг и добрая старая Англия!» Некоторые из наших ребят бранились от горя и страданий; некоторые — и далеко не всегда самые младшие— вновь впадали в детство и трогательно звали матерей; многие до конца сохраняли дерзкое чувство юмора, свойственное англичанам; а многие умирали с чувством, которое выразил один молодой шахтер из Дургема; я го-

ворил с ним как-то под утро у Мартинпиша в окопах, которые страшно разворотило снарядом в эту ночь.

— Война — отвратительная штука,— сказал он,— но дело надо довести до конца.

Эти же чувства одушевляют спасательную команду или пожарников. Великие благородные чувства. И я верю, что они куда ближе к истинному настроению Неизвестного Солдата, нежели урапатриотическая чепуха по поводу флага, нации или империи.

Я думаю, что, если свести воедино побуждения, которые владели юношами, погибшими на войне в самом расцвете жизни, как раз в том возрасте, когда жизнь особенно желанна, мы увидим, что ими в огромном большинстве руководила, конечно, не узкая приверженность к «славе» или к «завоевательным планам» какой-либо страны, но благородная ненависть ко всякой несправедливости и угнетению. И это ясно видно хотя бы из воззваний, которыми в каждой стране старались поддержать дух солдат.

Если бы главным побуждением этих молодых людей были национальная слава и патриотизм, то пропаганда, очевидно, касалась бы главным образом национальной чести и поклонения флагу. Но это не так. В наши времена знамена и флаги развеваются больше на парадах и флагштоках, чем на поле брани. Военная пропаганда настойчиво и упорно сосредоточивала свое внимание на жестокости и бесчинствах врага, на том, как страшно попасть под тиранию чужестранцев, и прежде всего на том, что именно враг задумал и начал эту войну. И повсюду как раз такая пропаганда сильнее всего побуждала юношей рваться в бой.

Итак, поскольку дело касается простого гражданина любой из воюющих стран, Великая война была войной против несправедливости, против насилия, против самой войны. Что бы там ни думали дипломаты, таковы были мысли юношей, которые шли умирать. Для тех миллионов молодых и благородных, воплощением которых стал Неизвестный Солдат Великой войны, для тех немцев и русских, которые бились так доблестно — так же, как и для американцев, французов или итальянцев,— эта война была войной за окончание всех войн.

И это определяет наш долг перед ними.

Каждая речь, которая произносится у могил Неизвестных Солдат, спаянных ныне товариществом безвременной смерти, каждая речь, в которой патриотизм превозносят превыше мира на земле, каждая речь, в которой есть намеки на репарации и реванш и которая призывает к созданию бесчестных союзов для поддержания традиции войн; каждая речь, в которой национальная безопасность ставится выше, чем благополучие всего человечества, в которой размахивают «славным национальным флагом», припоминая времена великого мужества и великой трагедии всего человечества,— каждая такая речь — оскорбление и поругание памяти мертвого юноши, покоящегося в могиле. Он искал справедливости и закона так, как он их понимал, и каждый, кто посмеет приблизиться к месту его успокоения не с целью служить установлению всемирной законности и всемирной справедливости, но с лицемерной ложью на устах и модной трескотней об истасканном патриотизме и о войнах, ради прекращения которых умер Неизвестный Солдат,— совершает чудовищное святотатство и грешит против всего человечества.

Из книги «Вашингтон и загадка мира», 1922.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРОЧНЫЙ МИР

Я приступаю к своей последней статье о Вашингтонской конференции. Я попытался дать читателю представление о природе этого собрания и в общем виде обрисовать круг поставленных там проблем. Я попытался не позволить острым дискуссиям, происходящим на переднем плане, драматическим событиям и красноречивым выступлениям заслонить от нас мрачные и все более сгущающиеся тучи на небосклоне политической жизни Старого света. Я пытался показать, что даже ужасы войны — всего лишь часть главного бедствия, которое возникает в результате разобщенности людей и отсутствия порядка в обществе при все большем развитии техники. Я не раз возвращался к теме всеобщего экономического и социального упадка. Мне невольно пришлось много писать о неминуемых опасностях и надвигающихся бедах, о ненависти, подозрительности и невозможности найти общий язык. С другой стороны, когда ищешь путей и способов уйти от сегодняшних и назревающих конфликтов, то неизбежно попадаешь на шаткую и мало привлекательную стезю неосуществленных планов. Я уже писал о недостатках всего принципа построения Лиги Наций, о преждевременной скрупулезности в определении ее функций, теоретической слабости и подражательности ее форм, о множестве уловок для отвода глаз, таких, как, например, система подмандатных территорий, о явных несправедливостях; и в противовес Лиге Наций я выдвигал более новый и, по-моему, более простой и плодотворный проект системы периодических Конференций, выделяющих Комитеты, ко-

торые призваны воплощать их решения в виде договоров и создавать постоянные комиссии; эти Конференции постепенно превратятся не столько в мировой парламент — я все больше и больше убеждаюсь, что это — неосуществимая мечта,— а в живую, развивающуюся, органичную систему Мирового правительства.

А теперь в заключение я предлагаю читателю отвлечься от вынужденного обсуждения политических средств и административных методов, от этих сухих рассуждений о том, какие установления могут служить спасительным выходом из существующих ныне разногласий и ссор, и вместе со мной попытаться вообразить, чем бы мог стать наш мир, если бы сквозь эти унылые путаные проблемы люди сумели пробиться к деловому решению, если бы род человеческий действительно отказался от утомительных, пусть даже и обнадеживающих пререканий и сделок и сумел обеспечить всеобщий мир в разоружившемся мире, постепенно уничтожил бы расовые и национальные распри и недоверие, обрел растущую уверенность в прочном мире и господстве доброй воли на всей нашей планете и уверовал бы в разумную систему контроля над общими интересами всего человечества. Вообразите только, что после мрачной картины сегодняшнего голода и почти всеобщей неуверенности в завтрашнем дне, после наших беспорядочных и часто противоречивых попыток изменить это, через десять, двадцать, тридцать лет мы начинаем понимать, что в конце концов пробились и движемся к свету, что человечество снова переживает подъем на новом, более значительном и прочном основании; попробуем представить себе все это и потом зададим себе вопрос: что же это будет за мир, к которому мы начнем тогда приближаться?

Но сначала давайте выясним, в чем важнейшая причина теперешнего развала. Она таится отнюдь не в каком-то оскудении и слабости, а, напротив, в плохо сбалансированной мощи современного мира. Чрезвычайно важно всегда об этом помнить. Не соразмерный ни с чем рост энергии и перенапряженность — вот непосредственные причины всех наших сегодняшних бед; современная экономика переросла узкие границы европейских государств; наука и изобретательство сделали войну настолько чудовищно разрушительной и смертоносной, что по-

беда не компенсирует бедствий и разрушений; мы живем в мире крошечных стран, которые держат в своих руках огромные силы, способные вызвать всеобщую гибель. А из этого следует, что если нам в конце концов удастся выбраться из наших старинных и теперь уже гибельных распрей, прежде чем они нас уничтожат, то мы сохраним и науку и могущество, которые в силу какой-то внутренней необходимости все растут и развиваются. Таким образом, достигнуть организованного мира во всем мире не означает просто избегнуть смерти и разрушения и возвратиться к тому, что «было когда-то». Это означает овладеть могуществом в лучшем, а не в худшем смысле этого слова и двинуться прямо вперед. Мы боремся не только за то, чтобы уцелеть и избежать катастрофы, мы боремся за возможность достигнуть лучшего будущего.

Лично я не стал бы утруждать себя приездом в Вашингтон и не стал бы интересоваться всеми этими мирными договорами, трудиться и совершать ошибки, чувствовать свое бессилие, тревожиться и приходить в отчаяние, если бы все это нужно было только ради заключения мира, плоского, бессодержательного,— просто мира. Я не понимаю, почему убийство нескольких десятков миллионов людей, которые и так бесславно умрут через несколько лет, или разрушение множества ничем не примечательных, довольно уродливых и неблагоустроенных городов, или, наконец, уж если об этом зашла речь, полное истребление рода человеческого и перспектива для меня самого погибнуть от бомбы, пули или чумы должны подвигнуть меня на совершение такого огромного усилия. Стоит ли беспокоиться, чтобы заменить страдания пустотой и унынием? Скука — самое худшее, самое невыносимое из всех зол. Все мы где-нибудь умрем. И редкая смерть столь болезненна, как хорошая зубная боль, или столь тягостна, как жестокое несварение желудка; на мягком смертном одре мучаются иногда сильнее, чем на поле боя; да и, кроме того, всегда есть надежда урвать счастливую минуту и луч солнечного света. Но я движим глубоким непоколебимым убеждением, что моя собственная жизнь и жизнь всех вокруг меня далеко не так хороша, как она могла бы и должна была быть. Все эти войны и национальные конфликты, это

дурацкое махание флагами, бахвальство и толчея не столько меня пугают и приводят в отчаяние, сколько утомляют и раздражают. Я хорошо знаю, что могут принести нашей жизни наука и образование, и мне просто не дает покоя мысль о прекрасных целях, на которые можно направить человека и все его блестящие способности. Для меня война — не трагическая необходимость, а кровавая бойня. И о своей Европе я думаю не как мелкий слизняк, в чей мир вторглись гигантские злые силы; я думаю о ней как человек, в чей цветущий сад ворвались свиньи. Бывает пацифизм от любви, бывает от жалости, бывает от коммерческого расчета; но иногда источником пацифизма оказывается голое презрение. Мир, в котором мы живем, вовсе нельзя назвать обреченным, да и подбирать для него другое такое же благородно-трагическое определение тоже не стоит; это просто мир, самым дурацким образом испакощенный.

Неужели никто так и не осознает, каким цветущим может стать наш сад, как можно еще спасти его от разрушительной тупости старых раздоров и обид, которые губят и вытаптывают в нем все живое? Если весь мир воодушевится единой целью, если приостановятся всеобщие распри и разрушения, неужели мы не поймем, какие возможности открывает перед человечеством наука?

Я не стану предаваться мечтам и предвкушать радость будущих научных открытий; я могу только надеяться, что известные и проверенные на опыте изобретения распространятся по всему миру и что богатые знания, накопленные в лабораториях и библиотеках, действительно будут использоваться на благо и улучшение жизни всего человечества.

Обратимся сначала к самым простым, повседневным сторонам материальной жизни; за последнее время тут произошли огромные перемены, и поэтому легче всего вообразить себе, какие здесь наступят улучшения, если можно будет ослабить слепую ненависть и прекратить борьбу, так чтобы во всех делах человеческих — международных и общественных — господствовал дух великодушия и общности интересов.

Возьмем хотя бы транспорт — это важнейшая забота общества. Его уже сейчас можно серьезно улучшить.

Для этого имеются рабочая сила, мастерство, знания и весь необходимый материал. Есть все, кроме мира и понимания общей цели. Сейчас стальными рельсами опоясана лишь часть обитаемого мира; обширные пространства Азии, Африки и Южной Америки не имеют ни железных, ни шоссейных дорог, поэтому их богатейшие естественные ресурсы остаются под спудом. Хороших шоссейных дорог пока еще чуть ли не меньше, чем железных дорог; в сущности, обилие их мы находим разве только в Западной Европе и в высокоразвитых районах Соединенных Штатов; есть несколько широких магистралей и в таких странах, как Индия, Южная Африка, и других. А во многих районах Европы, особенно в России, шоссейные и железные дороги вообще приходят в негодность. Многие точки земного шара до сих пор достижимы лишь для специально оснащенных экспедиций; для обычных путешественников они так же недоступны, как обратная сторона луны. И если вы начнете вдумываться, почему дороги и железнодорожный транспорт не только не развиваются, но и во многих местах приходят в упадок, то почти в каждом случае вы наткнетесь на политические рогатки, на национальную или государственную конкуренцию. Вот причины, которые закрывают для нас половину мира, а вскоре, быть может, закроют чуть ли не весь мир. А вспомните наши шоссейные и железные дороги: как они жалки и неудобны, даже в Америке и Англии, по сравнению с тем, что могло бы быть!

Или возьмем жилье. Я немного путешествовал на машине по Мэрилэнду и Виргинии и был просто поражен количеством убогих деревянных домишек; их едва можно назвать домами, эти лачуги, хотя в них зачастую живут белые. Я был поражен видом плохо обработанных клочков земли, окруженных жалкими изгородями, полной неграмотностью большинства бедняков — и белых и негров,— с которыми мне удалось побеседовать. Я все время должен был напоминать себе, что нахожусь в самой великой, богатейшей и могущественнейшей из современных держав. Но и здесь, как и в других странах, армия, флот, полиция, военные долги и прочее наследие прошедших войн пожирают национальный доход. Америка не расходует на школы, на ремонт жилищ, на

дороги и транспорт и десятой части той суммы, которую должна была бы расходовать. Это положение улучшается, но очень медленно, ибо в мире царит несогласие и вечная угроза войны. Англия и Франция, которые когда-то далеко опередили Америку в области жилищного строительства, развития транспорта и распространения народного образования, теперь переживают упадок из-за финансовых трудностей: надо расплачиваться за прошлую войну и готовиться к новым. Подумайте только, что стало бы с миром, если бы с него спало это бремя военных приготовлений. Огромные средства, идущие на умилостивление бога войны, были бы сразу же переданы этим заброшенным и остро нуждающимся областям народного хозяйства.

Остановите во всем мире эту пустую трату средств, и освобожденное богатство и энергия хлынут в иное русло: улучшатся наши жилищные условия, красота и порядок воцарятся в неопрятных деревнях и их неприглядных окрестностях, весь мир опояшут хорошие дороги, сделав доступными людям самые отдаленные его уголки, и образование получит новый могучий толчок.

Какими счастливыми и прекрасными стали бы уже сегодня Англия, Франция и Италия, если бы можно было отвести от них мрачную угрозу войны, которая высасывает из них все соки и обрекает на нищету. Вспомните, как красивы и бесконечно разнообразны города и села Франции, как умен и обаятелен ее народ, мрачный и задавленный ныне трудом и заботами, в страхе ожидающий, что вот-вот разразится следующая война. Вспомните о Франции бесстрашной и, наконец, показавшей всему миру, на что она способна. И Италия, наконец Италия, и Япония — Япония... Вспомните о зеленых холмах Виргинии, ее величавых усадьбах и веселых домиках. Представьте себе землю, на которой путешественник вновь волен ехать куда ему угодно, на которой каждая страна мирно и в полной безопасности развивает свою архитектуру, музыку и все искусства — развивает по-своему, на основе собственных древних традиций. Ибо единство мира вовсе не подразумевает единообразия; оно означает полное право на оригинальность. Только война заковывает людей в одинаковую броню и форму цвета хаки.

Это возрождение национальных вкусов и стиля, новая творческая активность, расцвет и обогащение народов неизбежно наступят после того, как от войн, смерти, распрей и непримиримой вражды люди обратятся к миру и мирному строительству; но все это будут лишь внешние проявления гораздо более глубоких внутренних перемен. Только сбросив бремя войн, мы сможем заняться просвещением и образованием так, как этого давно требуют просветители и адепты современной педагогики.

Они утверждают, что каждый может учиться до шестнадцати-семнадцати лет и что большинство людей способно всю жизнь пополнять свои знания и развиваться духовно; но что ни в одной стране мира не хватает школ, или, во всяком случае, хорошо оборудованных школ, и не хватает подготовленных учителей даже в имеющихся школах. В еще более жалком положении находятся университеты. Есть ли хоть один смертный, который не чувствует, сколько он хотел бы знать, но не сумеет узнать и сколько своих возможностей не сумеет осуществить. Число высокообразованных и умственно и физически хорошо развитых людей — людей, о которых можно сказать, что они приблизились к наиболее полному воплощению заложенных в них способностей, ничтожно мало. Остальная часть человечества ущербна либо в физическом отношении, либо в умственном, либо и в том и в другом. Этот старый, грязный, обанкротившийся мир породил их и высосал из них все силы. Мы используем лишь двадцать или тридцать процентов отпущенных нам природой сил и реализуем такую же долю своих способностей; во столько же раз меньшего мы добиваемся в жизни и во столько же раз меньше испытываем счастья. Но если бы могли избавиться от этих бесконечных столкновений и войн, которые опустошают нашу землю, и заняться проблемой образования с той же энергией, с какой крупный делец берется за разработку минеральных залежей или за внедрение какого-либо изобретения, то вместо двадцати процентов мы поднимемся до восьмидесяти или девяноста процентов образованности.

Пройдитесь по переполненным народом улицам города и приглядитесь — как много болезненных, низко-

рослых и дурно воспитанных людей; обратите внимание на витрины магазинов, на рекламу, на газетные заголовки: все они рассчитаны на недоразвитых, невежественных, необразованных людей; представьте себе, что вы могли бы увидеть вместо этой улицы и этой толпы.

Богатство и энергия могли бы быть брошены на создание школ и организацию физического и духовного воспитания всех этих людей, но они были растрачены на взрывы снарядов, на разрушение дела рук человеческих; творческие силы рассеялись в бесплодных спорах; наука была задавлена и употреблена во зло; и воля не получила достойного применения. И никто среди этой толпы, ни один мужчина, зачавший ребенка, ни одна женщина, родившая его, даже и помыслить не может, что их дитя не окажется очередным плодом обманутых надежд.

Приходилось ли вам осматривать аэроплан или подводную лодку и задумываться над тем, что для создания этого удивительного совершенства потребовалась тысяча замечательных приспособлений и выдумок? А глядя на уличного бродягу на углу, вы никогда не задумывались о десяти тысячах упущенных. возможностей, которые могли бы спасти его от того, чем он стал?

Если продолжать цепь этих рассуждений, то совершенно очевидно, что мир с обширной сетью отличных шоссейных дорог, с регулярными рейсами новых, усовершенствованных поездов на железных дорогах, с дальними безопасными полетами аэропланов, с богатыми красивыми городами, с деревнями зелеными, как парки, в которых стоят очаровательные дома,— это всего лишь внешняя оболочка, рамка, обрамляющая жизнь хорошо воспитанных, образованных, во всех отношениях зрелых людей. Для них открыт весь мир, они могут взбираться на горы, скитаться в пустынях, изумляться тропикам, отдыхать в чудесных уголках земли. Они будут здоровы и счастливы, как могут быть счастливы только здоровые люди. Ибо всем известно, что ужасные болезни и недуги, которые ослабляют нас и превращают в калек, многие инфекции и бесчисленные результаты неправильного и плохого питания могут быть совершенно побеждены и навсегда изгнаны из жизни вместе с сопутствующими им бедами, ценой одного общего усилия, общего сотрудничества людей, которое займет место спо-

ров. Самые значительные материальные плоды мирного договора ничего не стоят. Главным плодом его будет здоровье и энергия человечества.

И счастье! Подумайте только, настанет утро, когда человек проснется не ради того, чтобы прочитать в газете о великих пререканиях, о голоде и беспорядках в половине стран мира, о сексуальных преступлениях и совершенных от жадности подлостях, в которых оказываются повинны взрослые с недоразвитыми мозгами порочных детей, о страшных заговорах и кознях против нашей дышащей на ладан безопасности, о мрачной необходимости быть «наготове». Подумайте, настанет утро, когда в газетах будут одни только *хорошие* новости об удивительных открытиях и прекрасных свершениях. Подумайте, каков будет обычный день обычного гражданина в мире, над которым больше не висит бремя долга, который постоянно развивается и в котором не бывает кризисов; в мире, где совершенно естественно выйти из красивого дома на чистую, прекрасную улицу и вместо престарелых детей, измученных затаенными обидами, завистью и низменными тревогами, встретить там счастливых и интересных людей; в мире, где каждый занимается благородным делом, помогающим двигать мир вперед, к еще более прекрасной и великой жизни.

Вы скажете, что мир может процветать и люди быть здоровыми и свободными и все-таки на земле останутся зависть, и злоба, и горечь несогласий, но это не более верно, чем то, что зубная боль все равно останется. Заботливо взращенный и просвещенный ум так же, как и тело, может быть излечен, очищен, облагорожен и освобожден от этих унизительных и подавляющих чувств, которые сегодня отравляют многие души. Физическое и моральное страдание — вовсе не обязательный элемент человеческой жизни. Разумеется, при условии, что высвободится достаточно человеческой энергии, чтобы каждый мог рассчитывать на достаточную заботу и поддержку со стороны своих ближних. Представьте себе, каким будет интерес к жизни в таком мире. Подумайте, какова должна быть сила мысли в мире, где с каждым днем исследовательский труд целой армии умов превращает непроницаемые и запутанные загадки вчерашнего дня в ясные и четкие знания. Подумайте о личном и общенациональном

складе характеров, о патриотических и расовых настроениях, ищущих и находящих свое выражение не в отвратительной взаимной вражде и животной жажде разрушения, а в четких линиях архитектуры городов, в окультуренной и целенаправленной красоте загородного пейзажа, в сотне форм искусства, в одежде и обычаях. Подумайте о свободе и полноте фантазии, о гармоничных различиях стран такого мира!

Это не пустое пророчество, это не пустая мечта. Такой мир мог бы стать нашим миром сегодня же, если бы только люди наконец поняли, что этого можно добиться. А добиться этого можно, этот прекрасный мир здесь — нужно лишь протянуть руку и взять его. Я пишу это с таким же глубочайшим убеждением, как писал в 1900 году, что люди могут летать. Но удастся ли нам прекратить эту дурацкую борьбу во всем мире, эту нравственную и умственную ребячливость агрессий во имя патриотизма, это непрекращающееся кровопролитие и нищету, и начать строить мир зрелый и разумный через десять, двадцать, сто лет, или, быть может, вовсе не удастся — этого я сказать не могу. Вашингтон явил мне людские надежды, перед которыми было не устоять, но увидел я и глупость, косность и предрассудки, которые, казалось, невозможно преодолеть; целых шесть недель я прожил в сложнейшем лабиринте пышных фраз, низких целей, вдохновения, нелогичности, забывчивости, вспышек величия и вспышек тупости. Я не беру на себя смелости сбалансировать все это и подвести итог, я просто не сумею это сделать. И потому все эти шесть недель я лишь поминутно переходил от надежды к отчаянию.

Но одно я знаю твердо: я так верю в этот Великий мир без войн, который находится совсем рядом с нами и готов пробудиться к жизни, как только к нему устремится наша воля, что я вынужден бродить по нынешнему миру беспорядка и тьмы, как изгнанник, и делать все, что только в моих слабых силах, ради мира моей мечты, то с надеждой, то с горечью, до последнего дня моей жизни.

Из книги «Вашингтон и загадка мира», 1922.

МИСТЕР ЛАЙОНС ЗАЩИЩАЕТ ОТ МОИХ «НАПАДОК» ГИТЛЕРА — ГЛАВУ ВЕЛИКОЙ ДРУЖЕСТВЕННОЙ ДЕРЖАВЫ

Мистер Лайонс, австралийский премьер-министр — этот типичный британский политический деятель, хоть он и родом из Тасмании,— впутался в пустяковый, но очень показательный спор с автором этих строк. Порой случайный жест полнее раскрывает идейную позицию и умонастроение, чем пространное заявление, и мистер Лайонс бесхитростно и прямо высказал все, что он думает, тем самым обнажив всю нерешительность, неискренность и опасность, которая таится в нынешнем руководстве Британского Содружества.

Лайонс — крайний сторонник чемберленовского курса, ультрачемберленист, если можно так сказать. В нем, как в капле воды, отразилось все, что препятствует развитию смелой, благородной и прогрессивной политики, общей как для стран английского языка, так и для всех демократических государств мира.

Наверное, самым губительным из всего, когда-либо случавшегося в жизни британского общества, была выдвинутая Джозефом Чемберленом фантастическая идея тарифного барьера вокруг Британской империи. Было что-то дьявольское в этой идее. Она была обращена к самым низменным стремлениям любителей легкой наживы в нашем индивидуалистическом британском обществе.

До этого времени претензии Британской империи на величие были в какой-то мере оправданы. Она простиралась по всему миру как добрая и дружеская рука. Ко-

нечно, ей были присущи и слабости и лицемерие, пример тому Чэдбэнд и семья Дедлоков[1], но тем не менее честный либерал мог верить в ее миссию. Но первый же из нашей злополучной династии Чемберленов все изменил. Это был человек с кругозором торгаша, рвущегося к монополии. Он взирал на мир из закутка скобяной лавки и видел его не с позиций интересов человечества, а с точки зрения барышей от преференциальной торговли. Он выдвинул подлый и коварный лозунг «изоляции», который, подобно недугу, ослабляет и подтачивает весь мир, говорящий по-английски.

«Оставьте нам наши привилегии и делайте что хотите по ту сторону нашего забора»,— говорят британские изоляционисты, а их коллеги в Америке и доминионах вторят им.

Противоречие между этой гнусной и в настоящее время нереальной изоляционистской теорией «наций и империй», согласно которой страны, смотря по тому, какая из них сильнее, делятся на платящих и взимающих дань, и пониманием того, что мир стал единым целым, составляет основу нынешней мировой политики.

Точку зрения на мир как на единое целое можно назвать идеей современного общества. Современного в том смысле, что лишь в наше время оно стало, во-первых, осуществимым и, во-вторых, крайне необходимым. Как изначальное стремление, эта идея так же стара, как буддизм или христианство.

Но в прошлом трудность общения мешала этой великой мечте человеческого братства осуществиться; кроме того, всегда находились препятствовавшие ей силы, будь то католический мир, ислам или татаро-монгольское нашествие.

Теперь положение в корне изменилось. События в России, Германии или Южной Каролине касаются англичанина в такой же мере, как и то, что происходит в Кардиффе или Найроби.

Рост вооружений в целях агрессии, организованная жестокость, духовная и физическая зараза, все усиливающиеся за рубежом, делают идею изоляции смехотворной.

---

[1] Персонажи романа Ч. Диккенса «Холодный дом».

Я считаю своим долгом относиться к немцам так же, как к моим согражданам лондонцам или австралийцам. Я утверждаю, что обладаю таким же правом судить об умственных способностях немецкого вождя, как немцы — обсуждать интеллект Чемберлена, нашего короля или президента Рузвельта.

И не только правом; в силу демократических традиций, все еще господствующих в странах английского языка, я обладаю еще и свободой суждения, я могу судить о вещах, которые не смеют обсуждать десятки тысяч моих сограждан в Германии.

Я настаиваю на том, что средний немец является обыкновенным человеком, просто пойманным в дипломатическую ловушку, и я не стану осуждать или карать его за те политические просчеты, которые привели его, беспомощного, с заткнутым ртом в руки нынешнего чудовищного руководства.

После 1914 года я изо всех сил доказывал, что война была войной против Гогенцоллернов и их бредовых идей, а не против немецкого народа. Но наиболее бесчестные представители победившей стороны требовали, чтобы Германия расплачивалась. И сейчас вовсе не народные массы враждующих стран жаждут второй мировой войны.

Единственной искупающей чертой чемберленовской политики является предоставленная простым людям Италии и Германии возможность выразить свое страстное стремление к миру. Поэтому изучение неистового бреда Гитлера, анализ «Моей борьбы», обсуждение проблемы спасения человечества от нацистского наваждения должны стать не просто объектом любопытства, а долгом всех культурных людей.

Эти мысли я высказал в беседе с журналистами города Перта. Я осмелился заявить, что склонность Гитлера к сентиментальному садизму в свете его расистских галлюцинаций и обращения с евреями дает мне право считать его законченным сумасшедшим. Здесь я попросту повторил сказанное мною в статье о перспективах на 1939 год, напечатанной в «Ньюс Кроникл».

До тех пор, пока мы не начнем открыто и прямо высказывать то, что является тайным убеждением большинства интеллигентных немцев, бесполезно надеяться

на установление какого-либо постоянного взаимопонимания с немецким народом. В противном случае все наши потуги дать сколько-нибудь рациональное объяснение выходкам Гитлера будут рассматриваться как надувательство и оппортунизм.

Вот тут-то и появляется наш сверх меры британский мистер Лайонс. Он бы не заметил этих неофициальных заметок, если бы не жара и не крики разносчиков газет. «Премьер-министр осуждает Г. Уэллса»,— запестрило в заголовках. Я оскорбил главу дружественной державы. А если это прогневит его, что будет с нами?

Лайонс, по-видимому, живет в мире, где государством управляют головы, лишенные либо мозгов, либо тел. Мой ответ был краток и сводился к тому, что премьер-министр, как и всякий другой, имеет право высказывать свое мнение. Он не успокоился и пошел еще дальше, заявив, что мнение правительства Британского содружества в корне отличается от моего.

И тогда-то в Австралии началось столь бурное, свободное и широкое обсуждение этого вопроса, что для министра стало невыносимым что-либо слышать или читать об этом.

Я понял, что вторгся в страну, где проблема подавления общественного мнения стоит еще острее, чем в Англии. Лайонс, как и Чемберлен, явно преувеличивает собственную дальновидность, полагая, что изоляционистские сделки следует совершать путем подмигиваний, кивков и тайных переговоров. Факиры-изоляционисты до окончания работы должны быть избавлены от оскорбительных запросов и раздражающих комментариев.

Лайонс, как Рейт в Англии, воплощает в себе лицемерное, инстинктивное, по существу, защитное нежелание признавать огромные изменения, происходящие сейчас в жизни человечества. Нет, они не хотят подавлять людей, они хотят их парализовать. Они хотят скрыть действительность. Хотят, чтобы все делалось влиятельными людьми без шума, и чем меньше будут болтать об этом, тем лучше. Они до смерти боятся жизни. В Австралии, как и в Англии, идет борьба не просто между умами, но и в самих умах с целью задушить всякое проявление свободы и бесстрашия.

Реакция не начинается и не кончается с мистером Лайонсом. Она, как эпидемия, охватывает всю общественную жизнь Австралии. Лайонс лишь наиболее яркое ее проявление. В целом Австралийская радиовещательная корпорация прогнила меньше, чем Би-би-би, которая дает передачи специально для Австралии, но и здесь так же преследуют уличных ораторов, пикетчиков и забастовщиков, как в Англии. Скандально растут иммиграционные ограничения, чтобы не впустить этот жупел трусливых изоляционистов — «иностранного агитатора». Мне говорили, что ограничивается и свобода слова, так как печать превращается в коммерческое предприятие и собственность на нее концентрируется в немногих руках.

Но в самых нелепых и возмутительных чертах эта мелкая нетерпимость проявляется на таможнях. Заслон безграмотных полицейских и чиновников ограждает нежные умы австралийцев от так называемой подрывной литературы. С их точки зрения, «Священный Тупик» А. П. Герберта, например, неприемлем в приличном обществе.

Систематически подавляются попытки австралийских рабочих выразить свое отношение к вопросам внешней политики. В то время, как правительство открыто обсуждает предложение о бойкоте Японии, владельцы пристаней Порт-Кэмбла за отказ грузить для нее металлический лом подвергаются жестоким преследованиям. Эта борьба, по-видимому, расширится и примет более сложные формы с введением всеобщей воинской повинности. Так в Англии страх перед воздушной войной используется для того, чтобы насильно надеть на людей форму и принудить народ к военной дисциплине.

Приятно не иметь ни прошлого, ни будущего в Австралии и быть настолько свободным, чтобы высказывать эти крамольные замечания. Я повторял их где только мог и каждый раз в ответ получал взволнованные письма читателей. Это так похоже на Англию: не простая организованная тирания, а сложная система обскурантизма тайком душит и разрушает у нас живой дух свободы.

Из книги «Путешествия республиканца-радикала в поисках горячей воды», 1939.

ДЕМОКРАТИЯ В ЗАПЛАТАХ

Самым знаменательным событием последних шести месяцев в жизни Британского общества является развал так называемых прогрессивных группировок и поиски эффективных мер для их восстановления. Широко распространено ощущение того, что попираются даже самые элементарные человеческие права, что во всем мире происходит возврат к беззаконию и насилию, что неразбериха в руководстве и неопределенность целей препятствуют повсеместному стремлению простого человека к действительному восстановлению свободы и безопасности. Он знает, что в наше время существует реальная возможность достичь изобильной и всесторонне насыщенной жизни для каждого, но тут же с недоумением обнаруживает, что его стремление к счастливой жизни подавляют, что ему угрожают и мешают. Повсюду он наталкивается на препятствия и угрозы.

Причины этого загадочного крушения свобод стали в моей жизни основным объектом внимания, по крайней мере за последнюю треть столетия. Я люблю во всем ясность и был воспитан в духе старого доброго радикализма моего отца и старого школьного учителя в те времена, когда Джозеф Чемберлен был известен как «красный» и считался едва ли более приемлемым для королевы Виктории, нежели его коллега — республиканец сэр Чарльз Дилк. Мы считали, что простые люди должны обладать нерушимой волей, сплоченностью, верой в свою правоту и требовать у эксплуататорских классов «выкупа», как выражался Джозеф Чемберлен, выкупа, ко-

торый приведет к полной расплате; и мы не признавали бессмысленных догм ни в каких формах и видах. Громадные достижения в области биологии и геологии наполняли мое поколение надеждой и уверенностью в своих силах.

Я до сих пор сохранил эту веру в справедливость, разумность и возможность того доброго мира, но я уже не столь убежден в его осуществимости. «А почему бы и нет?» — вот мысль, которая все настойчивее овладевает моим сознанием и творчеством. Вопреки собственной воле я превратился в исследователя сил, противостоящих и противодействующих претворению в жизнь идеи нового мира. Даже герои моих романов, от необразованного Киппса до бесконтрольной эгоистки Долорес и Рада Уитлоу, который был настолько запуган жизнью, что не мог чувствовать себя в безопасности, пока не стал диктатором всего человечества, служат изучению этого крушения.

Одним из распространенных недостатков нашего мышления является привычка при любых обстоятельствах отыскивать козла отпущения. Мы превращаемся в «анти», мы выступаем против того или другого и убеждаем себя, что если бы можно было это, то или другое обойти, преодолеть, раздавить и уничтожить, человечество было бы счастливо. Так все мы становимся антифашистами, или антинацистами, или антикрасными, или антикатоликами, или антисемитами, и, кажется, нет ничего труднее, чем заставить людей осознать необходимость ясного и определенного нового мира и приняться за его осуществление в соответствии со своими мечтами. Ибо сама по себе позиция «анти» совершенно бесплодна. Если вы «анти» для того, чтобы освободить что-то, вам необходимо иметь четкое представление о том, что именно вы хотите освободить.

Я делаю все возможное для сохранения всеобщего мира. Я убежден, что для этого необходимо заново обучить все человечество на единой основе. В противном случае наши нынешние беспорядки будут все усиливаться, и яркое видение всемирного братства активных счастливых и честных человеческих существ, воодушевлявшее нас в прошлом, угаснет в человеческом воображении. Я прилагал все свои слабые силы для пропаганды этого ви-

дения. В трех квазиэнциклопедических книгах я попробовал набросать грубую схему возможного мира, которая послужила бы своего рода общей основой. Я стал преследовать своими тезисами о положении в мире ученых мужей и педагогические конференции. При всяком удобном случае я беседую с публицистами и политическими деятелями. Чаще всего создается впечатление, что они не имеют ни малейшего представления о мире, который создают. Они рассеянно выслушивают меня или украдкой пытаются использовать некоторую мою известность для украшения своей политической платформы. Время от времени я пытаюсь привлечь их внимание нападками, тем более оскорбительными, что они правдивы.

«Вы разглагольствуете о демократии,— говорю я,— вы, наверное, считаете, что боретесь за демократию. А потратили ли вы когда-нибудь десять минут на размышление о том, что вы подразумеваете под демократией?»

Одержимый идеей переобучения, я отправился в Австралийскую и Ново-Зеландскую Ассоциацию развития науки в Канберре и повторил свои тезисы там. Все были очень любезны и говорили, что я оказываю исключительно воодушевляющее воздействие, но я не заметил ни малейших признаков воодушевления. Я написал одну или две статьи об Австралии, которая оказалась лицом к лицу с природой и Японией. Но мой агент в Америке обратился ко мне с настоятельной просьбой не писать больше об Австралии. Америка, по его словам, знать не знает и знать не желает об Австралии. Английские читатели, в свою очередь, ничего не хотят слышать о хорошо управляемом шестидесятимиллионном населении Голландской Ост-Индии. Хотя, как известно, тот, кто знает только о Голландии, ничего о ней, в сущности, не знает. И уж вовсе никто не желает задаться вопросом — стоит ли устраивать королевские визиты в Америку, вместо того, чтобы достичь полной договоренности. Об этом ни слова.

А теперь пусть читатель посмотрит на карту той части света, что цепью тянется между Калькуттой и чрезвычайно желанной, но непригодной для белого труда страной в Квинсленде и Северной Территории. Противовесом Рангуну и Сингапуру служит Гуамо, которому не-

давно палата представителей в Вашингтоне запретила готовиться к обороне. Они все еще изоляционисты, эти конгрессмены. Вот каковы эти американцы, австралийцы, англичане и голландцы — народ весьма способный,— эти старательно игнорирующие друг друга «демократии», как их напыщенно величают. А с севера к этой псевдодемократической гирлянде прилегает ослепленная милитаризмом Япония. И никаких шагов не предпринимается для того, чтобы развить чувство единства цивилизации и общности мирового правопорядка между этими родственными странами. Они похожи на выстроившихся полукругом коров, которые в страхе уставились на волка и не способны на коллективные действия.

«Нет, Япония не посмеет»,— говорят эти почтенные люди. Но Япония может посметь, подобно маньяку-самоубийце. «Япония никогда не сумела бы завоевать». Но, допустим, Япония просто начнет с того, что попросит Австралию смягчить принцип «Белой Австралии» в отношении Новой Гвинеи и Северной Территории, или, предположим, Япония попросит местечко на Яве или Папуа. Предположим, Япония начнет прощупывать Тихоокеанские острова. Окажем ли мы коллективное сопротивление или будем умиротворять ее индивидуально? К тому же никто еще не установил, где кончается умиротворение.

Не знаю, насколько сильна вражеская пропаганда, направленная на то, чтобы сохранить раскол между Англией, Голландией, Австралией и Америкой в Тихом океане. Более чем достаточно их собственной укоренившейся защитной близорукости. Непостижимо глубочайшее невежество простых британских граждан относительно маленькой Голландии в Европе и чрезвычайно важной Голландии на Востоке. И нигде демократическую солидарность так настойчиво и решительно не разрушают пропагандой, как в Южной Африке. Там мы находим африкандера, не ведающего, должно быть, что в мировых делах голландские и английские интересы переплетаются очень тесно, начиная с англо-голландского президента в США и кончая традицией Раффла на Яве. Сам африкандер просто не думает, и никто ему не напоминает об этом. Он приобретает нацистский образ мыслей, и его расовое сознание все более суживается.

Сейчас, когда я пишу эту статью, мне под руку попалась талантливая книга «Люди должны действовать» американца Льюиса Мамфорда. Он критикует международное положение с тех же позиций, что и английский радикал, и я почти полностью с ним согласен, хоть ему и чуждо чувство интернационализма, свойственное подлинно радикальной мысли. «Люди», которые должны действовать, по Мамфорду,— это «мы, американцы». Почему же они, американцы, ничего не хотят знать об истых англичанах? Почему нужно сохранять разобщенность?

До тех пор, пока не начнется большая просветительная кампания, пока во всемирном масштабе не произойдет энергичное и открытое возрождение радикализма, демократия будет оставаться расплывчатым и бессмысленным политическим термином. Если демократия стоит того, чтобы ее защищать, она должна превратиться в решительное интеллектуальное и политическое движение, поток которого вынесет нас к мировому порядку и законности. Пока же все наши либерализмы, левачества, демократические идеи и тому подобное похожи на водовороты и течения в закрытом бассейне, которые не вынесут нас никуда.

Из книги «Путешествия республиканца-радикала в поисках горячей воды», 1939.

ДОКЛАДОМ «ЯД, ИМЕНУЕМЫЙ ИСТОРИЕЙ» ПУТЕШЕСТВЕННИК СНОВА ВЫЗЫВАЕТ НА СПОР СВОИХ ДАВНИХ ДРУЗЕЙ — ПЕДАГОГОВ *

Я намереваюсь сделать весьма непристойный доклад. Название его звучит агрессивно, и задуман он был в агрессивных целях. Прежде всего я готовил доклад не для данного собрания. Он был написан для Международной конференции преподавателей истории, созванной в Лондоне Лигой Наций, и имел весьма определенный адрес — некоторых видных педагогов, в частности профессора Джилберта Мэррея и сэра Элфреда Циммерна. По моему мнению, именно избытку их националистических чувств Лига Наций во многом обязана своими неудачами. Я рассчитывал, что доклад вызовет в Лондоне дискуссию, но в тот раз он не получил особого отклика. Надеюсь, что здесь будет по-другому.

Я хочу открыто поговорить о соотношении того, что именуется Историей — и что я в полемических целях буду называть старой историей,—и человеческих воззрений. Я понимаю, что не обойдется без обид, кое-кто почувствует себя оскорбленным, но в ученом собрании, посвященном рассмотрению реального положения вещей, мы легко можем сделать шаги к примирению.

Сегодняшний мир находится в бедственном состоянии, и ему угрожают еще большие бедствия. Доля вины за это бедственное состояние ложится на каждого

* Прочитан на заседании Департамента просвещения Австралийской и Ново-Зеландской Ассоциации развития науки, Канберра, 1939 год.

из нас, и ее не снять никакими отговорками и объяснениями. Конечно, болезнь нашего века возникла в силу многих причин, но я утверждаю, что корень зла в полнейшей несовместимости исторических традиций, определяющих наше политическое и общественное поведение, с новыми жесткими условиями жизни, которые возникли благодаря научным открытиям и техническим изобретениям. Приближение истории к реальности — совершенно безотлагательное дело. Время не ждет. Разрыв между ними всякий раз означает разрушения, страдания, кровопролитие и порабощение; и так будет продолжаться до тех пор, пока мы со всей ясностью не представим себе, какие силы сталкиваются в нынешнем мире, а значит, и не поймем, как управлять ими, или пока все не завершится всеобщим хаосом.

Года полтора тому назад я изо всех сил пытался убедить собравшихся в Ноттингеме учителей, членов Британской ассоциации, в том, что образование, которое они дают молодому поколению в так называемом демократическом обществе, никак не отвечает большим задачам, встающим перед этим обществом. Наши педагоги так и закипели от возмущения. И не из-за будущего, нет, а из-за того, что кто-то предположил, что их работа не образец совершенства. С каким редчайшим единодушием они объявили, что я и понятия не имею, насколько современна и удивительна их система преподавания, как точно она соответствует требованиям, которые я предъявляю, и даже выходит за рамки этих требований, как трудно вдолбить такое в «башку» нашего будущего гражданина, как изволил выразиться один из представителей устарелой исторической науки! Я понял, что для него история человечества — просто мешанина событий, которой набита его собственная башка и башка любого из его коллег. Он не мог себе представить, как можно по-другому рассказывать о прошлом. И все эти возмущенные учителя, классные дамы и школьные инспектора заявили, что я не знаю толком, что делается в школах. Зато я знаю, что в школах не делается, потому что я читаю газеты, а там пишут, как их ученики откликаются на общественные дела. Да, я знаю школы — по тем плодам, что они приносят. И никто из этих педагогов так и не понял, как глубока разница ме-

жду историей, которую они преподают, и той, о которой говорю я. Вот почему я решил попытаться объяснить все заново. Я постараюсь доказать, почему я считаю, что в школах, как правило, неверно поставлено преподавание истории — неверно и по сути и по форме. И почему, если мы хотим, чтобы образование способствовало делу организации мира, потребуется решительный пересмотр наших представлений и методов преподавания.

Я предполагаю, что бо́льшую часть этого собрания составляют историки, студенты, преподаватели истории — словом, люди, которые обучают истории в школах или посредством книг и газет. И я хочу сказать, что чрезмерный интерес к прошлому, хотя бы частично, заслоняет от вас настоящее, то есть то, что сейчас происходит в мире. В своей работе вы мало считаетесь с тем фактом, что старые идеи, подкрепленные новым ужасающим оружием, раздирают мир на части. Вы зачарованы традиционными романтическими представлениями историков о власти и славе нации, о победах и реванше, о сентиментальном вызволении страдающих — представлениями, которые сейчас, как никогда, приобретают огромную разрушительную силу, и вы не вполне понимаете, как это связано с вашей работой, как вы поддерживаете идеи, которые препятствуют коренным социальным переменам и толкают к войне.

В преподавании вы слишком охотно подчеркиваете общественные и экономические особенности, навязываете молодежи мысль о национальных различиях. Мне хочется обвинить вас в том, что вы искусственно подогреваете патриотизм у молодежи, молчаливо исходите из предпосылки, будто французы и англичане, немцы и евреи от века и в силу необходимости настолько отличаются друг от друга, что их интересы несовместимы. Это неверно. Идеи о национальных различиях не возникли естественным путем. К ним *приучили* народы. Их силой навязали народам. Если две страны поменяются младенцами, те, став взрослыми, тоже будут воевать — только против своей родины. Национализм взращен искусственно, преподаванием истории, и эти взгляды прививают родители, друзья, преклонение перед национальным флагом и всякие торжества, вся система школьного обучения и особенно порядки в школах. И этот

школярский, заученный национализм сейчас угрожает цивилизации.

Мне хочется, чтобы вы задумались над тем, что имеются два противоположных вида исторической науки: история традиционная, устарелая, разлагающаяся, все более и более отравленная, но все еще господствующая в наших школах и политических учреждениях, и другая, новая история, которая, по сути дела, является человеческой биологией и которой еще предстоит утвердиться в системе нашего просвещения. Новый взгляд на историю естественно и необходимо возник из мощного переворота в биологии, который произошел за минувшее столетие; развитию этого взгляда за последние сорок лет в сильнейшей степени способствовали археологические раскопки. Используя метод научной критики, новая историческая наука обращается к огромному, постоянно растущему количеству конкретных фактов, весьма скептически взирая на письменные источники. Старая история в основе своей была хроникальной. Она была заключена в книгах, манускриптах, надписях. В этом и состоит мой основной тезис и мои основные претензии. Есть старая, книжная история, которую, несмотря на упрямые опровержения возмущенных учителей, все еще преподают на всех ступенях — от начальной школы до университета. И есть новая, подлинная история, совершенно необходимая сейчас, резко отличающаяся от старой по размаху, методам, возможностям и достижимым результатам, но этой истории пока еще почти не обучают. Новая история настолько отличается от прежней, что некоторые даже предлагают дать ей другое название. И точно так же, как описательная, основывающаяся во многом на сообщениях очевидцев, *естественная история*, занимавшаяся частностями, практически уступила место другой науке, *биологии*, ядром которой стало изучение причин явлений, так, может быть, придется иначе назвать и новую историю, в которой рассказ и описательность займут подчиненное положение, деталь будет по возможности упрощена, а главным, как и в любой другой науке, станет исследование причинности. Уже предлагалось назвать ее человеческой экологией или социальной биологией. Но мы пока не остановились на каком-то определенном термине, и потому приходится

говорить о старой истории — собственно истории, как ее обычно понимают,— и истории научной, которая должна дополнить ее, вернее, занять ее место, если мы хотим поставить прошлое на службу человечеству.

В обоих случаях прослеживается неизбежная хронологическая последовательность. Естественная история по необходимости возникла до научной биологии. Прежде чем подвергнуться критическому анализу, история описательного типа должна была, разумеется, существовать как таковая. И главное звено здесь — появление нового содержания. Оно-то и дает естественный ключ к пониманию тех громадных коренных перемен в условиях человеческого существования, которые подразумеваются, когда говорят о запрещении войны. Оно ясно объясняет, почему сознательно направляемая деятельность людей должна либо привести к революционному перевороту, либо человечество будет все так же ковылять от одного бедствия к другому. Оно позволяет исследовать причины явлений, как и подобает всякой честной науке, и заглядывать в будущее. Старая история не занималась этим.

Та история, которой нас всех пичкали с детства, не умела предвидеть. Президент исторической секции профессор Кроуфорд на днях прямо отверг значение предвидения, а между тем отрывочные сведения из новой истории, которые мы вынуждены собирать сами, содержат, напротив, немало указаний на события, которые, по всей вероятности, произойдут в ближайшие годы, а также на то, что следует предпринять, дабы избежать каких-то нежелательных последствий или достичь благоприятных результатов.

Позвольте мне еще раз уточнить понятие старой истории, которой, как я сказал, мы напичканы. Почему она оказалась такой живучей? Какова ее роль в прошлом? И какова сейчас?

Все мы бессознательно исходим из предположения, что история, которую мы учили в школе, содержит конечную научную истину, что она объективное изложение того, что на самом деле происходило в прошлом. Меня тоже воспитывали в духе этого распространенного заблуждения, и в этом отношении моя духовная жизнь, как и у множества других людей, привыкших думать,

представляет собой преимущественно цепь разочарований. Ибо, когда вы достигаете зрелости и привыкаете смотреть фактам в лицо, действительность оказывается совсем иной. Старая история почти целиком игнорирует причинность явлений, она самым неподобающим образом обобщает, представляет события в определенном свете, искажает их. Вы, разумеется, заметите, что я, по сути дела, говорю об истории то же самое, что говорил тот самобытный, ясного ума американец Генри Форд. Он сказал, что история — это *«чушь»;* а я говорю, что история — это собрание претенциозных басен, почти непригодное для каких-либо практических нужд.

С самого начала надо подчеркнуть, что история никогда не была беспристрастной научной дисциплиной—ее всегда писали с какой-либо определенной целью. Иногда, хотя и не часто, преследовали сугубо художественную цель, как, например, Гиббон, создавший свой захватывающий труд «Упадок и падение Римской империи». Но обычно историю писали и повсеместно обучали ей специально для того, чтобы формировать умы сообразно воззрениям данного общества. История учила быть гражданами, патриотами, учила объединиться во славу нации или для какого-нибудь агрессивного предприятия. История воспитывала в людях гордость. Отец Истории наверняка был сторонником нападения греков на Персию. Большая часть исторических эпизодов, содержащихся в загадочном сочинении, которое именуется Ветхим заветом, написана с намерением сплотить разобщенную толпу евреев, возвратившихся с Ездрой и Неемией из вавилонского плена в Иерусалим, сплотить их легендой об избранном народе и его особом уделе. Эта склонность к расовому самомнению стала трагической традицией евреев и источником постоянного раздражения неевреев вокруг них.

История любой страны раздражает иностранцев. Чем больше люди изучают историю друг друга и переводят исторические труды, тем, очевидно, больше возрастает их взаимная ненависть. Оскорбительное преувеличение местоимений «мы» и «наше» за счет других народов пронизывает почти любое сочинение о прошлом. Обычно приверженцы старой школы начинают с фальсифицированного изложения национальных истоков. Редко кто

исследует более отдаленные времена. Некоторые сразу же после общих слов перескакивают к облюбованной стране и не покидают ее вовсе, до конца, а многие ограничиваются определенным периодом, в течение которого избранная нация выкидывает всякие штуки. Редко предпринимаются попытки проследить, как меняется соотношение различных социальных элементов, как складывалась легенда о национальном характере, и еще реже дополняют письменные источники археологическим материалом. Обычное историческое сочинение всегда остается средством национальной или региональной пропаганды, которое оживляется анекдотами и в лучшем случае воздает формальную дань идеалам гуманности. И только в самые последние годы стараются представить мировую историю историей человеческих существ как таковых. Но и в таких случаях вместо того, чтобы искать общую закономерность, историки склонны делать невообразимую мешанину из истории разных народов. Однако освященные временем государственные и имперские границы не стираются — они остаются в этой мешанине в качестве разграничительных линий всей дисциплины. И все-таки общая закономерность *существует*, и она гораздо проще, чем те причудливые схемы, которые внушают молодому поколению историки. Они питают какую-то природную слабость к точности в деталях, но удивительно опрометчивы в обобщениях. Мы встречаем у них удивительнейшие порождения фантазии вроде Духа Запада, Духа Востока, Греческого и Иудейского духа, молодых и старых наций, Золотого века, колыбели цивилизации и ее движения от Востока к Западу. И образование и традиции заставляют их питаться этими детскими сказками. Поскольку они произвольно исходят из абстрактного понятия патриотизма, то расширение диапазона истории означает для них всего лишь расширение границ этих фантазий. Историк старой школы редко подвергает критике общие принципы. Это разрушило бы его предмет. Именно из-за общей неопределенности и откровенной предвзятости старая история непригодна к современным условиям.

Если мы хотим, чтобы мир был единым, то и думать о нем мы должны как о чем-то едином. Мы не должны исходить из понятий нации, государства, империи, кото-

рые нуждаются в примирении и сплочении. Если мы хотим достичь общего мира, то национальные различия следует считать второстепенными; в процессе биологического развития человечества они то появлялись, то исчезали почти по воле случая. Широкое образование может совсем стереть национальные различия. Даже разумные выступления против них настолько эффективны, что существующие режимы вынуждены в той или иной степени подавлять радикальную критику такого рода. И так повсюду. Если нам выпало установить Всеобщий Мир, то *прежде всего необходимо отказаться от разделения содержания истории по национальным вывескам.* Мечтать о возможности подчеркивать национальные различия и одновременно пытаться сплавить их в некое искусственное единство — чистейшее безумство. Нужно, чтобы во всех школах земного шара преподавали одинаковую мировую историю — точно так же, как преподают одинаковую химию и биологию. Я выдвигаю это в качестве тезиса.

Новая история, о которой я говорю, *поскольку она признает значение политических событий,* должна быть общей летописью всех развивающихся стран, а не какого-либо отдельного общества. Я, разумеется, не имею в виду насильственное соединение наций. Я говорю о взаимном расширении кругозора и связей между ними. Мировая история должна начинаться на самой ранней стадии человечества, когда еще существовали разрозненные семейные группы. Главной причиной всего последующего развития цивилизации было возникновение и совершенствование средств общения: речи, жестикуляции, письма, способов передвижения по суше и воде, дорог, паровых машин, телеграфа, радио, воздушного транспорта и так далее. Подлинное кресчендо изобретений! Рост средств общения неизбежно расширял возможности сотрудничества и в то же время несправедливости и порабощения. Так постепенно изменилась природа социальной и политической истории. Изменились правила игры. Поэтому гораздо важнее разобраться, как и почему изменились правила игры, нежели изучать подробные описания того, кто выиграл, а кто проиграл. Однако характер исторических знаний и мышления в нашем обществе таков, что *непрерывный процесс расши-*

рения связей, имеющий биологическое происхождение и ставший сердцевиной истории, привлекает лишь поверхностное внимание. Даже признавая известную общность в прошлом, историки отрицают такую возможность в нынешних условиях. Их исходное понятие — нация. Их излюбленное словечко — *интернациональный,* а не космополитический. Они и слышать не хотят о космополисе. Мирового государства не было. Значит, его и не может быть. Факты истории против него.

Но факты реальной действительности за такое государство.

Мы видели, с какой поразительной быстротой на протяжении жизни одного поколения сократились расстояния между народами, и люди теперь стоят так близко друг к другу, что имеют возможность разговаривать, торговать или схватиться врукопашную. Учреждение космополиса должно стать главным тезисом научной, помогающей жить истории.

Позвольте мне перечислить некоторые ведущие темы, которыми должна заниматься новая история, темы, которые никак не могла одолеть старая история из-за неизлечимого пристрастия к партикуляризму и избытка националистических чувств. Это основные и неотложные темы. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Темы, которые я предлагаю, не должны просто *дополнять* нынешнее преподавание истории. По моему мнению, они должны его заменить. Я считаю, что надо *полностью отказаться* от нынешнего разделения на сугубо политические истории отдельных районов, стран, избранных народов или периодов. Я считаю, что надо *прекратить* преподавание в качестве особых предметов греческой и латинской истории, истории еврейского народа и библейской истории, английской, французской, германской истории, средневековья, китайской истории, истории наших островов и нашей империи и т. д. и т. п.

Прошу помнить, что я говорю сейчас о преподавании. В специальных исторических исследованиях и изысканиях оправдано, разумеется, и углубленное изучение отдельных групп, лиц, периодов, документов, событий, если оно будет вестись в свете более широкой исторической и биологической концепции. Я не вижу причин для сокращения исследований такого рода. Серьезное

расширение научного изучения прошлого не мешает скрупулезным поискам исторических фактов всеми доступными средствами. Но исследование — лишь один аспект истории. Преподавание — это нечто совсем другое, и я говорю именно о *преподавании*, и к тому же с точки зрения подготовки мышления обыкновенного человека к Всеобщему Миру. Полностью отдавая себе отчет в том, что у многих из вас мои теории могут вызвать страх, отвращение, презрение и ненависть, я все-таки повторяю: если вы всерьез озабочены установлением общего мира, вы должны сломать господствующую, освященную временем традицию и перестать делить историю на истории различных наций и империй.

А что же вместо нее?

Вместо нее я предлагаю биологический подход к истории. Мы должны идти к настоящему из далекого прошлого. Мы должны рассказывать правду о происхождении человека. Мы не можем позволить себе замалчивать ее в интересах нескольких невежественных фанатиков. Мы должны начинать с понятия крохотных, дочеловеческих семейных групп, раскиданных по земле и абсолютно не подозревающих о существовании себе подобных. Мы должны проследить развитие речи, жестикуляции, рисунка, должны показать, как эти зачатки общения и взаимопонимания неизбежно вели к созданию более крупных человеческих объединений.

Такой способ изложения материала более доступен неразвитому уму, нежели фразы вроде: «В 43 году н. э. полчища римлян, пришедшие из Галлии, напали на южные берега *наших* островов» — или любое привычное националистическое славословие. Я не знаю, с каких событий вы ведете историю Австралии. А мы, англичане, именно так и учили у себя вплоть до самого недавнего времени. Вместо этого учитель истории должен рассказывать о бродячих племенах, о пещерах и укрытиях, о первобытных жилищах и первых орудиях. Культурному учителю не пристало говорить *наша* национальность, *наш* народ, *наша* раса. Вся эта банальная чепуха глупа и лжива. Не говоря уж о том, что южные берега Британии отнюдь не были *нашими* во времена Цезаря, мы, современные британцы, такие, какими мы стали в силу действия наследственных генов, обитали где угодно, но ни-

как не там. Мы обитали на Висле и на Балтийском побережье, на Дунае и в Палестине, в Египте и еще бог знает где. И все-таки наши идеи и искусства, могущество и влияние развивались закономерным и чрезвычайно любопытным путем; как совершенствовались средства общения и орудия и какие последствия вызывал этот процесс, как расширялась умственная деятельность человека — все это было бесконечно проще и правдивее, чем то, что рисовала старая история. Вот это здоровая пища для ума, а фразы о расах и нациях — пища отравленная. Дети предпочитают здоровую пищу. Они любят слушать о деяниях, а не о сварах и раздорах, ради которых их побуждают жертвовать собой. С каждым шагом в развитии приемов труда и материалов, с каждым новым приспособлением менялись социальные условия и повышался интеллектуальный уровень того или иного народа. Постепенно одолевая закосневшие традиции, навыки, обычаи и система права приспосабливались к новым условиям. Политические учреждения в основе своей всегда зависели от перемен в материальной жизни. Политические учреждения не относятся к человеческим делам первой необходимости. Они лишь тени на поверхности, они обрисовывают контуры каких-то установлений, но не есть сами эти установления. Они лишь знаки, символы общества. И в иных случаях политические учреждения могут стать серьезным препятствием на пути естественного развития человечества.

Подумайте только над одной главой этой действительной истории человечества, о которой я говорю,— над тем, как появилось железо. Оно вошло в человеческую жизнь, дав людям орудия для войны и для мира. Происхождение железа романтично — оно началось с использования больших упавших метеоритов. Вплоть до сегодняшнего дня железо и сталь вызывают такие перемены, так подчиняют себе нашу жизнь, как не удавалось никаким Александрам Великим, Цезарям, Чингисханам и Муссолини. Посмотрите, как предметы, которые делались из железа — от первых металлических наконечников для копий и примитивных топоров до стального рельса, мотора и военного корабля,— посмотрите, в какое искушение они вводили людей, как побуждали их менять образ жизни и по-иному относиться друг к другу. История не

знает какого-то особого народа, который сознательно стремился бы изготовить железо. Кто первый овладел железом, не имеет значения — важно лишь, в чьих руках оно оказалось. Но в любых руках оно означало то же самое. Оно помогало мастерить более грозное оружие, проще и быстрее обрабатывать камень и дерево, глубже пахать землю. Железо правило миром, и властители первобытных общин ходили у него в слугах. Оно и сейчас правит миром. Железо управляет нами, потому что мы не можем управлять железом — настолько мы погрязли в политике, которая, как нам кажется, делает историю.

На днях я прочитал об одном проявлении этой власти металла — я имею в виду отчет Тома Гаррисона о распаде общины на Новых Гебридах. До того, как на островах появились топор и гвозди, повалить дерево, построить хижину, выдолбить каноэ было долгим делом, требующим дружных усилий. Работа эта требовала искусства и общности. Она определяла социальную организацию. У деятельных молодых людей была полная и интересная жизнь. Потом пришло железо, быстрый и дешевый топор, и все переменилось. Отпала необходимость во взаимной помощи. Люди отказывались от прежних навыков, и — что самое опасное в любой общине — появился класс недостаточно занятых молодых людей, которые чуть что прибегали к оружию. Незбежно последовал общественный беспорядок.

Происхождение железа — это только одна глава истории металлов. Позвольте мне напомнить вам еще об одной страничке современной истории, которая, как мина, заложена под сегодняшними границами и установлениями. Для этого вам придется вспомнить, что́ говорит учебник химии о металле, который называется бериллий. Он занимает скромное место в ряду металлов, его атомный вес — четыре и химическое обозначение — Be. Послушайте, что без малейшей дрожи в голосе сообщает нам о бериллии учебник химии. Он намного легче алюминия, лучше сопротивляется коррозии, по твердости не уступает стали и очень хорошо проводит тепло. Вот и все. Но спросите любого инженера, любого фабриканта оружия, нужен ли ему металл, который не коррозирует, который легче алюминия, тверже стали и — что очень важно при производстве пушек и поршней для мото-

ров — хорошо проводит тепло. Бериллий хрупок, но небольшие добавки устранят этот недостаток. Сейчас он встречается нечасто, относится к числу редких металлов и пока не используется ни в самолетах, ни в автомобилях, ни в больших пушках — словом, ни в каких других целях, для которых он подходит лучше, чем любой обычный металл. С помощью бериллия можно делать более мощные, чем теперь, пушки и военные самолеты, и они будут вчетверо легче, чем из стали. Задумайтесь над этим. Бериллий можно использовать в производстве огромных станков, в строительстве. И так далее. Да, пока бериллий — редкий металл. Завтра он может стать дешевле жести или меди. Планета, на которой мы живем, исследована еще чрезвычайно слабо, и, может быть, в тот самый момент, когда мы здесь разглагольствуем, в каком-нибудь заброшенном углу безвестный изыскатель напал на богатейшие залежи дешевой бериллиевой руды. Может быть, в сотнях, в тысячах мест Австралии, у Полярного круга, в Китае на глубине всего лишь нескольких десятков саженей залегают пласты этой руды. И тогда — прощай, сталь! Наступит век бериллия. А если бериллий обнаружат в одном месте, а не во многих, что́ сделают люди, в чьих руках он окажется? И что будут делать люди, которые останутся без него?

Именно так и случилось в прошлом с железом и углем, и, по мне, рядом с такими событиями ничего не стоят напыщенные фигурки Александра Великого и Наполеона и те глупости, которые они изрекали и творили.

Но история металлов — лишь одна глава в истории орудий и приспособлений, глава *действительной* человеческой истории. Другие главы составят появление лодки, изобретение корабля и колеса, приручение лошади, строительство дорог. Эти сдвиги появлялись повсюду, становились частью растущих человеческих объединений, и рассказ об их развитии глубоко интересен всякому непредвзятому уму. И каждая из них влияла на отношения между людьми. Так почему же мы не учим этому наших детей?

Каждый ребенок любит слушать о таких вещах. Вспомните, какие игрушки они предпочитают. Никому не придет в голову дарить нормальному ребенку фигурки великих людей—Цезаря, Моисея, Будды, мистера Чемберлена.

Ребенок заскучает и поломает фигурки. А орудия и машины — это сама жизнь. Происходило расслоение старых трудящихся классов, появлялись новые классы, теряли былое значение верования в сверхъестественное — и в результате власть от одной группы переходила к другой. Менялись отношения между людьми.

Старые властители восставали против этих перемен. История, которая поддерживала старый порядок, отрицала перемены. Но старая история позорно отступает перед реальностью. Она создала сеть ложного поклонения перед прихотями наших отцов. Вплоть до сегодняшнего дня преподавание истории только искажало картину причинности в человеческих делах. История наций и государств — это еще не история цивилизации, даже не фрагменты истории цивилизации; ее главы — лишь грязные пятна на действительности. Они скрывают облик действительности. Старая история во многом — это описание бахвальства и подлостей, которые творили народы, на время оказавшиеся в преимущественном положении, потому что завладели новыми орудиями. История наших островов, строительство империи — все это чепуха! Когда благодаря новому просвещению люди поймут, что монархии и империи возникали и распадались, как отблески света на маслянистой поверхности, с какой иронией, и порой гневной иронией, они будут взирать на ребяческие попытки монополизировать неисчерпаемые блага, которые наша планета подарила всему человечеству!

Не стану подробно говорить о некоторых других важнейших факторах, влияющих на распространение, развитие и слияние человеческих групп, например, о заболеваниях, особенно эпидемических, о климатических условиях. История Юго-Восточной России и Центральной Азии определяется, например, не столько тем, что там сделали люди, сколько неравномерностью выпадающих осадков. Кроме того, на самых первых страницах биологической истории человек предстает как враг самому себе и всему живому. Подумать только, какими нерачительными хозяевами были наши предки! И мы ничуть не лучше их. А все потому, что не извлекаем уроков из истории. Человек вырубает и выжигает леса, истощает почву, уничтожает редких животных. Вы бы поразились,

увидев карту, на которой нанесены опустошенные человеком районы. Такая карта должна быть в каждом школьном атласе. История опустошения нашей планеты из-за бесплановой эксплуатации естественных богатств и безрассудной конкуренции и конфликтов, выливающихся сегодня в чудовищные войны,— все это гораздо ближе к действительному положению вещей, чем приглаженная история, выставляющая Лигу Наций венцом человеческого прогресса, история, которую так обожают иные педагоги. Минувшие сто лет видели, как превращались в бесплодные пустыни огромные районы Соединенных Штатов Америки, как по всей Австралии кольцевали деревья, как прокатилась там волна лесных пожаров и посевы подверглись нашествию грызунов, как были уничтожены десятки ценнейших пород животных, как чудовищно расхищались естественные богатства, а ваша старая история не сделала ровным счетом ничего — как можно! — чтобы внушить подрастающему поколению, насколько далеко зашел этот опасный процесс. Она изображает девятнадцатый век золотой порой человечества, управляемого мудрейшими из мудрейших монархов и государственных деятелей, тогда как то был период почти безумного, основанного на конкуренции стяжательства и расхитительства. Старая история не замечает таких вещей, не объясняет их и не хочет объяснять, и теперь, когда огромные толпы людей бродят по миру, как голодные лемминги, она тоже не пытается ничего объяснить. Она не в силах этого сделать. Старая история на все лады превозносит героев и вождей, болтает о расовой энергии и приходящих в упадок народах, спешит нанести на карту новые политические границы и проходит мимо существеннейших жизненных проблем в молодых национальных объединениях.

Новая история не просто хроника материальной жизни человечества. Я начал с материального развития и материальных перемен, но, заметьте, я считаю их всего лишь основой и каркасом новой истории. Более тонкое и важное ее дело — изучить, как посредством речи и письменности развивались идеи, объединяющие людей в общество. Как возникли язык, речь, письменность? Почему постоянно происходит расширение государств? Люди, которых учат истории нынешние педагоги, не имеют о

том ни малейшего понятия. Каким образом язык определяет мысль? Влияет ли структура языка на образ мышления? Люди начинают понимать эти вещи, требуют соответствующих книг, а историки старого типа не показывают, как языковые заимствования или слияние языков придают новое направление духовным процессам в обществе, а нередко и новые импульсы. В отличной новой энциклопедии, которую с таким геройством выпускают сейчас французы, я обнаружил замечательное сравнительное исследование арийских, китайского и японского языков как инструментов мысли. Язык — такое же орудие, как и предмет из камня или стали; применение языка имеет социальные последствия; как и машина, язык создает вещи. Он дает возможность открывать новые истины и впадать в новые заблуждения. Есть много такого, что можно высказать только по-английски, а не по-французски или по-русски, и наоборот.

Старая история никогда не занималась такими вопросами. Это не входило в ее кругозор. В результате люди подрастали с убеждением, что если бы не естественное развитие языка от древнесаксонского к староанглийскому и среднеанглийскому, то простой житель Лондона, скажем, 800 года нашей эры мог бы объясняться с жителем Лондона сегодняшнего дня. На деле же они говорили бы на языках, которые по сложности и возможностям так отличались бы друг от друга, как рыбачья лодка, плетенная из ивняка, отличается даже от старенького катера. Они совершенно не понимали бы друг друга. Сегодняшний англичанин, перенесенный в Британию 1066 года, больше показался бы чужестранцем, нежели тот же англичанин в современной Японии. И когда знаток принимается рассказывать о политических планах Цезаря или Александра Македонского, он не только не сообщает, но даже не пытается сообщить, каковы были географические или государственные познания этих двух Raiders[1]. Он считает, что они знали все то, что знаем мы, и думали точно так же, как мы. А я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь из них обладал хотя бы долей той политической смекалки, какой обладал покойный Хью Лонг, и был так же образован, как он.

---

[1] Завоеватели (*нем.*).

Старая история не только не учит, какие возможности и какие опасности заложены в применении механических орудий,— она не дает понятия о тех идеях, которые объединяли и объединяют людей в общество. Старая история не предостерегает против разлагающего влияния устарелых идей.

Эти идеи, эти национальные и религиозные легенды и мифы, на которых мы все воспитывались в юности, не что иное, как злокачественные опухоли на нашем сознании. Поэтому необходимо изучить и научно вскрыть законы их развития и воздействия. Старая история считала эти гибкие и неустойчивые воззрения неизменными. На деле же они так же поддаются лечению, как и инфекционные заболевания нашего тела. И если мы хотим достичь всеобщего мира, совершенно необходимо принимать предохранительные меры.

Мое убеждение, что старая история абсолютно бесполезна при решении современных проблем, особенно углубилось за последние несколько лет в связи с двумя неприятными явлениями. Одно из них — растущее недоброжелательство к Англии широких слоев американского общества и влиятельных кругов Англии к Америке. Этот раскол ослабляет влияние либеральной мысли в странах английского языка. Другое, гораздо более тревожное,— это трагическое положение евреев в современном мире. Оба эти явления связаны с возникновением и развитием национальных легенд, а поскольку старая история сама по себе — лишь порождение легендарных представлений, то она, естественно, не может заниматься отцеубийством.

Бросим взгляд на удивительный американский парадокс. Полтора столетия назад тринадцать штатов, входивших первоначально в союз, освободились от экономической эксплуатации британской монархии. Они встретили сочувствие и поддержку Лондона и вообще широких слоев английского народа. Они отделались и от Георга III, и от лордов, и от епископов. И тем самым не просто отделились территориально, но и совершили социальный переворот. Мы не сумели этого сделать. Но чтобы сохранить единство новых отделившихся колоний, пришлось упростить проблему и сочинить версию о врожденном коварстве всех англичан вообще. Те события дав-

ным-давно ушли в прошлое, но эта идея овладела умами американцев. Она и сейчас с таким маниакальным упорством и усердием проповедуется иными американскими авторами, словно они — платные пропагандисты.

Нынешнее население Соединенных Штатов Америки, помимо значительной доли англичан, состоит из множества людей самых разных национальностей: скандинавов, голландцев, немцев, канадцев, итальянцев, моравцев, выходцев из Восточной Европы, сирийцев и так далее,— и все они, за исключением евреев, совершенно забыли свои национальные мифы. Лишь крошечная часть этой огромной массы имела хотя бы одного предка в том или ином лагере войны за независимость. Но все они без исключения поверили в эту легенду о коварных британцах. То и дело встречаешь американских граждан с чешским или немецким акцентом, которые гордятся победой при Банкерхилле и не могут сдержать негодования при воспоминании о чудовищном варварстве британцев, которые использовали гессенских наемников в войне белых людей. Они всем сердцем восприняли «Мэйфлауэр» и идею личной свободы.

Я назвал бы это явление *исторической ассимиляцией*. Оно требует внимательного изучения в Америке. Еще более настоятельного анализа требует вопрос о слиянии кельтских, верхне- и нижненемецких народностей и о распространенном заблуждении, будто они самая чистая и высшая германская раса.

Но самый поразительный пример того, как старая история искажает события,— это распространение иудейско-христианской мифологии на Средиземноморье и затем, в меньшей степени, на остальную Европу и Америку. Это крайний случай исторической ассимиляции. Прояснить это запутанное дело — одна из главных задач, стоящих перед научной историей. Свести на нет его влияние на умы публики — такова должна быть цель любого преподавателя истории, который стремится к объединению мира. Тугой узел ложных представлений препятствует любому конструктивному сотрудничеству между людьми, воспитанными в духе исключительности — будто их народ избран самим господом,— и остальным человечеством; и пока не будет разрублен этот узел,

надежды на Всеобщий Мир весьма и весьма слабы. Только в наши дни сквозь туман тактичных умолчаний и оговорок традиционной историографии можно разглядеть, как в действительности протекал этот процесс. Ныне, несмотря на старую историю, мы начинаем воссоздавать подлинный облик событий. Даже если не углубляться в их движущие силы, мы видим, как родственные семитские народы — вавилонцы, финикийцы, карфагеняне — один за другим уступали под натиском мидийцев, персов, греков, римлян, то есть воинственных народов, которые по уровню развития торговли, финансов и общей культуры стояли ниже побежденных ими семитов. Иудаистские верования объединены в пестром сборнике, именуемом Библией, и смысл их в том, что будто бы всевышний обещал привести своих избранников назад в Палестину. Семитские народы были раскиданы по древнему миру, у них не было собственной политической организации, но они встречались друг с другом, у них были места, где они общались, торговали, многие из них читали и писали, умели считать, и они образовали целую цепь схожих поселений со схожими нравами, обычаями, обрядами. Не удивительно, что Библия, это собрание разнородных сочинений, связанных, однако, настойчивой мыслью о грядущем объединении, завладела воображением раскиданных повсюду семитов и вызвала ассимиляцию покоренных народов. И вдруг в наших ученых книгах исчезают финикийцы, вавилонцы, карфагеняне, и вместо них мы внезапно обнаруживаем одних евреев.

Совершенно очевидно, что иудаизм и христианство возникли одновременно в ранние эпохи Римской империи. Это были попытки человеческого ума, особенно людей, говорящих на семитских языках, приспособиться к новым условиям политической неполноценности. И по-человечески понятно, что многие подпадали под влияние идеи о том, что рассеянный и не пользующийся особым уважением народ является избранником господним и в конце концов восторжествует.

С точки зрения общественной психологии это естественно, но это скверная история. В ней был заключен яд. В умах возникла разграничительная черта, и огромные массы этого умного, способного, умелого народа, составлявшего большинство торговых и финансовых кругов и

путешественников в обширных районах Европы и Юго-Западной Азии, обстоятельствами своего воспитания были лишены всякой возможности тесно общаться с окружающими. Их отчужденность росла. В силу возникших обычаев они становились все более и более эксцентричными, упрямо старались держаться обособленно. У всякого врача или юриста — еврея и сейчас шоры на глазах. Всякий почитающий Библию христианин настороже, как бы его не сочли неполноценным существом. Всякий разумный человек нееврей слегка раздражен солидарностью евреев, явно преувеличенной. И никто из нас в этом не виноват. Мы все отравлены этой неудачной вавилонской мифологией и вредными баснями о божественном фаворитизме и земле обетованной; и ничто не излечит нас, если в наших представлениях и преподавании истории не совершится революционный переворот.

Трудно представить себе в нынешнем мире положение более ужасное, чем положение образованного еврея, наделенного чувством реальности. Как бы ни был он одарен, его все равно в той или иной мере обманут надежды, он все равно несет на себе клеймо. Его стремление стать гражданином мира не помогает. Христиане, воспитанные на Библии, отвергают эти претензии. Они говорят: «Нет, ты еврей». Евреи, воспитанные на той же Библии, тоже отвергают их. Они говорят: «Помни, ты еврей. Держись своего народа». И он не знает, куда ему деться. Может быть, мы переживаем такой период, когда этот вопрос встал особенно остро, но мне кажется, что пока мы в обучении и евреев и неевреев не очистим энергично факты истории от наслоений, пока не появится возможность, позволяющая еврею стать гражданином мира, до тех пор это трагическое разногласие будет тормозить духовное развитие человечества и калечить жизнь бесчисленному множеству людей.

Еврейский вопрос — яркий пример исторической ассимиляции, пример того, как пагубно влияет на человеческую жизнь яд, именуемый историей. Но не забудем, что это лишь наиболее явный случай отравления историей. Повсюду, где обучают старой истории, она разделяет людей. И нам не удастся свернуть мир с его бедственного пути, если мы попытаемся связать пропитанные националистическим ядом истории отдельных стран такой

ненадежной, прогнившей бечевой, как Лига Наций, понадеявшись на то, что они будут действовать друг на друга как противоядие.

Итак, разрешите мне подытожить сказанное. Старая история по самой своей природе не может служить основой для идеологии Всеобщего Мира. Она в корне враждебна ей. Она ведет борьбу за устаревшие выдумки о могучей Британии или Германии, о святой России или Израиле, о высших расах и избранных народах. И бумажные декреты Лиги Наций, которые отнюдь не увенчивают чело колосса, а лишь прикрывают кучу копошащихся ура-патриотов,— это последняя, отчаянная попытка протащить в новый мир старую систему националистических представлений, в каковых он вовсе не нуждается. Они пережили самое себя, разложились, они источают яд. Космополис, еще будучи в колыбели, уже заражен бациллами национализма. Нам не нужна Лига Наций, нам нужна конструктивная идея общности мира. Если юный Геракл нового мира хочет выжить, он должен совершить свой первый подвиг — задушить гидру отравленной истории в ее собственном логове.

Надежды на Всеобщий Мир не сбудутся, если не приучить людей к реальностям новой истории. Так давайте же возьмемся за это дело — сначала в наших собственных умах, а затем в университетах, в энциклопедиях, в школах. Давайте устроим всесожжение учебников старой истории в качестве нашего вклада в создание Космополиса — естественного, а сейчас просто необходимого Всемирного Братства людей.

Из книги «Путешествия республиканца-радикала в поисках горячей воды», 1939,

НАУКА И МИРОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Прежде всего я намерен снова повторить ряд положений, которые уже не раз высказывал за последние несколько лет. Мне они представляются самым важным из всего, что можно сказать о нашей жизни и современном мире. И тем не менее большинство тех, кому они стали известны, явно не придают им значения. Их не обсуждают, о них не спорят. Люди просто-напросто ведут себя так, словно ничего не было сказано.

Об этой «слепоте» к словам, об этом пренебрежительном нежелании высказаться я и хочу говорить в своей статье. Прошу обратить внимание на то, что я буду называть здесь «мировым общественным мнением», отнюдь не согласованную систему взглядов; это все безответственная, непоследовательная болтовня; мы высказываем и выкрикиваем какие-то мысли, и ни один не придает значения тому, что говорит другой. Если бы какой-нибудь могучий, сверхчеловеческий интеллект где-то в пространстве спросил: «О чем сейчас думает Человек, *Homo sapiens?*» — «Его лихорадит,— последовал бы ответ.— Он в бреду. Раньше он просто что-то бормотал, а теперь с болью пробуждается и заговорил громче».

«С какой целью?»

«Без всякой цели. Просто говорит то одно, то другое, даже не задерживаясь, чтобы поразмыслить над собственными словами».

Я позволю себе вернуться к некоторым своим суждениям, которые явно ни в чем никого не убедили.

Первое. За последние сорок лет в условиях человеческого существования произошел коренной переворот.

Они изменились столь радикально, что *Homo sapiens* не может больше жить так, как жил прошедшие десятки тысячелетий. Подобно любому другому виду животных, он должен приспособиться к этим изменившимся условиям или погибнуть как вид. Он может либо совсем вымереть, либо принять какую-нибудь новую или новые формы. Нечего и предполагать, что он сохранится таким, каков он есть. Вопрос лишь в том, удастся ли ему приспособиться настолько быстро, что он успеет стать прогрессивным сверх-*Homo* — господствующим видом — или хотя бы выродиться в некий подвид человека, или же вовсе не сумеет приспособиться, и ему придет конец.

На этом я позволю себе остановиться несколько подробнее и напомню вам об одном явлении, постоянно наблюдаемом в экологии.

Вся история прошлого, в общем, говорит за то, что человеческий род не может выжить. В прошлом господствующие отряды, группы видов, как правило, исчезали с лица земли в период своего расцвета. Утверждение, что они были вытеснены соперниками,— старая экологическая ошибка. Они просто-напросто не сумели приспособиться. Первой их реакцией на изменившиеся условия было возникновение беспорядочных мутаций, иные из которых некоторое время просуществовали, но не помогли роду выжить. Нечто подобное произошло, например, с динозаврами и динотериями. Им пришел конец в самом расцвете.

Есть ли доказательства того, что существу, которое мы называем *Homo sapiens*, не грозит подобная же участь? Есть. Это его дар речи. Доказательство не единственное, но почти единственное. Человеку можно сообщать всевозможные сведения. Он обладает способностью слушать и учиться. Такой способности лишены все остальные живые существа. Он приспосабливается к новым условиям в тысячу раз быстрее любого другого животного. Ничто не мешает каждому новому поколению *Homo sapiens'а* изучить, каким образом приспосабливался ум его предшественников к изменившимся условиям. Изменив свое поведение, он может существовать в новых условиях, если они изменились не слишком сильно. Подчеркиваю, если они изменились не слишком сильно.

Таким образом, на протяжении нескольких десятков тысячелетий своего развития это своеобразное животное всегда шло в ногу с изменявшимися условиями. Изобретения и открытия также преобразили войну и экономику, способствовали расширению социальных групп, но все это произошло настолько быстро, что *Homo sapiens* не успел перестроиться духовно. Вплоть до 1900 года человечество умножалось, и его господство на нашей планете возрастало со скоростью, какой не знала ни одна предшествующая фаза эволюции животных. Миллион лет тому назад различные виды Hominidœ были группой редко встречающихся животных. За короткий период геологического времени один из этих видов вырвался из мрака неизвестности, чтобы стать, как говорится, «венцом творения». В самом зените и на вершине господства он с такой же быстротой посеял семена своего биологического краха.

Теперь позвольте снова вернуться к анализу событий последних сорока с лишком лет.

Во-первых, главным образом благодаря авиации, радио и вообще всем средствам сообщения и связи произошло то, что можно назвать почти полным уничтожением расстояния. Сейчас новости узнают чуть ли не одновременно на всем земном шаре. С добрыми или дурными намерениями люди могут за день или за день с небольшим перебрасывать с одного конца земли на другой бомбы, наркотики и любые товары. Расстояния не служат больше защитой суверенности отдельных государств. Теперь границы одного перекрывают границы другого. Мы живем друг у друга на пороге. Фактически человечество стало одной общиной. В 1900 году было бы физически невозможно управлять делами человечества как одной, всеобъемлющей мировой системой. Правительства могли сохранять мир на очень значительных территориях, но не в мировом масштабе. Уничтожение расстояния сделало это теперь не только возможным, но настоятельно необходимым, если учесть бомбардировочную авиацию и тотальный характер современной войны.

Перехожу ко второму пункту: за эти последние сорок лет поразительно выросло наше умение извлекать и использовать материальную энергию. Мир 1900 года был

миром сравнительной несостоятельности человека. Для огромного большинства людей это был мир изнурительного труда, конкуренции и почти неизбежного социального неравенства. Сейчас это мир неисчерпаемых ресурсов материальной энергии. Потребность в тяжелом физическом труде неуклонно уменьшается, а в скором времени и вовсе исчезнет. Нет больше нужды в людях необученных или знакомых только с одной специальностью; они должны быть еще и умственно приспособлены к постоянно меняющемуся миру. Для удовлетворения его запросов требуется все меньше и меньше людей, ограниченных понятием собственности и методами финансирования, которые остались почти такими же, как в прошлом веке. Условия существования изменились в корне, а мы только еще начинаем менять систему своего поведения.

Поэтому самой насущной социальной проблемой стала так называемая проблема безработицы. Повсюду наблюдается избыток полных энергии молодых людей, которым современный мир не может обеспечить сколько-нибудь сносной жизни. Их без труда удается подбить на всякие бесчинства, и они легко подпадают под любое влияние, если это сулит им хоть какую-нибудь надежду или развлечение. Последние сорок лет были главным образом историей разрушения старой политической и социальной системы этими свихнувшимися, введенными в заблуждение, беспокойными молодыми людьми. Хулиганы, апаши, «мунлейтеры» [1] и анархисты конца прошлого столетия в наши дни уступили место гангстерам, куклуксклановцам и им подобным. Они создали нелегальные организации. Они сблизились с политиканами, и их злостный терроризм распространился на целые страны, на весь мир. Жажда власти, безрассудный бунт из-за разбитых надежд — вот силы, которые развязали самую чудовищную в истории человечества войну.

Дряхлый, гибнущий социальный и политический строй, при котором мы живем, не предусмотрел подобного положения и не предпринял никаких мер для спасения.

---

[1] Члены ирландской земельной лиги, в знак протеста уничтожавшие по ночам посевы и скот английских помещиков.

В Америке говорили: «Отправляйся на Запад, молодой человек». Но молодой человек уже достиг берегов Тихого океана и смотрит через море на перенаселенные острова Японии. В Великобритании и Западной Европе мы говорили: «Эмигрируй, эмигрируй!» Но все земли, которые можно было превратить в колонии, уже захвачены, и когда немцы требуют «Lebensraum» [1], их планы, видимо, сводятся к колонизации на трупах других народов.

В прошлом при меньшем изобилии молодые люди не оказывались в столь бедственном положении: перед ними открывалась жизнь подневольная, но в достатке, а излишнюю напряженность мелкие княжества и герцогства время от времени разряжали войнами. Наши правители также не находят иного выхода, чем развязывание войны, и они допустили бойню, в которой за сто дней было убито от трех до четырех миллионов этих обанкротившихся молодых людей. Однако при нашем социальном беспорядке такого рода временная мера ничего не спасает. Война в наши дни не исчерпывается уничтожением одних только молодых людей, падает жизнеспособность всего общества. Уменьшение народонаселения не снимает проблему. При меньшем населении и меньших возможностях контроля число неудовлетворенных молодых людей пропорционально остается неизменным. Вскоре, когда эта дурацкая, бессмысленная война завершится каким-нибудь не менее дурацким, беспλановым миром, проблема молодых людей без всяких перспектив встанет перед нами еще более грозно. Нашему обществу придется столкнуться с целым поколением людей, которых научили только воевать, и эти люди спросят нас: «А что вы *теперь* намерены с нами делать?»

Готовы ли мы к этому критическому положению? Мне стало известно, что лорд Рейс и мистер Гринвуд разрабатывают планы переустройства мира, и у меня есть кой-какие сведения насчет того, как они собираются перепланировать мир. Более или менее определенно известно только одно: что следует избегать строительства домов вдоль наших автомобильных магистралей... Ну,

[1] Жизненное пространство *(нем.)*.

а дальше? Я смею утверждать, что это не имеет никакого отношения к требованиям молодых людей, которых мы приучили убивать и только убивать. Они вернутся, эти молодые люди, нетерпеливые, как может быть нетерпелива только молодежь, и спросят: «Ну, что же вы намерены для нас сделать на этот раз?»

Что мы намерены сделать для них на этот раз?

Благодаря сокращению расстояний, из-за того, что нас давит бесконтрольное накопление богатств, современное государство все больше начинает походить на старый, почтенный корабль, который уже отслужил свое на международных морских путях и который теперь на скорую руку оборудовали новыми мощными двигателями, не соответствующими прочности его корпуса, и отправили в дальнее опасное плавание. И двигатели эти на полном ходу разносят старую посудину в куски.

До сих пор я повторял вещи очевидные, хотя их почему-то даже сейчас совершенно игнорируют. Теперь я позволю себе обратиться к третьей важнейшей стороне современных затруднений, которой также почти не придается значения в той мешанине верноподданнической и фанатичной пропаганды, полной предрассудков и анекдотических сведений, что в наших школах и университетах носит название «история». А именно: современные государства и общины биологически совсем иные организмы, чем те, что дали материал для наших устарелых учебников истории. Они подобны млекопитающим, а мы все еще считаем их рептилиями и амфибиями, из которых они произошли.

Сравним, к примеру, Англию елизаветинскую с Англией наших дней. Прежде всего обратим внимание на возрастное соотношение. Мир времен Елизаветы был юношеским миром: невзирая на суровый естественный отбор среди грудных младенцев и детей, выжившие, то есть самые выносливые, редко достигали семидесятилетнего возраста и чаще всего умирали моложе пятидесяти. Деторождение и похороны детей были основным занятием женщин. В те времена не было зубных врачей, и стоило человеку потерять зуб, как приходил конец романтике. Юность была поистине мимолетной. Юного Ромео мы упрятали бы в тюрьму за то, что он обручился с Джульеттой, не достигнув брачного воз-

раста. На улицах валялись отбросы; водопровод был редкостью, а в домах его не было вовсе. Простые граждане были грязны, от них отвратительно пахло. Мужчины носили оружие, пуская его в ход в стычках и для самозащиты. Общественный темперамент по нормам современных могучих демократических государств отличался живостью, легкомыслием, храбростью и безрассудством. А как обстояло в те дни с распространением грамотности? Широкие слои населения были абсолютно неграмотными. В государственных делах они играли не бóльшую роль, чем собаки или домашний скот. Их можно было держать в подчинении и подбить на мятеж, но они были совершенно невежественны. Политические решения принимал Двор, а Церковь и Закон поставляли министров. Грамматические школы времен короля Эдуарда выпустили одного или двух выдающихся людей из числа буржуазии, среди которых самым замечательным оказался некий Вильям Шекспир. Вплоть до наполеоновских войн ведение войны, организация и контроль над торговлей и коммерческой деятельностью были недосягаемы для широких слоев населения. В этих государствах и общинах прошлого попадались и великие умы и мыслители, но основная масса населения не имела ничего такого, что можно назвать мышлением или умом.

Теперь все иначе. Под воздействием тех самых сил, которые уничтожили грубый физический труд, грамотность просочилась в самые низы, и уже все общество овладело знаниями. Все классы пробудились и внимательно следят за тем, что происходит в мире. В нашей стране вы встретите молодых людей, учившихся на медные деньги, которые днями просиживают в публичных библиотеках, покупают издания «Пингвин» [1] и куда более образованны, чем многие молодые люди старой школы, до сих пор претендующие на монополию в парламенте.

В современной Англии есть два сходных между собою явления, каких вы и в зачатке не нашли бы в Англии времен королевы Елизаветы: я имею в виду рекламу и пропаганду. Наши школьные учебники истории ничего не говорят нам о стремительном росте массово-

[1] Дешевые книги по разным отраслям знаний.

го производства, массовой торговли и газетной рекламы в минувшей половине нашего столетия. Не смеют сказать, чтобы не прогневать могучие организации большого бизнеса. Но молодежь должна знать правду. Только сейчас, в разгар тоталитарной войны мы осознали, какое колоссальное воздействие оказывает это — распространение рекламы и пропаганды — на мировоззрение всего человечества. С одной стороны, существует система старого, продуманного обмана, организованного коммерческого обмана, и обмана, которым пронизаны бездушные религиозные организации, существует мишура чинов и привилегий, которые давно себя изжили; вся эта система находится в противоречии с грубым реализмом насилия, запугивания, жестокости и лжи. Война идет между обманщиками и палачами. Но в этой битве только очень приблизительно можно определить границы сражающихся сторон. Только приблизительно. В противовес этому конфликту есть еще борьба интеллектуального меньшинства, которое стремится извлечь разумные жизненные принципы из этой неразберихи. Таково сейчас состояние умов во всем мире, и вот почему в этой войне пропаганды решается судьба человечества.

А теперь я коротко остановлюсь на том, что говорит нам о положении человечества простой здравый смысл. Совершенно очевидно, что когда на земле воцарится мир, то нам понадобится союзный контроль над воздушным транспортом и над международными перевозками товаров. Далее, мы не должны допустить, чтобы наша планета оказалась во власти безжалостного политического и торгашеского произвола, а избежать этого можно, приняв проект мистера Джифорда Пинчота о Федеральной охране мировых ресурсов. В-третьих, мы должны добиться того, чтобы основным законом на нашей планете стала ясная Декларация прав человека, которая обеспечила бы каждому справедливое пользование имеющимися ресурсами и каждому принесла бы сознание того, что он хозяин нашей земли. Вот очевидный тройной императив, перед которым неминуемо окажется *Homo sapiens*.

Этот императив настолько ясен, что я не стану отнимать время у своих читателей лишними доводами. Не совсем ясно другое — в чем причина того, что большинст-

ву людей эти требования кажутся либо банальными, либо нелепыми и неосуществимыми, и почему мы, по-видимому, бессильны сделать их достоянием умов во всем мире. Прежде всего напрашивается ответ, что пока еще нет разумного мирового общественного мнения, а есть только всеобщее слабоумие; что стоит выйти за границы наших сравнительно образованных кругов, и вы попадете в среду отсталых, непоследовательных крикунов, которые неспособны осознать, какая роковая судьба им уготована. Вот почему я прошу вас внимательно разобраться в характере и особенностях возможного мирового общественного мнения и спросить себя, сполна ли мы выполнили свой долг в этом деле взаимосвязи людей — мы, ученые и писатели, имеющие определенные основания считать себя интеллектуальными вожаками человечества.

Я предлагаю вам вызвать некий дух — именно сейчас,— чтобы он принял участие в этой дискуссии. Не дух кого-то из живших на земле. Это куда более страшный призрак, чем беспокойный, неотомщенный, непогребенный бедняга былых времен. Этот дух — наш современник, он стоит теперь рядом со мной, подвергая сомнению наши притязания, взывая к нашей силе и мужеству, это Новый мировой порядок, само существование которого зависит от нас.

«Вы говорите,— замечает Пришелец,— о Новом мировом порядке. Но ведь это невозможно без мирового общественного мнения. А мировое общественное мнение требует общего языка, на котором люди с одного конца федерации могли бы обмениваться мыслями с людьми, живущими на другом конце. Что вы для этого делаете?»

Мы делаем для этого так мало, что когда на конференции ученых мы приступим к обсуждению этого вопроса, то, наверное, воскресим массу чепухи, которую должны были отвергнуть много лет назад.

К примеру, люди до сих пор вяло, автоматически повторяют, что этот минимум рационального мирового порядка лишит наш белый свет какого-то прекрасного разнообразия, существующего сейчас. «Эта ужасная монотонность!» — говорят они.

Я просил бы их приглядеться к современному миру и дать себе отчет в том, насколько обманчиво это кажу-

щееся разнообразие. На всем свете от Китая до Перу они увидят множество молодых людей, которые носят почти одинаковую форменную одежду и проходят одинаковую муштру; в каждом городе они увидят те же противовоздушные батареи, дозорные дирижабли, бомбоубежища и так далее. Куда бы они ни отправились, на восток или на запад, им бросятся в глаза однотипные магазины, охраняемые склады и стандартизованные товары — человечество всюду доведено до мертвенно-монотонной повседневной жизни. Люди живут в одинаковых домах, носят одинаковую одежду, едят одинаково непитательную пищу и травят себя одинаковыми патентованными лекарствами. А если где-нибудь процветал прекрасный местный промысел, то бесконтрольный могущественный делец-коммерсант прибрал его к рукам, взвинтил цены на материалы, красители, ткань, металл и прочее, подделал и вульгаризировал изделия. А между тем Федеральная охрана национальных ресурсов и Декларация прав человека и человеческого достоинства, всячески предостерегая против нивелировки людей, стремилась бы сберечь и восстанавливать национальную самобытность. Всемирная федерация — объединение не только политическое, но экономическое и правовое — означает неприкосновенность национальных особенностей на всем белом свете.

А теперь, в частности, о языке. Нам необходим всеобщий язык, на котором обсуждались бы всемирные интересы человечества, важный посредник для политических, научных, философских и религиозных связей. Это должен быть великий и гибкий язык, что, однако, не помешает любому быть двуязычным, а то и полиглотом. В недавнем прошлом, в мире непримиримых монархий и дипломатов, от которых нам необходимо избавиться, чтобы не погибнуть, агрессивные правительства различных государств, порабощая и ассимилируя чужеземные народы, стремились вытеснить и местные языки, что, естественно, вызывало ненависть к языку этих агрессивных держав. Бойкотировать навязываемый язык стало делом чести. Но как только прекратятся эти попытки вытравить местные языки, отпадут и возражения против того, чтобы дать мировому общественному мнению международный язык. Я пред-

ставляю себе, что повсюду на земле у людей останется привязанность к своему языку, к языку родному, языку нежных чувств, лирической поэзии и общения в узком кругу. И почему бы международному языку не иметь самые разные интонации и произношение, лишь бы это не мешало понимать друг друга. Не могу себе представить, что требование нашего Пришельца из мира будущего иметь международный язык станет на пути развития могучей культуры десяти тысяч местных языков — чем больше, тем лучше,— когда они освободятся от злосчастного политического произвола.

Теперь я позволю себе остановиться на главном пункте проблемы и хочу спросить, действительно ли мы выполняем свой долг, мы — это социологи, специалисты по экологии, значительная часть членов Британской ассоциации, мировая интеллигенция и вообще люди нашего плана — делаем ли мы все, что в наших силах, чтобы разрешить вопрос о методах и организации этого мирового общественного мнения, воплощенного в международном языке? Сделать это необходимо безотлагательно, и только мы одни способны разработать ясный, определенный план того, как это сделать. Что же практически мы можем предложить по этому поводу? Есть ли у нас что-нибудь готовое, что не вызывало бы споров? Насколько мне удалось узнать, мы располагаем только кучей неувязанных, непродуманных материалов, кое-какими удачными соображениями и теми необнадеживающими данными, которые люди почтительно выслушивают, заявляют, что они на редкость обнадеживающие, и забывают о них.

Я знаю, многие из нас уже начинают понимать, что этого недостаточно, и все настоятельнее требуют, чтобы мы встряхнулись и действовали сообща.

Степень согласованности работы различна в разных сферах деятельности человека, объединяемых науками. В целом в области техники и практической физики, в медицине, химии и астрономии сделано очень много по координированию сил. Мы не встретим людей, которые сооружают плотины, строят мосты, пишут рецепты или сообщают о каком-нибудь новом небесном явлении по наитию, основываясь на разрозненных, неподтвержденных идеях, на каких-то обнадеживающих наблю-

дениях, на чем-нибудь еще в этом же роде. Когда в упомянутых областях человек заявляет о сделанном им открытии или наблюдении, его работу сразу же проверяют контрольными опытами, подтверждают, отвергают или вносят в нее поправки. Сырой материал не дает права на патент. Эти области науки, знаменующие прогресс, из года в год набирают силу.

На днях я видел, как в Пасадене изготовляют огромный телескоп Лика, и он показался мне совершеннейшим и грандиозным творением. Он внушает почти трепет. Там, перед этим продуктом колоссальной воли и мудрости, я чувствовал себя пигмеем. И все же, поверьте, создание телескопа — дело куда меньшей важности, чем наше дело координации мысли и задач человечества.

Что же мы можем предложить нашему Пришельцу и всему миру?

Вопрос о международном языке занимал умы людей еще задолго до моего рождения, и было придумано несколько так называемых искусственных вспомогательных языков — эсперанто, идо и им подобные. Они поглотили какое-то количество умственной энергии, и были созданы довольно солидные организации, так что для японского эсперантиста, например, приехавшего в Перу, или Норвегию, или Южную Африку, стало возможным вести беседу с одним или двумя знатоками этого языка. Но знание эсперанто нисколько не поможет ему разговаривать с другими людьми этих стран. Это все равно, что быть членом международной шахматной ассоциации. Мне это напоминает тех загадочных мотыльков, которые отыскивают своих самок на огромном расстоянии. Но как добиться общения между всеми людьми, я так и не знаю. Очевидно, мы, чья прямая обязанность разрабатывать проекты и программы и сообщать новые факты всему миру — будь у нас такое же стремление действовать сообща, как у представителей более прикладных наук, — уже давно могли бы навести порядок в этих бесчисленных проектах искусственных языков; мы могли бы решить, какие социальные условия для них благоприятны и какие пагубны, и определить, на чем остановиться нашему уже теряющему терпение Пришельцу

Наряду с этими умственными упражнениями делаются попытки изучить возможность использования какого-либо из существующих языков в качестве международного, но в более простом, облегченном виде. Немало людей разобщенно трудились над этими проектами. Исключительно ценен эксперимент с «Бейзик инглиш»[1] — работа, которую мы связываем с именами Огдена, Ричардса и других. В общем, большинство склоняется к тому, что в качестве основы для международного языка надо использовать английский — подчеркиваю, не в качестве международного языка, а как основу. Его широкое распространение во всем мире в настоящее время, отсутствие склонений и простота грамматики, способность к ассимиляции иностранных слов говорят в пользу такого проекта. Против него можно выдвинуть закоснелый аристократический консерватизм, все еще играющий большую роль в английской системе образования — ревностно классической и кастовой,— который не только не способствует подобного рода распространению языка, а упорно сопротивляется ему.

Совершенно очевидно, что прежде чем предлагать Будущему Миру английский язык, необходимо изменить его орфографию. Это стало очевидно не сейчас, мы давно об этом знаем, но Будущее настойчиво стучится в дверь, а что у нас готово для него? И вот опять перед нами неотложная задача объединить усилия и добиться каких-нибудь определенных решений.

На моем письменном столе появляются труды самых разных школ орфографии — все они презирают одна другую, — а после свирепой борьбы отправляются в корзину для бумаги. Начнем со школы Д. Биллингса, которая по каким-то туманным, возможно, финансовым соображениям настаивает на том, чтобы в алфавите было всего двадцать шесть букв, и ни одной больше. Сознаюсь, для меня это так же убедительно, как письмо неграмотного пьяницы. Наш алфавит охватывает всего лишь немногим больше половины звуков, необходимых для международного общения. А уж в области фонетики царит полная неразбериха, непроходимые дебри новых понятий.

[1] Система обучения английскому языку, основанная на ограничении его словарного состава.

В этом вопросе, как и в большинстве других, я вовсе не специалист, но в свое время мне посчастливилось много беседовать с двумя очень одаренными, страстно увлеченными этим вопросом людьми — сэром Гарри Джонстоном и мистером Бернардом Шоу. У Шоу острый слух, и он одержим фонетикой. Он, конечно, и разбирается в этом гораздо лучше меня. И он говорит, что для алфавита, который удовлетворял бы требованиям международного языка, необходима примерно сорок одна буква. Это, по-видимому, недалеко от истины. Но сделали ли мы хоть что-нибудь для того, чтобы объединить усилия и создать единый алфавит, выработать стандартный ключ к нему и пустить его в оборот? Разумеется, нам нужны буквы ясные, определенные, какие не спутаешь одну с другой или с нечеткими уже известными нам буквами. Нам не нужна буква, которая на одном языке читается, как *B*, а на другом — как *F* или *C*, которое на одном языке значит *K*, а на другом — *S*, нам не нужно единственное *E*, сочетающее короткое скромное *eta* с пышным *epsilon* и так далее. Все это нам подсказывает здравый смысл. Но много ли сделано в этой области и что мы делаем?

В любом из бесчисленных фонетических проектов вы обнаружите самые немыслимые способы фонетической транскрипции. Обычные буквы печатают вверх ногами, стоящими наклонно и просто лежа; исчерпав всю наборную кассу, бедные труженики привлекают жирный шрифт, и курсив, и математические обозначения, и взбесившиеся знаки препинания. Шрифтов, естественно, не хватает, и это приводит к тому, что большинство фонетических алфавитов просто нелепо. Но мировое общественное мнение не может обойтись без фонетического алфавита. Значит, и в этом деле предстоит огромная работа по согласованию.

Я хочу остановиться еще на одной стороне вопроса о создании мирового общественного мнения. Речь идет о значении или семантике слов, в исследовании которых намечается еще один важный, покамест не координированный сдвиг. Мы постепенно начинаем понимать, какие шутки могут сыграть с нами слова. Такие книги, как «Тирания слов», например, побуждают немало людей к более тщательному исследованию

словесного материала: они-то воображали, что думают и обмениваются мыслями, тогда как в действительности просто менялись устарелыми, стершимися монетами, которые следует изъять из обращения. Я не стану называть имена и расточать комплименты, ибо не настолько хорошо ориентируюсь, чтобы определять, кто здесь кто, на этом исключительно важном поприще. Однако моих знаний достаточно, чтобы понимать, что пресловутый словарь английского языка, который говорящие на нем предлагают миру как лучшее средство выражения мыслей, на самом деле крупный мошенник, гигант, толку от которого не больше, чем от быка Тристрама Шенди; и при этом мошенник дерзкий, так как он поражает наше воображение блестящими доспехами выспренних пошлостей. Его единственное оправдание в том, что в целом он не так плох, как другие возможные международные языки.

А какое зло приносит нам небрежное употребление слов! Во все века люди долгие годы не могли договориться и мучали друг друга из-за конфликта между наукой и религией. Это всегда было причиной темноты и забитости, гонений и преследований да и по сей день приносит нам множество бед. А толковать об этом все равно, что искать конфликт между дикорастущими полевыми цветами и цветами на обоях. И все же вы встретите немало людей, которые способны раздраженно вскочить с места и заявить: «О, *всем* известно, что такое наука и что такое религия».

На самом деле вряд ли это кому-нибудь известно, иначе не было бы этого нелепого антагонизма. Я лично считаю слово «наука» на редкость обманчивым, на нем какой-то налет полной безапелляционности, что отнюдь не соответствует его реальной сущности. Первой научной публикацией в Англии были «Философские труды». Если бы вы в то время были членом Королевского общества и завели разговор о «науке» и «ученых», никто не понял бы, что вы хотите этим сказать. Слово «религия» еще более неопределенное. Вы можете без всякого труда собрать десяток противоречивых объяснений этих слов. И, конечно, неприятности были здесь неминуемы.

Конфликт из-за неточных названий «религия» и «на-

ука» объясняется весьма просто. Духовенство, которое в прошлом направляло и контролировало поведение людей, считало необходимым иметь мифологию для истолкования морального конфликта человечества, и с этой мифологией оно тесно связывало свой моральный кодекс. А все объяснения оно основывало на догадках и только на догадках, совсем как первобытные люди. Оно создало миф о сотворении мира и указало точную его дату, сочинило историю о рае, грехе и падении и на этой основе построило обширную, сложную систему своего влияния на человечество, сделав веру в эту мифологию сутью религии и при этом отбросив многие важные стороны религиозной жизни. Большинство религиозных конфликтов, войн и гонений было связано с вопросами определения смысла слов. Вспомним, сколько крови пролилось из-за слова filioque[1]. Атаназианская вера — это фантастический набор немыслимых определений.

С развитием натурфилософии древняя надуманная мифология стала вызывать сомнение. Люди начали постигать новую историю *жизни во времени*, и это понимание угрожало духовенству, его авторитету, догмам, церковным церемониям, его власти над судьбами людей. Священники не могли допустить и мысли, что религиозная жизнь возможна без их лелеемой мифологии, и, естественно, делали все, что было в их силах, чтобы убедить добрых, простодушных, веривших им людей в том, что новая наука означает конец религии вообще. Не надо ее слушать, не надо изучать.

Между тем расширение познаний о великом прошлом и неизбывная вера в возможности человечества вовсе не означают конец религии, а скорее ее перерождение. Но как мешает нам эта непродуманная, опрометчиво выраженная мысль! Как жестоко мы расплачиваемся за небрежное, безответственное заявление. В мире, жаждущем единой религии, способной объединить нас с нашими собратьями, мы все еще отказываемся признать эту жажду и терпим мертвые религии, такие же

[1] Filioque *(лат.)* — филиокве — «и от сына» — католическое добавление к «символу веры», было утверждено на Толедском церковном соборе 589 года. Оно явилось причиной борьбы и постоянных раздоров между католической и греко-византийской церквами. Споры ведутся богословами до сих пор.

мертвые и несостоятельные, как те языки, за которые они цепляются. Подобно тому, как финансовые и собственнические интересы, отжившие обычаи мертвого прошлого борются против явной необходимости охранять мировые ресурсы, подобно тому, как правительства с их узкими государственными границами ведут отчаянную борьбу против всеобщего федерального мира, так и могучие религиозные организации — те самые люди, которые в душе сказали себе «бога нет», а публично отстаивают монополию на его имя,— используют любое смятение умов, чтобы препятствовать развитию солидарности науки и религии, солидарности, так необходимой сейчас миру.

В этой связи возникает еще одна неотложная задача, над решением которой необходимо работать теперь же и сообща, а именно: надо как можно скорее ввести в практику изучения языков в школах и колледжах критическое исследование значения слов. Я сам начал понимать, что такое язык, лишь в школе, когда стал учиться разбору предложений. Такого рода занятия мы должны дополнить смысловым анализом. Надо приучить подростков к тому, чтобы они всегда ставили перед собою вопрос: «Что означают выражения, которые я употребляю? Каков их смысл? И какие ложные представления к ним примешаны?» Знание семантики может оказаться для наших детей надежной защитой от беспросветной галиматьи, которая мешает миру освободиться от его теперешнего слабоумия.

А сейчас обратимся еще к одной стороне вопроса об организации разумного мирового общественного мнения.

Мы хотим собрать воедино всю мировую информацию и создать справочный орган для мирового общественного мнения. Человечество должно не только ясно мыслить и выражать свои мысли, но иметь доступ в мировом масштабе ко всему объему знаний и идей, которыми оно когда-либо располагало.

Кое-что уже предпринимается и в этом отношении; нужно только общее энергичное усилие, и мы обеспечим материальную основу, регистрирующие единицы для этого важнейшего фактора мирового общественного мнения.

Очень трудно перечислить все, что было сделано и что делается в этой области. А делается куда больше, чем

думают многие интеллигентные люди. И сейчас, я полагаю, мы в состоянии собрать весь материал, все, что сделано, рассказать об этом и завоевать себе достаточный престиж, чтобы привлечь средства и обеспечить общественную поддержку. Я пытался — возможно, по-журналистски неуклюже и неувлекательно—мысленно собрать воедино эти материалы. Я воспользовался термином «мировая энциклопедия», чтобы во всем объеме охватить накопленные образцы мысли, искусства и науки. Моя энциклопедия имела бы гораздо большее значение, чем устарелая, неудачно спланированная «Британская энциклопедия», которая до сих пор пользуется спросом. Она включала бы все музеи, картинные галереи, собрания документов, атласы, материалы изучения вселенной. В своем теперешнем виде это огромная, разбросанная — или, скажем, плохо собранная,— труднодоступная сокровищница знаний, и наши первые попытки ее атаковать должны быть направлены на то, чтобы снабдить указателем весь этот первоначальный материал.

В этом смысле многое было сделано под общим названием «документация». Мне это известно главным образом через профессора Полларда, доктора С. К. Брэдфорда и их помощников. Эта организация почти в такой же степени интернациональна, как Британская ассоциация. Недавно в Лондоне состоялась конференция, на которой присутствовали делегации от многих стран, а во время последней Парижской выставки мне довелось побывать на съезде, участники которого прибыли более чем из тридцати государств. В науках более систематизированных уже сейчас в значительной степени избавились от ненужных совпадений и повторений, и документация неуклонно сводится во все более широкие неоценимые по значению каталоги.

Наряду с этим прилагаются все усилия, чтобы зафиксировать как можно больше накопленных знаний и уберечь эти записи от урагана бессмысленного разрушения, который проносится сейчас над нашей планетой. Для этой цели все шире и шире применяется микрофотография. И здесь особенно интересная и многообещающая работа ведется моим старым другом доктором Кеннетом Мисом из компании Кодак и Ватсоном Дэвисом из Вашингтонского научного общества. Сейчас можно вме-

стить целую библиотеку в маленький ящичек, и таким способом уже собрана, запакована и хранится значительная часть ранней английской литературы. У нас есть теперь возможность воспроизводить естественные краски. Любую картину, здание, механизм или животное можно показать в его натуральной окраске и в движении, а поскольку возможности репродукции и распределения такого материала поистине безграничны, ничто не мешает нам посылать такие фильмы студентам на манер передвижной библиотеки в любую часть света. Это и есть уничтожение расстояния в интеллектуальном плане.

Обратите внимание, над этим уже никто не может смеяться и называть фантастическими бреднями. Такая работа фактически ведется, нужны только организованность и деньги, чтобы охватить ею весь объем человеческих знаний и мысли. Вот то, что общими усилиями может быть сделано *сейчас* со всей массой интеллектуальных накоплений человечества.

Но это только одна, важнейшая часть мировой энциклопедии. Вся эта масса накоплений должна приносить плоды, такой материал надо постоянно подвергать обработке и *усвоению*. Он нужен мировому общественному мнению для учета и переосмысления; но здесь есть немало повторений и ошибок— многие данные слишком противоречивы и нелепы или вытеснены другими, лучше выраженными, или уже не имеют никакой ценности. Не уничтожайте их. Пусть лежат на чердаке. Они могут понадобиться; потребности мирового общественного мнения включают и обобщение и анализ, а для этого необходимо, чтобы сотни и тысячи людей постоянно обновляли и занимались перепланировкой этих общих и частных данных. Вот какое представление возникает у нас, когда мы говорим «энциклопедия», но если бы у меня была возможность вернуться к началу, я отказался бы от термина «мировая энциклопедия» и заменил его словами «Мировой институт мысли и знаний».

У нас есть несколько специальных энциклопедий немалой ценности, однако общие энциклопедии слишком долго остаются на уровне образцов столетней давности. Их превратили в прибыльный товар, и вряд ли мы погрешим против истины, если скажем, что они представляют собой коллекции разнообразных материалов, ско-

лоченных вместе по вкусу книготорговца. Однако Франция — *будь она благословенна!* — сделала большое дело. Энциклопедия de Monzie, которая выходила до оккупации страны, — это блистательная попытка создать упорядоченную, современную картину мира. У меня есть первые одиннадцать томов, и я надеюсь, что когда-нибудь буду иметь все. Я отнес их одному почтенному, весьма солидному английскому издателю и спросил его, почему бы нам не перевести эти книги, чтобы распространить их среди двухсот пятидесяти миллионов — если не больше — людей, говорящих и читающих по-английски. «Не думаю, что такое издание *окупится*», — ответил он и прекратил разговор. Так-то вот. Для него это было решающим мерилом. Наша Ассоциация должна разъяснять настоятельную нужду в современной энциклопедии и добиться ее издания в условиях, не зависящих от произвола торгашей.

Не стану предаваться мечтам, описывая, как постоянно обновляемая, модернизируемая всеобщая энциклопедия становится основой системы образования в мировой общине. Ведь сделано еще поразительно мало. Даже в прелестных, радующих глаз сельских колледжах, созданных в Кембриджшире, большинство книг — дрянь, а пуще всего справочники. Поезжайте в любое из таких местечек, вообразив, что вы парнишка лет двенадцати-тринадцати и жадно тянетесь к знаниям, да посмотрите, какую вам предложат литературу. Мне кажется, многим из ученых мужей было бы полезно время от времени ставить себя на место пытливого мальчика, который хочет все знать, и проверять, какие ему предоставляются книги в промышленном центре или в сельской местности. Между тем кому же и давать образование, если не этим любознательным мальчикам и девочкам! Он или она единственная живая реальность по сравнению с корпорантскими шапочками и мантиями [1], учеными степенями, званиями и претензиями.

Говорят, население мира составляет две тысячи миллионов и египетский рабский труд стал нелепицей. Мы должны обучить всех этих людей и объединить их. Подумайте только, что это значит! Сколько образованных педагогов потребуется на каждые две тысячи человек,

[1] Академическая одежда английских профессоров и студентов.

даже при максимальном использовании радио, кино и патефона. Сколько духовных наставников и целителей душевных ран? Какая нужна будет им умственная поддержка? На эти вопросы вы сумеете ответить более точно, чем я.

В своей статье я пытался трезво оценить истинное положение человечества, но теперь все начинают понимать, что истинная картина эта мрачна и даже чудовищна не только с позиции здравого смысла, но с любой точки зрения.

Я пытался выдвинуть нечто вроде идеи гигантского предприятия, которое люди призваны осуществлять, люди нашего и только нашего плана. Британская ассоциация, и в частности ее отделение социальных и международных научных связей, а также и сходные с нею организации во всем мире располагают возможностями для объединения нашего легкомысленного мира и превращения его в разумный действенный интеллект. Ассоциация независима и хорошо организована. Она состоит из различных отделений, которые обеспечивают возможность самого полного обмена научным опытом между людьми, работающими в определенных научных областях. В то же время ее двери открыты для любого образованного человека со стороны, который хочет слушать и учиться. В ней совершенно нет аристократической обособленности Королевского общества. Мой старый учитель Томас Хаксли не раз говорил, что элементарный курс, который он читал для студентов, явился для него самой ценной тренировкой, ибо обязывал пересмотреть его собственную исследовательскую работу в свете общей биологии и общей картины нашей жизни. В организациях, подобных Британской ассоциации, и связанных с нею учреждениях, специалист может обучать и учиться, оставаясь человечным. Он может остаться органическим элементом мирового общественного мнения.

Нас немного, а мир сравнительно велик. Это не основание для малодушия. Величайшее в жизни началось с эмбриона. Мы — скромное начало, способное двинуть духовную лавину, которая очистит мир для новой жизни. Мы способны положить этому начало, а если мы этого не сделаем, никто не сделает. Только люди нашего плана могут это сделать.

Кое-кто из вас скажет: «Мечты. Несбыточные мечты!» Возможно, так оно и есть. Очень может быть, что несбыточные. Но, говорю я вам, если вы не разделите эти мечты, если в течение оставшегося у нас короткого времени не сделаете все возможное, чтобы их претворять в жизнь, то вместо сна наяву на вас обрушатся новые кошмары, на вас и на ваших близких, на всех, кто вам дорог.

Не знаю, что испытывает тот, кто принадлежит к виду, не сумевшему приспособиться. Свои семьдесят пять лет я прожил в эпоху прогресса, но я могу представить себе, как горько будут расплачиваться наши дети и дети наших детей, вся молодая поросль,— расплачиваться позором, нуждой и лишениями; могу представить себе их жизнь, уродливую, нездоровую, звероподобную, пока Природа, не спеша и не медля, как это ей свойственно, не сметет их с лица земли.

Я мог бы на этом закончить. Это эффектный конец, эффектный с литературной точки зрения; но он не совсем оправдан. Таков естественный ход вещей. Я полагаю, что мы по-прежнему идем к краху, к вымиранию, но мы должны заниматься обсуждением не хода вещей, а чего-то более определенного, и тут нам придется столкнуться с двумя труднейшими проблемами — количественными определениями, определениями временными и пока еще едва заметным процессом развития массовой психологии. Возможно, что мы вступаем в промежуточную фазу умственной усталости и в фазу лицемерных, двуличных религиозных войн. Когда я говорю: религиозные войны,—я, разумеется, имею в виду крестовые походы и грабительские войны, которые ведутся во имя мертвых религий, еще обременяющих нашу планету. Мертвая религия— все равно, что дохлая кошка: чем она больше окостенела и протухла, тем она лучшее метательное оружие. Вызываемые этими войнами беспорядки и волнения могут то здесь, то там создать разумным, настойчивым людям условия для претворения в жизнь этой извечной задачи — разработки структуры мирового порядка и мирового общественного мнения. Это не оправдание, чтобы медлить, но это убеждает нас в том, что надежды необходимо сочетать с решимостью выполнить задачу, которую ставит перед нами Пришелец из Будущего.

Я не собираюсь приносить извинения в том, что написал статью вовсе не оригинальную. Я не внес ни единого предложения, не проверенного на практике и осуществимость которого не доказана; даже моя основная мысль насчет согласованности усилий — лишь эхо того, что делается Отделением Британской ассоциации социальных международных научных связей. Моя роль сводилась к тому, чтобы констатировать и привлечь внимание. Я являюсь чем-то вроде диктора Би-би-си. Я всего только суммировал. Передаем последние известия ученых всего мира в 1941 году. Это квинтэссенция того, что могут сказать миру ученые. И мы обязаны сказать это твердо и ясно. Мы, работники интеллектуального труда, должны решить, уподобимся ли мы греческим рабам и будем делать то, что нам прикажут наши господа, гангстеры и спекулянты, или займем принадлежащее нам по праву место хозяев и слуг народов всего мира.

Вышесказанное я подготовил как вводную речь на заключительном заседании отделения, посвященном теме «Наука и мировое общественное мнение», на конференции, созванной Британской ассоциацией по развитию науки в Лондоне 27 сентября 1941 года; я был приглашен в качестве председателя. В своем докладе я стремился подвести итоги, представить проблему мирового общественного мнения, объединить несогласованные элементы и предложить нечто вроде единого плана действий, которому авторитет Британской ассоциации придал бы вес.

Я понимал, что собрание, на котором я должен был председательствовать, редчайшая — быть может, неповторимая — возможность достичь единства в вопросе влияния на человечество, ибо отсутствие единства, как я утверждал в своей статье, это — величайшее из зол, с которыми нам приходится сталкиваться. У нас высказывается много прекрасных мыслей, проводятся конструктивные опыты, но в случае возникновения противоречий мы — под словом «мы» я подразумеваю мир науки в самом широком смысле, как он представлен Ассоциацией,— так и не умеем сколько-нибудь эффективно и сообща их разрешить. Мы слишком индивидуалистичны. Мы не прислушиваемся друг к другу с целью достичь

взаимопонимания. Один говорит о таком-то аспекте, второй концентрирует внимание на другом, и в результате алгебраическая сумма нашего руководящего влияния на мир ничтожна.

«Нельзя ли навести порядок в этом важнейшем вопросе?» — спросил я. Сэр Ричард Грегори своей вступительной речью на открытии конференции показал, что это можно сделать, что мы в силах сделать решительное усилие, чтоб достичь максимального согласия; и что на заключительном заседании мы могли бы особо остановиться на его выступлении и извлечь из него немалую пользу.

Мы много беседовали в кулуарах, прежде чем эта проблема приняла определенную форму. Когда я сказал организаторам, что хочу открыть заседание докладом минут на сорок пять, а то и больше, мне ответили, что это невозможно. Поскольку моя речь имела целью обобщить и подвести итоги, я рьяно протестовал. Работа конференции проходила в новых условиях, условиях большой напряженности, но мне казалось, что мы стоим перед опасностью прийти к тому, против чего был направлен мой доклад, а именно: к несогласованным утверждениям и декларациям, которые нас ни к чему не приведут. В этом наш председатель был полностью со мной согласен. Он согласился с тем, что не удастся выдержать регламент и придется просить дополнительное время. Ведь может случиться, что мы будем противоречить друг другу, а примирить наши разногласия не хватит времени.

Но устроители конференции находились в трудном положении — время было ограничено, а докладов много, и мы примирились на компромиссе: в надежде на то, что впоследствии доклад удастся напечатать, решили размножить его на мимеографе и раздать участникам последнего дневного заседания, а также тем, кто захотел бы его прочитать. В предоставленном мне пятнадцатиминутном вступительном слове я смог только перечислить главные тезисы моего основного доклада и сделать несколько замечаний по поводу мнений, высказанных за те два с половиной дня плодотворной работы конференции, что протекли после того, как мой доклад был подготовлен.

Бернал, например, высказывал мысли, настолько совпавшие с моими, что мне почудилось, будто он читал

мой доклад. Но ведь мы с ним много разговаривали, и слова эти стали нашими общими — моими в такой же степени, как и его. И я слышал нескольких ораторов, к примеру, профессора А. В. Хилла, мистера Майского, Дж. Б. Хэлдена, выступавших более живо и решительно по вопросам, которые я пытался ставить. Я добавил: «Если бы мне было предоставлено время, я, разумеется, внес бы в свой доклад поправки, учитывая некоторые весьма важные сообщения, которые мы здесь услышали. Я полагаю, на многих из нас глубокое впечатление произвел подход сэра Джона Орра к мировой проблеме, как к проблеме продовольствия. Это совершенно новая точка зрения, и в настоящее время она может найти горячий отклик в американском сельском хозяйстве. Иллюстрацией к выступлению сэра Джона Орра послужили несколько докладов, из коих, по-моему, наиболее яркими были доклады сэра Джона Рассела и мистера Ноэла Бэкерса. Сэр Джон Орр обладает ясностью, простотой и силой научного мышления. Его доклад был, мне кажется, самым свежим и ценным из всех замечательных выступлений, которые мы здесь слышали. Нет надобности кормить человеческие существа насильно, сказал он нам, положите лучшее в пределах их досягаемости, и они возьмут все сами. Его идея, я позволю себе подчеркнуть, отнюдь не сводится к материальной пище.

Доктор Дженингс Уайт высказал несколько блестящих мыслей по поводу образования. Он сказал, что в этом смысле, во всяком случае, нет разницы между душой и телом. Положите материал, разнообразный и обильный, перед умным, от природы любознательным человеком — и отпадет всякая надобность в той отвратительной зубрежке, которую мы называем «образование». Вместо слова «обучение» он применил старый медицинский термин «*eutrophy*»[1], признаюсь, мне это определение очень нравится. Я надеюсь и верю в то, что наша мысль и воля постепенно обращаются к эутрофическому миру.

В эти три последних дня я понял также, что над человеческой деятельностью, традициями, предрассудками довлеет материальная необходимость, и я, несомненно, исправил бы свой доклад и остановился бы на этом. Ма-

[1] Хорошее питание (*лат.*).

териальная необходимость, повсюду влиявшая на коллективное поведение в последнюю треть столетия,— это необходимость регулировать количество осадков и сохранять энергию воды и земли. Мы не забудем совсем недавнюю трагедию Днепровской плотины. Но строить плотины должны государства с любой формой правления, коммунистическая Россия, равно как индивидуалистическая Америка. И хотя лорд Хейли — сторонник крайнего патернализма, по-видимому, не подозревает, что статут Вестминстера ослабил Британскую империю, что выявилось еще тогда, когда лорд Хейли производил обследование Африки и изучал вопрос нашей ответственности за Африку, из его слов явствовало значение все той же физической материальной необходимости. Из великолепного отчета, представленного администрацией долины Теннесси, ясно, что плотина — то есть приложение технической науки — революционизирует человеческую жизнь. Было интересно слушать, как профессор Альвин Хансен доказывал, что, несмотря ни на что, можно и впредь извлекать прибыль из жилищного строительства. Я полагаю, однако, что большинство из нас согласится с прекрасно аргументированной критикой мистера Х. П. Воулса, который разбил это утверждение. Можно сказать, что плотина необходима самому человеку, для его собственного спасения его надо сдерживать.

Как видите, к мировой проблеме можно подойти с самых разных сторон, в зависимости от склада вашего ума. Все дороги ведут к федеральной структуре мира. Защита человечества от всяких Blitzkriegs[1] — таков, к примеру, мой подход; однако вы можете подойти к этой проблеме под углом зрения охраны естественных ресурсов или же распределения продовольствия. Если ваши доводы будут последовательны и строго научны, если вы не будете отвлекаться от темы, то в конце концов все мы сойдемся во взглядах на будущее человечества. Мне довелось видеть всякие символические фигуры, представляющие науку,— преимущественно это были аппетитные дамы, весьма легкомысленно одетые. Я лично предпочел бы, чтобы ученый ум изображали в виде собаки, помеси бульдога и терьера, которая разжимает челюсти только затем, чтобы крепче их сжать.

[1] Молниеносная война (*нем.*).

Мне, во всяком случае, не пристало распыляться. Наша задача — быть практичными. Наша задача —объединять, посему я приветствую предложение сэра Ричарда о создании специальных комитетов для обобщения всего, что было сделано на этой и предыдущих конференциях, и для составления отчета, который отразил бы хорошо продуманную научную точку зрения по затронутым вопросам, при условии, конечно, что эти комитеты не будут слишком громоздкими, сразу же приступят к работе и сосредоточат внимание на составлении отчета.

В своей статье я избегал всяких идеалистических или нереальных высказываний. Это — практическое исследование. От начала до конца это — резюме.

Со времен Будды и Конфуция было сказано много прекрасных и благородных слов о свободе, справедливости, равенстве и братстве людей. Мне говорили — не всегда наивысшие авторитеты,— что мы пропитаны этими идеями и что наша задача — воплотить их в материальную форму. Это более сложная задача. Освобождение мирового общественного мнения практически началось вовсе не тогда, когда определились эти великие устремления. Оно началось вместе с изобретением бумаги и печатного станка. Наша задача — пропагандировать эти идеи, и, чем меньше мы будем разбавлять их риторикой, чем реже будем блуждать в дебрях разобщенности, тем будет лучше.

1941

НЕПРИГЛЯДНАЯ СТОРОНА АМЕРИКИ

Просто случайность, что я не родился американским гражданином. Мой отец и школьный учитель — оба были добрыми радикалами, и Америка всегда была и остается для меня страной Надежды и Славы. Конечно, с теми оговорками, которые неминуемы для человека, достигшего умственной зрелости.

Недавно (с сентября по декабрь 1940 года) я путешествовал по Америке в самое что ни на есть интересное время. Я видел выборы во всей их ожесточенности, да и сам, проделав двадцать четыре тысячи миль, читал лекции и дискутировал в самых различных аудиториях от Алабамы до Далласа, Денвера, Аризоны, Техаса, Лос-Анжелоса и Сан-Франциско, от Флориды до Коннектикута и Нью-Йорка. Меня принимали самые разные люди в самых разных домах. На обратном пути я плыл до Бермудских островов на клиппере, типичном клиппере янки, а затем оттуда до Лисабона—на американском рейсовом лайнере, который уже не напоминал мне ни одного из тех уголков Америки, где я когда-либо побывал. Георг Стивенс из Ледисмита говорил, что страну можно узнать за три месяца лучше, чем за пять лет. При первом столкновении вы видите ее в общих чертах, но отчетливо и ясно, а потом вы начинаете тонуть во все большем количестве подробностей. В течение более чем тридцати лет время от времени я посещал отдельные уголки Америки, но никогда прежде не видел ее так ясно и всю целиком, как увидел за эти такие богатые событиями месяцы.

Я увидел страну, взбудораженную войной и выборами, я как бы застиг ее врасплох, поэтому лучше понял некоторые стороны общего ее устройства, и они вызвали у меня тревогу. Эти стороны я воспринимал как само собой разумеющиеся и не задумывался о них с тех пор,

как в 1906 году изложил свои первые впечатления в книге «Будущее Америки». Больше всего поражает грубая прямота действий, исключающая всякие последующие сомнения. Основная цель — играть ради выигрыша, а не ради какого-то воображаемого «интереса к игре» и делать все, что возможно в пределах правил. Национальная игра американца — покер — построена на безжалостном обмане, а ее цель — куча монет. Да и в бридж он не «играет» — игру заменила система шулерских приемов. В драке типичный американец бьет не просто, как приходится бить, а изо всех сил. В делах он ставит на выигрыш, для него тут не может быть компромисса, и он почти лишен гордости созидателя. Созидатель для него не тот, кто создает прекрасные вещи, а делец, скопивший большие деньги. Однако во всех остальных случаях он такой же славный малый, как и любой другой; под влиянием момента он будет и щедр и добр и только отчасти будет делать это напоказ, но все это до тех лишь пор, пока не запахнет соперничеством. И тогда от Атлантики до Тихого океана не найдется более ожесточенного конкурента.

Президентские выборы поразили меня своей абсолютной безнравственностью. Я не могу применить другого слова. Нападки на семейную жизнь президента, скандальные сделки между рабочими лидерами и штрейкбрехерами, вроде сделок Люиса и Вильке, безрассудство республиканцев, которым совершенно все равно, как сказался бы провал Рузвельта на положении в Европе, каждодневные наглые фальсификации прессы, почти единодушно настроенной против Рузвельта,—все выглядело отвратительно. Сейчас на какое-то время все это стихло, но таится под поверхностью и снова вынырнет, когда снова вспыхнет нарастающий социальный конфликт.

Да, при всем видимом могуществе и богатстве Америки в ней развивается глубокий социальный конфликт. К двадцатым годам текущего столетия основные политические партии стали такими же искусственными образованиями, как зеленые и голубые в Византии. Президент Вильсон подорвал Лигу Наций, исходя из партийных интересов, которые вряд ли имели бóльшую социальную значимость, чем борьба Бальфура против Асквита накануне 1914 года. Это была игра, а положение в Европе

было лишь фишкой в этой игре. Американцы вели игру со всем присущим им упорством, но до тех пор, пока валютный крах в Германии не вызвал всемирную финансовую бурю, они все еще твердо верили, что могут по свободному выбору вмешиваться в дела других континентов или отгораживаться от них, оберегая свое достояние. В конце двадцатых годов они переживали период лихорадочной сверхспекуляции и избыточного спроса, и после того, как он достиг наивысшей точки, последовал бурный спад. И внезапно Соединенные Штаты обнаружили, что они сами оказались в условиях, подобных тем, которые сложились в восточном полушарии, что у них тоже начался социальный и экономический развал, что добрая старая уверенность в свободной конкуренции и «здоровый индивидуализм» уже больше им не помогут.

Все это обрушилось на американцев с необычайной быстротой. В 1920 году, когда американская идея «здорового индивидуализма» все еще торжествовала, они издевались над английскими рабочими, над подачками, которые они получали, и гордились своей личной независимостью. В 1933 году по Америке прокатилась волна финансового и промышленного кризиса, и вот, ошеломленная и напуганная, она приняла как спасителя президента откровенного социалиста, и его огромный запоздалый вклад в социализацию под смягченным названием «Новый курс». В сущности «Новый курс» был революцией. От не имеющих существенной социальной значимости столкновений двух партий политика шагнула к острому социальному конфликту между всем, что стоит в обществе за могущественными стяжателями и монополистами и растущим непокорством разобщенной массы обездоленных. За последние восемь лет срывалась одна завеса за другой. Каждые из трех выборов 1932, 1936 и 1940 годов все более очевидно выражали социальный конфликт. Очередные выборы будут от начала до конца социальным конфликтом и ничем больше.

Те же противоречия обнажились во всем мире, правда, в разных странах с различной степенью остроты или умеренности. В этой книге, умышленно повторяясь, я в главах XIV, XVII, XVIII, и особенно в XIV, привожу доводы, обосновывающие предположение, что почти инстинктивный поворот Британии к умиротворению мо-

жет смягчить противоречия внутри страны. Но если это средство пригодно для Британии, оно пригодно и для всего мира. Это та самая политика среднего пути, которой так недостает Соединенным Штатам. Старый порядок, который не столько порядок, сколько сосуществование различных групп накопителей, теперь умышленно готовится к беспощадной последней схватке за возврат к прошлому. Президент удерживает страну только своей внешней политикой. На любой конструктивный проект, который мог бы послужить вкладом в социализацию мира, на любое требование справедливости по отношению к побежденной стороне и даже на движение за образование навешивается ярлык «красный» и «антиамериканский»; все подвергается нападкам, искажается, против всего подобного борются, не стесняясь в средствах, политики от бизнеса и их пресса. Мы знаем и о безумном стремлении воспрепятствовать реконструкции мира со стороны наших шутов, крайних тори, у нас в Британской империи, но мы знаем также, что они не выражают мнения умных и серьезных представителей своего собственного класса. Торизм в Америке, мне кажется, является более догматичным и откровенным и обладает большей сплоченностью. Сам себя он называет «Бизнес», и это действительно означает просто бизнес. Возможно, он не победит, но он может существенно помешать перестройке человеческой жизни.

Он будет бороться не только против обездоленных, но и против самой судьбы, которая ставит человечество перед выбором: перестройка мира или катастрофа. А когда придет время, они не остановятся перед тем, чтобы стрелять. Ведь они узколобы, свирепы и энергичны. В Америке сияет еще свет либерализма, но вы не увидите его в кабинетах банков, в деловых конторах и помещениях редакций. И куда бы я ни ходил, у меня было такое чувство, будто шторы готовы в любой момент задернуться, двери захлопнуться, основные позиции захвачены. Европейский треугольник, где (A) богатство и привилегии обращаются к (B) фашизму из-за его слепого страха и ненависти к (C) социализму, может в западном мире продолжать разрастаться в более грубом, зловещем и гигантском масштабе.

Из книги «Путеводитель к новому миру», 1941.

БОГ ДОЛЛАР

У меня практический склад ума, и я сужу о религии человека по его поступкам. Если, например, он непрерывно пьянствует, если ради выпивки он готов на что угодно и забывает обо всем, что есть хорошего на свете, мне безразлично, какой из затасканных религиозных ярлыков к нему приклеен — ярлык баптиста, суннита, индуиста, буддиста, православного, сторонника христианской науки или атеиста, потому что настоящий его бог — это пьянство. Если же все жизненные ценности он выражает в долларах; если потерять доллары для него означает полный провал, а потратить их с выгодой и напоказ называется у него «творить добро», то мне безразлично, какую веру он исповедует, потому что доллар и есть его истинный бог.

Много долларопоклонников жило и умирало, изнывало от зависти и трепетало от благоговения, но осмелюсь признаться, я не очень-то высокого мнения об их божестве. С ним происходит в наши дни то же, что со многими другими ложными богами. Сомневаюсь, чтобы господь Доллар мог спасти своих почитателей. Сомневаюсь, чтобы он и сам мог спастись.

В расцвете своих сил это был поистине могущественный бог. Он мог вязать и разрешать от уз. Ни одно дело нельзя было предпринять, если он не обеспечивал его капиталом. К вашим услугам могли быть свободные рабочие руки и груды неиспользованного материала, но если материал этот не был оплачен, то как бы велик ни был спрос, ничего у вас не могло получиться, пока бог

не смилостивится. Главной заботой каждого, кто стремился служить людям, отдавая себя научным исследованиям, или помогал им, занимаясь какого-либо рода благотворительностью, было «добывание средств». Постепенно это божество завоевало весь мир. Со всей земли собирало оно дань, все золото мира стекалось к нему в одну огромную сокровищницу (*мало того, оно требовало платить ему больше, чем было в человеческих силах*).

Учение жрецов этого божества гласило, что все люди — его рабы. Но рабы взбунтовались. Они посоветовали почитателям доллара поставить крест на деньгах, а сами начали хозяйничать в своих заложенных странах так, словно те свободны от долгов, прибегая к системе товарообмена и коллективной собственности, обесценивая деньги настолько, что они превращались в мыльный пузырь, и, наконец, прямо аннулируя долги.

С тех пор как появились деньги, история человечества — это история таких бунтов, освобождения от долговых обязательств и ликования. Напрасно сопротивлялись ростовщики и кредиторы, сделавшие из фишки фетиш. Напрасно занимались они мелочной арифметикой. Крез был одним из величайших поклонников Золота в древнем мире. Дерзкие нечестивцы восстали против него, расплавили его золотое божество и влили ему в глотку.

Из книги «Путеводитель к новому миру», 1941.

ИСПАНСКАЯ ЗАГАДКА

Теперешняя Мировая война началась в Испании, когда там было предано законное правительство. Великобритания и Америка запретили Испании закупить военное снаряжение, необходимое для подавления путча генерала Франко, и это в конце концов погубило либеральное республиканское правительство. Я путешествовал по Испании в 1932 году. Я вел свою машину от Барселоны вдоль берега на Ельчи и Мурсию, через Сьерра Невада до Гренады, затем от Кордовы и Толедо на Мадрид и через Сарагоссу и Монтсерат снова до Барселоны. Я проезжал через страну, озаренную улыбкой, явно возбужденную своими политическими заботами, но живую. Мой друг Де лос Риос был поглощен работой по созданию тысяч школ, необходимых для ликвидации неграмотности. Авантюра Франко опустошила эту солнечную страну, и сегодня там царит тоталитарный террор, который ждет скорого отмщения. Почему наши так называемые демократические страны покинули в беде законное правительство?

Что касается Великобритании, то я догадываюсь, какие силы мешали народу Великобритании проявить здравый смысл. Виной тому, очевидно, тот реакционный нажим сверху, прискорбное влияние которого на британские дела приобрело такие внушительные размеры. Новое правительство состояло из профессоров и простолюдинов, оно дробило большие поместья, обучало людей и боролось за общее народное благосостояние — а ведь это лишило бы Испанию в большой степени ее

строгого старинного очарования! Я могу понять, что это случилось при правительстве тори, которое правит мной и страной. Но мне трудно было понять, почему президент Рузвельт принял участие в этом величайшем предательстве.

Меня, как и большинство людей, живо интересует Франклин Делано Рузвельт. Я слышал его проникновенный голос по радио, и мне посчастливилось видеть его изумительную улыбку. Его речи затмевали вдохновляющую риторику нашего великого премьер-министра, и во время этой войны он с большой определенностью формулировал демократические идеалы, которые мы иначе могли бы потерять из виду в ожесточении войны. И тем не менее он участвовал в этом обмане свободолюбивой надежды. Почему он это сделал? Мне говорят, что он от начала до конца и прежде всего блестящий политик, и я охотно верю этому. Когда я, сидя у себя за рабочим столом, высказываю то, что считаю истиной, я ничего не приобретаю и не теряю, а только получаю удовольствие, подобное тому, какое испытывает научный работник, и я понимаю глубокую разницу между положением Президента и своим. Он принадлежит сегодняшнему дню. Каждый его шаг должен приносить плоды. Я могу безразлично относиться к тому, что не оказываю ровно никакого влияния на текущие события. Мне все равно, если на какое-то время я окажусь в меньшинстве, один против всего человечества, потому что в конце концов, если я нашел истину, она победит всегда, а если мне не удалось ее найти, я сделал все, что в моих силах. Но государственный деятель должен всегда держаться большинства. У него большие возможности убеждать народ, и Президент их использует, во многом это ему удается. Но он всегда должен присматриваться к народу. Он не должен двигаться слишком быстро или заходить слишком далеко сравнительно с ним. Он должен учитывать всякого рода системы предрассудков, всякую частную выгоду и всякое возможное недоразумение или искажение. Если он теряет большинство, он утрачивает влияние. После этого ему остается только писать мемуары и сделаться на старости лет ректором колледжа.

Я понимаю это так, что Рузвельт не поддержал либеральную республику в Испании, потому что тут он не

был уверен в американском народе. Он должен принимать в расчет избирателей-католиков и влияние британского общества. Католиков глубоко взволновали нападения на храмы и поджоги церквей, и лишь немногие католики понимали, что испанское правительство делало все, что было в его силах, чтобы сдержать это буйство, но это было нелегко в условиях мощной анархо-синдикалистской революции. Эта борьба описана в книге Сендерса «Семь красных воскресений». Путч Франко рассматривался поэтому не как вспышка тоталитаристского разбоя, а как нечто подготовляющее восстановление церкви и монархии.

Америка Северная и Южная, католическая и некатолическая понимает теперь больше; теперь открылась новая жестокая глава выводов из содеянного. И только так я могу объяснить эту сбивающую с толку главу в истории президента Рузвельта.

Из книги «Путеводитель к новому миру», 1941.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
К 1—15 тт. СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Г. УЭЛЛСА

Индекс 70 665

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

Герберт Уэллс.
Собрание сочинений в 15 томах.
Том XV.

Редактор тома
Ю. Кагарлицкий.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп к печ. 10/XII 1964 г. Тираж 350 000 экз Изд. № 2271 Зак 2834.
Формат бум. 84×108¹/₃₂. Физ. печ л. 14,5+4 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 24,19. Уч.-изд. л. 25,27. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, улица «Правды», 24.